

ИСТОРИЯ
И
ИСТОРИКИ

2003

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

2003



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

2003

Историографический вестник

Ответственный редактор
член-корреспондент РАН
А. Н. САХАРОВ



МОСКВА НАУКА 2003

УДК 93/94
ББК 63.3
И90

Серия основана в 1965 году,
возобновлена в 2001 году

Редакционная коллегия:

Г.Д. АЛЕКСЕЕВА, М.Г. ВАНДАЛКОВСКАЯ, Р.А. КИРЕЕВА,
Л.П. КОЛОДНИКОВА, В.Л. МАЛЬКОВ,
Л.А. СИДОРОВА (ответственный секретарь)

Рецензенты:

доктор исторических наук В.М. ЛАВРОВ,
доктор исторических наук А.В. СИДОРОВ

**История и историки: Историографический вестник / Ин-т рос.
истории.** – М.: Наука, 1965 –. –

2003 / Отв. ред. А.Н. Сахаров. – 2003. – 356 с. – ISBN 5-02-008891-9
(в пер.)

Выпуск посвящен исторической науке русского зарубежья 20–30-х годов XX в. В нем рассматривается широкий спектр научных представлений о судьбах России в контексте политической жизни эмиграции, противоречий партийных группировок, их политических прогнозов. Нашли отражение идейные поиски российской эмигрантской интеллигенции, некоторые литературно-публицистические и художественные построения истории России в творчестве писателей и поэтов (Д. Мережковского, З. Гиппиус, А. Ремизова, И. Бунина, М. Алданова, М. Осоргина и др.). Включены статьи о творчестве российских и зарубежных историков – С.К. Богоявленского, Г.-Б. Нибура и др. Продолжена публикация писем С.Ф. Платонова П.Н. Милюкову, биобиблиография трудов С.П. Мельгунова.

Для историков, преподавателей общественных наук.

ТП 2003-II-№ 184

ISBN 5-02-008891-9 (в пер.)

© Коллектив авторов, 2003

© Российская академия наук и издательство “Наука”, серия “История и историки” (разработка, оформление), 1965 (год основания), 2001 (год возобновления), 2003

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ



Б.П. Балугев

СПОРЫ О СУДЬБЕ РОССИИ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 1920-х ГОДОВ

(Противостояние двух центров)

Исследователю, который приступает к изучению истории русской эмигрантской журналистики первой волны, приходится мириться с отсутствием редакционных архивов газет и журналов. Один из историков-эмигрантов так объясняет этот факт: “Большая часть архивов русских заграничных издательств не сохранилась, чаще всего из-за их недолговечного существования. В ряде случаев, насколько нам известно, архивы были конфискованы оккупационными властями и скорее всего потерялись в хаосе второй мировой войны... Установить количество изданий, размеры тиражей, объемы продажи и распространения печатной продукции невозможно”¹. Автор относит это наблюдение в основном к изданию книг, но истинность его удваивается применительно к газетам и журналам, архивы которых чаще всего вообще не велись и не только “из-за их недолгого существования”, но и из-за беднежьи, из-за малочисленности и текучести редакционных кадров. Для воссоздания истории этой периодической печати приходится иметь дело главным образом с газетными и журнальными страницами да с мемуарами политических деятелей и журналистов русского зарубежья. Но и тут возникает трудность: фонды эмигрантских газет и журналов 20-х и 30-х годов в российских библиотеках далеки от полноты. Многие газеты и журналы отсутствуют вообще, а комплекты других страдают значительными пробелами. Даже наиболее полновесное их собрание в Библиотеке российских федеральных архивов (на территории ГАРФ) не может в полной мере удовлетворить исследователя. Таким образом, начав читать статью с продолжением, исследователь может не обнаружить номер газеты или журнала с этим продолжением ни в одной из библиотек России.

Пока еще появилось очень мало работ по истории прессы белой эмиграции. Известна лишь одна монография по этой проблематике,

изданная Иркутской экономической академией (Яковлева Т.А. Пути возрождения: Идеи и судьбы эмигрантской печати П.Б. Струве, П.Н. Милюкова и А.Ф. Керенского. Иркутск, 1996. 216 с.). А между тем имеется настоятельная надобность в таких исследованиях. Они обеспечивают, во-первых, непосредственное прикосновение к источнику, на основе которого во многом (плюс мемуары) западными учеными создавалась история революционных событий 1917 г., гражданской войны и первых десятилетий Советской власти. Во-вторых, такие работы могли бы помочь молодым историкам отойти от однобоких и в свое время обязательных штампов советской историографии в оценке указанных событий, более объективно и всесторонне посмотреть на них. В-третьих, многие события того катастрофического излома в истории России перекликаются с сегодняшним днем и потому анализ их в эмигрантской прессе поучителен не только для историков, но и для всякого читателя, болеющего за судьбу своей страны.

Полутора–двухмиллионная русская эмиграция из России 1917–1922 гг. была явлением уникальным в истории человечества не только по количеству беженцев, но и по их качественному составу. Юрист и историк Б.Э. Нольде писал в те дни: «С библейских времен не бывало такого грандиозного “исхода” граждан страны в чужие пределы. Из России ушла не маленькая кучка людей, группировавшихся вокруг опрокинутого жизнью мертвого принципа: ушел весь цвет страны, все те, в руках кого было сосредоточено руководство ее жизнью, какие бы стороны этой жизни мы ни брали. Это уже не эмиграция русских, эмиграция России»². В самом деле, страну покинули (если успели) администраторы почти всех рангов – от сенаторов и министров всех составов до губернских чиновников и земских деятелей, за малым исключением весь офицерский корпус армии и флота, управляющие фабрик, заводов и имений, крупные инженеры и конструкторы, самые выдающиеся художники, писатели, поэты, философы и журналисты, руководящие деятели и активисты почти всех политических партий, кроме большевистской. Когда говорят, что за границей оказался весь цвет русской интеллигенции, то это вряд ли можно считать преувеличением. Взять хотя бы русских литераторов. Эмигрировали прозаики: Л.Н. Андреев, И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, И.А. Куприн, Д.С. Мережковский, А.М. Ремизов, А.Н. Толстой, И.С. Шмелев; поэты: К.Д. Бальмонт, З.И. Гиппиус, В.И. и Г.В. Ивановы, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич, М.И. Цветаева; журналисты и одновременно писатели: А.Т. Аверченко, А.В. Амфитеатров, М.П. Арцыбашев, В.И. Немирович-Данченко, М.А. и Б.А. Суворины, А.А. Яблоновский; такие ученые-мыслители и одновременно публицисты, как Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, А.А. Кизеветтер, П.Н. Милюков, П.Б. Струве, В.В. Шульгин. Известный партийно-советский функционер, ученый и публицист Н.Л. Мещеряков вынужден был при-

знать: “Чуть не вся старая литературная Россия после Октябрьской революции ушла в белогвардейский лагерь. Немудрено, что за границей выходит теперь так много всяких белогвардейских книг, журналов и газет”³.

Действительно, для издания журналов и газет в эмиграции, особенно в европейских странах, литературных сил было более чем достаточно. Кроме известных всей России литераторов здесь оказалось немало и рядовых журналистов, бежавших за границу из повсеместно закрытых в 1918 г. Советской властью небольшевистских периодических изданий. Но если в дореволюционной России они вполне могли существовать за счет литературного заработка, то в зарубежье на это рассчитывать было невозможно.

В Русском зарубежном историческом архиве в Праге было собрано 1200 газет и 1200 журналов, выходивших с 1918 по 1945 г. Но подавляющее большинство их прекращало “свое существование на первых номерах”⁴. Для того чтобы поставить на ноги издание газеты или журнала, требовался немалый первоначальный капитал в валюте страны проживания, чтобы покрыть расходы на типографию с русским шрифтом, на бумагу, на содержание литературных работников и корреспондентов, на распространение издания. Если какой-то группе литераторов и удавалось с помощью займов стартовать со своим изданием, оно вскоре разбивалось о непосильные издательские и типографские расходы, о низкую платежеспособность читателей. Эмигрантская масса в основном бедствовала – далеко не всем удавалось устраиваться коммивояжерами, шоферами, швейцарами и официантами. Читательская аудитория была неустойчивой и в смысле оседлости – она переливалась из одной страны в другую. О пополнении кассы привычным способом – за счет публикации объявлений – нечего было и думать: местный бизнес предпочитал рекламировать товар в своих национальных газетах и журналах. Объявления русских читателей о поиске родственников (особенно в первые годы), о смертях и панихидах, о продаже своих ценностей, о доступных товарах и услугах, разумеется, доходов не приносили. Нередкие в те годы колебания курса валют окончательно затягивали финансовую петлю. Поэтому хотя газеты и журналы поначалу и росли в русской диаспоре в разных странах, как грибы после дождя, “но, как те же грибы, имели недолгий век”⁵. Это дало возможность Б.А. Суворину, редактору газеты “Вечернее время” (Париж, 1924–1925) и соредактору газеты “Русское время” (Париж, 1925–1929), довольно остроумно назвать эмигрантскую газету «“эфемерной”, рожденной утром и умирающей в тот же день»⁶.

Некоторые газеты, хотя и выходили более или менее регулярно, находились как бы в состоянии постоянной агонии. Нередко их редактор был и основным автором публиковавшихся на их страницах материалов. Так, по существу в одиночку издавал свою газету “Об-

щее дело” (1918–1922, 1928–1933) В.Л. Бурцев. То же самое можно сказать с некоторыми оговорками об А.Ф. Керенском и его газете “Дни”, о В.В. Орехове и его газете “Часовой”, о Сапране и его газете “Русский в Аргентине”. Эти и подобные им газеты были не в состоянии за публиковавшиеся на их страницах материалы платить гонорары. Материальное положение журналистов в эмиграции в целом было крайне тяжелым. По случаю ежегодно проводившегося в Париже благотворительного “Бала прессы” председатель эмигрантского, тоже в основном благотворительного, Союза русских писателей и журналистов П.Н. Милюков писал: “Нужда эта исключительная и с каждым годом становится все более настоятельной... Даже хорошо известные деятели печати, прошедшие десятки лет около газеты, даже иногда в качестве редакторов, часто влачат крайне бедственное существование в эмиграции”⁷.

Из всей массы газет, выходивших в эмиграции с 1920 по 1940 г., выделялись определенным профессионализмом и регулярностью поступления к читателям, пожалуй, только шесть: “Последние новости” (1920–1940) и “Возрождение” (1925–1940) в Париже, “Руль” (1920–1931) в Берлине, “Сегодня” (1919–1940) в Риге, “Новое время” (1921–1930) в Белграде и “Русь” (1922, 1923–1928) в Софии. Но из перечисленных газет две по продолжительности их издания, по их политическому весу, по профессиональному и публицистическому уровню явно выделялись в лучшую сторону – “Последние новости” и “Возрождение”. В “Последних новостях”, первые номера которого редактировал М.Л. Гольдштейн, а с 1921 г. – П.Н. Милюков, постоянно сотрудничали: А.М. Кулишер, С.А. Поляков (псевдоним “С. Литовцев”), Б.С. Миркин (псевдоним “Бор. Мирский”), П.Я. Рысс, М.А. Ландау (псевдоним “М. Алданов”), Д.И. Мейснер, С.О. Португейс (псевдоним “Ст. Иванович”), М.А. Ильин (псевдоним “М. Осоргин”), Е.Д. Кускова. В газете “Возрождение”, которую до ноября 1927 г. редактировал П.Б. Струве, а затем Ю.Ф. Семенов, сотрудничали: И.А. Бунин, В.В. Шульгин, К.И. Зайцев, С.С. Ольденбург, И.А. Ильин, А.А. Билимович, М.А. Первухин.

Газета “Последние новости” была наиболее обеспеченной в материальном отношении не только за счет значительного числа подписчиков, но и благодаря финансовой поддержке, как многие утверждали тогда и позже, международных масонских кругов. Один из мемуаристов свидетельствует: “Масоны крепко держали в своих руках один из двух главных органов эмигрантской печати – газету “Последние новости” и с ее помощью вели обработку эмигрантского общественного мнения в желательном для них направлении”⁸. В этой газете сотрудники получали зарплату, авторы – гонорар. Тираж ее в лучшие времена 30-х годов достигал 35 тыс. экземпляров.

Газету “Возрождение” субсидировал наследник крупного российского нефтяного предпринимателя А.О. Гукасов. Как свидетель-

ствовал один из бывших сотрудников газеты, она больше всего страдала от феноменальной жадности этого издателя, который установил жалкие оклады своим журналистам. Согласно законодательству пришедшего во Францию в 1936 г. Народного фронта Гукасов обязан был заключить со своими типографскими рабочими коллективный договор и повысить им зарплату. Но поскольку это касалось только выпуска ежедневных газет, Гукасов стал выпускать газету только раз в неделю⁹. Тем не менее, особенно в период, когда редактором газеты был П.Б. Струве, она успешно соперничала с “Последними новостями”. Тираж ее тоже доходил до 30–35 тыс. экземпляров. Как и “Последние новости”, газета “Возрождение” распространялась не только во Франции, но и в других странах. Этому способствовали не только глубокие аналитические публицистические статьи П.Б. Струве и ведущих сотрудников “Возрождения”, но и мемуарные очерки И.А. Бунина “Окаянные дни” и В.В. Шульгина “Дни”, из номера в номер публиковавшиеся в газете.

Гукасов явно просчитался, вытеснив из редакции П.Б. Струве и назначив редактором Ю.Ф. Семенова, фигуру весьма посредственную и не авторитетную в эмигрантских политических кругах. Вместе со Струве из газеты ушли 36 ее сотрудников и постоянных авторов. Среди них – И.А. Бунин, В.В. Шульгин, К.И. Зайцев, И.А. Ильин, А.В. Флоровский, М.В. Шахматов, Б.Э. Нольде, П.Д. Долгоруков, И.А. Бунге, В.П. Рябушинский, А.Д. Билимович, Д.Д. и И.Д. Grimm и др.¹⁰ Продолжавший печататься в публицистическом отделе газеты С.С. Ольденбург и новые авторы – Л.Д. Любимов, П.П. Муратов, А.А. Салтыков, Б. Бажанов не смогли возместить эти потери. Хотя в газете продолжали публиковаться такие известные писатели, поэты и литературные критики, как И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев, А.В. Амфитеатров, А.А. Яблоновский, Н.А. Лохвицкая (Тэффи), В.Ф. Ходасевич, В.В. Вейдле, именно публицистический отдел в ней заметно ослабел.

“Последние новости” вполне в соответствии со своим названием были преимущественно газетой новостей. Жизнь русских эмигрантов не только во Франции, но и в других странах; внутрифранцузские и международные события общественно-политического, экономического и культурного характера; разные аспекты жизни в Советской России; наиболее интересные сообщения эмигрантской, французской и международной прессы – все это находило оперативное освещение в коротких информационных материалах “Последних новостей”. И надо признать, что как добытчики самых свежих новостей журналисты этой газеты действовали весьма профессионально. Поэтому даже далекие от политических симпатий газеты читатели старались ее выписывать, чтобы быть в курсе событий эмигрантской, французской, “совдеповской” и международной жизни. В этом отношении “Последние новости” явно выигрывали перед другими газетами.

Газета “Возрождение”, особенно в период редакторства Струве, делала ставку на публицистическое осмысление действительности. Это находило отражение и в ее передовых статьях, и в “Дневнике политика” П.Б. Струве, и в “подвальных” публицистических, проблемных обозрениях, и в комментариях к материалам эмигрантских и советских газет и журналов. И это давало газете преимущество перед другими органами эмигрантской периодической печати в 20-е годы, когда с особой остротой обсуждался вопрос о судьбе России, о причинах постигшего ее катаклизма, о ее прошлом, настоящем и будущем, когда вся русская диаспора жила надеждой на близкий крах большевистского режима и, следовательно, на скорое возвращение на родину, когда во всей силе проявлялся эмигрантский “активизм” – желание действовать во имя этой развязки, во имя возвращения к утраченной России.

Но в 30-е годы обстановка и настроения в эмиграции заметно изменились. Советская Россия преодолела разруху и голод. Многие страны, в том числе и те, на помощь которых рассчитывала Белая армия, установили с ней дипломатические отношения. Среди эмигрантов произошел ощутимый возрастной сдвиг. Уже появились тысячи могил на Сент-Женевьев де Буа и на других русских кладбищах в разных странах. Ко многим подкралась старость, явно ослабив их былую политическую активность. Подросло новое поколение, которое плохо помнило старую Россию, в значительной степени уже адаптировалось к стране пребывания, освоило ее язык, нуждалось в информации из газет и журналов преимущественно данной страны. “Молодые инженеры увлекались работой на стройках, молодые эмигранты-врачи спешили украсить свои врачебные кабинеты новыми приборами и аппаратами; молодые коммерсанты, если они были удачливы, богатели, устанавливали международные связи, и их имена красовались на вывесках уже немалых торговых предприятий”¹¹. В этих условиях споры об историческом пути России стали отходить на второй план, интерес массового читателя к проблемно-исторической публицистике ослабел. Газета “Возрождение” и подобные ей стали утрачивать свои позиции, а газета “Последние новости” уверенно захватила лидерство и стала играть роль первой скрипки в информационном оркестре.

Читательская масса в 20-е годы отличалась в русском зарубежье не только большой политической активностью, но и большой пестротой политических взглядов. Многие политические партии утратили былое единство, растеряли своих членов. Сохранившаяся, в основном руководящая, часть кадетской партии в 1922 г., например, раскололась на правых (И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев, С.В. Панина, Н.И. Астров) и левых (П.Н. Милюков, М.М. Винавер, П.П. Гронский, И.П. Демидов, А.И. Коновалов, В.А. Харламов). Левые – “демократическая группа” – в 1924 г. объединились с пра-

выми эсерами и правыми меньшевиками, создав Республиканско-демократическое объединение (РДО). Возглавляемое П.Н. Милюковым РДО претендовало на роль центра политических сил эмиграции. Справа от себя оно видело сторонников конституционной монархии, идеологию которой выражали газеты “Новое время” (Белград, 1921–1930), “Вечернее время” (Париж, 1924–1925), “Русь” (София, 1922, 1923–1928), “Русское время” (Париж, 1925–1929) и в том числе газеты, которые редактировал П.Б. Струве: “Возрождение”, “Россия” (Париж, 1927–1928) и “Россия и славянство” (Париж, 1928–1934). Слева РДО отводило место партиям, организациям и группам социалистического толка и соответственно их органам печати – меньшевистскому “Социалистическому вестнику” (сначала газета, а затем журнал: Берлин; Париж; Нью-Йорк, 1921–1961), эсеровской “Воле России” (также сначала газета, а затем журнал: Прага, 1920–1932). РДО как бы не принимало всерьез как малозначительные и обреченные историей откровенно монархические политические круги и такие их органы печати, как “Известия Высшего монархического союза” (Берлин, 1921–1926), “Двуглавый орел” – вестник Высшего монархического совета (Париж, 1926–1930) и др.

П.Б. Струве, его сторонники и соответственно его издания также претендовали на роль политического центра эмиграции. Но если Милюков формировал свой центр в основном из единомышленников, то Струве стремился объединить вокруг своего центра все последовательно антибольшевистские силы эмиграции. Он отсекал от этого объединенного фронта только все социалистические партии и группировки как абсолютно враждебные, особенно виновные в развале российской государственности. Левый фланг у этого центра был довольно коротким, на нем отводилось место только весьма умеренным демократическим силам, в основном правокadetской ориентации. Справа – все, кто готов был поддержать активную борьбу против большевистского режима, за возрождение России образца 1906–1914 гг. Здесь могли располагаться и монархисты, главным образом конституционные. Сюда примыкали и представители воинских и казачьих организаций. Последние, как правило “стихийные” монархисты, имели, кстати сказать, большое количество собственных периодических изданий типа “Казачьи думы” (София, 1923–1924), “Казачий сполох” (Прага, 1924–1931), “Вестник казачьего круга” (Париж, 1926–1928), “Вольное казачество” (Прага, 1927–1939) и т.д. Под знаменем “активизма” П.Б. Струве и его единомышленники с помощью своей газеты “Возрождение” повели в 1925 г. борьбу за созыв “Зарубежного съезда” всех, готовых к освободительной деятельности сил.

П.Н. Милюков и его сторонники, которые выступали за республику на основе завоеваний февральской революции и против “активизма” во всех его формах, за тактику выжидания внутреннего раз-

ложения большевизма, повели на страницах “Последних новостей” яростную кампанию по дискредитации идеи “Зарубежного съезда”. Они подчеркивали, что нельзя объединить представителей концепции демократического, правового государства с носителями идей монархизма и нового белого похода на Советскую Россию, что замысел единения во имя этой цели заранее обречен на провал. Но идея съезда, несмотря на нападки милюковцев, была поддержана большинством политических организаций русского зарубежья, и он состоялся в апреле 1926 г.

Этому способствовали, по крайней мере, два фактора. Во-первых, противодействующая созыву съезда левая, республиканско-демократическая, революционно-демократическая и особенно социалистическая, прослойка в эмиграции была в явном меньшинстве. По общему мнению самих эмигрантов и историков эмиграции, разного рода “левых” в изгнании оказалось не более 15–20% от общей массы беженцев¹². И это понятно: за границу была выброшена в основном та масса, которая до последнего рубежа сражалась против большевиков, “за веру, царя и отечество”, а не “за свободу, равенство и братство”.

Во-вторых, призыв к единению “всех патриотических сил” упал на благоприятную почву – эмиграция устала от внутренней междоусобной борьбы на страницах периодических изданий различных политических группировок, борьбы, явившейся неизбежным следствием поражения в гражданской войне. Уже в ходе ее в стане левой интеллигенции одни повели себя по принципу: “лучше Колчак, чем Ленин”; другие посчитали: “лучше Ленин, чем Колчак”, а третьи с самого начала заняли позицию: “ни Ленин, ни Колчак”. И все они в конце концов оказались в эмиграции. Среди монархистов одни ориентировались на неограниченную монархию, другие – на конституционную, одни сделали ставку на Кирилла Владимировича, другие – на Николая Николаевича, третьи – на Дмитрия Павловича. Левый центр шел за Милюковым, а правый – за Струве. Газетно-журнальная полемика между этими и более мелкими группировками нередко приобретала характер грызни. Если в эмигрантской печати слово это употреблялось в порядке самокритики¹³, то в советской – для фельетонной характеристики “белогвардейского стана”. Советский журнал “Красная новь” в одном из обзоров белоэмигрантской печати писал: “Резкая полемика, грызня, раскол, дробление на группы – вот чем характеризуется теперь жизнь потерпевшей поражение заграничной русской буржуазии и интеллигенции”¹⁴.

К сожалению, дело “грызней” не ограничивалось. Словесная публицистическая перепалка на страницах газет и журналов нередко перерастала в угрозы физической расправой, в покушения на убийство и в убийства. В 1922 г. при покушении на П.Н. Милюкова был убит прикрывший его редактор газеты “Руль” В.Д. Набоков. В том же году было совершено убийство главного редактора газеты

сменовеховского направления “Новая Россия” А.М. Агеева. В 1924 г. от пули убийцы погиб редактор издававшейся в Софии газеты “Русь” И.М. Калинин. Неважно жилось в эмиграции и редактору “Дней” А.Ф. Керенскому¹⁵.

Острота публицистических споров объяснялась, прежде всего, первостепенной важностью их предмета – речь шла о судьбе России, о причинах постигшей ее катастрофы, о возможностях преодоления бедствия, о будущем своей страны. Кроме того, нельзя не учитывать, что споры эти вели не просто профессиональные литераторы и публицисты, но в их лице одновременно и свидетели, и жертвы, и участники великой драмы. Причем в своих оппонентах, в представителях той или иной политической партии или организации участники споров нередко видели чуть ли не главных виновников постигшей страну беды. Теоретический уровень этой полемики далеко не всегда был пропорционален накалу сопровождавших ее политических страстей.

Это, однако, не относится к полемике о судьбе России, которую вели между собой в эмиграции в руководимых ими изданиях П.Б. Струве и П.Н. Милюков. Уровень ее был недостижимой вершиной для многих представителей эмигрантской журналистики тех лет. В споре столкнулись два выдающихся представителя русской политической мысли тех лет, знатоки российской истории, давно известные своими учеными трудами не только в дореволюционной России, но и за ее пределами.

Дар Милюкова-лектора по вопросам истории России был известен и в Европе, и в США. П.Б. Струве за свою необычайно широкую научную эрудицию в области философии, политэкономии, экономической истории, истории русской общественной мысли и литературы в 1916 г. был избран почетным доктором Кембриджского университета, а в 1917 г., сразу после Февральской революции, был избран действительным членом Российской академии наук и только в 1928 г. был исключен из нее. Оба имели большой редакторский и публицистический опыт сотрудничества во многих российских периодических изданиях в дооктябрьский период. В последние перед приходом к власти большевиков годы, с сентября 1910 до 1918 г., Струве редактировал один из лучших “толстых” журналов того времени, “Русская мысль”, а Милюков с 1906 г. наряду с И.В. Гессеном был фактическим редактором известной кадетской газеты “Речь”. Оба имели большой опыт политической деятельности, оба избирались депутатами Думы, оба достигли до эмиграции в этой деятельности определенных вершин – Милюков был некоторое время министром иностранных дел во Временном правительстве, а Струве выполнял эти функции в правительстве Врангеля.

Естественно, что за их публицистическим поединком с напряженным вниманием следила вся русская диаспора. Тем более, что спор касался судьбоносных проблем. А то, что по таким проблемам

оба автора могли вести полемику на самом высоком уровне, просвещенные читатели русского зарубежья помнили по событиям 1909–1910 гг., когда П.Б. Струве опубликовал в сборнике “Вехи” свою яркую, талантливую и глубокую статью “Интеллигенция и революция”, а П.Н. Миллюков ответил на нее наиболее основательной среди антивеховских выступлений статьей “Интеллигенция и историческая традиция” в сборнике “Интеллигенция в России”. Интерес к спору подогревался и тем, что он велся двумя публицистами и их газетами в условиях полной свободы слова, абсолютного отсутствия какой-либо цензуры.

Следует отметить еще одну особенность этой полемики. Левая, в том числе и левокадетская печать, следовательно, и “Последние новости”, была больше занята политической злобой дня, информацией с комментариями и без комментариев о событиях в мире, среди эмигрантов и в Советской России. Правая печать, в том числе и “Возрождение”, гораздо больше, чем левая, уделяла внимание теме “историческая судьба России”. Левая печать считала это показателем не просто слабости правой печати, а и ее политической порочности, заскорузлого консерватизма. “Их взоры прикованы к старой России”, – писала газета “Последние новости” о правой печати и ее читателях, стараясь доказать, что им никогда не дано будет понять новой России¹⁶. Это утверждение в известном смысле совпало с позицией советской печати, которая, правда, в более резком, памфлетном стиле отвечала то же самое: “Все помыслы этих звезд белогвардейского неба прикованы к отжившему старому. Только в сторону прошлого направлены все симпатии”¹⁷. Но те и другие как бы не хотели понять, что это обращение к прошлому не только навеяно ностальгическими чувствами, которые, кстати сказать, наверняка испытывало большинство беженцев, но и было вызвано желанием с помощью анализа этого прошлого лучше постигнуть настоящее и более основательно поразмышлять о будущем.

Главный вопрос, который будоражил читателей и обсуждался в спорах “Возрождения” и “Последних новостей”, всей правой и левой прессы: какой была жизнь в дореволюционной России – такой невыносимой, что революция была неизбежна, или совсем неплохой, и революция стала следствием случайных обстоятельств и субъективных факторов?

Вся левая печать, включая левокадетскую, (как впрочем и советская) обычно оперировала понятием “царизм”, привнося в него внушительный набор отрицательных признаков: царизм – допотопный бюрократический, деспотический режим, это полный произвол властей, нищета, темнота и несправедливость народа, отсталость науки и культуры, тюрьма для нерусских народов. Вывод – такое чудовище было обречено на гибель.

Но все познается в сравнении. Огромная масса людей из России, в том числе и имевших раньше возможность для путешествий за гра-

ницей, впервые столкнулась с изнанкой западной цивилизации, причем в ее наиболее “прогрессивных” образцах – в Германии, Франции, Англии и США. Они получали в течение продолжительного проживания в этих странах совсем не те впечатления, какие складывались у некоторых российских граждан от путешествий на европейские курорты, “на воды”, от туристических поездок. Это было столкновение с изнанкой жизни, с бюрократическими и бытовыми проблемами, с совершенно иным менталитетом населения этих “цивилизованных” стран. Оказалось, что прогресс техники на производстве и в быту, рост внешней культуры отнюдь не делает людей лучше – нравственно более чистыми, духовно более богатыми. У большинства русских эмигрантов, надолго погружившихся в рутинную повседневность западноевропейских стран, возник обычный для них в таких случаях синдром отторжения от этой цивилизации. К тому же, во всех этих странах, и особенно в новообразованных государствах – Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Польше и Румынии, в большей или меньшей степени русские эмигранты столкнулись с русофобией, которая не щадила даже самых бедствующих, жалила и била лежачих, и которая, конечно, лишь усиливала этот синдром и ностальгические чувства.

Русские эмигранты наткнулись в западных странах на такие проявления бюрократии, на фоне которых некоторые российские крючкотворы стали казаться невинными проказниками и шалунами. В этих странах они впервые познали, что такое ограничительная процентная норма приема иностранцев на работу, которая применялась к ним неукоснительно. До введения “нансеновских паспортов” формальности, связанные с передвижениями из одной страны в другую, были для русских эмигрантов просто непреодолимыми. Вот одно из свидетельств на этот счет: “русские в 1920 году оказались во всех странах на положении иностранцев, с той разницей, что все другие категории имели свои правительства, которые могли их защитить, и они имели возможность быть высланными в свои страны, тогда как высылаемые русские не принимались ни одной страной и переходили на нелегальное положение”¹⁸. “Нансеновские паспорта” давали право на жительство в новой стране на два–три года, но затем “карточки на жительство” надо было обменивать. В Париже при их обмене выстраивались огромные очереди, при этом за обмен взималась плата, непосильная для неимущих, которых было большинство. Со всеми этими явлениями россиянин столкнулся впервые – в старой России ничего подобного не было. Естественно в нем росло критическое отношение к западным порядкам и одновременно усиливалось чувство тоски по старой России.

Глухое недовольство высокомерным и дискриминационным отношением к русским со стороны властей и политикой в странах их пребывания выплескивалось на страницы эмигрантской прессы, иногда даже либеральной и левой. “Последние новости”, например,

с удивлением отметили, что корреспондент одной из самых распространенных парижских газет назвал Россию азиатской страной, что в его статье все русское, в том числе и “не совпадающее с большевизмом понятие русской культуры, хлесткими газетными силлогизмами отбрасывается в Азию”¹⁹. Та же газета в корреспонденции Ник. Бершанского “Белые рабы в Эстонии” сообщала, что принятое эстонским Учредительным собранием постановление о лесных работах для русских эмигрантов, состоявших главным образом из остатков армии Юденича, получило среди них название “закона о рабстве”²⁰. А в корреспонденции “Последних новостей” “Остров слез. Письмо из Америки” подробно рассказывалось о буквальном истязании иммиграционными службами США прибывающих туда русских беженцев, месяцами томящихся в тюремных условиях карантина на специально оборудованном для этого острове²¹.

Некоторые либеральные русские публицисты делали для себя и читателей горькие открытия: даже самым социалистическим и либеральным иностранцам “России не надо, она нужна только нам, русским”²². Все эти впечатления заставляли иногда даже бывших социалистов сожалеть об утраченной среде обитания. По этому поводу В.В. Шульгин в одной из своих статей ядовито заметил: “Что имеем – не храним, потерявши – плачем”²³. Однако в целом отношение публицистов либеральной и леворадикальной эмигрантской прессы к дореволюционной России, ко всем порядкам в ней оставалось негативным, что достаточно красноречиво отражалось в употреблении слова “царизм” вместо слова “Россия”.

В связи с этим обстоятельством представляет особый интерес возникшая в 1925 г. полемика о царизме между “Возрождением” и “Последними новостями”, в которой приняли участие редакторы обеих газет – П.Б. Струве и П.Н. Милюков. 23 июня газета “Возрождение” выступила с передовой статьей, посвященной “легенде о царизме”, получившей, как указывала редакция, широкое распространение на Западе, где стало принятым идентифицировать Россию с “царизмом”, как с чем-то мрачным, средневековым, варварским, азиатским. В передовой статье подчеркивалось, что к созданию этой легенды приложила руку русская интеллигенция, ибо для нее “не признавать и ругать свое, боготворить чужое – было правилом хорошего тона”. Теперь, сравнивая свое родное прошлое с чужим настоящим, мы, отмечал автор статьи, “начинаем по-иному оценивать историческую Россию... мы теперь определенно видим, что эта чужая жизнь не всегда лучше, а иногда определенно хуже нашей старой жизни”. Газета считает, что России есть чем гордиться: у нее была прекрасная армия, замечательная бюрократия, “недосягаемый по нравственному уровню и судопроизводственной технике суд”. Она, по мнению газеты, успешно решала такие грандиозные по своему масштабу организационные задачи, как переселенческое дело или землеустроительные работы; она создала свой, оригиналь-

ный, тип административного устройства – земское самоуправление. Автор статьи категорически отвергал как “вредную и злостную сказку”, будто революция началась из-за “невыносимого материального положения низших слоев населения”. В статье утверждалось, что царствование Николая II “было вообще эпохой неслыханного экономического подъема” в России, что даже во время мировой войны русская деревня жила лучше, чем в европейских странах.

Милюков уже на следующий день, 24 июня, в своих “Листках из дневника” в “Последних новостях” немедленно отозвался на эту статью полным несогласием с каждым ее положением. На следующий день, 25 июня, Струве ответил на критические заметки Милюкова в своем “Дневнике политика” в “Возрождении”. Через день, 27 июня, Милюков посвятил свои очередные “Листки из дневника” пространному критическому разбору этого ответа Струве. Наконец, 28 июня Струве в “Дневнике политика” подвел свой итог спору под заголовком “Некоторые положительные результаты полемики с П.Н. Милюковым”. Спор проходил при огромном публицистическом накале. Редкий случай в газетной практике – авторы по очень серьезному вопросу давали друг другу молниеносные ответы. В чем же была суть их разногласий?

Милюков считал, что нельзя всерьез защищать царизм, ибо этот политический строй рухнул окончательно и бесповоротно под ударом истории. Он заявил, что пытаюсь реабилитировать царизм, Струве и его газета всего лишь эксплуатируют усилившиеся в эмиграции “националистические чувства”. Надежда на возрождение царизма, как всякая утопическая мечта, в конечном итоге приведет лишь к пессимизму: “Так как царизму не бывать, то люди этого типа в самом деле овеваны трагическим дыханием безвозвратно. Мы – оптимисты, потому что мы верим в Россию будущего и знаем, что революция унесла безвозвратно только то, что действительно было осуждено историей: остальное, даже и исчезнувшее, возродится”. В отличие от автора передовой статьи своей газеты, отмечает Милюков, Струве старается реабилитировать не царизм, а русскую государственность, которая в реабилитации не нуждается. Милюков согласился с тем, что нападками на “царизм” иностранные политики, журналисты и ученые действительно злоупотребляли, во-первых, потому что Россию не знали, а во-вторых, потому что относились к ней враждебно. Но он категорически против попыток на месте этой разрушенной иностранной легенды создать новую, “националистическую легенду о царизме”, в интересах защиты не русской государственности, а устаревшего политического строя. Тут, пишет Милюков, и историк, и политик в нем одинаково возмущаются.

Милюков отмел все доводы в пользу состоятельности царизма, развитые в передовой статье “Возрождения”, а затем взятые отчасти под защиту самим Струве. Он настаивал на том, что обнищание масс в России накануне 1917 г. усилилось, и это послужило причи-

ной, одной из главных причин, революции. А если деревня и не голодала, то, по Милюкову, только потому, что оставшиеся без мужчин женщины, чтобы прокормить детей, забивали скот. В ответ на тезис Струве о том, что революционные движения никогда не происходят на почве обнищания и оскудения, Милюков в порядке опровержения ссылается на “Великую французскую революцию”. Он готов согласиться, что солдаты и офицеры русской армии сражались доблестно, но ее высшее командование, по его мнению, ее оснащение военной техникой всегда были не на уровне: это показали Крымская и русско-японская войны. Защиту русской бюрократии Милюков считает не убедительной на фоне щедринских портретов ее представителей. Эфемерность мероприятий царизма в переселенческом и землеустроительном деле он доказывает тем, что они были “сметены революцией”. Попытку защиты газетой “Возрождение” российского судопроизводства, построенного на судебной реформе 1864 г., Милюков опровергает ссылкой на деятельность “изверга реакции” И.Г. Щегловитова, министра юстиции с 1906 по 1915 г., т.е. в период действия военно-полевых судов. А для того, чтобы напомнить о несовместимости земского самоуправления с сохранением самодержавия, Милюков отослал Струве к его собственному “Предисловию” к изданной им за границей книге С.Ю. Витте “Самодержавие и земство”. И, наконец, Милюков напомнил Струве о том, что он сам когда-то писал о вреде царизма в основанном им за границей журнале “Освобождение”, из которого впоследствии выросла кадетская партия.

Струве категорически отверг попытки объяснить февральскую революцию обнищанием и оскудением народных масс. Во-первых, считал Струве, хозяйственное положение России в годы мировой войны было лучше, чем в других странах (и по этому вопросу мнение Струве – крупнейшего специалиста по экономической истории и академика РАН по отделению политэкономии и статистики было для читателей явно предпочтительнее мнения Милюкова). А во-вторых, Струве вообще отказывался видеть в указанной Милюковым зависимости какую-либо закономерность. Он был убежден, «что крупные и глубокие “революционные” движения – как бы их не оценивать – никогда не происходят на почве обнищания и оскудения нации».

Поддерживая тезис автора передовой статьи в своей газете о “замечательной армии” России, Струве отметил, что Советская Россия не смогла бы так быстро создать свою армию, если бы императорской Россией не были заложены прочные основы военной организации. Струве отменил и попытки Милюкова очернить всю российскую бюрократию. Он привел примеры ее успешной деятельности, указав на акцизную реформу К.К. Грота, на организацию винной монополии при С.Ю. Витте, на осуществление налоговых реформ А.А. Абазой и Н.Х. Бунге и их преемников. В ответ на замечание

Милюкова, что такие существенные для Струве начинания и дела “царизма”, как переселенческое дело и землеустройство, были “сметены” революцией “как карточный домик”, Струве отпарировал: “на беду России” сметены они были вместе со множеством крестьянских хозяйств, которые и Милюков признавал “прогрессивными”.

Но, констатировал Струве, Милюков отдает дань предрассудку, что революции всегда благодетельны и сметают только все плохое и отжившее. Струве посчитал неуместным упоминание И.Г. Щегловитова как “изверга реакции”, ибо Щегловитов стал жертвой “большевистской расправы” – был расстрелян большевиками в 1918 г. И если бы даже он был “извергом”, иронизировал Струве, он не смог бы “разрушить замечательную судебную организацию, созданную судебной реформой”. Он напомнил Милюкову как историка и политику-современнику, что, несмотря на реакционные поползновения, правительство сохранило земство, что в период царствования Александра III и Николая II происходит расцвет земской культурной работы. А вот революция “смела земство, как карточный домик”, и под обломками этого карточного домика похоронила и земскую школу, и земскую медицину. Нет, заключает Струве, русская историческая власть не была просто тем злым гением, каковым в порядке публицистическо-политического упрощения “ее представляла и изображала **легенда о царизме**”. Под покровом этой власти, напоминает Струве, “развивалась и росла русская культура”.

Оба оппонента остались при своем мнении. Но Струве был удовлетворен результатами полемики. Для него оказалось очень существенным, что Милюков вынужден был признать два положения: 1) что русская государственность в реабилитации не нуждается и 2) что нападками на царизм иностранцы злоупотребляли, потому что Россию не знали и относились к ней враждебно.

Точка зрения Струве была многократно поддержана на страницах газет “Возрождение” и “Россия” другими публицистами. Один из постоянных авторов газеты “Возрождение” в те дни писал: “Будучи перворазрядной военной силой Российская империя была вместе с тем перворазрядной культуротворящей силой... И можно ли теперь в наши годы русской осторожной беды не помнить, не чувствовать, не понимать, какою была жизнь в дореволюционной России! Неужели есть еще люди, которых большевистские батоги и пытки не научили той простой истине, что в Империи мы были **свободны!**” Примерно через год другой постоянный автор обеих газет, К.И. Зайцев (архимандрит Константин), повторил то же самое: “Только здесь, на Западе, до конца уяснили мы себе недосягаемое величие русской культуры. И это не только в отношении к тем ее отраслям, которые официально признаны всем светом, как музыка, театр, балет, изобразительное искусство, изящная литература. Вся русская культура, включая и церковную жизнь, и государственность, и право, и общественность, и хозяйство – все вместе взятое,

несмотря на неизбежные недостатки, преувеличения и даже извращения, предстоит нашему духовному взору, как нечто органически цельное и **несравненно-великое**”²⁴. Безусловно в поддержку позиции Струве было высказано другим автором утверждение, что “души множества русских людей переживают и изживают – и там, в России, и здесь, за рубежом, – легенду о царизме”²⁵.

Столь существенное расхождение в оценке старой России когда-то двух лидеров одной и той же, кадетской, партии было вызвано существенным изменением их политической ориентации. Еще недавно уговаривавший всех сохранить трон за братом Николая II Михаилом, т.е. фактически отстаивавший конституционную парламентскую монархию, Милюков после поражения белых армий твердо решил, что с монархией в России покончено на вечные времена. Теперь он видел Россию только страной с республиканско-демократическим строем с опорой на завоевания февральской революции. Не назад от нее, а дальше по пути, проложенному этой революцией, к парламентской демократической республике западно-европейского образца – такова была его политическую программу.

В 1925 г., в первую годовщину создания по инициативе Милюкова “Республиканско-демократического объединения”, газета “Последние новости” с гордостью отмечала, что хотя сторонников республиканско-демократической идеи немного, но они “имели мужество выделиться из этой однотонной (по мнению газеты, реакционной. – Б.Б.) эмигрантской среды”, были замечены не только эмиграцией, но и “и тем иностранным общественным мнением, которое их окружает”, что “они в своем лице реабилитировали русскую общественность, возродили надежду на восстановление культурной России и на ее цивилизованное общение с остальным просвещенным миром, с его демократией”²⁶.

Естественно, что при свете такого идеала окончательно померк образ старой России. В позиции Милюкова это проявилось сразу после его прихода на пост редактора газеты “Последние новости”, 1 марта 1921 г. Уже 15 марта в газете можно было прочитать: «Можно и должно мечтать о старой, нежно любимой России. Но надо помнить, что жизнь в этой старой России была построена уродливо и отвратительно. Не надо быть большевиком, чтобы понимать это. Не были большевиками Некрасов, написавший “Железную дорогу”, и Гаршин, нарисовавший “Глухаря”. Не были большевиками и Пила и Сысойка Решетникова...»²⁷. В историческом прошлом России для Милюкова и его сторонников стали иметь ценность только те идеи и люди, которые были связаны с республиканско-демократическими принципами, а из царей они поклонялись лишь Петру I и прежде всего за европеизацию России.

Программный принцип П.Б. Струве, который он сформулирован еще после первой русской революции и который выставил сразу на знамени газеты “Возрождение”, с первых ее номеров, выра-

жался в формуле: либеральный консерватизм или консервативный либерализм (Струве считал, что от перестановки слагаемых в данном случае содержание формулы не меняется).

Струве уделил особое внимание ее обоснованию. А в связи с критикой этой формулы со стороны Милюкова как некой попытки совместить несовместимое, как какой-то игры слов, не раз возвращался к этому обоснованию, все более отшлифовывая его. Уже в первом номере газеты “Возрождение” он подробно остановился на содержании каждого из двух составляющих ее компонентов и показал их совместимость. Для Струве “либерализм” означает “вечную правду человеческой свободы, славной традицией записанной и на страницы русской истории”. Он отнюдь не отрывает дух этой свободы в прошлом, дух подлинного либерализма от отдельных страниц истории русского царизма. По его мнению: «К свободе вело и начатое великой Екатериной гражданское устройство нашей Родины и восславленное величайшим русским писателем “дней Александровых прекрасное начало”; духом свободы рождены были и великие реформы Александра Второго, затоптанные и растоптанные коммунистическим нашествием, и великие реформы 1905 г., давшие России гражданские свободы и народное представительство». Как видим, в этой трактовке либерализм представлял собой необходимую созидательную силу в развитии России. Но не менее важное условие развития страны он видит и в консерватизме. “Он означает, — пишет Струве, — великую жизненную правду охранительных государственных начал, без которых государства вообще не стоят, без действия которых не было бы и никогда вновь не будет Великой России. Отечества не знают и не имеют не помнящие родства. Вне любовной преданности великим началам и великим образцам родной истории народ становится жалким стадом или даже просто людской пылью”²⁸.

В 1929 г. в газете “Россия и славянство” он еще раз возвращается к изложению сути компонентов, составляющих его формулу. “Суть либерализма как идейного мотива, — пишет он, — заключается в утверждении свободы лица. Суть консерватизма как идейного мотива состоит в сознательном утверждении исторически данного порядка вещей как драгоценного наследия и предания”²⁹. Струве с сожалением констатирует, что в русской общественно-политической мысли эти два компонента существуют и развиваются в основном раздельно — в виде двух несходящихся параллельных линий. Между тем, считает он, в них нет основы для взаимоотталкивания. Он разъяснял своим читателям, и прежде всего российским политикам, государственным и военным деятелям, что органическое соединение во взглядах на прошлое, настоящее и будущее России позиций одновременно и либерализма и консерватизма не только возможно, но и необходимо для ее благополучия. И.А. Ильин, разъясняя формулу Струве в газете “Возрождение”, с большой силой выразил диалекти-

ческую связь двух ее компонентов. Он писал: “Здоровая, мудрая, спасительная политика всегда **консервативна**, ибо она охраняет, оберегает, поддерживает все историческое наследие страны, охраняет и тогда, когда совершенствуется; оберегает и тогда, когда видоизменяет; поддерживает и тогда, когда приспособляет и обновляет”. Отсюда следует вполне закономерный вывод: «“Левая” партия, не умеющая быть консервативной, – есть политическое уродство и государственная опасность». Но с другой стороны, отмечает Ильин, “спасительная, мудрая, здоровая политика всегда **прогрессивна**, ибо она совершенствуется, видоизменяется, приспособляется, и обновляет историческое наследие страны именно ради его поддержания и ограждения”. Отсюда вытекает другой важный вывод: «“Правая” партия, не умеющая быть прогрессивной – есть явление нелепое, обреченное, опасное...»³⁰. Струве считал, что страны, которые руководствуются идеологией и политикой либерального консерватизма, как правило, достигают наибольшего благополучия. По его представлению, те, кто в прошлом России исповедовал либеральный консерватизм, приносили ей наибольшее благо. К таковым он относил, например, в политике – Екатерину II, в общественной деятельности – Б.Н. Чичерина, в науке – Д.И. Менделеева, в искусстве – А.С. Пушкина.

Но в целом в России, подчеркивала редакция “Возрождения” вслед за своим редактором, отношения между консерватизмом и либерализмом складывались совершенно ненормально. В результате в стране не создалось необходимого для ее благотворного развития идеологического сплава – либерального консерватизма. Консерваторы в России не понимали, что консерватизму противостоит не либерализм, а радикализм, суть которого – “принципиальное отрицание исторической почвы и высокомерное, доктринерское отношение к отцам”. Публицисты “Возрождения” разъясняли читателям-консерваторам, что радикал обычно провозглашает: по таким-то и по таким-то соображениям должно быть так, а если нет – долой этот порядок, а либерал прежде всего утверждает необходимость личной свободы и свободы “хозяйственного самоопределения”. К сожалению, подчеркивали публицисты газеты, консерваторы в России не хотели и не умели быть либералами. В своем охранительстве они шли так далеко, что приносили в жертву ему начала личной свободы. А русский либерализм постоянно отталкивался не от своего антипода – социализма, а от консерватизма, “который считал своим злейшим врагом”. Идеино он плелся в хвосте социалистического радикализма. И это, заключала газета, сыграло роковую роль в истории России.

Как видим, позиция, занятая П.Б. Струве и публицистами возглавляемой им газеты по одному из судьбоносных вопросов для России, коренным образом отличалась от позиции П.Н. Милюкова и его газеты, которая в полной мере страдала, по Струве, пороками русского либерализма, сотрудничавшего с радикализмом. Разная по-

литическая ориентация двух ведущих газет русского зарубежья, одной – республиканско-демократическая, другой – либерально-консервативная, наложили отпечаток на их позицию по многим кардинальным вопросам, обсуждавшимся эмигрантской прессой. Например, не раз поднимался вопрос о “распаде” России как империи, о судьбе русского и других народов, населявших ее. “Последние новости” явно избегали поднимать эту тему. С одной стороны, газета не выражала радости по поводу отпадения от России ряда ее территорий и образования на ее границах так называемых лимитрофных государств с их не только антибольшевистской, но и антирусской нацеленностью. Но ориентация на “демократические ценности” обязывала поддерживать самоопределение наций. К тому же, многие сепаратистские организации бывших национальных окраин выступали также под республиканско-демократическими знаменами. Положения собственной программы обязывали газету “Последние новости” проявлять с ними солидарность.

И наоборот, либерально-консервативная позиция периодических изданий Струве позволяла их сотрудникам и авторам говорить на эту тему во весь голос. Газеты “Возрождение” и “Россия” старались поддержать в своих читателях чувство гордости за прошлое Российской империи. Публицисты этих газет с помощью исторических фактов показывали, что хотя Россия и была империей, но создавалась эта империя не за счет завоевания чужих государств и истребления местного населения, а, во-первых, за счет новых, необжитых земель; во-вторых, путем вовлечения в свою орбиту малых народностей, не обладавших не только своей государственностью, но иногда и письменностью; и в-третьих, за счет добровольного присоединения соседних кавказских народов к России, искавших защиты от турецкого и персидского ига.

Один из публицистов “Возрождения”, П.П. Муратов, с сожалением отмечал, что русская интеллигенция нередко стыдится слова “империя” применительно к России. Автор выразил по этому поводу недоумение и твердое убеждение, что “империалистическая идея остается жива, пока остается жива идея России”. Он назвал отрицательное отношение к слову “империя” “наивным до крайности для жителей Российской империи – величайшей и изумительнейшей Империи из всех, какие знал мир после Империи римлян”. По мнению автора, большевики не понимают, что тяга к России основывается не только на хозяйственной необходимости, но и на огромной притягательной силе русской культуры, она заставляет разноплеменных “россиянин” – “еврея, украинца, армянина, грузина, татарина, финна считать себя русскими”³¹.

Газета “Возрождение” не уходила от острого вопроса и о роли русского народа в строительстве российской государственности, который в искаженном виде подавался либеральными публицистами. В 1925 г. в Париже вышла книга эмигрантского публициста, поэта и

историка культуры А.А. Салтыкова “Две России”. Автор пытался доказать, что в русском народном характере живут две России: “Россия анархического хаоса и Россия государственного строительства”. Для того, чтобы Россия вышла на европейский путь, по мнению автора, необходимо было обуздать в ней русский хаос. Это, считает Салтыков, в России всегда делали только иностранцы. Он напоминает о варягах, которые будто бы “создали Киевскую Русь”, о немецкой слободе, которая якобы создала Москву, об иностранном окружении Петра, которое, по словам автора, построило Российскую империю. Даже в Смутное время, утверждал Салтыков, спас Россию поляк – “царь Владислав”, а не русские – Гермоген, Пожарский и Минин. Автор предлагал гражданам России называть себя не “русскими”, а “россиянами”, ибо первое название – показатель стремления к “темному этнизму”, а второе – показатель широкого “государственно-имперского мышления”. “Архаическое” слово “Русь”, по мнению Салтыкова, действовало разрушительно на империю.

Публицист “Возрождения” профессор А.Д. Билимович в одном из первых номеров газеты ответил на книгу Салтыкова большой статьей “Россиянин или русский?”, в которой выразил несогласие с основной идеей автора книги. Для Билимовича работа Салтыкова прозвучала глубоко неожиданным “поруганием той Руси”, за которую легло столько поколений русских людей, кровью которых и создана была именно Россия. Атаку Салтыкова на слово “русский” Билимович расценил как посягательство на этническую основу нации. Он напомнил, что государства в основном складывались и складываются по этническому принципу. И всегда были менее прочны, если в них не было этнически однородного ядра. Он пояснил: “Отдельные лица могут любить и государство, независимо от национальных чувств, но большие массы людей, долгие поколения этих масс, могут сердцем, а не умом, кровно любить лишь **национальное** государство, т.е. государство **своего народа**. Для него лишь они могут бескорыстно работать, за него лишь могут с радостью **умирать**”³².

Салтыкову казалось, что под именем “россиян” легче будет объединить нерусские народы с русским в одном государстве. Эту мысль Билимович называет наивной, ибо “самостийника” это, например, не остановит, так как именно от “России” он хочет отделиться и, следовательно, желает освободиться от имени “россиянин”. Гораздо более связующую силу Билимович видит в слове “русский”, нежели в слове “россиянин”: “Лишь первое обладает магической силой, способной не только спаять все 3 ветви русского народа, но и привлечь к нему, заставить себя почувствовать сродненными с русским народом малочисленные мелкие народности, населяющие Россию”³³. Билимович убежден, что Россия возникла, окрепла и устояла именно как “русская” Россия. Причем под словом “русская” здесь имелись в виду именно три ветви русского народа: великороссы, малороссы и белорусы. Такой подход исповедовало в начале ве-

ка большинство не только русских, но и украинских, и белорусских ученых.

Россия как государство зашаталась, считает Билимович, «когда начал выветриваться “русский” фундамент ее, когда наша интеллигенция, уважая национальные чувства всех народностей, стала стыдиться лишь своего “русского” национального чувства». Он совершенно не согласен с Салтыковым, что русский народ якобы не способен к самостоятельному государственному строительству и культурному творчеству. Исполнен глубокого пафоса его окончательный вывод по главному вопросу: «Нет двух России: России и Руси. Есть только одна: Россия-Русь. И те, кто любят Россию, любят ее потому, что она Россия-Русь. Не Русь, конечно, в смысле одной Московской Руси, а Русь в смысле того государства, пространства которого с незапамятных времен начали осваивать и в течение всей истории продолжали осваивать 3 ветви великого славянского народа, народа русского. Любят эту Россию потому, что чувствуют себя “русскими”»³⁴.

Надо заметить, что в связи с наличием в эмиграции значительного количества украинских сепаратистов, издававших немалое число своих органов, их деятельность получала критическое отражение на страницах “Возрождения”. Особенно внимателен к этой теме был В.В. Шульгин, коренной киевлянин по рождению, воспитанию и первым годам молодости. Статья “Чингисханство и берендейство” была написана им как ответ на присланное ему (на французском языке!) письмо украинского националиста, который аргументировал необходимость отделения Украины от России тем, что якобы “московская династия” глубоко антипатична Украине, что когда Украина была Русью, Московия Русью не была, что под названием “Россия” скрывается чуждое и вредное Украине лицо потомков Чингисхана – “лик основного врага западной цивилизации”, неуравновешенная, полуазиатская, полуюропейская душа. Украину же автор письма связывал с западноевропейской цивилизацией, с ее средиземноморской колыбелью.

Шульгин отвергает все эти домыслы и спрашивает в статье автора письма: «Скажите, что есть от Чингисхана в Петре Великом, прорубившем окно в Европу? В его дочери, Елизавете Петровне, взявшей себе супругом чистокровного хохла, Григория Розума? В Екатерине Великой, гениальной немке, которая была бы столь же на месте на любом из европейских престолов, сколь и в Петербурге? В тончайшем сфинксе Александре I, который в конечном итоге поборог гений Наполеона? В Николае I, духовно закованном в совершенно “рыцарственную кольчугу”? Что вы найдете от Чингисхана у Пушкина, у Грибоедова, Тургенева и у многих других выразителей общерусской, **но и северно-русской культуры**? Все это миф, дым, туман, который можно пускать на глаза и даже действовать им, как ядовитыми газами...»³⁵. В равной степени, считает Шульгин, украин-

цев можно было бы обвинить в берендейских атавизмах, ибо в древнерусских летописях часто повторяется, как тюркские кочевники шли на Русь ратью, войною (“заратишася на Русь”). Можно сказать, что возрождаясь в украинцах, они опять идут войною на Русь, стремясь стереть всякий след “русскости” в Малой (в греческом понимании, напоминает Шульгин) Руси. Отдельных людей, резюмирует Шульгин, можно обвинять в чингисханстве или берендействе, но не целые народы.

Через два месяца В.В. Шульгин вернулся на страницах “Возрождения” к теме украинского сепаратизма в статье “Семь”. Цифра в заголовке означала число стран, в то время проявлявших наибольшую заинтересованность в отделении Украины от России. Это – Италия, которая имеет в виду, что по берегам Черного моря было немало Генуэзских колоний и тоскует по ним. Это – Франция, которой хотелось бы иметь в тылу Германии сильного союзника, ибо на Россию в этой роли она больше не надеется. Это – Англия, которая усвоила заповедь Германии, что без аннексии Украины самое большое поражение России будет только легкой раной для нее. Это – Польша, которая желает самостоятельности Украины именно для того, чтобы она не была самостоятельной, а была бы составной частью Речи Посполитой, а также для того, чтобы иметь рынок сбыта для товаров своей промышленности, так как на Западе их не покупают. Это – Чехия, желание которой видеть Украину “самостоятельной” автору не ясны, и он считает, что оно непонятно даже для “знатоков” вопроса³⁶.

Отвечая на нападки издававшейся в Париже на украинском языке националистической газеты “Украинские вести” и на статью П. Королевича “Украинский вопрос”, опубликованную на страницах того же “Возрождения”, В.В. Шульгин выразил большую тревогу за судьбу России, если центробежные тенденции на ее территории возобладают. Он призвал развивать “сознание русскости юга” и решительно провозгласил, что только тогда за судьбу “Матушки-Руси” можно будет не сомневаться, что каждый житель Киевщины, Полтавщины и Черниговщины на вопрос, какой ты национальности, будет отвечать: “Я – дважды русский, потому что я украинец”³⁷. Мысль о том, что русский народ – это не только великороссы, но и украинцы и белорусы, что это именно три ветви единого народа, постоянно утверждалась на страницах газет под редакцией П.Б. Струве, да и большинства печатных органов, издававшихся в эмиграции. Сам Струве – выходец из обрусевшей немецкой семьи, горячий патриот России, искренне поддерживал в газете “Возрождение” и в других своих изданиях борьбу «против насильнической и злобствующей “украинизации”, направленной на искусственное разделение единого русского народа на два враждебных народа»³⁸.

Обсуждение вопроса о судьбе России как единого государства со своеобразным путем развития заметно обострилось в связи с появлением в эмиграции евразийской теории. Надо отметить, что оба по-

литических лагеря – и левоцентристский по главе с П.Н. Милюковым и правоцентристский под руководством П.Б. Струве – были едины в неприятии евразийской модели развития России. Но в полемике с евразийством акценты у “Последних новостей” и “Освобождения” были разные. Милюков и его сторонники не принимали в евразийстве, прежде всего, его тотальной критики европейского пути развития и стремления к отторжению России от “единой” западной модели цивилизации. Струве и его сподвижники направили основной публицистический огонь по евразийству против его “блудливо-го заигрывания” с большевизмом.

В “Последних новостях” наибольший интерес в плане критики евразийства представляет передовая статья в номере от 2 мая 1925 г. под названием “Третий максимализм”. Это была реакция газеты на четвертый номер “Евразийского временника” (Париж, 1925), на который тогда откликнулись многие органы периодической печати. Статья эта имеет, как и вся публицистика в этой газете, несколько наукообразный характер. Газета прежде всего отмечает неопределенность понятия “Евразия”: “...между Евразией наших евразийцев и западной частью Западной Европы можно было бы вклинить еще одну Евразию, а на Азиатском континенте, в случае желания, можно было бы отыскать еще одну Евразию... А между Германией и Россией можно было бы найти еще одну Евразию в виде западных губерний прежней России. Из подобных переходов состоит не только царство растительное и животное, но и царство антропогеографическое”. В связи с обнаруженным изъяном редакция делает вывод: «Евразия как ипостазированный “третий континент” есть печальное проявление того метафизического “реализма” (в противоположность научному “номинализму”), которым одержимы наши религиозные философы».

Газета Милюкова особое внимание сосредоточила на статье евразийца П.П. Сувчинского, в которой автор предложил это течение рассматривать как “третий максимализм”, в отличие от двух уже имеющих: коммунистического и реставрационно-монархического. Редакция “Последних новостей” не без иронии отметила, что давно увидела в евразийстве тот самый максимализм, против которого оно (евразийство) воевало с первых дней как против губительного качества русской интеллигенции. «Правда, – пишет автор передовой статьи, – максимализм “евразийства” имеет мало шансов так расцвести и приобрести такое огромное влияние на русскую интеллигенцию, какое имел максимализм старого типа». Здание, построенное “третьими максималистами”, редакция считает “не новым и неверным”. Газета Милюкова, опять-таки не без иронии, готова увидеть черты некоторой научности в том, что представители “третьего максимализма” помещают в Евразии особый, русский, культурно-исторический тип, отличный от славянского, ибо он отличается от последнего “туранским элементом”. Однако, отмечает редакция, куль-

турно-исторические типы у евразийцев не имеют стадий развития, и этим евразийцы представляют регресс, по сравнению с их учителем Константином Леонтьевым. Но главный порок евразийского учения, как и следовало ожидать от либерально-западного и атеистического органа, редакция увидела в отрицании им концепции непрерывного прогресса единой (читай: западноевропейской) цивилизации, “в претензии” заменить большевистский примат экономики приматом православной религии над экономикой.

В газетах Струве “Возрождение”, “Россия”, “Россия и славянство” евразийство было подвергнуто критике, прежде всего, в политическом плане. Статьи самого Струве против евразийства написаны в памфлетном стиле. Так, в статье “Евразийское суесловие” он называет евразийство духовной болезнью русской интеллигенции, порожденной большевизмом: «Разлагающийся труп большевистского коммунизма своими ядами и зловониями глубоко отравил русскую, неисправимо мечтательную, вечно блуждающую и скверно-блудящую “интеллигентскую” мысль. И вот политический разврат и бытовой соблазн большевизма обернулся чем же? Словесным блюдом евразийства»³⁹. Совпадение с большевизмом он видит в критике евразийцами капитализма и в их призыве к борьбе за освобождение “угнетенных и обездоленных” – будь то отдельные люди, классы или целые народы. В связи с выходом еженедельника “Евразия” Струве выступил в газете “Россия” (№ 2, 8 декабря 1928 г.) в своем сериале “Дневник политика” со статьей «“Идеократия” или евразийское марево». Материалы еженедельника, пишет Струве, показали ему, что данная им ранее характеристика евразийцев как “православных большевиков” полностью подтвердилась. Струве находит, что если раньше в евразийстве боролись две стихии: антибольшевистская и пробольшевистская, то в этом сборнике вторая явно возоблудала. Теперь, по его мнению, евразийство следует оценить как разновидность большевистского “ревизионизма”, как бы самое правое крыло оппозиции в большевизме, практически приемляющее советский строй, но желающее его по-новому обосновать и подвергнуть ремонту. Доказательства Струве находит в статье Н.С. Трубецкого, который приемлет в советском строе “идеократию” как форму этого строя, отвергая марксизм и диктатуру пролетариата как ее содержание. Струве возмущен, что Трубецкой отмечает как положительный факт – отсутствие в СССР благодаря “идеократии” борьбы рабочих с работодателями, которую ведут рабочие в Европе и Америке. Струве не без сарказма напоминает, что “знаменитое государство иезуитов в Парагвае, где кучка политических монахов господствовала над тысячами индейцев-земледельцев”, была тоже ярким примером “идеократии”. И еще одно сходство улавливает Струве у евразийства с большевизмом: евразийство не упоминает о русском крестьянстве, оно “как бы не видит ни исторического места, ни социального значения крестьянства”. По мнению Струве, в этом проявляется идейное

приспособление евразийцев к псевдомарксистской идеологии восторженствовавшего в 1917 г. большевизма, которым “крестьянство” мыслится не как субъект, не как деятель, а как объект, как некий предмет начальственного попечения “идеократов”.

Очевидно, Струве придавал очень большое значение развенчанию евразийства, полагая, что распространение евразийских идей может пагубно сказаться на судьбе России. Не случайно руководимая им газета “Возрождение” повела настоящую кампанию против этого течения эмигрантской общественной мысли. В 1925–1926 гг., кроме выступлений самого Струве, в газете было опубликовано три статьи В.В. Шульгина: “Евразийство” (1925, № 9), “Злость” (1926, № 561), “Чингис-ханчики” (1926, № 562), статья И.Д. Гримма “Евразийцы и белое движение” (1925, № 20) и другие.

В своем протесте против евразийства Струве исходил из того, что Россия должна быть больше европейской державой, чем азиатской. Во всяком случае, считал он, она не должна отворачиваться от европейской цивилизации или изолироваться от нее, но должна сохранять при этом свое лицо. Он также исходил из того, что Россия — прежде всего, часть славянского, а не туранского мира, и придавал большое значение единению славян, как фактору, играющему важную роль в судьбе России и каждого славянского государства в отдельности. Речь шла не об обособленности славян и, тем более, не о претензии на его мессианство в мире, а о самосохранении, бережном отношении к его общим этническим корням, тесном взаимодействии, об укреплении политических, экономических и особенно культурных связей, без всякого посягательства со стороны России на суверенитет той или иной славянской страны. Именно на это было нацелено издание газеты “Россия и славянство”, которая сменила газету “Россия” и выходила при ближайшем участии П.Б. Струве, несмотря на то, что она издавалась в Париже, а он в эти годы (1928–1934) жил в Белграде. В своих первых номерах редакция решительно подчеркивала: мы против местничества в славянском мире, но также и против насильственной гегемонии и империализма по отношению к славянству⁴⁰. В сложное время различных коллизий во взаимоотношениях между славянами газете удавалось успешно проводить эту установку в жизнь. Во многом этому способствовали задававшие тон газете статьи П.Б. Струве, которых в 233 номерах газеты было опубликовано 114, не считая периодически появлявшихся его публицистических заметок “Дневник политика”.

Газета Милюкова “Последние новости”, разумеется, в своей критике никогда не обращалась к идеям славянского единства, а потому участие Струве в издании газеты “Россия и славянство” было расценено ею без каких-либо доказательств как проявление славянофильства Струве, от которого он всегда отмежевывался.

Наибольшей остроты споры между различными периодическими изданиями в эмиграции достигали по вопросам о причинах рево-

люционных событий 1917 г., о причинах поражения Белой армии, о способах борьбы с большевистским режимом, за возрождение России. Особая острота этих дискуссий объяснялась тем, что это были споры уже не столько о судьбе России, сколько о судьбе самих споров, ибо большинство из них были непосредственными и активными участниками или даже, в известной степени, творцами указанных событий, видели себя в этой роли и в будущем.

Крайне правые, монархические органы печати и Февраль и Октябрь 1917 г. оценивали как незаконные перевороты, учиненные заговорщиками. Социалисты и различные крайне левые группировки оба события оценивали как закономерные революции. Сторонники и Милюкова, и Струве склонны были Февраль называть революцией, а Октябрь переворотом. Но в оценке причин, значения и последствий того и другого события милюковцы и струвисты резко расходились. Дискуссии вокруг этих событий с особой остротой возобновлялись в каждую новую их годовщину.

Например, на четырехлетнюю годовщину февральской революции Милюков отозвался в “Последних новостях” большой статьей “Как пришла революция?”. Автор писал весьма положительно об этой революции: “Приобретения революции для нас не фраза, а реальность... и день 27 февраля 1917 года для нас есть новая эра русской истории и день всенародного национального праздника”. Милюков специально подчеркнул, что это была именно революция, а не переворот, который заранее замыслился. Он находит главную причину ее в том, что власть видела во вполне лояльной оппозиции только врагов и не хотела ни в чем уступать ей. В последний раз Государственная дума бросила “спасательный пояс” тонущей династии в виде “прогрессивного блока”. Результат оказался прямо противоположным: в отставку были отправлены министры, пытавшиеся просто заговорить с этим блоком. Восторжествовало, с досадой отмечает Милюков, мнение Распутина и императрицы, которая постоянно напоминала Николаю II, что уступки погубили Людовика XVI и Марию Антуанетту.

Милюков не сбрасывает со счета и германскую карту. Он признает, что уже в начале 1915 г. секретными германскими документами рекомендовалась пропаганда революционных вспышек и разложения войск в России, что “какие-то неведомые силы” с первых дней революции добивались разложения армии и занимались пропагандой мира. Он считает необходимым напомнить читателям, что “союз Германии с Циммервальдом – старее “запломбированного вагона и семидесяти миллионов Ленина”. Резюме Милюкова о происхождении революции: она совершилась в результате целого комплекса причин как “сложное явление, сотканное из глупости и близорукости старого режима, недовольства страны, ненависти угнетенных классов, энтузиазма революционной молодежи, полицейской провокации и неприятельской интриги”. Отсюда окончательный вывод

Милюкова об отношении к революции: “Каково бы ни было ее происхождение, мы ее приемлем, ибо с ней пришла развязка, ликвидация той старой России, против которой мы боролись всю жизнь и которая привела Россию к катастрофе. Приобретения этой революции для нас не фраза, а реальность”⁴¹.

Точка зрения Струве на февральскую революцию предельно ясно выражена в опубликованной им в том же году брошюре “Размышления о русской революции”. Он и его сторонники постоянно приводили ее затем на страницах разных периодических изданий. Вот ее суть: “Мы потерпели крушение государства от недостатка национального сознания в интеллигенции и в народе. Мы жили так долго под щитом крепчайшей государственности, что перестали чувствовать эту государственность и нашу ответственность за нее... Единственное спасение для нас – в восстановлении государства через возрождение национального сознания. После того, как толпы метались в дикой погоне за своим личным благополучием и в этой погоне разрушали историческое достояние предков, нам ничего не остается, как сплотиться во имя государственной и национальной идеи. Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай забвения национальной идеи мозгом нации”⁴².

Это не значит, что Струве всю вину за “катастрофу” возлагал только на безнациональную часть российской интеллигенции и целиком снимал ответственность за нее с монархической власти. В статье “Два пагубных заблуждения”, опубликованной в “Возрождении” к десятилетию февральской революции, Струве одно заблуждение адресует “прогрессивному общественному мнению”, которое, подталкивая народ к революции, не учитывало ни ее возможности, ни малочисленности и слабости “прогрессистов” для того, чтобы ей противостоять. А другое заблуждение числит непосредственно за властью: “Она духовно и морально изолировала себя, предаваясь прямо нелепой вере в свое всемогущество. Духовное одиночество власти, предпочитавшей в рядах бюрократии Штюмерера, Протопопова и тому подобных лиц Сазонову, Коковцеву и Кривошеину, сыграло огромную психологическую роль в пользу революции”. Заблуждения недавнего прошлого, по мнению Струве, в каком-то “окарикатуренном виде” повторяются в эмиграции, и в частности: “В соглашательстве Милюкова (с социалистическими группами. – Б.Б.) воскресает недавнее непонимание того, что противонациональные революции хуже и опаснее всякой революции”⁴³.

Как видим, разница между оценками февральской революции в публицистике Милюкова и Струве огромна. Милюков считал эту революцию замечательной реальностью, открывшей новую эру в истории России. День 27 февраля предлагал отмечать как всенародный праздник. Причину революции видел в глупости и близорукости старого режима, в “катастрофе”, которой он довел страну, как и

большевики – в “ненависти угнетенных классов”. Струве “катастрофой” считал саму революцию, главную причину ее усматривал в безнациональности российской интеллигенции, в отсутствии в ее поведении, особенно в отношении к государству, национального самосознания. Милюков видел будущее России в развитии ее на основе завоеваний февральской революции. Струве видел это будущее на основе того фундамента, который был заложен конституционной и другими реформами в период 1906–1914 гг. Милюков видел будущую Россию парламентской республикой западноевропейского образца, а Струве допускал возможность конституционной монархии, но только в том случае, если царь будет из народа, “мужицким”⁴⁴. Правда, Струве и его сторонники в ответ на обвинения их со стороны милюковцев в монархизме неоднократно заявляли, что они не хотят предрешать политического строя России после обвала большевизма – народ сам решит, каким этому устройству быть.

Диаметрально противоположной была трактовка двумя политиками и публицистами и характера Белого движения, причин его поражения и перспектив.

Газета Милюкова исходила из того, что провал Белого движения явился в первую очередь следствием его попытки перерешить аграрный вопрос в интересах помещичьего класса, а это оттолкнуло от него крестьян. Остальное население, и прежде всего интеллигенция, по мнению газеты, отшатнулись от него из-за насаждения в подвластных ему районах старых военно-бюрократических порядков. А национальные окраины не поддержали его из-за преобладания в его среде “узконационалистических” и “шовинистических” позиций. И вообще, по мнению Милюкова и его сторонников, Белое движение боролось за восстановление монархии, которая была уже непопулярна в народной массе. А в эмиграции, считал Милюков, Белое движение приобрело особенно реакционный характер, ибо связывало свою конечную цель с окончательно похороненной монархией. Легко заметить, что эта интерпретация почти полностью совпадала с большевистской трактовкой поражения Белого движения.

Струве категорически отвергал версию Милюкова о том, что все идейные сторонники Белого движения, а тем более его вожди относились к числу реставраторов монархии. Даже военных лидеров этого движения, таких как М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.В. Колчак, Струве не склонен относить к категории монархистов. Скорее все они, считает он, в той или иной степени стояли на почве февральской революции. А уже тем более гражданское окружение, членов правительства при штабе Деникина и в Крыму при штабе Врангеля Струве не относит к монархистам. В этом окружении, в котором не последнее место занимал сам Струве, по его мнению, ни в один момент “не возобладала полностью и прямо монархическая идея, в какой ее выразителем в эпоху Керенского был сам... П.Н. Милюков”⁴⁵. Струве был уверен, что “Белое движение провалилось (впрочем, по его убе-

ждению, только временно. — Б.Б.) и большевизм восторжествовал только в силу ряда частных, случайных тактических ошибок вождей Белого движения”⁴⁶. Другой причиной он считал раскол в антибольшевистских рядах, подрыв Белого фронта разного рода левыми силами, которые выступали под лозунгом: ни Ленин, ни Колчак.

Отношение к установившемуся в России большевистскому режиму со стороны разных эмигрантских политических течений и их печатных органов было, можно сказать, в основном в той или иной степени враждебным, но, разумеется, выражалось оно и аргументировалось неодинаково. Читатели, естественно, с особым вниманием прислушивались к голосу наиболее известных политиков и публицистов — П.Н. Милюкова и П.Б. Струве.

Милюков считал, что при большевиках произошли некоторые позитивные социально-экономические перемены, и эти перемены сохранятся даже после падения Советской власти. Один из ведущих публицистов газеты “Последние новости”, когда редактором ее уже был Милюков, прямо заявлял, “что буржуазно-капиталистические отношения, если воскреснут, то не в чистом виде”⁴⁷. Милюков категорически выступал против нового “белого похода”, и тем более с помощью иностранных государств, для свержения большевистского режима. Он считал, что надо ждать, когда Россия освободит себя изнутри. Больше надежды при этом он возлагал на деятельность внутри Советской России так называемого “Всероссийского крестьянского союза” под руководством некоего М.Е. Акацатова, якобы подготовлявшего восстание против Советской власти. Но даже в эмигрантской печати эту “подпольную” организацию и ее вождя относили к разряду мифических⁴⁸.

П.Б. Струве и его сторонники были более непримиримы. В одном из своих “Дневников политика” Струве заявил: “Мы считали и считаем, что советская власть есть хроническая гражданская война против настоящей России”⁴⁹. Поэтому он выступал за активную борьбу с большевизмом, не исключал и вероятного вторжения Белой армии на территорию Советской России. Но при этом так же, как и Милюков, отклонял возможность участия в таких действиях иностранных государств, проявив на деле эту позицию в годы второй мировой войны. По словам С.Л. Франка, Струве “без колебания, без малейшего духовного и умственного смущения, осознал себя участником Великой Отечественной войны”⁵⁰. Чувство родины перевешивало в нем в эти годы, как и в Милюкове, негативное отношение к большевизму, но не изменило его оценку социализма как несомненной утопии. И Милюков, и Струве провозглашали экономическую целесообразность системы частного предпринимательства.

Оба политика были уверены, что перемены в России произойдут скоро (П.Б. Струве — особенно). Но они наступили лишь спустя столетия после их ухода из жизни: историческое время, как известно, имеет другие масштабы измерения, чем человеческая жизнь.

- ¹ *Раев Марк.* Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919–1939. М., 1994. С. 96–97.
- ² *Нольде Б.Э.* Заграничная Россия // Последние новости. 1920. № 1.
- ³ *Мещеряков Н.Л.* Наши за границей // Красная новь. 1921. № 1. С. 275.
- ⁴ *Постников С.П.* (Введение). Политика, идеология, быт и ученые труды русской эмиграции: 1918–1945. Нью-Йорк, 1993. Т. 1. С. 4, 7.
- ⁵ *Раев М.* Указ. соч. С. 107.
- ⁶ Возрождение. 1925. № 10. С. 2.
- ⁷ Последние новости. 1925. № 1503. С. 2.
- ⁸ *Александровский Б.Н.* Из пережитого в чужих краях. М., 1969. С. 73, 223.
- ⁹ *Любимов Л.* На чужбине. М., 1963. С. 245.
- ¹⁰ Россия. 1927. № 1. С. 2; № 3. С. 2.
- ¹¹ *Мейснер Д.И.* Миражи и действительность: Записки эмигранта. М., 1966. С. 152.
- ¹² По данным С.П. Постникова, эсеров во всех странах было 130, левых эсеров – 3–4 человека, социал-демократов-меньшевиков – 80. См.: *Постников С.П.* Указ. соч. С. 5.
- ¹³ *Чириков Е.Н.* О новой русской интеллигенции // Возрождение. 1925. № 10. С. 2.
- ¹⁴ Красная новь. 1921. № 3. С. 259.
- ¹⁵ *Бобринцев-Пушкин А.В.* Война без перчаток. Л., 1925. С. 52.
- ¹⁶ Последние новости. 1921. № 346. С. 2.
- ¹⁷ Красная новь. 1921. № 1. С. 281.
- ¹⁸ *Ковалевский П.Е.* Зарубежная Россия. Париж, 1971. С. 25.
- ¹⁹ *Мирский Бор.* Rossica // Последние новости. 1920. № 25. С. 2.
- ²⁰ Последние новости. 1920. № 41. С. 2.
- ²¹ Там же. 1926. № 1459. С. 3.
- ²² Русь. № 353. С. 1.
- ²³ Возрождение. 1926. № 561. С. 2.
- ²⁴ *Гримм И.Д.* Евразийцы и белое движение // Возрождение. 1925. № 21. С. 3.
- ²⁵ *Зайцев К.И.* Русская культура и советское иго // Россия. 1927. № 11. С. 4.
- ²⁶ Последние новости”. 1925. № 1570. С. 1.
- ²⁷ Там же. 1921. № 276. С. 2.
- ²⁸ *Струве П.Б.* Освобождение и Возрождение // Возрождение. 1925. № 1. С. 1.
- ²⁹ Он же. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 455.
- ³⁰ *Ильин И.А.* Кто мы? // Возрождение. 1925. № 2. С. 1.
- ³¹ Возрождение. 1927. № 838. С. 2, 3.
- ³² Там же. 1925. № 5. С. 3.
- ³³ Там же.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ Там же. 1927. № 614. С. 3.
- ³⁶ Там же. 1927. № 668. С. 2.
- ³⁷ *Шульгин В.* Матушка-Русь // Возрождение. 1927. № 626. С. 3.
- ³⁸ *Струве П.* Дневник политика: К украинскому вопросу // Там же. С. 1.
- ³⁹ Россия. 1927. № 6. С. 1.
- ⁴⁰ Россия и славянство. 1928. № 4. С. 1.
- ⁴¹ Последние новости, 1921. № 274. С. 2.
- ⁴² *Струве П.Б.* Размышления о русской революции. София, 1921. С. 17.
- ⁴³ Возрождение. 1927. № 632. С. 1.
- ⁴⁴ Там же. 1926. № 567. С. 1.
- ⁴⁵ Возрождение. 1925. № 6. С. 1.

⁴⁶ Франк С.Л. Биография П.Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 129.

⁴⁷ Ст. Иванович. (*Португейс С.О.*). Будущая Россия // Последние новости. 1921. № 351. С. 2.

⁴⁸ Амфитеатров А.В. Дикое поле // Возрождение. 1925. № 26. С. 2.

⁴⁹ Возрождение. 1925. № 33. С. 1.

⁵⁰ Струве П.Б. *Patriotica*... С. 487.

Т.В. Марченко

СУДЬБА РОССИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Запечатлеть изменчивый лик истории – задача для литературы не просто захватывающе увлекательная, но и поучительная. Появление в начале XIX в. “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина стало событием культурной жизни не только потому, что заново открывало пласты древней восточнославянской и собственно русской истории, развивало неведомый дотоле свиток имен, событий, великих деяний и бесславных поступков, но и потому, что систематизированные в громадном труде факты отечественной истории своим богатством и неоднозначностью истолкования заставляли задуматься и над “неизъяснимою прелестью” (Н. Тургенев) истории, и над историческими судьбами страны и народа. Обращаясь к истории как к неиссякающему источнику, литература, противопоставляя интуицию вымысла строгости научного познания, заглядывала в бездну минувшего, устанавливая причинно-следственную связь между прошлым, настоящим и будущим, прослеживая судьбу нации.

Писатели XIX в. почувствовали ход отечественной истории, осознали ее движение во времени, поступательность этого движения. Они жили в эпоху ожидания великих исторических свершений в России, надежд на ее “пробуждение”, пытались проникнуть в тайну ее неведомого грядущего: “Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!... Не дает ответа”. Со времени, когда декабристы-романтики рылись в томах карамзинской “Истории” в поисках героических характеров, а Пушкин провидчески извлек из нее пример столкновения народа и власти в период смуты и пагубных последствий этой смуты для государства; со времени, когда русская публика зачитывалась историческими романами Загоскина, Лажечникова, А.К. Толстого, а великий однофамилец последнего, создав портрет эпохи, проник в самые сущностные глубины бытия народа, – словом, с того благословенного времени, когда писатели заглядывали в прошлое в поисках ответов на насущные вопросы современности, история ворвалась в будущее, когда отдаленные утопические прогнозы стали реальным, свершившимся фактом.

События 1917 г. в России нарушили поступательный ход развития истории. Раскололось русское общество, и “великий исход” нескольких миллионов бывших граждан громадной российской империи предопределил разделение русской литературы XX в. на два потока. Традиции развития литературы, преемственность поколений отступали перед новой реальностью, мощно вторгавшейся на страницы художественных произведений. Грандиозный социально-политический эксперимент, поставленный над страной, стал экспериментом и над литературой: одни писатели остались на родной земле, со своим народом, но под гнетом жесточайшей диктатуры (живя, “под собою не чуя страны”), в условиях строжайшей цензуры и регламентации творчества, в том числе на уровне эстетическом и языковом; другие, теряя прямую связь с родной культурой и языком, с “русской человечинной” (И. Бунин), работали в условиях полной внутренней свободы.

Исход из России сместил привычные эстетические координаты, по которым, если говорить с известной долей упрощения, шло развитие литературы. В одном духовном пространстве оказались писатели, принадлежавшие к различным, подчас полярным направлениям... В результате прежние эстетические границы и каноны оказались размытыми и многое из прежних заветов решительно пересмотрено. К тому же общее горе эмиграции стало для каждого писателя-изгнанника глубоко личной трагедией, вызвало у многих растерянность, переживания от бытовых тягот и горьких воспоминаний, апатию и творческий спад¹. Почти сразу в литературе русского зарубежья обозначилась жанровая доминанта мемуаристики, художественной автобиографии, документальной прозы, что было связано с естественным желанием осмыслить произошедшую в России катастрофу и поведать миру о собственных страданиях и мытарствах в “окаянные дни” революции и гражданской войны.

За границей оказались люди разных социальных слоев, даже среди профессиональных литераторов чувствовался этот привкус сословности (выходцы из мещан, купцов, казаков, дворян разных городов и местностей, они составляли демократичную среду литературы рубежа веков), разных политических убеждений и партийной принадлежности. При широчайшем спектре противоречивых точек зрения, мнений, оценок, симпатий и антипатий, в условиях независимости творчества от властных структур нужно было ожидать споров и об исторических путях России, и об отражении этой темы в литературе. Эмигранты, “сев на пищу святого Антуана” (И. Сургучев), оказавшись в тяжелейших условиях плохо налаженного быта и не всегда имевшие возможность от него отрешиться, были, между тем, непосредственными участниками или свидетелями самой истории, слушали “музыку революции”, их оведало дыхание “времени и судьбы”; в хаосе, в “кровавой мути”; сквозь жуткое и жалкое они прозревали действие великих сил, управляющих народами. Поэтому сме-

шение частных, обыденных, глубоко личностных подробностей с обобщениями самого высокого порядка становится характерной чертой русской зарубежной литературы.

Меняется само понимание истории и отношение к ней. Общение с историей писателей-эмигрантов было предопределено сущностью того культурно-исторического феномена, каким являлось в 1920–1930-е годы русское зарубежье. Особая жизненная и творческая ситуация влияла и на критерии отбора фактического материала, и на тягу к тем или иным эпохам и личностям, и на сами предлагаемые версии исторического прошлого России.

Важно и другое – ощущение сопричастности истории, личного отношения автора к описываемым событиям и героям, позиция сопереживания при перелистывании страниц отечественной истории. Чувство кровной связи не терялось, а, напротив, обострялось в условиях русского рассеяния. Ведь история была не менее притягательна и для европейских писателей XX в. В прошлое, как в “колодец глубины несказанной”, вернее, “просто бездонный”, погружается, в частности, один из самых глубоких писателей XX в. – Т. Манн. В романе “Иосиф и его братья” он пытается прикоснуться ко времени, ставшем предысторией для христианского мира и христианского сознания, прологом к началу новой эры. Однако обращение к мифу не дает писателю полноты ощущения исторической глубины: “Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы... то, что не поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неумностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого... Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев определяется условной отправной точкой, и хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоисточке, довольствуясь какими-то определенными, национальными и личными, историческими пределами”².

Для писателей-эмигрантов этот исторический предел (в котором национальное удивительно не отделялось от личного) был предельно ясен. “Мнимые рубежи” теряли ценность рядом с истинным *рубежом*, рядом с *безусловной* “отправной точкой”. Судьба России, неотделимая от судьбы частного человека, мучительный поиск смысла в веках минувшего и размышления над закономерностью подобного исторического итога оказывались в центре художественного осмысления писателей-эмигрантов. Мир ушедшей России – вот что неотступно волнует умы бывших россиян, воспринимавших 1917 г. как конец истории (или как начало скорого конца). К прошлому обращаются в поисках мудрости, в нем пытаются обрести на-

дежду, оно – единственная прочная связь с родиной. Сам же эмигрант в краткости своего исторического бытования совершает лишь “переход по жердочке между вечностями прошлого и будущего” (М. Осоргин).

За “рубежом” – историческим и символическим – переосмыслилось многое и обретало новый, неожиданный смысл. Теряли безусловность истины прежние литературные постулаты: “Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые”, исчезла ирония из определения “исторический человек”. В переломные для отечества времена огромный народ волей или неволей стал участником истории, не было обывателя, которого нельзя было бы с полным правом называть человеком историческим. Литература пропитывалась горечью, наполнялась апокалиптическими картинами и трагическим мироощущением, близким тому, с каким повествовал древний сказитель о бесславном походе Игоря, о гибели его “полка” и о его пленении. Только у русского беженца XX в. не было ждущей его на родной земле Ярославны.

Историческая судьба России, пропущенная через индивидуальное мировосприятие, – вот центральная тема литературы русского зарубежья. “Наше поколение, хотя порою и завидующее мертвецам, все же самое интересное, что появлялось в русской истории, – утверждал живущий тяжело даже по эмигрантским меркам известный прозаик и драматург начала века Илья Сургучев. – ... И если бы мне предстояло еще раз явиться на земле и если бы в царстве неродившихся душ мне сказали бы, что в моей новой земной судьбе снова будут и война, и революция, и эмиграция, – я принял бы их без всякого колебания”³. Проклиная свою судьбу, вспоминая оставленную Россию в чужом и чуждом мире, стремились понять, “какую чашу расплескали!” (И. Шмелев), как пустили разразившейся катастрофе.

Тот же И. Сургучев определил формирование нового взгляда на оставленную Россию как освобождение от зашоренности, от предвзятых представлений, от психологии “хмурых людей”, которые, наконец, “протерли глаза” и «стали отдавать себе отчет: “Черт возьми! Да почему мы, собственно, были так недовольны Россией? Что, собственно, в ней, по сравнению с Европой, было плохого?” Если даже согласиться с Митрофанами, что свободы было мало, то уж, черт возьми, независимости-то у нас было много. Правительство ошибалось? Ошибалось. Бывали бездарные министры? Бывали. Но, брат мой, страдающий брат, выдь на Волгу и укажи мне такую обитель, где правительства не ошибаются и где все министры – с гением на челе? Полиция била в участках? Била. А укажи мне такие великие демократии, где полиция по головке гладит мордоччителей? Но суд наш – лучший в мире, и на глазах русской Фемиды повязка была не из марли, а голландского полотна! Жизнь была дешева, просторна, работай, кто хочет, русский ты или иностранец, не спрашивали. А железные дороги? А волжские пароходы? А университеты? А нау-

ка? А печать? ... А деньги? А мой батюшка рубль? Э-эх! А возьмешься за литературу, голова кружится. Панихида. Надгробные рыдания. Скучные люди, хмурые люди, тяжелые люди. Откуда? В чем дело?»⁴ Именно это постепенно приходящее прозрение заставляет писателей эмиграции обращаться к разным периодам развития России, доискиваться причин постигнутого ее краха.

Создание целостной картины исторического бытия России самим литераторам русского зарубежья казалось целью недостижимой. Даже выделение темы исторической судьбы русского государства, места и роли русского народа в мировой истории как главенствующей не проступало с несомненностью в периодике и книгах тех лет. Эмигрантская литература представлялась современникам раздробленным процессом, сосуществованием “разрозненных, друг другу противоречащих течений, самых различных настроений, отдельных миров или мирков в сознании каждого отдельного писателя”⁵. Но при всей пестроте и сложности русской политической и философской мысли она неизбежно концентрировалась вокруг двух заведомых полюсов, условно определяемых как “правые” и “левые”. Первые были убежденными монархистами, носителями православного сознания, тесно связаны с “белой идеей”. Вторые, среди которых большинство составляли эсеры, – носители либерально-демократических воззрений, участники “освободительного движения в России”, принимавшие самое активное участие в раскачивании лодки российской государственности и свержении царизма. Противостояние, непримиримость позиций сказывались не только в резких газетных выступлениях, в острой публицистике, не чурающейся желчных, ядовитых ярлыков (с одной стороны, клеймили прозвищем “большевизан”, с другой – обвиняли в “полициейшине” и “черносотенстве”). Гораздо сложнее обстояло дело с индивидуальным мировоззрением художника, с его концепцией мира и человека, России и истории, в условиях эмиграции обычно приобретающими черты консерватизма.

Сиюминутность политических баталий отступала перед мировоззренческими ценностями: монархисты и эсеры были одинаково бесправны перед советской властью, но православная вера не могла примириться с законченным атеизмом. Так, освященный почти тысячелетним светом веры облик шмелевской России не мог найти сочувственного отклика у Адамовича, брызжавшего по поводу “солёночки на сковороде”. Еще более суровая судьба (по сравнению с недоброжелательным отзывом литературного оппонента) постигла роман Шмелева “Солдаты”. Один из очевидцев травли Шмелева в “Современных записках” – В. Рудинский – не просто поведал об этом неблагоприятном эпизоде из жизни литературной эмиграции, но и верно указал на причину враждебных отношений к писателю со стороны редакции “Современных записок”. Темы, сюжеты, образы произведений Шмелева неотделимы от православия, причем право-

славия “не отвлеченного, не увязанного с марксизмом... а того истонного, кондового, наполняющего жизнь и само по себе являющегося политической программой, какое для левой интеллигенции неприемлемо никак”⁶. Роман, названный главным редактором “Современных записок” “нестерпимо пахнувшим” духом “полицейщины черносотенной”, остался незавершенным: глубоко задетый автор отказался от воплощения этого “замечательного по замыслу” произведения.

И это не частный эпизод журнальной полемики: не состоялась книга, в которой должна была прозвучать правда о старой России, что само по себе было вызовом и обвинением леворадикальной публике, целенаправленно эту Россию уничтожавшей. “Именно такой роман – художественная правда о старой России и о революции, о ее кознях, необходим нам сейчас и вдвойне будет необходим в будущем России”, – сокрушается о невозвратной потере мемуарист. Его свидетельство позволяет установить существенную особенность литературных размышлений о судьбах России в эмиграции: у одних творческий поиск был направлен на оправдание революции; для других создание одухотворенного образа старой России означало ее оправдание перед преступлением революции. Важно было то, что “Шмелев осмелился защищать историческую Россию против революции. Этого ему простить не могли”⁷. Постепенно, однако, нарастало стремление у литераторов и публицистов столь непримиримых позиций сохранить верность объективной истине, установить ее под напластованиями времени, лжи, подтасовок, с бесстрашием истории воспринимать революцию как неизбежную закономерность и с мужеством гражданина – как возмездие.

Новизна и сложность задач, вставших перед литературой, необходимость во многом работать для будущего в условиях отрыва от отечественного читателя определяли и ту меру ответственности, которую брали на себя писатели-эмигранты. “Мы не в изгнании, мы в послании”, – эта известная формула эмигрантской литературы определяла ее существование и оправдывала ее как “коллективное послание” грядущей России. “Вот и поплыли эмигрантские корабли, – с грустным лиризмом оглядывался на опыт зарубежной литературы один из ее столпов Б. Зайцев. – ...С чем прибыли, то и распространяли эмигрантские писатели: главное в этом было – Россия”⁸. Художественно же тема эта разрабатывалась в трех направлениях: историческое прошлое России, Россия в своем предреволюционном состоянии (“утраченная Россия”) и годы гражданской войны и революции, т.е. история недавнего прошлого.

Жанр исторической романистики, со своеобразным сочетанием строгой документалистики, мистики и лиризма, представлен в литературе русской эмиграции рядом интересных имен: М. Алданов, П. Краснов, И. Лукаш, М. Осоргин, М. Каратеев. Каждый из этих писателей обладал собственным “коньком” в исторической

беллетристике – например, Алданов тяготел к политическим вопросам, любил составлять прогнозы, Осоргин был больше известен своей любовью к русской древности; если в романах Краснова всегда превалировала приключенческая сторона, то в романах Лукаша элементы мистической фантастики неотделимы от исторической правды. Краснов, Лукаш, Каратеев, до сих пор столь мало известные на родине, – это писатели почвеннической ориентации и православных воззрений; какими бы ни были их взгляды на настоящее России, славное и великое прошлое их отечества наполняло их сочинения естественной гордостью патриота и гражданина и заставляло задуматься над трагическим финалом российской империи. Казалось, они свято следовали завету Карамзина: “Историк должен ликовать и горевать со своим народом... он, может, даже должен все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом может он сделаться национальным бытописателем, чем прежде всего должен быть историк”⁹.

Народность, вбивавшая в себя патриотичность, национальную гордость и гражданский пафос, составляла лучшее качество исторической прозы П. Краснова. Легкость и размахистость повествовательного стиля писателя, выразительность и пластичность образов, приподнятость тона, умение не просто воссоздать исторический колорит, но заразить читателя своей увлеченностью, вызвать в нем эмоциональный отклик – эти особенности его произведений происходили, видимо, из того, что Краснов сам являл собой тип деятельного энергичного человека – путешественника, казачьего атамана, военачальника. И в истории Краснова привлекают завоевания, эпоха становления русского царства. Ощущая драматизм истории и давая своему двухтомному роману исполненный экклезиастовой мудрости заголовок “Все проходит”, писатель посвящает свое повествование истории взятия и укрепления казаками Азова как части русского царства. Достоверные сведения неотделимы в книге от атрибутики авантюрно-приключенческого романа с элементами мелодрамы. Герой романа “Все проходит”, молодой воин Костя Бояринов, поступающий на службу к казакам, – романтик, чьи мечтания связаны с упрочением родной страны, защитник отечества, чьи надежды на личное счастье гибнут, но его индивидуалистические стремления, его воля сливаются с коллективной волей казачества, всего народа. П. Краснов открыто проповедует свои монархические воззрения: только самодержавие является для него приемлемой формой правления, как армия, казачество являются оплотом страны и залогом ее мощи.

Не идеализируя прошлого, раскрывая тяжкие, страшные стороны жизни эпохи трехвековой давности, П. Краснов утверждал, что только централизованная царская власть была способна к мудрому и

справедливому управлению. Оценивая минувшее, Краснов в будущем видит возвращение к законной форме власти. Сквозь прозрачные метафоры его стиля очевидно, что составляло его государственно-политический идеал. Он словно вместе с казачьим атаманом вглядывается в даль, откуда должен показаться царь Михаил Федорович: “Там все еще был туман. Постепенно в том тумане обозначилось мутное, серое, прозрачное пятно. Оно приближалось ровно, не быстро и не медленно, и вдруг, точно по чьему-то велению, туман разорвался, взмыл плоскими белесыми волнами вверх и растаял. В синем небе, в ослепительном сиянии солнца, светившего прямо в лицо Ивану Наумычу, словно одетый лучезарным блистанием, показался Царь, окруженный стрельцами и боярами. ... Он был впереди всех, и Ивану Наумычу казалось, что это от него шло сияние. Трепет охватил его, и все кругом стало для него серым и ничтожным перед блеском и сиянием Московского Царя”¹⁰. В жизни Краснов готов был идти до конца в осуществлении своих целей: в годы гитлеризма он перешел ради сражения с большевиками на сторону Германии, командовал казачьими соединениями вермахта. “Россия без большевиков”, та историческая Россия, которую он превозносил в романистике, всегда оставалась в его сознании неким идеальным представлением.

Уникальность жизненной и творческой судьбы П.Н. Краснова – соединение в одном лице крупного беллетриста и военачальника, решавшего на полях гражданской войны судьбу России, – определила и своеобразие его художественных сочинений, и неспособность отделить реальную жизнь и историю от творческого вымысла. Такая неординарная, вызывающая неоднозначные оценки судьба давала романисту богатейший материал и определяла ту “широту и непринужденность” (Г. Адамович), которыми отличались его исторические сочинения. И если Р. Гуль отмечал, что “прекрасно писать” Краснов мог только о том, что сам знал, то это его знание можно было бы отнести к самой России. В сфере внимания П. Краснова – исторического романиста – оказывались такие важнейшие эпохи в жизни страны, как правление Елизаветы Петровны (“Цесаревна. 1709–1762”) и Екатерины II (“Екатерина Великая”), а также русско-турецкая война и подготовка покушения на Александра II (“Царевубийцы”), и наконец, годы революции и гражданской войны (“От Двуглавого орла к красному знамени”). Писатель неизменно утверждал, что в своих исторических книгах он выводит одну истинную главную героиню – Россию.

Тяготение П. Краснова к эпопейному размаху, его умение соединить факторизацию и бытописание с увлекательным разветвленным сюжетом (“он так много знает и так занятен”, – замечал Бунин) проявилось и в его наиболее популярном в эмигрантской среде романе “От Двуглавого орла к красному знамени”. В этом эпохальном сочинении нашли отражение важнейшие события российской действительности нескольких первых десятилетий XX в.; заверша-

ется оно картинами красного террора и апокалиптическим видением – “пророческим сном” о спасении России от “завоеваний революции”, понятых с прямо обратным к советской пропаганде знаком: “Все завоевала революция. Всего лишила Русский народ”. Краснов задается весьма непростой целью – отразить судьбу нации, но если первые части объемного четырехтомного сочинения выдержаны в духе объективного эпического повествования, то переходя к первым годам правления большевиков и итогам их властвования над страной, он становится все нетерпимее. По силе художественной выразительности Краснов уступает Шолохову, обратившемуся к той же теме в Советской России, но в его произведениях проглядывают черты, столь свойственные книгам, написанным в духе социалистического реализма, с его схематизмом и тенденциозностью. Меняются только знаки, и Краснов описывает большевиков как патологических жестоких “босяков”, “мерзавцев”, жаждущих лишь крови и мести: “Они уничтожали Россию под корень, они губили будущее России”, “по их указанию... вытравиливалось из души народной сознание великого исторического прошлого”¹¹. Эмоциональный накал, отличающий заключительные главы книги, боль, гнев и горечь, с которыми писатель клеймит ненавистных большевиков, обусловили и ту историческую грань, которая отделила для него прошлое, великое и славное, от бездны настоящего. “Далеко в русскую землю углубилась революция и все, что могла, завоевала и разрушила”, – сокрушается писатель-воин, перечеркивая как несуществующее историческое бытие России после революции.

Переставая различать живых людей, а в ослеплении все подменяя идеологией “белых” и “красных”, писатель замечательно просто и верно формулирует свое кредо исторического романиста, ту правду, силу и красоту, которые привлекали его в прошлом: “Для меня и для тех, кто на юге, дорога Россия со всеми ее красотами, с ее верою православной, с попами, дворянами, офицерами и солдатами, с купцами и сидельцами, с торговками и мужиками, нам дорог наш быт, который вынесли мы из глубины веков и от которого веет былинами про богатырей и победами над природой, над татарами и поляками, над шведами и турками, над англичанами и французами...

Им дорога утопия. Им желателен мир, где люди обращены в скотов, и сами того не понимая, они вкладывают шеи свои в жидовское ярмо...”¹² Книга писалась по горячим следам, когда еще гремела гражданская война и корабли беженцев еще не ушли к чужим берегам, но подобный идеологический абсолютизм и завел Краснова в лагерь таких же беспощадных врагов коммунизма – врагов России.

Произведения о недавних событиях, написанные по свежим воспоминаниям о лично пережитом, по собранным документам и материалам (например, документальные книги-отчеты следственной комиссии по делу об убийстве царской семьи или книги С. Мельгунова о белом и красном терроре), отражали само движение истории. По-

степенно все яснее осознавалось: и революция, и гражданская война – это исторические события. В этом смысле и “Окаянные дни” Бунина, и “Солнце мертвых” Шмелева, отражая эпизоды крестного пути России, становились сочинениями историческими, касались переломного момента в судьбе страны и народа. Россия периода последней смуты раскрывается на страницах документальной прозы Р. Гуля, А. Туркула, В. Корсака. В этих произведениях перед читателем проходят массы людей – представители враждующих армий, обыватели, интеллигенция, дворяне, – словом, весь поднятый с места, от векового (“былинного”) уклада русский народ, ставший игрушкой в руках политических сил, гибнущий, бегущий, ожесточенный и растерянный, и среди этой людской массы, вовлеченной в события мировой значимости, мелькают отдельные лица – вождей революции, военачальников, политиков и руководителей нового государства. Обращает на себя внимание тот факт, что в художественном отношении поиски, шедшие в советской и эмигрантской литературе, двигались в одном направлении. Но если произведения литературы соцреализма были проникнуты боевым духом, пафосом справедливой борьбы и верой в конечное торжество светлых идеалов, несмотря на всю кровь, ужас и страдания (“Оптимистическая трагедия”), то в литературе эмиграции – литературе побежденных – трагический надлом был предопределен. Настоятельно требовали осмысления крах “белой идеи” и победа большевиков. Однако эти задачи встали перед историками и публицистами, тогда как писатели сосредоточились на более частных вопросах будней войны, плена, беженства.

Мемуаристика, документальная проза, публицистика зарубежья показали крестный путь сотен тысяч русских, судьбу людей, лишенных отечества, судьбу народа без родины. Если А. Туркул пишет об участниках белого движения, о героизме и бессмысленной гибели русского офицерства, среди которого были совсем юные бывшие кадеты и гимназисты, увлеченные романтическими идеалами (“Дроздовцы в огне”), то В. Корсак (“Забытые”, “У красных”) повествует о рутине армии и плена, о будничном существовании народа на войне. Лишенный героической окраски, трагизм столкновения человека и истории раскрывается именно через показ толпы людей, внутри которой существует автор, который “затушевывал себя и свое мнение и центром внимания сделал серую, очень однородную массу русского офицерства, маленьких людей, участников великой человеческой бойни, внезапно изъятых из жизни активной и поставленных в условия бездействия, ожидания, неосведомленности, непонимания происходящего. И вот день за днем он рассказывает о мелочах их быта, о крохотных интересах, ничтожных происшествиях, поглощающих все их внимание, о больших порывах, убитых постоянными недоеданиями, о благородных движениях, упирающихся в тюремную стену”¹³. Это еще не осмысление истории в художественных образах, но подобные книги аккумулировали материал громадной

исторической значимости и фактической ценности. Только знание “другой” правды, унесенной в эмиграцию, может дать возможность историкам и литераторам составить полное и объективное представление о революционной эпохе.

По пути исследования феномена победы “красных” пошел Р. Гуль, предпринявший в 1930-х годах попытку создания портретной серии деятелей большевизма. В психологических этюдах, посвященных разбору личных качеств и свойств полководцев революции – “Тухачевский: Красный маршал”, “Красные маршалы: Ворошилов, Буденный, Блюхер, Котовский”, – Гуль пытается разрешить загадку того, как эти люди смогли увлечь и сплотить крестьянскую массу, добиться победы. Однако после периода установления власти следует жестокий период диктатуры, способствующий удержанию власти. Гуль считал террор главным приводом в большевистском властном механизме. Анализируя типы чекистов (Дзержинский, Менжинский, Петерс, Лацис, Ягода), писатель создает историю “коммунистического террора”. Суть осуществляемого в Советской России тотального, духовного и физического насилия Гуль усматривал не в личных особенностях его вершителей; целью террора было уничтожить старую Россию, живущую в традициях, в народной памяти, в духовной и материальной культуре, в самом языке. Именно на разрушение той России, которую так любили, знали и “унесли с собой” эмигранты, и был направлен красный террор, деятельность ВЧК. Смерть физическая, уничтожение людей, массовые расстрелы и инсценированный голод, сопрягались, по мысли Р. Гуля, с гибелью духовной, с нравственным омертвлением: “В СССР у населения навеки разрушена память о прошлой России, отняты ее традиции, отняты мысль, слово, и духовно советское население омертвело: мертвые молчат, и живые молчат, как мертвые”¹⁴.

По убеждению Гуля, хранильницей культуры и памяти стала русская эмиграция. Для большинства эмигрантов своеобразным евангелием русского зарубежья стали книги И.С. Шмелева “Лето Господне” и “Богомолье”, которые многие действительно держали на ночном столике рядом с Евангелием. Успех шмелевской книги “Лето Господне” определялся открытием особого поворота в теме России, с удивительной поэтической силой сказавшегося именно у этого писателя, которого, пользуясь терминологией П. Краснова, с полным правом можно назвать “национальным бытописателем”. Шмелев в “Лете Господнем” решил небывалую в истории литературы задачу: восстановить внешний и духовный облик утраченной России. Это был не просто подобный прустовскому поиск “утраченного времени”, населенного вымышленными персонажами. Вымыслу в шмелевском повествовании отводилась скромная вспомогательная роль в тех случаях, если подводила память. Но индивидуальные воспоминания рассказчика приобретали звучание обобщенной народной памяти. Русскими людьми было утрачено веками создавав-

шееся отечество, и утрачено не только эмигрантами, оторванными от родной земли: Россия сгинула, исчезла и для тех, кто оставался в ее географических пределах. Историческая Москва, первопрестольная, древняя, исчезла (как “исчез Ершалаим, город древний”) – с укромными уголками, двориками, садами, усадьбами, дачами, богатыми, старинными названиями; изменили облик улицы и площади, получившие новые наименования; и советский человек пришел на смену представителям многообразных классов и сословий, от аристократии до городских низов.

Иван Шмелев не создает мифа о граде Китеже, не занимается идеализацией патриархального прошлого. Бытовой уклад жизни, закреплённый в жизни одного из самых консервативных сословий – мещанско-купеческом, соединённый со стихией православия и стихией природной, дает возможность раскрыть “коренные глубины” национального русского духа. “Шмелев прежде всего *русский поэт* по строению своего художественного акта, своего содержания, своего творчества. В то же время он – *певец России*, изобразитель русского исторического, сложившегося душевного и духовного уклада, и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ – в его подъеме, в его силе и слабости, в его умилении и в его окаянстве. Это русский художник пишет о русском естестве. Это – национальное толкование национального. И уже там, дальше, глубже, в узренных национальных образцах, раскрывается та *художественно-предметная глубина*, которая открывала Шмелеву доступ почти во все национальные литературы”¹⁵. Подобной оценки в русской литературе удостоивался разве лишь только Пушкин.

“Лето Господне” – не миф, не утопия и не идиллия, но это и не картины быта, настолько глубоко драматично и вместе с тем высоко лирично повествование. Шмелев пишет о “родном”, причем пропущенном через восприятие семилетнего ребенка, отчего изображаемый им мир кажется особенно светлым, и так задушевна интонация рассказа. Таинственная прелесть обыденной жизни, столь ведомая детям, незамутненная чистота детского сознания, свежесть детского взгляда на мир воздействовали на самые чувствительные струны читательского сердца, заменяя в нем ощущение ностальгической тоски первозданностью любви к родине: “Масленица... Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна, звон – вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую, снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игристыми переборами гармонь. Или с детства осталось во мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось “масленица”? ... Чудесную эту “масленицу” устраивал старичок в Зарядье, какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч – и “масленицы” исчезли. Но живы они во мне. Теперь по-

тускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда... всё и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на “убогий блин”, до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех: масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость, перед грустью... – перед постом?”¹⁶ Русский мир и увиден глазами ребенка, глядящего на мир с точки зрения правды, добра, красоты, и требует детского восприятия: “Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего – подскажет сердце, – обращается к внучатому племяннику, французу с русской кровью, писатель и, нарисовав картину рождественских праздников, заключает – В детстве таким явилось – и осталось”¹⁷.

От Великого поста до Масленицы, через праздники православной церкви и радости русской природы и замоскворецкой старины идет приобщение героя-рассказчика, а вместе с ними и читателя к русской национальной духовности. Шмелев создает эпос русской жизни, и содержание “Лета Господня” обусловлено тем годовым календарным циклом, который на Руси имел и природную, и обрядово-религиозную стороны. Нерасторжимое единство простонародного быта и православия, его озаряющего, ложится в основу книги. Но мир ушедшей России показан не в своем историческом развитии, а в неизменности и цикличной повторяемости бытия, которое сложилось и устоялось, упрочилось, уцелело при всех трагических коллизиях истории, при всех смутах, вплоть до последней, разрушившей все до основания. Замоскворечье оказалось хранителем “древней старины”, и, живописуя его, Шмелев отражает всю многоликую, многострадальную и праздничную Русь; личное, заурядно-бытовое и нравственные заветы, семейные традиции и предания, услышанные от простого люда истории, церковные легенды – все переплавляется в “Лете Господнем”, в том “благоприятном господнем лете”, которое проповедовал Христос (Ев. от Луки, 4, 16–21). Совершенно особый характер обретает в книге Шмелева время: линейное, историческое время обнаруживает себя лишь в третьем разделе – “Скорби”, связанной с кончиной отца писателя. Это 1880 год – сооружение памятника Пушкину (последний подряд Сергея Ивановича); следующий год – убийство Александра II, царя-освободителя, новый поворот истории, уже необратимый. Горе ребенка, оплакавшего смерть отца, вбирает в себя и скорбь русских изгнанников по отчизне. Эпический же годовой круг времени позволяет взглянуть на историю, на конечность бытия с точки зрения вечности: “Смерть – это только так: все воскреснут”.

Глубокая вера Шмелева позволяет ему не только заглянуть в прошлое России, но и дать свое понимание ее будущей судьбы, путей грядущего возрождения России и восстановления целостности ее истории. Не случайно согласно линейному времени построено “Бого-

молбе". Это повествовательное время находится в точном согласовании с дорогой, по которой паломники – а это целая вереница странников, все увеличивающееся их число по мере продвижения их к цели, – достигают обители Живоначальной Троицы в Сергиевом Посаде. Образ свечи-колокольни, которая то ли чудится маленькому Ване, то ли в самом деле горит над лесными далями, обретает символический смысл движения к православию, к вековым святыням, к русской национальной духовности.

Идеал России был привит Шмелеву вскормившей и воспитавшей его культурой русского простонародного церковного благочестия. Но о развитии "христианских истинно-национальных начал" писал и И.А. Бунин. Глубокие духовные перемены происходили в творчестве целого ряда писателей зарубежья, в литературе постепенно нарастала роль религиозного начала. Литература, бывшая в России общественной трибуной, остается верна своему назначению, но писатель из учителя жизни превращается все больше в проповедника.

"Это уже не литература, – отзывался один из историков о творчестве Шмелева. – ...Это утоление голода духовного"¹⁸.

В эмиграции тема "Святой Руси" приобретает особый смысл в творчестве Б. Зайцева, создавшего серию биографий святых – от жития "Преподобного Сергия Радонежского", через которое читатель "как бы приобщается к таинству обновления стародавних традиций" (Вяч. Завалишин) до новелл "Алексей Божий человек" и "Богородица Умиление сердец" ("Сердце Авраамия"), а также выпустившего книги очерков "Афон" и "Валаам", тесно связанных с древнерусским жанром "хождений". Г.С. Струве считал Зайцева одним из представителей русского религиозного возрождения в эмиграции, прошедших искус бездуховности. О нем можно поэтому сказать, что своим "приходом к религии и к Церкви он из всех крупных русских писателей своего времени всех ближе разделил общую революционную судьбу когда-то религиозной интеллигенции, явился выразителем характерных для нее новых настроений..."¹⁹ Но страданное православное начало свойственно и произведениям Зайцева со "светской" тематикой, написанным в зарубежье.

Религиозные тенденции нарастают и в творчестве И. Лукаша, причем для него "богопознание" и "боговыражение" связаны прежде всего с обращением к русской истории. Постепенно историческая тема становится ведущей в творчестве писателя, углубляясь и расширяясь от сборника новелл "Дворцовые гренадеры" к "Трилогии в рассказах", "Снам Петра" вплоть до "необъятного" по замыслу романа "Пожар Москвы" с интуитивным прозрением автора "в судьбы России" (К. Зайцев). И. Лукаш обращается к наиболее драматичным моментам русской истории и заново переосмысляет уже описанные коллизии, в том числе дает новое освещение литературным сюжетам. Среди героев его рассказов из русского прошлого – и вымышленные дюжинные люди, представители различных российских со-

словий и профессий, и великие дети России, от императоров до писателей, среди которых и Гоголь, “одиноким гением России”, и сын Н.О. и С.Л. Пушкиных, маленький “дурной арапченоч”, и Достоевский. Связующим звеном истории, обеспечивающим преемственность поколений, составом необычайной крепости была в понимании Лукаша культура, и потому в его произведениях история неотделима от литературы, русская реальность от классической поэзии и прозы, так что в основе каждой новеллы лежит и реальный факт и известный литературный сюжет или образ.

В своих исторических сочинениях сам писатель выделял главную мысль – “мысль о том, что мое отечество было обречено на ту его судьбу, которая раскрылась на глазах нашего поколения”²⁰. Воспринимая эпоху реформ Петра как неоцененный страной дар, которым она не сумела в должной мере воспользоваться, именно с XVIII столетия Лукаш ведет отсчет трагедии, разыгравшейся в полной мере в начале XX в. (“горчайшее пробуждение”), отмечая как ее этапы и несчастное царствование Павла I, и восстание декабристов. Дарование исторического писателя у Лукаша было предопределено его самозабвенной любовью к России, к ее многострадальной судьбе и героической истории, и осознавая в полной мере трагедию своего поколения, он рассматривал ее лишь как эпизод в многовековом историческом процессе: “Дети Санкт-Петербурга, дети отставных солдат, полковых музыкантов, натурщиков, сторожей, департаментских писцов, дети тех, кто жил в подвалах громадных зданий и дворцов Империи, ее аттических храмов, – какая судьба открылась всем нам. Мы все угодили под красную шапку, и кто из нас убит, кто расстрелян, кто в изгнании, кто коммунистический комиссар, – не все ли равно.

Я рассказываю не о людях, прошедших толпой глухонемых видений по высоким залам, а об огромном свете тех зал, которые высятся за Невой, были мы там или не были, и о стремительных лестницах, по которым будут вбегать и после нас...”²¹ Не претендуя на задачу такой огромной сложности, как воссоздание России в ее тысячелетнем облике и духе, И. Лукаш своими художественными средствами создает “свой мир – легенду о Российской Империи” (И.Н. Голенищев-Кутузов). Мир России Лукаша создан на границе “полуяви и полувидения”, но его персонажи – это отнюдь не ряд безгласных теней, они вылеплены выпукло, зримо; с особым мастерством романист передает аромат времени, атмосферу отдаленных и столь непохожих эпох, представляет Россию через действующие “народные массы” и “исторические силы” (В. Ходасевич). Созданный не без налета мистицизма, мир его России тесно связан с традициями русской классики, преломленными несколько необычно: пушкинское признание “над вымыслом слезами обольюсь” может быть отнесено к позиции Лукаша по отношению к истории, о которой он пишет поистине “сквозь слезы грусти и умиления”.

Немаловажную роль в таком восприятии истории играла религиозность писательского сознания; в творчестве писателей православной ориентации сквозь мрак настоящего, сквозь пессимизм всегда пробивает свет надежды. Безрелигиозность сознания самого, пожалуй, известного сейчас на родине исторического романиста зарубежья – М.А. Алданова – придает его сочинениям известную ограниченность и не позволяет сбалансировать задушевностью тона или горячностью отстаиваемых убеждений скептицизма объективного рассказчика. Интонация его произведений, в которых историческая тема занимает главенствующее место, всегда ровна, за маской отстраненности автора скрывается то ли холодное равнодушие, то ли экклезиастова мудрость. Неспроста Алданов завидовал верующему Бунину, с которым состоял в дружбе и многолетней переписке, сам будучи не в состоянии с юношески безоглядным идеализмом, свойственным вдохновляемым религиозным чувством писателям, погружаться в глубины прошлого, прозревать его внутренним, духовным зрением. Не обладая способностью к подлинно народному мироощущению, основой которого было православие, Алданов не решался заглядывать в глубины исторического прошлого: “Романа из эпохи семнадцатого века я писать не буду, – признавался он в одном из писем Бунину, – только потратил время на чтение множества книг: убедился, что почти невозможно проникнуть в психологию людей того времени. Дальше конца восемнадцатого века идти, по-моему, нельзя. Не знаю, буду ли вообще писать роман, но если нужда заставит... то буду писать современный”²². Те приемы творчества, которые Алданов выработал для исторической романистики, казались весьма продуктивными: опора на романную традицию Толстого, кропотливая (“египетская”, по удачному выражению Н. Ульянова) работа над документальным материалом, упорная обработка словесной ткани. Не открывая новых форм, Алданов черпал полной пригоршней из “старого доброго хозяйства” (Н. Ульянов), которого ему вполне хватало на добротные многостраничные сочинения: «В “Чортовом мосте” будет около 600 страниц, в одном томе не издашь. А если поставить на обложке том первый, никто в руки не возьмет...»²³. Возможно, сказывалась первая профессия Алданова: химик по образованию, он и в литературу, казалось, вносил методы лабораторных исследований; а возможно, был справедлив В. Вейдле, сочтя ум Алданова “слишком трезвым” для литературы. Не случайно и сам Алданов чувствовал, но не мог преодолеть органической несоединимости “озарения поэта” и “научного провидения”. “Интересно и поучительно наблюдать приемы алдановского творчества”, – камуфлировал восхищением вечную свою иронию Набоков, отмечая в качестве двух основных приемов мэтра “однообразность” и “одинаковость”. И этот однообразный, монотонный, холодный писатель, не создавший ни одного полнокровного выразительного художественного образа, ни одного глубокого произведения (лучшим

из его сочинений так и осталась первая историческая повесть “Святая Елена, маленький остров”), долгие годы держался на пике популярности в эмигрантской среде, и его не коснулось ни одно безжалостное критическое жало.

В чем же кроется успех исторической романистики Алданова? Исторические произведения Алданова были, в сущности, политическими по основным темам и проблемам. Пожалуй, впервые в русской литературе политика вводилась так широко в повествование, играла ведущую роль в развитии сюжета. Сложная, захватывающая, почти детективная фабула его произведений, неразрывно связанная с его излюбленной идеей иронии судьбы, философско-политические беседы его героев-резонеров, так много рассуждающих об эпохальных событиях прошлого и современности, галерея исторических лиц, выведенная в его книгах, наконец, редкая даже для пишущего в историческом жанре эрудиция, научно полная и точная осведомленность, — эти качества романистики Алданова заменяли подлинную художественность и глубину интуиции. Обращаясь к разным эпизодам истории — от конца XVIII в. (“Пуншевая водка”) через такие этапные события, как убийство Павла I (“Заговор”), зарождение русской революции (“Истоки”, “Ключ”) и катастрофа октябрьского переворота (“Самоубийство”), опасность распада советской империи для ее народов и всего мира (“Бред”), что в целом охватывало почти полтора столетия, — Алданов видит в ней лишь отражение одного непреложного закона — повторяемости, или “возвращения истории”. Но если Шмелев сумел из этой повторяемости вывести формулу гармоничного мироуклада, увидеть в повторении смысл и прочность бытия, то для Алданова она означала бессмысленность истории. Алданов остроумен, ироничен, его романы пересыпаны точными афоризмами и блестящими “mots”, однако выстраивая совершенные с точки зрения архитектоники громады своих романов, писатель выявляет лишь тщету и бессмысленность жизни в ее великих и низменных проявлениях.

Последним и самым значительным произведением Алданова стал роман “Самоубийство”, в котором впервые в эмигрантской (в советской литературе раскрытие этой темы было далеко от объективности) литературе в центре повествования оказывается Ленин и совершенная под его руководством Октябрьская революция. Размышляя над смыслом прожитой вождем большевиков жизни, Алданов остается на той же точке философского тупика “суеты сует”, что и в повести “Святая Елена”, подвергая моральному осуждению личность, обрекшую народ на гибель, а страну на разрушение ради “великого” социального эксперимента. Столь же трудно, как и в психологию человека прошлых эпох, было Алданову проникнуть во внутренний мир такой сложной, противоречивой, безусловно гениальной личности, которая, однако, принесла “в мир больше страданий, чем кто бы то ни было другой в истории”. Больше всего писа-

тель боится лишиться опоры объективности – тона и оценок, и даже описывая последние минуты жизни вождя, цепляется за документальные свидетельства и справки. При этом Алданов не избегал личной ответственности, не прятал собственного мнения: «Верно, половина человечества “оплакала” его смерть. Надо было бы оплакать рождение»²⁴. Такой скованности не знали ни смело пишущий о Петре ли, о Пугачеве ли Пушкин, ни судивший историю с мужицкой прямоотой и графской самонадеянностью Лев Толстой, ни столь презируемый Алдановым создатель советского исторического романа “третий” Толстой (Алексей Николаевич).

Однако стремление разобраться в истории, осмысливая судьбы великих сынов отечества, ощутимо у литераторов разных идейных установок и творческих платформ. Жанр биографии, обращение к жизненному и творческому опыту тех, кто был творцом российской истории и культуры, становится в литературе эмиграции довольно популярным явлением. Но в условиях полной творческой свободы и небольшой читательской аудитории, в условиях, благоприятных творчески и невыносимых житейски, писатели-эмигранты ищут примеры сложных судеб, принося в свои портреты людей искусства, главным образом литераторов, элементы автобиографии. Само же написание биографий людей, формировавших национальное самосознание, непосредственно влиявших на умы и чувства современников, позволяло через жизнь частного лица увидеть глазами выдающейся личности жизнь той или иной эпохи, совместить историко-философский план с изображением обыденной жизни. Биография крупной творческой личности, созданная в годы раскола нации, в момент расщепления национального сознания, утраты традиций, духовных и нравственных ориентиров, давала простор для широких обобщений о судьбе России, русской культуры, русского народа.

К жизненному пути крупнейшего поэта и государственного деятеля допушкинской эпохи обращается В. Ходасевич, один из ведущих критиков зарубежья и сам поэт, в своем поэтическом творчестве постулирующий необходимость следования классическим – пушкинским традициям. Личность и время – вот ядро его биографического повествования “Державин”. Конец XVIII в. – время, когда обстоятельства влияли на судьбу человека столь же сильно, насколько сам человек был способен воздействовать на обстоятельства: сын бедного дворянина, начавший службу провинившимся солдатом, Державин заканчивает свой жизненный путь почитаемым вельможей и знаменитым поэтом. Биография его и пишется поэтом, в первую очередь упоенно воссоздающим противоречивую, пышную эпоху, век фаворитов и восстаний, иллюстрацию к державинской формуле: “Я царь, я раб, я червь, я Бог“. Как биограф-историк, Ходасевич неукоснительно следует биографическим данным, но как поэт-лирик и тонкий ценитель поэзии личность Державина поверяет его стихотворениями. “Он любил историю и поэзию, потому что в них

видел победу над временем, — пишет о своем герое Ходасевич. — В поэзии сам был отчасти историком. На будущего историка своей жизни взирал с доверием... В бессмертие поэтическое верил он еще тверже и многократно высказывал эту веру, подчас даже с некоторым упрямством, не без задора... История и поэзия способны побеждать время, — соглашается с Державиным автор, — но лишь во времени. Тут отказывался Державин от мечты, утешавшей его всю жизнь. ...Отказываясь от исторического бессмертия, Державин должен был обратиться к мысли о личном бессмертии — в Боге”²⁵. Эта религиозная мысль-утешение проникнута не пессимизмом или всеразъедающим скепсисом, а светлым жизнеутверждением, гимном вере, поэзии, истории.

Книга Ходасевича, основанная на “Записках” самого Державина и на богатой фактографической основе жизнеописания поэта, принадлежащей Я. Гроту, полна догадок и прозрений. Выводы и умозаключения биографа-поэта относительно тех или иных темных мест в биографии Державина лишь в недавнее время нашли архивно-документальные подтверждения. А ведь Ходасевич, как и многие другие создатели биографий, не мог располагать обширным материалом, попросту недоступным в эмиграции; он основывался на лирике Державина, вывода и основные линии его судьбы, и характер эпохи из его творчества. Оригинальность личности Державина, уникальность его политической карьеры и поэтической судьбы не помешали Ходасевичу выйти на уровень широких обобщений: придавая своему герою автобиографические черты, он делает попытку создания образа русского поэта, православного по мироощущению и национальному по духу, свободного, независимого, неразрывно связанного с почвой и родным языком.

Иначе выступает в жанре биографии Б. Зайцев. Некоторая упрощенность повествования, некое простодушие рассказчика позволяют приблизить, придать черты “домашности” личности творца, представить его без черт монументальности, свойственных официальным портретам, а показать его в повседневных заботах и мелочах жизни, не отделяя горные поэтические прозрения от рутины государственной службы. Так, биография В.А. Жуковского неотделима от имен его многочисленных соратников, определивших в начале XIX в. развитие русской литературы на столетие вперед; его судьба учителя царевичей, в том числе будущего освободителя крестьян, заставляет задуматься над самыми серьезными вопросами отечественной истории. Но в отличие от Ходасевича, вслед за Державиным строгого судьи времени, Б. Зайцев менее решителен в своих оценках, они более неопределенны, эмоциональны, и к прошлому он подходит с простодушным неведением так удачно придуманной им маски рассказчика-биографа. Даже даль времени не означает для Зайцева априорного права на исторический и нравственный суд, на осуждение потомками свершений и деяний предков. Зайцев избегал

придавать фактам оценочность и рассуждал как неискушенный человек. “Странно и загадочно складывалась судьба” императора Александра, – теряется перед загадками истории Зайцев. – “И все в нем противоречие”, “таинственная легенда”; иной взгляд на Николая I, но все та же неуверенность в авторских суждениях: “Николай подходил к духу времени и обстоятельствам тогдашним: мощной фигурой своей *что-то* выражал” (так!), “К скипетру относился мистически”, “С первого же дня путь его оказался грозным... Все-таки, раз уж взялся, выполнил изо всех сил”²⁶. Тем же тоном поведано и о важнейшем поворотном пункте в жизни Жуковского: “Решили по-прежнему: быть Жуковскому главным руководителем Наследника.

Значит, не для себя и литературы и поэзии, а для России. Тогда не знал еще, что обучать предстоит будущего Освободителя – будущего и жертву.

Жуковский шел на это в настроении, подобном тому, как Николай принимал трон. Размеры иные, а суть та же: обязанность. Отказываться нельзя”²⁷. Зайцев демонстрировал осторожное, бережное отношение и к своим героям, и к истории; с одной стороны, это вело к упрощенности, почти бедности рассказа, с другой – позволяло вести его так, будто речь идет о знакомых, близких, родных людях; Зайцев и сам признавался, что пишет о писателях, ему близких творчески (Жуковский, Тургенев, Чехов). Эпохальные вопросы бытия, философские рассуждения о бессмертии не представляли для Зайцева первостепенного интереса в созданных им биографиях; гораздо важнее было для него выявление личности писателя через мир его интимных переживаний, исследование непоглощенной в семейном счастье любви Жуковского и Маши Протасовой, сложное чувство Тургенева к Полине Виардо... Уделяя первостепенное внимание психологии личности, Зайцев раскрывал полный драматизма жизненный путь великих писателей в простоте их земного существования, оправданного творческими свершениями.

В одном из лучших своих произведений – романе “Бедная любовь Мусогорского” И. Лукаш накладывает мистический колорит на едва ли не вымышленную им самим историю взаимоотношений известного композитора с уличной арфисткой. Исторический документ тесно переплетается с лирической биографией, но в центре внимания автора – прежде всего напряжение творческой личности, способной на величайшие озарения. Действительность преобразается перед мысленным взором гения, фигура уличной певицы несет в себе заряд творческой энергии, но вместе с нею в жизнь композитора вторгаются пошлость и грязь городского дна, так что “бедная любовь” становится для Мусогорского началом деградации. Лукаш отказывается от стилизации повествования – от “пушкинской” стилевой манеры, счастливо найденной Ходасевичем в “Державине”, от нарочитого простодушия рассказа в зайцевских биографиях. Лукаш опирается на русскую романную традицию, и в этом коренится ус-

пех его книги (переведенной на двенадцать иностранных языков). Воссоздавая атмосферу Петербурга Гоголя и Достоевского, фантазмагорического города-призрака, города социальных контрастов и ежечасных трагедий, униженных и оскорбленных, мечтателей, безумцев и падших женщин, писатель вводит в этот хорошо знакомый по литературе мир реальных людей одного из ярчайших представителей русской музыкальной классики. Рождение песни-гадания Марфы из “Хованщины” или создание и неудачная премьера “Бориса Годунова” становятся предметом музыковедческого разговора лишь в заключительной главе книги. Лукаш пытается докопаться до истоков трагедии богато одаренной личности, до истоков страшного финала его жизни, он выстраивает свою версию известной судьбы.

Еще дальше идет по пути построения версии биографии реального лица В. Набоков, для которого игра с реальностью стала своеобразным решением проблем литературы и истории. Стремление к объективности и желание придерживаться исторической истины – принципы, неприемлемые для набоковской эстетики. Политические пристрастия толкали на путь прямых подтасовок, замалчивания одних и нарочитого утрирования других сторон российского бытия литераторов разного масштаба дарования, причем вольное обращение с историей, с документальными свидетельствами и тенденциозное их толкование по своему художественному решению оказывалось гораздо убедительнее неукоснительного следования фактам. С бесподобным виртуозным мастерством написана вставная биография Чернышевского в романе В. Набокова “Дар”, столь эпатажная по развенчанию кумира и столь обаятельная ловкостью совершенной мистификации, что ее отказались печатать декларирующие центризм и открытость “Современные записки”.

Набоков, строго говоря, движим тем же побуждением, что и другие романисты-биографы, но с прямо противоположным знаком оценивает своего героя. Его задача, реконструируя жизненный путь властителя дум целого поколения, кардинально повлиявшего на развитие русской мысли, ставшего предтечей русской революции, – показать, что кумир молодежи 60-х годов XIX в. (“бог” по державинскому измерению) лишь “червь”, ничтожество, достойное развенчания и осмеяния. Набоков, с его репутацией холодного эстета, с юношеским пылом (недаром вставная биография Чернышевского “принадлежит перу” главного героя, молодого литератора Годунова-Чердынцева) кидается доказывать несостоятельность личности Чернышевского, его идей и трудов. Сатирическая биография Чернышевского остроумна и зла. Умелое владение внешними признаками научной биографии, использование ее формальных признаков призвано подчеркнуть подлинность излагаемых фактов и, следовательно, представленных выводов. Впрочем, система научных отсылок, цитат, постоянное апеллирование к трудам составителя жизнеописания Чернышевского некоего Страннолюбского лишь слегка прикрывает

вивисекцию, предпринятую Набоковым. Авторитет Чернышевского на глазах растаптывается, жестоко и дерзко, и перед читателем корчится, как подопытное насекомое, жалкий человечек, который лишь по недоразумению мог быть провозглашен ведущим критиком, публицистом, мыслителем, прозаиком: «Увы! писать “Что делать?” в крепости было не столь поразительно, сколь безрассудно, – хотя бы потому, что оно было присоединено к делу. Вообще история появления этого романа исключительно любопытна. Цензура разрешила печатание его в “Современнике”, рассчитывая на то, что вещь, представляющая собой “нечто в высшей степени антихудожественное”, наверное уронит авторитет Чернышевского, что его просто высмеют за нее. И действительно, чего стоят, например, “легкие” сцены в романе... Иногда слог смахивает не то на солдатскую сказку, не то на... Зощенко... Много и прелестных безграмотностей... Но никто не смеялся. Даже русские писатели не смеялись», – поражается Набоков²⁸. Поражается – но не пытается понять ни время, ни подлинного героя того времени. Чернышевский становится в интерпретации Набокова выхолощенным символом ненавистного последнему “освободительного движения”, той силы, которая подготовила революцию 1917 г. Подвергшийся гражданской казни, прошедший тюрьмы, каторгу, ссылку, переживший свое время и свои идеалы, Н.Г. Чернышевский, кажется, сполна испытал в своей действительной судьбе и личную, и общественную драму. Велика же ненависть писателя, если спустя полвека он не может удержаться от нового суда над Чернышевским, от фатального “распни его, распни”. Всеразьедающая ирония Набокова, обаяние его метафорического ассоциативного письма делают его памфлетную биографию, пожалуй, самым талантливым, ярким и прямолинейным антиреволюционным выступлением в эмигрантской литературе.

Превращенный в антигероя герой противопоставлен другому, подлинному герою, призванному представить в романе другие силы дореволюционной России. Играя в биографии, Набоков наряду с мнимой биографией реального лица создает лирическую биографию лица вымышленного (но на автобиографической основе; отец Годунова-Чердынцева некоторыми чертами напоминает отца писателя, лидера кадетской партии В.Д. Набокова). Но Набоков во второй биографии резко отмежевывается от политики, противопоставляя мир науки – энтомологии и природы, мир красоты, гармонии, покоя, свободы и многообразия форм миру куцых теорий, мерзопакостных делишек, скудоумия и безвкусицы. Биография отца главного героя, написанная совсем в ином тоне – почти не сдерживаемого восхищения, – построена по всем канонам научной биографии; сам занимавшийся изучением бабочек, он легко оперировал научными терминами, статьями, авторитетами. Без устали нанизывая одни прекрасные качества на другие, еще более замечательные, Набоков создает одухотворенный, полный “ясной и прямой силы” образ “на-

стоящего, очень настоящего” человека. “Искатель словесных приключений, заставивший своего вымышленного героя – alter ego автора – создать две биографии, реального лица и вымышленного (о котором якобы есть статья в Большой советской энциклопедии!), Набоков с легкостью разрушал репутацию и демонстрировал, насколько и для него важен полный жизни, лишенный ходульности идеал. Однако писатель не в силах действовать вне пределов своего времени: историю нельзя переписать, нельзя вернуться в прошлое и переломить его ход. Литература, и ярким тому подтверждением становится роман Набокова, может служить лишь лабораторией для истории, экспериментальным полигоном, где допустимы любые смещения и догадки.

История не имеет обратной силы; литература, корректирующая действительность вымыслом, обладает и еще одним свойством: субъективностью. Движимый соображениями нравственного порядка или партийными пристрастиями, художник освещает события далекого прошлого или современности в лично им избранном ракурсе. Это приводит к вольному обращению с историей, но вместе с тем облекает в плоть и кровь то, что доносит до потомков сухой язык документов, наполняет знание о минувшем красками, запахами, звуками, извлекает из прошлого нравственный урок. Разнообразие художественных миров, представленных в литературе русской эмиграции, показывает и всю неоднозначность российской истории, и еще большую неоднозначность ее воплощения в литературе. Примером писателя, в творчестве которого как бы сфокусированы противоречия послереволюционного, сложившегося в зарубежье взгляда на русскую историю, может служить М.А. Осоргин. Обращаясь к переломным моментам “движущейся” истории – периоду первой мировой войны и революции, к этапам ее подготовки (осуществление терактов и “эксов”), а также погружаясь в чарующий мир русской старины, Осоргин упорно, но тщетно стремится примирить мировоззрение, радикалистски гуманистическое, вбирающее в себя традицию русской либерально-демократической мысли и идеалы масонства, с почвенническими взглядами, с любовью к “России-земле”.

Известность Осоргину принес его первый, во многом несовершенный художественно роман “Сивцев Вражек” – о трагедии русской интеллигенции в переломные времена. Деятельность тех, кто способен влиять на ход истории, не влечет писателя. В “Сивцевом Вражке” Осоргин меряет историю неповторимым существованием каждого человека. Оторвавшийся от отвлеченной теории, вылившийся в земные формы насилия и террора социальный переворот означает гибель наименее защищенных, т.е. тех, кто строит жизнь в согласии с нравственными ценностями и в бытовом отношении укоренен в традиционном укладе. Задаваясь “страшным” вопросом о цене обещанного будущего счастья, писатель отказывается оправдывать какие бы то ни было жертвы, приносимые во имя высокой

цели: “Строить Хеопсову пирамиду на человеческих костях не хочу. Мне шелудивый Ванька дороже его благородных потомков”²⁹. Русская катастрофа показана романистом в преломлении интеллигентского сознания – произошедший переворот означает не только боль и страдания, это гибель духа (культуры) и разума (науки). И даже представители большевистской диктатуры не предстают в сознательно сниженном виде: ослепленные не классовым гневом, а тупым, поистине животным сознанием вседозволенности, они сами оказываются жертвами истории.

Обращение Осоргина к предреволюционной эпохе, когда в начале XX в. в среде русской интеллигенции складывалась идея насильственного свержения государственного строя, когда движимая революционной романтикой русская молодежь пополняла ряды его активных ниспровергателей, требовало от писателя большой гражданской смелости. Некогда близкий партии эсеров, тесно связанный с ее максималистским крылом, Осоргин касается самого драматичного в судьбе русской интеллигенции факта: всегда находясь в оппозиции к режиму, призывая к изменению существующего строя, она первая оказывается под обломками рухнувшего колосса. Значение романов Осоргина “Свидетель истории” и “Книга о концах” прежде всего в том, что это художественно-документальное свидетельство очевидца и участника революционных событий начала века, носителя того мировоззрения, которое прямо подталкивало к перевороту; вместе с тем, написанные в изгнании, эти произведения являются итогом обобщения личного опыта и результатом самооценки. Но если революционная тематика в литературе Советской России решалась по строго определенным канонам, то литература эмиграции являла собой как раз пример несовпадения и даже полной противоположности точек зрения на одни и те же исторические события; и в этом отношении диалогия Осоргина интересна в сопоставлении с романом П. Краснова “Цареубийцы”. Краснов, стоя на монархических позициях, обличает нравственное уродство террористов и противопоставляет их разрушительной деятельности подвиг русского воинства; Осоргин, хотя тоже развенчивает романтику революционной среды, но показывает ее изнутри. Принципиальная противоположность взглядов двух писателей заставляет их воспользоваться одним и тем же художественным приемом, – но если Краснов черными красками рисует образы революционеров и особенно презираемой им С. Перовской, ненавидя в них тех, кто разжиг в России “ужасное, бушующее пламя” (С. Франк) революции, и воспекает “белого генерала” М.Д. Скобелева, то Осоргин не менее тенденциозен в изображении “председателя совета министров” (в романе “Свидетель истории” рассказано об одном из самых чудовищных покушений на П.А. Столыпина), видя в нем некое символическое воплощение самого строя и не замечая истинной роли этого государственного деятеля в истории России; зато “жертвенный подвиг” терро-

ристов, неоправданный и бессмысленно-жестокий, обращивается у писателя гимном романтически настроенной “идейной” молодежи начала века. Финалы “Цереубийц” и дилогии Осоргина – книг о движении России к пропасти революции – также закономерно аутентичны приговору самой действительности: и героиня Краснова Вера Ищимова, и героиня Осоргина Наташа Калымова гибнут, но физическая смерть осоргинских персонажей означает бесславный конец “буревестников” революции, а Краснов предлагает и иную версию исчезновения героини – растворение в боге, монашеский постриг.

Писатель, сложившийся в условиях эмиграции, М. Осоргин был прямым наследником демократического направления русской литературы XIX в.: имя Чернышевского звучало для него отнюдь не понабобовски одиозно. Антикрепостническое и антиклерикальное содержание одного из лучших новеллистических циклов писателя – “Старинных рассказов” не могут не восприниматься как историко-литературный анахронизм. Обратившись к теме старой России, Осоргин создает мир, который если и бывает страшен в своей непредсказуемости и чреват наказанием или гибелью, это все же мир чудесный, мудрый и наивный, как мир утраченной сказки. Отталкиваясь от истинных происшествий, зафиксированных в официальных бумагах или частных записях и уцелевших во всех перипетиях истории, Осоргин рисует мрачные картины, со всеми издержками помещичьего самодурства и несправедного судопроизводства. Но сам автор находится под обаянием созданного им мира, потому что влюблен в него хотя и тайно, но так же сильно, как Шмелев, потому что, обращаясь к истории, постепенно приходит к осознанию нераздельности России, соединившей в себе самые разнородные качества. Материал, лежащий в основу сочинения, побеждает сочинителя, заставляя его отказаться от идеологической оценки истории, создавать на страницах своих рассказов колоритный, праздничный, органичный образ России в ее страшном и прекрасном прошлом. В подобном подходе сказался именно “природный русак”, опирающийся в вымысле на подлинные факты, которые переживут и время, и литературную версию. Как писатель-изгнанник, Осоргин полубессознательно выразил свою мечту об утраченной России в новеллах и очерках о русской старине. “Старинные рассказы” М. Осоргина отличает умение писателя, живописуя казусы и курьезы минувшего российского “жития”, создать такие чудесные его картины, что вдохновленный читатель готов поверить вместе с автором, что “настоящая история России вся впереди”.

Футуристические прогнозы способна подтвердить или опровергнуть только сама история, ход которой не в силах предсказать даже самые чуткие писатели. Но история минувшего времени предоставляет литераторам благодатную возможность “пророчества назад” (Б. Пастернак). Обострение интереса к отечественной истории у писателей-изгнанников предопределено обстоятельствами

эмиграции: хранители памяти о канувшем в историческое небытие Российской империи, они пытались осознать тот путь, который привел Россию к бездне революции, разгадать мистическую формулу ее судьбы. Если в предреволюционные годы история служила синонимом казенной науки, скучно, однообразно и бескрыло представленной в официальных учебниках, то и статья она могла лишь мишенью для пародии, примером чему и явилась блестящая «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Смешные несообразности, забавные нелепости сливались в пестром хороводе всемирной комедии. Эмиграция заставила смотреть на родную историю (в том числе и бывших авторов “Сатирикона”) как на трагедию. Понять ее истоки, угадать значение этапных моментов российской истории, осмыслить причины крушения Российской империи пытались в зарубежье писатели разных творческих судеб, эстетической ориентации, политических воззрений и пристрастий, носители различных мировоззрений, исповедующие противоречивые духовные идеалы.

Многоликая, пестрая по этническому и социальному составу Русь сказывалась и в литературе изгнаничества. Национальные чувства, отношение к государственному устройству страны корректировались происхождением, той средой, где были заложены пронесенные через всю жизнь духовные ценности, привито патриотическое чувство. Разнообразие форм бытия в Российской империи оказалось представленным в литературе с удивительной полнотой, давая, с одной стороны, картины жизни дореволюционной России в срезе, с другой – отражение мировосприятия разных сословий и сословных групп. Шмелевская “кондовая” Русь, с “древним благочестием” и многовековым жизненным укладом; дух и быт помещиц Российской империи, дворянских “гнезд” (И. Бунин); надменность аристократического Петербурга (столь явственная в отношении Набокова к плебею Чернышевскому) и его разночинно-демократическая стихия (И. Лукаш); пафос военного подвига, слава русского оружия (П. Краснов) и фрунтовые будни (обличенные А. Куприным в дореволюционном творчестве как опозитизированный строй, дисциплина, учения в его “Юнкерах”!); скромное подвижничество русской интеллигенции (М. Осоргин), – сохранение в слове исторической России означало исполнение миссии русского писателя в эмиграции, оправдывало и сам исход, и все тяготы и лишения, вынесенные в изгнании.

Литература русского зарубежья не была литературой откровений о прошлом и прозрений в будущее. Но созданная людьми, чья личная судьба неотделима от трагической судьбы их отечества в XX столетии, она сберегла память и сохранила историю страны как задушевное семейное предание, обрастающее различными противоречивыми толкованиями; предание, которое рано или поздно вернется к своему творцу – русскому народу.

- ¹ Литература русского зарубежья: 1920–1940. М., 1993. С. 66–67.
- ² Манн Т. Иосиф и его братья. М., 1991. С. 29–30.
- ³ Сургучев И. Ротонда. Париж, 1952. С. 55.
- ⁴ Там же. С. 48–49.
- ⁵ Адамович Г. Русская литература в эмиграции // Современные записки. 1932. № 50.
- ⁶ Рудинский В. Поучительный опыт: Книга М. Вишняка о “Современных записках” // Возрождение. 1957. Т. 70.
- ⁷ Там же.
- ⁸ Зайцев Б. Изгнание // Русская литература в изгнании: сб. ст. / Под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 3–4.
- ⁹ Цит. по: История русской литературы. Л., 1981. Т. 2. С. 26.
- ¹⁰ Краснов П. Все проходит // Там же. Т. 2. С. 23.
- ¹¹ Он же. От двухглавого орла к красному знамени. Берлин, 1921. Т. 4. С. 39.
- ¹² Там же. Т. 3. С. 395.
- ¹³ Осоргин М. В. Корсак. Забытые // Современные записки. 1928. Т. 36.
- ¹⁴ Гуль Р. Я унес Россию // Новый журнал. 1982. № 147.
- ¹⁵ Ильин И.А. О тьме и просветлении. Мюнхен, 1959. С. 136.
- ¹⁶ Шмелев И.С. Избранное. М., 1989. С. 407.
- ¹⁷ Там же. С. 368, 375.
- ¹⁸ Карташев А. Певец святой Руси (Памяти И.С. Шмелева) // Возрождение. 1950. Т. 1. С. 157.
- ¹⁹ Воропаева Е. Жизнь и творчество Бориса Зайцева // Зайцев Б.К. Соч. М., 1993. Т. 1. С. 39–40.
- ²⁰ Лукаш И. Сны Петра: Трилогия в рассказах. Белград, 1931. С. 3.
- ²¹ Там же. С. 123.
- ²² Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. Бунинным // Новый журнал. 1965. № 80. С. 277.
- ²³ Там же. С. 274.
- ²⁴ Алданов М.А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1991. Т. 6. С. 446.
- ²⁵ Ходасевич В.Ф. Державин. М., 1988. С. 265.
- ²⁶ Зайцев Б.К. Соч. М., 1993. Т. 3. С. 281–283.
- ²⁷ Там же. С. 284.
- ²⁸ Набоков В. Дар. М., 1990. С. 249.
- ²⁹ Осоргин М.А. Письма к старому другу // Родина. 1989. № 4. С. 73.

А.А. Овсянников

ЛЕВОРАДИКАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ О СУДЬБАХ РОССИИ (работы 1920-х–1930-х годов)

Труды эмигрантов левой ориентации входят ныне составной частью в историографию и научную публицистику, на базе которых проводится исследование различных аспектов прошлого нашей страны. Эта литература составляет обширный пласт материалов, вышедших за рубежом в 1920-х–1930-х годах.

Авторы книг, статей, других работ были известные деятели российских революций. Во время революционных потрясений не всем

им нашлось место на Родине. Большевистское правительство, как известно, не “страдало” особенной любовью к идеологическим противникам, даже если еще недавно они состояли в одной партии, отбывали заключение в одних и тех же тюрьмах, словом, были соратниками.

Свой анализ мы начинаем с трудов второго, после В.И. Ленина, лидера Октябрьской революции – Л.Д. Троцкого. Л.Д. Троцкий... Трудно найти в истории другого политического и общественного деятеля, который оказался бы объектом таких фальсификаций, как при жизни, так и после смерти. Долгие годы его имя буквально выскребалось из отечественной историографии. С 20-х годов Троцкий находился под огнем критики, позже – оскорблений и унижений, а, в конце концов, общественного ostracism. С троцкизмом и его лидером связывались тяжелейшие преступления режима, возлагалась ответственность за все провалы политики, экономики, нравственности. Античеловеческие акты сталинизма – коллективизацию, жертвы форсированной индустриализации – опять-таки вели от Троцкого. Парадокс, но в стремлении отыскать истину многие авторы перестроечной публицистики, по сути, вели реабилитацию Сталина, делая его заложником троцкистских идей и методов.

Не повезло Троцкому и в послеперестроечной историографии, разрастающейся на наших глазах. История, что общеизвестно, сильнее всего страдает от двух пороков: конъюнктурности и моды. И если первый – во многом зависит от самих ученых, второй коренится в общественном восприятии. Так сложилось, что беспрецедентный интерес советских людей к истории в конце 80-х годов оказался связан конъюнктурными подходами, идущими от традиций, стиля, степени профессионализма исследователей. Дилетантизм, выплеснувшийся на страницы периодики, книги и статьи бывших диссидентов, несостоявшихся партийных и советских функционеров, поверхностных историков, с легкостью берущихся судить любую эпоху, привели к скорому разочарованию людей, изголодавшихся по объективной правде. В литературе, опубликованной за годы перестройки, Троцкий по-прежнему остался мрачной кровавой личностью для одних, отступником от ленинизма для других, международным террористом, экспортировавшим революцию, для третьих. В общем, большинству исследователей так и не удалось избавиться от старых стереотипов.

Громко заявленное “новое мышление” в историографии лет перестройки оказалось много скромнее по результатам. Одним из его парадоксов стало не критическое и однобокое восприятие зарубежной историографии. Казалось бы, недавнее прошлое советской исторической науки создало базу для сопоставления накопленного фактического материала, проверки выводов. Однако случилось то, что составляет суть стиля мышления многих наших современников, пишущих на исторические темы. Единодушное одобрение сменилось столь же единодушным отрицанием прошлых концепций.

Естественно, часть авторов это единодушие нарушают, но и они, оставаясь в меньшинстве, подтверждают общий принцип: два лагеря исследователей и публицистов не приемлют друг друга. Само же меньшинство, слегка модернизировав прошлый багаж знаний, не может или не хочет замечать противоречий и слабостей литературы прошлых лет. Встает вопрос: способна ли современная отечественная наука выйти за существующие рамки господствующих направлений? Вопрос, непосредственно связанный с другим: произошло ли качественное приращение знания по данным проблемам в новейшую эпоху?

Даже беглый взгляд на литературу и публикации источников, вышедшие со второй половины 80-х годов, дает однозначный ответ: да, источниковая база науки расширилась, и существенно. Следствием стал своеобразный переворот, если не сказать кризис, в сознании части людей. Но подборки документов, труды современников первых послереволюционных десятилетий множили вопросы, на которые ждали ответа от профессионалов-историков. Профессионалы же оказались не на высоте требований дня. Они выбрали простейший путь – перелицовку на советский лад зарубежной историографии и выдвижение умозрительных альтернатив, по принципу: “Что было бы, когда бы...?”

Непросто развивается отечественное троцковедение и в плане освоения его богатого идейно-теоретического наследия, и в плане изучения деятельности Троцкого, особенно в 1929–1940 гг.

В свете сказанного крайне сложной и запутанной представляется проблема троцкистской оппозиции и ее деятельности внутри и вне СССР. И на этом направлении историческая мысль с началом перестройки уверенно двинулась к апологии Троцкого и троцкизма, с одной стороны, и продолжению фальсификаций – с другой.

В целом интерес историков к Троцкому с конца 80-х годов подпитывался вниманием к проблемам сталинизма, репрессий и реабилитации жертв открытых московских процессов 30-х годов.

В течение 1990–1991 гг. вышли в свет почти все главные работы Троцкого. Казалось бы, открылись возможности объективного изучения. Но вновь историческая мысль делает “иждивенческий” поворот. Обратив взоры на Запад, отечественные историки заимствуют главные составляющие своей концепции у наиболее известного троцковеда – И. Дойчера. Несомненно, его трехтомное исследование – биография Троцкого – наиболее заметное явление апологетического направления послевоенного троцковедения. Однако книги Дойчера, написанные несколько десятилетий назад, нуждаются в серьезном анализе, учете новейших достижений исторической науки.

Ведь нельзя всерьез отнести к “осмыслению” послесловие к русскому изданию книги Дойчера “Троцкий в изгнании”, принадлежащее перу Н.А. Васецкого. Отдавая должное Васецкому как состави-

телю первой крупной публикации работ Троцкого в СССР, нельзя не отметить вульгарность многих его выводов, попытки соединить несовместимое: правду об оппозиции и ложь фальсификаций. Только испытывая ненависть к оппозиции, игнорируя прошлое и окружающую Васецкого действительность, можно было писать о “довольно зажиточном образе жизни” Троцкого в изгнании, что московские судилища осуждались Троцким “лишь потому, что в материалах процессов фигурировало и его имя” и т.п.

Внешне противоположные позиции занимал Д.А. Волкогонов. Его наиболее известные книги о Ленине, Сталине и Троцком стали заметным историографическим событием. Но именно в них воплотилась тенденция поменять полярность взглядов, позаимствовав западную концепцию, методологию и даже фактуру. Они рельефно показывают и достижения и болезни исторической литературы новейшего времени.

Обратимся, например, к его двухтомнику “Троцкий: Политический портрет”. К несомненным достоинствам книги относится стремление автора ввести в научный оборот новые источники и материалы. В этом отношении, на уровне заявки, монография идет дальше зарубежных и отечественных предшественников. Реальный эффект оказался несравненно ниже. На наш взгляд, творческий стиль Волкогонова характеризовал все то же отношение к архивному материалу как средству подтвердить мысль. Проще: есть мысль – ищем архивное подтверждение. А поскольку идеи уже высказаны зарубежными авторами – И. Дойчером, Р. Такером, А. Уламом – книги Волкогонова представляются вторичным, давно отраженным в историографии “новым взглядом”.

Таким образом, несмотря на авторитет автора, его многочисленные заявления о знании неизвестных архивных документов – это разговор полупрофессионала с непрофессиональной аудиторией. Резкое снижение шума вокруг имен Троцкого и Сталина, недостаточное знание читателем работ англо-американских авторов – вот, что действительно сделало книги Д.А. Волкогонова событием в отечественной историографии.

Пренебрежение к источникам привело к появлению в книге многочисленных неточностей и ошибок. Достаточно указать на неоднократные случаи цитирования двух–трех строчек документа из американского архива Троцкого и ссылки при этом на двадцать–тридцать единиц хранения одновременно! Подобный дилетантизм, непростительный для профессионала, ставит под сомнение многие положения автора.

Есть и еще одна черта современной отечественной историографии – недоучет совокупности всех точек зрения. Вне поля зрения российских историков оказался интереснейший пласт современных зарубежных исторических исследований. Речь идет о работах Дж.А. Гетти, У. Чейза, П. Брюэ. Отличен их подход – отсутствие ап-

приорной презумпции невиновности в отношении лидеров оппозиций при рассмотрении их деятельности в 30-е годы. Не реабилитация организаторов репрессий в духе сталинистской и постсталинистской литературы, а попытка найти место фактам и событиям, не укладываемым в схему тотальной фальсификации всего и вся.

В отечественных публикациях нашего времени подобный подход практически отсутствует. Так, даже осторожные попытки объективного или альтернативного взгляда на элемент политики репрессий – статистику жертв режима в статьях В. Земскова и Н. Дугина – тут же вызвали малоубедительные и грубые с позиций научной этики и профессионализма выступления писателей-публицистов, претендующих на звание историков – Л. Разгона и А. Антонова-Овсенко. Фактически, исследования историков остались на уровне книг Р.А. Медведева 60-х–70-х годов, покоящихся на некоторых взглядах англо-американской историографии и подкрепленных не менее традиционными источниками.

Большие ожидания вызвала работа в середине – конце 80-х годов комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями. Пресса писала о компетентности комиссии, тщательности в ее деятельности. Итоги работы, с которыми знакомил журнал “Известия ЦК КПСС”, оказались весьма скромными. “За кадром” осталась методика изучения, а приведенные результаты продолжали оставлять вопросы, серьезные подозрения в конъюнктурности выводов. Среди них вопрос: что стояло за обвинительными заключениями, кроме грубых фальсификаций, какова действительная роль обвиняемых, включая заочно осужденных Л. Троцкого и Л. Седова. Эти проблемы, необычайно сложные и неоднозначные, остались без разрешения. Их обходят авторы современной литературы.

Что касается отечественной историографии последних лет, следует подчеркнуть, что волна конъюнктурных исследований начала спадать. Наступает время поиска адекватных ответов на непростые вопросы, связанные с биографией Троцкого, его друзей, соратников. Однако общественный интерес к комплексу данных проблем резко убывает, мода на историю прошла. Тем не менее, во всем этом имеется существенное преимущество: наконец-то можно попытаться спокойно, без излишних эмоций привести в систему разрозненные и противоречивые факты жизни Троцкого, оценить их, найти место правде и вымыслу, реальности и легендам.

В отечественной исторической литературе Троцкого обычно сравнивали с другими лидерами социал-демократии и большевизма, привычно противопоставляя его Ленину. Такая традиция уходит корнями в далекое партийное прошлое. В подтверждение сошлемся на слова М.С. Урицкого (май 1917 г.): “Вот пришла великая революция и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого”¹. Появление такой традиции вполне объяс-

нимо. Ленин и Троцкий были незаурядные самостоятельные фигуры в российском социал-демократическом движении. Они являлись, как казалось, непримиримыми противниками. Но, в отличие от других оппонентов из разных политических лагерей, пути Ленина и Троцкого с 1917 г. стали общими. Есть и еще ряд важных обстоятельств. Оба деятеля считались лидерами течений в РСДРП, особенно после революции 1905–1907 гг. Другие руководители социал-демократии, за исключением, пожалуй, Г.В. Плеханова, не были столь крупными личностями. Церетели, Чхеидзе, Мартов – каждый из них фигура по-своему примечательная, но с Лениным или Троцким несопоставимая.

В историко-партийной публицистике сравнивались все главные составляющие деятельности Ленина и Троцкого, в том числе их дар аналитиков. Поэтому, рассматривая исторические и политологические сочинения Троцкого, от параллельного изучения их с ленинскими трудами не уйти и нам. “Виновата” здесь и творческая манера Троцкого: в центре огромного количества его произведений – Ленин, ленинская методология и методика изучения, феномен ленинизма.

Серьезно историческая концепция и взгляды Троцкого в советской литературе не исследовались. Если в отечественном лениноведении имеются, как полнокровные направления, апологетическое, нигилистическое и конформистское, то в троцковедении до середины 80-х годов все исследования лишь нигилистически разоблачали троцкизм. Вторая половина 80-х годов ситуацию изменила, но не глубоко. Перестройка и новое мышление, сняв запреты со многих прежде закрытых тем, в отношении Троцкого породили книги и статьи конформистского толка. Даже в работах рубежа 80-х–90-х годов продолжали повторяться и, что самое поразительное, обосновываться прежние легенды. Например, о стремлении Троцкого – бывшего соратника и помощника Ленина опорочить имя вождя. Так, в сборнике “К истории русской революции”, вышедшем в 1990 г., его составитель Н.А. Васецкий в примечании, посвященном знаменитому ленинскому лозунгу “экспроприация экспроприаторов”, пишет, что действительный автор “призыва” – В.А. Карпинский, а “отнюдь не Ленин, как это утверждал Троцкий”². Насколько такое “открытие” несерьезно, видно из следующей цитаты: «Обобществление производства не может не привести к переходу средств производства в собственность общества, к “экспроприации экспроприаторов”³». Она взята нами из знаменитой статьи Ленина “Карл Маркс”, написанной в 1914 г.

Необходимо подчеркнуть еще одно обстоятельство. Анитроцкистская литература 20-х – начала 30-х годов сплошь и рядом оказывается на порядок выше уровня позднейших исследований.

Гораздо богаче троцковедческие исследования представлены в зарубежной историографии. Здесь нет возможности подробно оста-

новиться на ней. Подчеркнем главное: она разнообразнее отечественной, ее содержание простирается от апологии Троцкого и троцкизма до его полного неприятия. А в силу того факта, что значительные архивные материалы сосредоточены на Западе и в США, а соответствующие фонды наших архивов практически не изучались, иностранная литература интереснее и в смысле источниковой базы. За рубежом издана самая полная библиография трудов Троцкого⁴. На английском и ряде других языков опубликовано большое количество его работ⁵. Это свидетельствует о повышенном внимании к Троцкому историков всего мира, для которых его труды выступают в числе главных методологических и документальных источников.

Следует подчеркнуть, что отечественная историческая наука испытывала сильное воздействие взглядов и оценок Троцкого. Остались в ходу даже некоторые имена-прозвища, термины типа “все-российский староста” М.И. Калинин, “ножницы цен” и т.д. Естественно, авторство их давно забыто. Также безадресно многие годы велись споры с отдельными положениями троцкистских концепций, что, впрочем, в равной мере относится к другим репрессированным руководителям партии и государства. В числе дискуссионных находились и исторические проблемы. Ведь независимо от политических и вкусовых пристрастий, особенно в 20-х – начале 30-х годов невозможно было скрыть, что именно Троцкий одним из первых поднял научные проблемы истории революции, внутрипартийной борьбы и т.д. Причем, в отличие от Ленина и других большевистских теоретиков, он попытался взглянуть на многие вопросы глазами историка. Поэтому в данной статье при характеристике составляющих идейно-теоретического наследия Троцкого мы будем акцентировать наше внимание на главных чертах его концепции истории.

Надо сказать, что на роль исследователей-историков претендовали практически все главные большевистские вожди. Ленин был, пожалуй, единственным исключением. Остальные примеряли мантию профессоров от истории. Тон задавали Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев. Со временем к ним подключились остальные. В конце концов дело дошло до комедийного фарса с кратким курсом “Истории ВКП(б)”, который издатели сочинений Сталина, задним числом, чуть было не зачислили ему в авторскую работу, вознамерившись включить сей коллективный труд в собрание сталинских сочинений. Увлечение историей не прошло и мимо Троцкого. В этом смысле тема “Троцкий – историк” вполне правомерна. Добавим еще один принципиальный момент: “исследования” подавляющего большинства официальных партийных историков, как правило, настолько неоригинальны из-за шаблонности приемов, выводов, оценок, что индивидуальный подход к ним просто малоинтересен.

Такого не скажешь о произведениях Троцкого. Его история являлась контрверсией официозу, была самостоятельным явлением в отечественной историографии 20-х–30-х годов. Не побоимся выска-

зять суждение, что работы Троцкого являются лучшими и наиболее самобытными исследованиями, вышедшими из-под пера партийных историков.

Первое, с чем встречается читатель, – отличный язык и стиль. В потоке скучных или сухих книг и статей Сталина, Зиновьева, Ярославского и многих других произведения Троцкого выделялись именно литературностью. В их авторе, несомненно, жил талант незаурядного писателя. Многие его работы, даже с заведомо нелитературными сюжетами, “проглатываются” как хорошо сработанная беллетристика. Стиль Троцкого, бесспорно, – одна из причин популярности его произведений. Нужно особо отметить ярко выраженный личностный характер авторской манеры. С 20-х годов Троцкого “били” за отсутствие “большевистской скромности”. Действительно, в его работах редко встретишь неопределенно-личное “мы”. О себе и от себя он почти всегда писал в первом лице. Конечно, элементы самолюбования, склонность к провидческим обобщениям густо рассыпаны в произведениях Троцкого. Эта манера может не нравиться, вызывать неприятие, но она откровеннее и прямее, чем показушная скромность антитроцкистов.

Диссонансом смотрелась и другая особенность его публицистики: сквозящее в ней отрицание раболепства перед авторитетами. Сказанное не значит, что для Троцкого их не существовало. Например, об обратном свидетельствует комплекс работ о Ленине. Ленинский авторитет, особенно после 1917 г., являлся для него непререкаемым. Но в трудах и выступлениях Троцкого современники слишком часто не находили столь заметной “творческой” манеры его оппонентов: каждую, даже по-детски пустяковую мысль, подтверждать ссылкой на классиков марксизма, особенно Ленина.

В этой связи вспоминаются отчаянные слова Зиновьева на XIV съезде ВКП(б), звучащие злой самоиронией: «В последнее время, товарищи, многие толкуют так, что не надо, мол, слишком много цитировать Владимира Ильича, что так начетчики только делают, что это “ветхий завет” у нас и т.д. Так иногда говорят. И говорят еще так: зачем цитировать Ленина, у него можно найти что угодно, как у дядюшки Якова товару всякого»⁶. Зиновьев-оппозиционер попал в им же расставленную сеть: обожествление Ленина, доведение любого ленинского слова до истины в конечной инстанции. То есть, Зиновьев сам пострадал от обожествления Ленина, за отсутствие которого раньше осуждал Троцкого.

Итак, поставим задачу – посмотреть на произведения Троцкого как на работы теоретика-обществоведа и историка. Тут же оговоримся. Речь пойдет о Троцком в ракурсе его места в историографии. Нами сознательно не выделяется отдельной проблемой влияние на историческую концепцию Троцкого различных школ и научных направлений. Во-первых, это специальная и большая тема. Во-вторых, на ней останавливались, пусть не очень подробно, историки с конца

20-х годов. Много места ей уделял М.Н. Покровский⁷. Если отбросить заидеологизированную шелуху некоторых суждений последнего, восходящую к внутривластьным разногласиям, он, в целом, верно отметил влияние на Троцкого взглядов историков юридической школы и П.Н. Миллюкова. А поскольку любой историк формируется под воздействием предшествующей историографии, то вряд ли стоит данное обстоятельство драматизировать. Достаточно того, что анализ Троцкого, участника и руководителя описываемых им событий, помноженный на отличную от официальной трактовку, — вполне определяет его самостоятельное место в истории науки.

Историческая концепция Троцкого, подчеркнем это, не представляла из себя нечто совершенно новое и оригинальное и в доктринальном смысле. В ее основе находились те же символы веры, которые лежали в фундаменте аналитического стиля российских социал-демократов. Как большинство из них, Троцкий заплатил дань народнической традиции и народнической литературе. Но его знакомство с ней оказалось отлично от первых народнических иллюзий революционеров, родившихся на 10–15 лет раньше.

Троцкий проявил интерес к идейной борьбе в 1896 г.⁸ И хотя первая его статья была написана для народнического журнала, увлечение оказалось сугубо поверхностным. Тем не менее, с точки зрения формирования социологической концепции данный факт определенно интересен. Троцкий упустил, по его словам, три–четыре года, но это были не простые годы. Ленин, не говоря уже о Плеханове, стали сторонниками марксизма через преодоление сильнейшей внутренней инерции народнической идеологии, в то время, как Троцкий оказался перед свершившимся фактом — марксизм являлся доминирующим течением в среде оппозиционной молодежи.

Отличался и путь Троцкого к марксизму. Большинство социал-демократов старшего поколения были народниками. Ленин, застав закат народничества, примкнул к нему в силу семейных обстоятельств, знал его не через газетную информацию, а от брата и сестры. Не трудно увидеть связь между идеологией народничества и отношением к крестьянству и интеллигенции у Ленина и Плеханова.

Иное дело Троцкий. К марксизму он шел не от народничества. Его увлекали западнические идеи масонства. Он даже всерьез подумывал заняться его историей. К марксизму же Троцкого притягивала критическая направленность учения. В свою очередь, критицизм был чертой характера Троцкого. В критике он заходил достаточно далеко, подвергая сомнению не только частности, но даже саму ценность марксистской доктрины. Если заняться сравнениями, то отметим общеизвестное: ортодоксальным большевикам теория Маркса представлялась вневременной ценностью. Подобное отношение к марксизму является доминантой в ленинской методологии истории.

Троцкий, напротив, часто бывал не столь категоричен. Он говорил, что «наступит время, когда люди перестанут искать в “Капита-

ле” Маркса поучений для своей практической деятельности, и “Капитал” станет только историческим документом»⁹. Трудно вообразить, как нечто подобное произносит Ленин. Перу Троцкого принадлежат и такие слова: «Форма лучших, то есть как раз наиболее ярко полемических произведений Плеханова устарела, как устарела форма энгельсовского “Антидюринга”»¹⁰. И дело тут не в случайной оговорке, а в системе взглядов. “Ревизия марксизма, шедшая по всем направлениям, помогла мне, как и многим другим молодым революционерам, собраться с мыслями и острее отточить свое оружие”, — писал Троцкий в автобиографии¹¹. Такое восприятие ревизионизма трудно обнаружить у правоверных большевиков-ленинцев.

Тем не менее историческая доктрина Троцкого оставалась в русле марксизма до последних дней его жизни. Категории классов и классовой борьбы, общественно-экономических формаций брались им за непререкаемые истины. В революциях он, вслед за Марксом и Энгельсом, видел “локомотивы истории”, а служение социалистической революции считал целью своей жизни. Что касается исторической миссии пролетариата, то тут Троцкий оказывался даже большим идеалистом-радикалом, чем ортодоксы ленинской школы. Пролетариат стоял в центре троцкистской теории перманентной революции.

Здесь уместно сделать небольшое замечание. В антитроцкистской литературе одним из краеугольных камней является низведение Троцкого до уровня рядового плагиатора истинного создателя теории перманентной революции — А.Л. Парвуса. Действительно, Парвус обобщил ряд идей марксовой перманентной революции применительно к собственному видению российских реалий. Но настоящим разработчиком и пропагандистом системы взглядов, вытекавших из этих идей, выведивших их на уровень теории, был Троцкий. Не случайно в полемической литературе межреволюционного времени (1905–1917 гг.) говорили именно о троцкистской перманентной революции.

Таким образом, мировоззренческая концепция Троцкого в своих главных частях не несла оригинальных черт. Одновременно, степень аккумуляции других научных школ, более подвижные критерии вели его к нестандартным подходам и выводам. Они, особенно с начала 20-х годов, сильно отличались от запрограммированных оценок большевистской публицистики, тон которой задавали труды Ленина. Поэтому дискуссии и острая борьба со взглядами Троцкого не могли не вспыхнуть вновь, даже после его вхождения в круг высших партийных лидеров в 1917 г. Это случилось, как только позволила ситуация. Споры вокруг теоретических и практических вопросов, в ходе которых требовалась апелляция к прошлому, перерастали в столкновения врагов.

Тут не наблюдается чего-либо случайного. Вся полемика с ревизионизмом и оппортунизмом (а в этих “трех” обвиняли Троцкого)

была пропитана у русских марксистов уверенностью в существовании только единственного правильного истолкования теории. Фактически шла борьба за гегемонию одной социологической и философской школы. И не важно, что на словах социал-демократы признавали плюрализм мнений и направлений. На деле они вели войну на дискредитацию друг друга.

При такой постановке вопроса Троцкий, который попытался встать выше споров, не имел серьезных шансов на успех. Он мог лишь приспособиться, скорректировать свою концепцию с одним из лагерей (что случилось в период первой мировой войны и революций 1917 г.). В конце концов, он нашел объяснение собственной эволюции в тезисе об идейном перевооружении большевизма.

Троцкий так писал по этому поводу: “С того момента, как большевизм и меньшевизм определились политически и организационно (с 1904 г.), я стоял формально вне обеих фракций, но, как показали три русских революции, моя политическая линия, несмотря на конфликты и полемику, во всем основном совпадала с линией Ленина”¹². Но неустойчивое равновесие оказалось непрочным, ибо с начала 20-х годов изменился большевизм. Эти подвижки отразились на содержании и судьбе исторических работ Троцкого.

В теоретической концепции Троцкого имелся важный элемент, который не полностью согласовывался с материалистической доктриной Маркса, но который играл особую роль. Речь идет об интуиции, историческом провидении, мессианстве. В историографии данная особенность либо принимается как должное (например, трехтомник И. Дойчера, в заглавии каждого тома которого присутствует слово “пророк”), либо становится объектом саркастической критики¹³.

Однако необходимо помнить, что мессианство вполне сочеталось не только с марксизмом (историческая миссия пролетариата, неизбежность смены капитализма коммунизмом и пр.), а являлось стилем эпохи. Своеобразной квинтэссенцией мессианства нам представляются слова Зиновьева о Ленине – “пророке нового общества” и “апостоле коммунизма”¹⁴. Они лежали в русле особого идеологического построения – вождизме, культе вождя, которое признавали лидеры большевизма, включая Ленина и Троцкого¹⁵.

Для Троцкого нематериальная категория “интуиция” являлась частью вполне конкретного понятия “исторический опыт”. Он применял метод “интуиции” обычно тогда, когда уходил от серьезного анализа или не мог его провести. Так, он доказывал, что в послеоктябрьской России марксистская теория применялась правильно, поскольку “события, в которых мы теперь участвуем, и сами методы этого участия были предвидены в основных своих чертах полтора десятилетия назад (в 1904–1905 гг. – *А.О.*)”¹⁶.

Теперь вернемся к мировоззренческим аспектам исторического анализа в сочинениях Троцкого. Сразу отметим: история занимала

его с юношеских лет, а внимание к историческим проблемам стало характерной частью творческой манеры Троцкого – общественного и политического деятеля. Взгляды молодого Троцкого на прошлое и окружавшую его действительность носили явный отпечаток западничества, столь типичный для социал-демократов. В частности, его воззрения вполне совпадали с позицией Г.В. Плеханова.

Он разделял плехановское понимание основ общественного развития России как “сравнительно примитивного и медленного”, связывал его со скудной экономической базой русского общества¹⁷. Неминуемый вопрос, встававший перед сторонником подобного подхода, – что делать с российским капитализмом и марксизмом. Троцкий для себя нашел ответ в интерпретациях взглядов историков и философов западной ориентации. Вслед за ними он доказывал, что движущей силой российской истории оказалось давление западных государств, выросших на более высоком экономическом фундаменте¹⁸.

Не претерпев серьезных изменений, эти мысли остались у Троцкого и в зрелом возрасте. Так, успешность большевистской революции в России он объяснял тем, что социал-демократы “импортировали идеи марксизма из других стран и воспользовались чужим революционным опытом”, а также тем, что “в течение десятилетий имели в других странах свою эмиграцию”¹⁹. Правда, ему пришлось искать выход из явного противоречия, которое породила Октябрьская революция. Неразвитая, в сравнении со странами Запада и США, Россия, по мнению руководителей революционного переворота, на всех парах входила в социализм, открыла эру мировой социалистической революции. Главные идеологи Октября – Ленин и Троцкий – соглашались, что сам факт русской революции объяснялся слабостью страны (так называемое слабое звено). Но запаздывание мирового социалистического пожара и специфику партийной стратегии и тактики они объясняли в близких, но не тождественных тезисах.

У Ленина парадокс эпох разрешался в перевертывании причинно-следственной связи: вначале революция, потом – создание ее предпосылок²⁰. У Троцкого – в преобладающем верховенстве политики над экономикой: например, говоря в начале 30-х годов о США и перспективах американского марксизма, он подчеркивал “политическую отсталость Соединенных Штатов”²¹. В обоих случаях выводы противоречили марксизму в его изначальном виде, что, однако, не смущало авторов. Но в периоды острых разногласий с большевиками до Октября и с руководящим партийным большинством в советское время Троцкого не раз обвиняли в отступничестве от марксизма и идеализме его исторической концепции.

Так, острой критике подвергался вывод о природе российского абсолютизма. Троцкий считал, что административное, военное и финансовое могущество абсолютизма существовало наперекор об-

щественному развитию, а усиление централизации государства обеспечивало его самодовлеющее, не зависимое от общества существование²².

В историко-философском смысле Троцкий был сторонником теории отрицания государства, но выводил ее не столько из экономики, сколько из политики. По Троцкому, революция вырастает из пропасти, разделяющей русский абсолютизм и нацию. Российское государство он считал порождением слабости и политического ничтожества господствующих классов. Отсутствие равновесия между ними сделало самодержавие “самодовлеющей организацией, стоящей над обществом”, что составило отличие России от стран Запада.

Таким образом, Троцкий, не отрицая марксистского постулата о первичности экономики, не распространял его на российскую историю. Мысль о внеклассовом характере российского государства, конечно, не была его открытием. Она доминировала в историографии того времени. С ней соглашались многие историки и общественные деятели от Милюкова до Плеханова. Политический характер государства они объясняли внешним военно-оборонительным фактором – татарским нашествием. Подобная интерпретация не удовлетворяла Троцкого. Он подчеркивал, что борьба с крымскими и ногайскими татарами требовала напряжения сил, но “не больше, чем вековая борьба Франции с Англией”²³. То есть, сохраняя тезис по существу, Троцкий меняет его ориентацию – с восточной на западную. Экономический детерминизм Маркса он переносит в детерминизм государства: “Западная экономика влияла на русскую через посредство государства”.

Анализируя подобным образом исторический материал, Троцкий приходит к важным для него выводам, согласно которым российское самодержавие с 80–90-х годов XIX в. являлось военно-бюрократической организацией, негодной для регулирования капиталистических отношений, вошедшей в противоречие с хозяйственно-культурными потребностями общества²⁴.

Не будем рассуждать, насколько исторически точен проделанный анализ. В данном случае это не столь существенно. Важнее другое. Представленная нами теоретическая концепция легла в основу видения Троцким перспектив развития России, стала историческим обоснованием теории перманентной революции, оказала влияние на практическую деятельность ее создателя.

Известно, что в начале XX в. Троцкий оказался одной из ключевых фигур в полемике между социал-демократами. Поэтому небезынтересно посмотреть, как проявлялись в этих вопросах воззрения Троцкого на особенности исторического прошлого России и общественного движения.

Обычно среди составляющих троцкизма в числе первых называют теорию перманентной революции, о которой уже упоминалось выше. Сам Троцкий посвятил ей множество работ, среди них специ-

альное исследование – книгу “Перманентная революция”, пожалуй, самое сухое для восприятия читателя произведение. Суть теории он определял следующим образом: “Русская революция создает... такие условия, при которых власть может (при победе революции – должна) перейти в руки пролетариата, прежде чем политики буржуазного либерализма получат возможность в полном виде вернуть свой государственный гений”²⁵.

Данная формулировка относится к 1905–1906 гг. В брошюре “Итоги и перспективы” ей предшествовала глава об особенностях исторического развития России. Этими сюжетами Троцкий, по собственному признанию, занялся с целью теоретически и, по его словам, исторически обосновать и оправдать лозунг завоевания власти пролетариатом. Причем, данный лозунг противопоставлялся как требованию буржуазно-демократической республики, так и лозунгу демократического правительства пролетариата и крестьянства. Суть идей, сформулированных в период первой российской революции, находила отражение в послеоктябрьских работах Троцкого, о чем свидетельствует публикация в 20-е годы в приложениях ко 2–4 изданиям книги “1905” статьи “Об особенностях исторического развития России”.

Российская экономическая жизнь, подталкиваемая давлением Запада, культурно-политически оторванное от нации государство и власть, а также марксистская идея о пролетариате – могильщике буржуазии – вот, сведенная до уровня схемы, система перманентной революции. В ней, на что обратили внимание сразу, не находилось места крестьянству. Последнее не значит, что Троцкий механически “выбрасывал” или недооценивал крестьянство, как указывал Ленин и особенно его интерпретаторы с середины 20-х годов. В этой связи интересно подчеркнуть, что в полемическом задоре главные оппоненты – Ленин и Троцкий – не хотели замечать сходства своих позиций.

Так, в ленинской статье “О двух линиях революции” (1915 г.) совпадение с троцкистской конструкцией трактуется как путаница. Ленин тогда отметил: “Троцкий не подумал, что если пролетариат увлечет непролетарские массы деревни на конфискацию помещичьих земель и свергнет монархию... это и будет революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства!”²⁶ С высоты сегодняшнего дня видно, сколь близки их позиции. Ретроспективно оценивая спор, Троцкий в 1918 г. в общем-то верно подметил, что тактика перманентной революции была просто уничтожением границы между минимальной и максимальной программой социал-демократии. Другим свидетельством близости позиций являются теоретические трактовки характера и перспектив социалистической революции другими лидерами большевиков после Октября.

Например, Бухарин писал в начале 1918 г., что победа пролетариата, поддержанного деревенской беднотой, не есть начало “орга-

нической эпохи”, “перманентная революция в России переходит в европейскую революцию пролетариата”. Троцкий обратил внимание на бухаринские строки в начале 30-х годов²⁷, когда схлынуло “наводнение так называемой дискуссии против троцкизма”, в которой “Бухарин был главным и, в сущности, единственным теоретиком всей кампании... резюмировавшей в борьбе против теории перманентной революции»²⁸.

Из вышесказанного следует выраженное в исторической концепции Троцкого признание факта привнесения марксистской теории и философии на российскую почву со стороны. В этом смысле теория перманентной революции была ничем иным, как попыткой совместить марксизм с условиями России. Отсюда сходство концепций у историков, выросших из западнического лагеря, прежде всего, Ключевского и Милюкова и Троцкого. В конце концов, Милюков, служивший во многих случаях историографическим источником для Троцкого, являлся сторонником весьма схожей идеи: прогресс России протекал по линии вхождения ее в фарватер западноевропейской культуры.

В марксизме Троцкий подчеркивал еще одну важнейшую составляющую – пролетарский интернационализм, без которого его историческая концепция рассыпалась на куски. Интернационализм являлся для него особым символом веры, корни которого следует искать не столько в биографии самого Троцкого, сколько в той части российской ментальности, которая становилась питательной средой западнических идей. В марксизме его российских последователей, среди прочих, привлекала новая ориентация на пролетариат, который, по их мнению, развивался по тем же законам, что и западноевропейский. Что касается крестьянства, славянофилы и народники-социалисты сумели достаточно убедительно доказать несхожесть российского крестьянства – основной массы населения страны Российской империи – с крестьянством других стран.

Тем не менее, влияние народничества сказалось на концепции Троцкого, который вполне разделял созвучные народникам взгляды на отличный от классически европейского путь вхождения России в капитализм. Одновременно он не соглашался с позицией марксистских историков и публицистов, политически группировавшихся вокруг меньшевиков. Меньшевистское понимание роли и места либеральной буржуазии в грядущей революции, а, следовательно, обоснование их взглядов Троцкий не принимал. Здесь его видение прошлого, настоящего и будущего опять-таки оказывалось гораздо ближе к большевистскому.

Следует подчеркнуть, что перечисленные особенности относятся к теоретической концепции, а не практике. В практической плоскости Троцкого и большевиков сведет революция: она, говоря марксистским языком доказательств, явится той практикой, которая отразит действительную близость теоретических посылок.

Итак, теория перманентной революции выросла из исторической концепции Троцкого. В историографии, преимущественно советской, данная теория обычно считалась сердцевиной троцкизма. До настоящего времени дискуссионными представляются и сам термин “троцкизм”, и его реальное содержание. На этой проблеме нужно остановиться, хотя бы кратко. Необходимо, поскольку критика и борьба со взглядами Троцкого существенно отразилась на эволюции его концепции истории, проблематике и направленности анализа.

Вначале несколько слов о термине. Его создателем, как отмечал Троцкий, являлся Миллюков. Первоначально под троцкизмом понимали особую позицию Троцкого, стоявшего вне фракций и группировок в РСДРП. В целом его воззрения были левыми. Парадокс исторической аберрации состоял в причислении левого уклона Троцкого к меньшевизму, занимавшему правый фланг социал-демократии. Причин описываемому явлению несколько: солидарность с меньшевистской позицией на II съезде РСДРП и, особенно, после съезда, совпадение многих черт исторической концепции, не признававшей за крестьянством сколько-нибудь значительной прогрессивной роли в грядущей революции. Но главная причина – неприятие организационных принципов большевизма.

Во взаимной критике противоборствующие стороны не скупилась на “комплименты”. В 1904 г. Троцкий назвал ленинские принципы режимом казармы, а метод научного исследования Ленина сравнил с “половой тряпкой”, которую он использует, “когда нужно затереть свои следы”, с белым экраном, если “нужно демонстрировать свое величие”, складным аршином, если “нужно предъявить свою партийную совесть!”²⁹

В 20-е годы, когда большинство тогдашнего партийного руководства решило отторгнуть Троцкого от своих рядов, используя его прежний небольшевизм, актуальность приобрел вопрос о троцкистских теоретических воззрениях. Козырной картой антитроцкисты взяли самое очевидное. Дело в том, что в своих выступлениях в печати Троцкий неоднократно подчеркивал “безусловную правильность” собственных оценок движущих сил революции³⁰.

Для подобных слов он имел, пусть крайне субъективный, но весомый аргумент: с 1917 по 1923 г. о троцкизме не было речи ни у Ленина, ни у других партийных вождей. Зато сколько угодно говорилось о мировой перманентной революции. Троцкий объяснял подобный феномен идейным перевооружением большевизма в 1917 г. Для доказательства данного тезиса ему пришлось обратиться к истории 1917 г. и оказаться автором первого не санкционированного свыше исследования, созданного ведущим участником революции о событиях февраля – октября 1917 г.

Формальным поводом послужила подготовка первой части третьего тома сочинений Троцкого, который открывался обширным предисловием – знаменитыми “Уроками Октября”. Лейтмотивом

работы стала мысль, ранее сформулированная в брошюре “Новый курс”: “Что касается теории перманентной революции, то я решительно не вижу оснований отказываться от того, что писал по этому поводу в 1904–1906 гг. и позже. Я и сейчас считаю, что основной ход мыслей, развивающихся мною, несравненно ближе к действительной сущности ленинизма... Таким образом, идея перманентной революции полностью и целиком совпадает с основной стратегической линией большевизма. Этого можно было не видеть 18–15 лет тому назад. Но этого нельзя не понять и не признать теперь...”³¹

“Уроки Октября” изначально выполняли две функции: предисловия к тому “1917” (т. 3 сочинений) и, следовательно, являлись заявкой на научное осмысление опыта революции; полемического материала, а значит политически и тематически ограниченного рамками внутрипартийной дискуссии. Отметим, что борьба с троцкизмом, начатая в 1923 г., изначально приобрела историко-партийную окраску. Она выразилась в стремлении доказать на исторических фактах случайность Троцкого в большевистском руководстве, изобразить его временным попутчиком из меньшевистского лагеря.

Поэтому в ходе дискуссии пришлось поднять множество исторических вопросов, значительная часть которых и сегодня представляются сложными и запутанными. Интересно отметить, что Троцкий как бы мимоходом уточняет некоторые терминологические нюансы, запутанные нашим политизированным и конъюнктурным сознанием. Он достаточно четко разграничивает понятия “революция” и “переворот”. На наш взгляд, Троцкий методологически точен, когда говорит о Февральской и Октябрьской революциях, в противоположность Февральскому и Октябрьскому перевороту как политическому и организационному мероприятию³².

События 1917 г. привлекли столь пристальное внимание Троцкого, в первую очередь, возможностью проанализировать особое состояние общества – революционные кризисы. В более узком смысле – их отражение в судьбах партии и ее руководителей. Вместе с другими работами того времени – упоминавшейся брошюрой “Новый курс”, книгой “О Ленине”, переизданиями более ранних произведений – Троцкий начал серию специальных исследований истории российских революций 1917 г., продолжавшуюся до конца его жизни.

Первое, что бросается в глаза при прочтении произведений – известная доля политизации. Естественно, для науки она играла чаще отрицательную роль. Но ожидать от Троцкого абсолютно беспристрастного подхода, равно как и от остальных его современников, независимо от их политической ориентации, от белоэмигрантов до ортодоксов-сталинистов – несерьезно.

Если смотреть на “Уроки Октября” глазами историографа, нужно отметить связь труда с рядом ленинских произведений. Среди них – «Детская болезнь “левизны” в коммунизме» и комплекс пос-

ледних писем и статей. В этом смысле предисловие Троцкого представляется своеобразной попыткой научного и идеологического обоснования идей Ленина о международном значении опыта российских революций и его отражения в политике советского государства. Конечная цель Троцкого – не только определить место событий революции, но и оттенить степень участия в них лидеров партии.

Какова же суть концепций истории подготовки и проведения Октябрьской революции в изображении Троцкого? Ответ на этот вопрос напрямую связан с особенностями его методологии и методики изучения.

Ведущая посылка заключена в тезисе о неготовности большевиков к резкому повороту в феврале 1917 г. Основным аргументом для подобного вывода послужили разногласия в среде большевистского руководства, продолжавшиеся до принятия решений Апрельской конференции РСДРП(б). Тезис больно ударял по всей партийной верхушке, так как Ленин весной 1917 г. практически оказался в одиночестве.

Тут мы сразу сталкиваемся со специфическим методом анализа. В силу ли личного пиетета, в силу ли сложившихся обстоятельств, Троцкий был вынужден обособить Ленина от остальных большевистских лидеров не только в 1917 г., но и в предшествующий период. В более законченном виде такая формула внесена в “Историю русской революции”. Она гласит: “Действительный ход Февральского переворота нарушил привычную схему большевизма”. В “Уроках Октября” Троцкий постоянно пытался балансировать между соблазном дать реальную оценку прежнему курсу и опасностью обвинения в антиленинизме.

Для этого были основания. Позднее, в 1927 г. советский полпред во Франции А.А. Иоффе, покончивший жизнь самоубийством, написал Троцкому в предсмертном письме, что Ленин признавал политическую правоту последнего, начиная с 1905 г. “Перед смертью не лгут”, – подчеркивал Иоффе. Надо думать, что подобные разговоры шли и раньше, хотя и не с такой откровенностью³³. Их отражением в “Уроках Октября” стал неопределенно-личный вывод: “Кто продолжал в этих условиях держаться за формулу “демократической диктатуры”, тот на деле отказывался от власти и вел революцию в тупик”³⁴. Троцкий сознательно переносит центр тяжести с Ленина, главного пропагандиста теории “демократической диктатуры пролетариата и крестьянства”, на его старобольшевистских соратников весны 1917 г. – Каменева, Сталина и др.

Логика вывода не оставляла места апологии Ленина. В “Истории русской революции” Троцкий написал уже откровенно: «Формулы “демократической диктатуры” сам Ленин, правда, не сменял на иную, даже условно, даже гипотетически, до самого начала Февральской революции. Правильно ли это было? Мы думаем, что нет»³⁵. Данное заключение соседствует с другим, не менее важным:

только Ленин в условиях начавшейся революции мог перевооружить партию. Таким образом, Троцкий находит исторически обоснованный компромисс и для себя. Он сводился к фактам смены старого большевистского курса и рождению весной 1917 г. новой ленинской позиции.

Современники Троцкого из противоборствующего лагеря использовали “Уроки Октября” для доказательства троцкистской неискренности в отношении Ленина. На этом сюжете необходимо остановиться особо. Ленинская тема, как видно даже из вышеприведенных фактов, находилась у Троцкого в центре исторического анализа. К оценке деятельности Ленина он обращался с первых своих работ.

Однако перелом в отношении к лидеру большевиков произошел столь стремительно и был столь резок, что выглядел ненатуральным. От характеристики типа “профессиональный эксплуататор отсталости в рабочем движении” он перешел к панегирикам “величайшему человеку нашей революционной эпохи” (1918 г.)³⁶. Ленин, в свою очередь, называл Троцкого в 1917–1923 гг. “лучшим большевиком”, самым способным человеком в ЦК. Бывшие непримиримые враги реабилитировали друг друга. И все же, острота прежних разногласий заставляла Троцкого-историка постоянно подчеркивать свою лояльность к Ленину. В подтверждение сошлемся на поздний документ, письмо к Ч. Маламуту (1939 г.), где Троцкий, в который раз, доказывает объективную вынужденность своего отсутствия на ленинских похоронах³⁷. Это отсутствие, как известно, трактовалось противниками Троцкого доказательством неприязни последнего к Ленину.

Анализ деятельности Ленина получился у Троцкого как бы состоящим из двух частей: с одной стороны, он признает особое место лидера большевиков в революции, равно как и в партии. Более того, троцкистский взгляд отходит от ортодоксально-марксистского, выдвигая на передний план субъективный фактор: “Без большевистской партии Октябрьская революция не могла бы ни совершиться, ни закрепиться”³⁸.

В целом в историческом изучении биографии Ленина у Троцкого можно найти значительно больше издержек, чем в биографиях других людей. Но одновременно он поставил в своих работах о Ленине ряд проблем и сформулировал подходы, оказавшие серьезное влияние на последующую историографию. Троцкий оказался первым среди советских историков и политиков, дерзнувших критически оценить многие факты ленинской биографии. Понятно, в его попытке крайне сильна оказалась субъективная посылка, продиктованная борьбой за власть. Тем не менее, ценность анализа не утрачена по сей день.

В эмигрантской литературе почти общим местом стало обвинение Ленина и Троцкого в организации “красного” террора. Офици-

альная советская версия всегда строилась на одностороннем пере-
кладывании ответственности на контрреволюционные силы. Троц-
кий стал первым из партийной верхушки, поставившим официаль-
ную версию под сомнение. В книге “О Ленине” он писал о периоде,
“когда Ленин при каждом необходимом случае вколачивал мысль о
неизбежности террора”³⁹.

Обосновывая эту идею, Троцкий шел еще дальше, когда писал,
что «за октябрь, за переворот, за революцию, за красный террор, за
гражданскую войну – за все это он (Ленин. – А.О.) несет ответствен-
ность перед рабочим классом и перед историей и будет ее нести “во
веки веков»⁴⁰. Исторически неизбежность насилия была для Троц-
кого непреложным законом. Психологически же он не мог не реаги-
ровать на обвинения в бессмысленной жестокости, сопутствовавшей
революции. Косвенным подтверждением тому служат и его попыт-
ки замалчивания в книге “О Ленине” собственной роли в проведении
“красного” террора, а позже, в 30-е годы, попытаться снять обвине-
ния в причастности к расстрелу царской семьи. В том же ряду стоит
факт сознательного сокрытия ленинских документов о репрессиях,
имевшихся в распоряжении Троцкого⁴¹.

В историческом осмыслении уроков Октября тема “Ленин” вы-
ступает составной частью другой темы: партия и ее лидеры. В иссле-
довании истории партии у Троцкого своеобразно переплелись две
традиции. Одна, шедшая от дооктябрьской социал-демократии, пре-
жде всего ее меньшевистского крыла, признавала ценность демокра-
тических традиций и институтов. Сказанное, естественно, не означа-
ет безоглядного доверия Троцкого к меньшевистской историогра-
фии. Ее классика, Ю.О. Мартова, он отнюдь не переоценивал. В его
записных книжках есть такие слова: “Ажурная хрупкая мысль Мар-
това останавливается в бессилии перед большими событиями. Ни в
чем безнадежная ограниченность этого умницы не выражается так
ярко, как в том, что в своей Истории русской социал-демократии, на-
писанной уже в 1918 г., он совершенно не понял того, что произош-
ло...”⁴² Столь же критически относился Троцкий и к Церетели, Дану,
Чхеидзе, другим бывшим соратникам из социал-демократического
лагеря. Данный тезис вполне очевиден, когда знакомишься с его био-
графическими очерками о них, многочисленными наблюдениями в
томах “Истории русской революции”, переписке, документах⁴³.

Влияние демократической традиции проявилось в критическом
подходе к истории большевистской партии, стремлении к взвешен-
ным оценкам отдельных фактов, а особенно личностей оппонентов
и врагов.

В этом смысле стиль Троцкого отличался и от российской тра-
диции, приближался, как говорилось в одном из писем, к американ-
ской объективистской манере⁴⁴. В дискуссиях 20-х годов влияние де-
мократической традиции и было объявлено специфической методо-
логией троцкизма.

Другая традиция – идущее от большевиков особое отношение к партии, партийности. Сам Троцкий выразил суть подобного подхода в 1924 г. на XIII съезде РКП(б) словами “партия в последнем счете всегда права”⁴⁵. Можно спорить, сколь искренне звучало его заявление в свете разгоравшейся дискуссии, но применительно к изучению истории партии он использовал этот принцип не раз. Другой стороной такой методологии оказалось замалчивание либо игнорирование фактов, не укладывавшихся в детерминированную схему. В качестве примера приведу широко известный эпизод с германофильскими связями большевистских лидеров в годы первой мировой войны. Вопрос широко дебатировался, начиная с 1917 г. Не остыли страсти и сегодня. Как же повел себя Троцкий-историк?

Для “Истории русской революции”, других работ он не стал искать новых материалов, ограничившись общеизвестными фактами. Самым поразительным оказалось игнорирование наиболее серьезного и, одновременно, сенсационного свидетельства того времени – статьи Э. Бернштейна (1921 г.), в которой указывалась даже сумма немецкой помощи – свыше 50 миллионов марок золотом.

Вместо анализа Троцкий, в компании с остальными исследователями, как писал живший в эмиграции историк-публицист С.П. Мельгунов, предпочел развенчать “зауряд-прапорщика” Ермоленко, с чьих показаний началось обвинение большевиков, фигуры явно опереточной, типичного провокатора⁴⁶. А то, что Троцкий владел разнообразной информацией, ему пришлось откровенно высказать в одном из писем в 1931 г. следующим образом: “...Будучи ближайшим сотрудником Ленина в период подготовки Октябрьской революции, я не мог не знать, на какие средства и в чьих интересах ведется... подготовка (дела против большевиков. – А.О.)”⁴⁷. То есть, Троцкий намекал на какие-то секретные обстоятельства, стоящие за делом против большевиков, причем, делал это не впервые.

Примерно тогда же он работал над главами “Истории русской революции”⁴⁸, в которых рассказывал об эпизоде со спасением им в июльские дни 1917 г. лидера эсеров, министра В.М. Чернова, против которого также существовали подозрения в использовании финансов Германии. Словом, от серьезного анализа фактической стороны проблемы Троцкий, вполне в традиции большевистской историографии, отгородился заявлениями типа: “В плоскости политической тайная связь большевиков с правительством Гогенцоллерна и штабом Людендорфа является... не менее фантастичной, чем участие нечистых духов в физических процессах”⁴⁹. И уж, конечно, не мог помочь сугубо эмоциональный, далекий от науки метод критики, долгие годы процветавший в среде советских историков, который Троцкий выразил в запальчивой сентенции о мемуарах Керенского – он их “никогда не читал и не собирается читать”⁵⁰. Справедливости ради отметим: Троцкий мемуары все-таки прочел, но первая реакция осталась показательным свидетельством.

Особенно сильно влияние партийной традиции ощущалось в тех случаях, когда Троцкий излагал страницы истории после своего восхождения на большевистский Олимп. Есть основания думать, что будучи достаточно требовательным исследователем, он осознавал потенциальные слабости анализа тех событий, в первую очередь деятельности левой оппозиции. Главы автобиографии “Моя жизнь”, статьи и книги 30-х годов менее насыщены фактурой, более схематичны, избобилуют умолчаниями. Конечно, без оценок внутрипартийных битв немыслимо полнокровное изучение эпохи, но Троцкий тут скорее летописец, политический публицист, а не ученый-профессионал.

Для современной науки заметный интерес представляет анализ столь неоднозначной проблемы, которую можно условно назвать “Судьбы партийной традиции”. Когда в ходе дискуссии о новом курсе (1923 г.) Троцкий поднял вопрос о партийных поколениях, он одновременно заложил первые камни в основание концепции истории партии как движения кризисного, внутренне противоречивого. Мысль о перерождении партийной традиции, звучавшая в начале 20-х годов святотатством, Троцкий сформулировал в постскриптуме письма “К партийным совещаниям” от 8 декабря 1923 г. “Новый курс”, где писал: “Тенденция партийного аппарата думать и решать за партию ведет в своем развитии к стремлению укрепить авторитет руководящих кругов только на традиции”⁵¹. В ряду “славных традиций большевизма”, которые на историческом материале революций 1917 г. стал изучать Троцкий, оказалась версия “партии-монолита, партии, вылитой из одного куска (Зиновьев)”⁵².

В “Уроках Октября” среди центральных выводов самыми эпатажными стали размышления автора, которых мы уже коснулись ранее – о правом крыле большевистской партии. Отметим еще раз, что, как известно, к нему Троцкий отнес всю руководящую верхушку большевиков: Каменева, Сталина, Рыкова, Зиновьева, Ногина, Калинина и многих других, не названных поименно. Словом, всех, кто в 1917 г. играл первые роли в РСДРП(б). Описав так события весны 1917 г., Троцкий как будто вспомнил и одушевил частушку тех дней: “Что там Ленин не болтай, с ним согласна только Коллонтай”. Новым для советской историографии оказался не сам рассказ об октябрьских разногласиях. О них не забыли, хотя вспоминали все реже⁵³. Троцкий увидел в позиции лидеров систему взглядов – правый большевизм.

Сам термин не являлся изобретением Троцкого. Его употребляли противники большевиков, пользовался им и Ленин. Но партийные ортодоксы, даже теоретически не посягали на априорную (для них, естественно) левую направленность своей организации. В конечном счете, они мирились с существованием “левого коммунизма” (“детской болезнью” в понимании главного идеолога, Ленина). Неприятие шло из иного источника.

Методология Троцкого довела анализ структуры “партийного единства” до еретического построения: правая фракция (крыло) в большевизме – такая же реальность, как и “левый коммунизм”. Граница между левыми и правыми взглядами и действиями подвижна. Вчерашние “левые” – Каменев и его единомышленники – в одночасье превратились в “правых соглашателей” в 1917 г., на практике сливавшихся с меньшевиками, их воззрениями и тактикой. С исторической точки зрения тезис казался спорным. Политически не приемлем. Отсюда преобладание политической аргументации, развернутой антитроцкистами под видом “научной” дискуссии.

В изложении хронологии дебатов, позиций сторон Троцкий предельно точен. Уже одно это делало его работу вредной для планов тройки – Зиновьева, Каменева, Сталина. “Уроками Октября” их автор доказывал родство двух крыльев российской социал-демократии – большевиков и меньшевиков. Более того, рассуждения Троцкого оставляли место для исторической альтернативы. Он выразил двойственность ситуации в следующей формуле: «Наступивший после Февральского переворота период можно было, следовательно, рассматривать двояко: либо как период закрепления, развития или завершения “демократической” революции, либо как период подготовки пролетарской революции»⁵⁴.

В троцкистской версии Октябрь не был неизбежно предопределен, но явился совокупностью сложной цепи обстоятельств. При чем, субъективный фактор – выработку и реализацию стратегии и тактики партии большевиков – Троцкий выдвигал на передний план. Однако в таком случае неизбежно возникала проблема насильственного захвата власти. В этой связи, в противовес эсеро-меньшевистской концепции узурпации власти большевиками диктаторским путем, Троцкий подчеркнул интересное, хотя и спорное положение о тяготении Советов к диктаторской форме властвования.

Не менее интересен в “Уроках Октября” анализ двоевластия. У Троцкого имеется существенное отличие трактовки данного исторического феномена от ленинской, ставшей господствующей в советской историографии. В работе говорится о “полувласти” Советов. То есть, не о шатком равновесии между Советами и правительством, а власти Временного правительства, на которое оказывалось полуоппозиционное давление со стороны Советов. “Другими словами, – писал Троцкий, – демократическая рабоче-крестьянская коалиция могла наметиться лишь как незрелая, не поднявшаяся до подлинной власти форма, – как тенденция, но не как факт”⁵⁵.

Данная посылка легла в основу троцкистского видения истории революций 1917 г. На нее до сих пор не обращали пристального внимания. Однако в ее координатной сетке многие вопросы поворачиваются в иную плоскость. Иначе выглядят проблемы борьбы за власть (“бороться за власть или нет? брать ее или не брать?”), конкретной истории тактики большевиков, их союзников и противников.

В конструкции Троцкого ключевое значение приобретали Советы. Здесь он был солидарен с Лениным: оба они рассматривали Советы как инструмент власти. Отсюда – чисто внешнее умаление роли партии, в котором долгие годы обвиняли Троцкого. Действительно, логика его концепции Октября вела к выводу, что неудачи в апреле, июне и июле 1917 г. заключались в попытках большевиков обойти Советы. В этом пункте своих рассуждений Троцкий признавал формальную правоту правых большевиков⁵⁶.

Но именно в данных вопросах автор “Уроков Октября” оказывался еще перед одной непростой задачей – оценить тактику левых и правых большевиков. Факты упрямо свидетельствовали об авантюризме Ленина и его последователей, толкавших партию на восстание весной – летом 1917 г. Троцкий никогда не писал о ленинском авантюризме. Он привел другое объяснение. По его мнению, подобные действия явились сознательной разведкой, “прощупыванием своих и неприятельских сил”⁵⁷.

Таким образом, в исторической ретроспекции Троцкий отводил Ленину крайний левый фланг партии. Здесь мы опять сталкиваемся не со случайной оговоркой, а системой взглядов Троцкого. В одной из записей он особо подчеркивал, что ошибки и колебания Ленина “всегда были влево”, факт, особенно импонировавший Троцкому⁵⁸. В то же время в подобном подходе опять-таки прослеживается тенденция, как говорили в 20-е годы, старого троцкизма – занять позицию центра, встать между враждующими лагерями партии. Тем более, что исторического материала, доказывавшего правую ориентацию Каменева и других, “левую” – Ленина и его товарищей, оказалось недостаточно.

Мотивация позиций сторон в изложении Троцкого не получалась равноценной. Он указал в первую очередь на несамостоятельность и демагогическую ограниченность правых большевиков. Позднее, в “Истории русской революции” Троцкий дал групповой психологический портрет сторонников “правого большевизма”, сопоставив двух лидеров правых – Каменева и Сталина. Он писал о традиционно правой каменевской линии, лишенной самостоятельности и инициативы. Иной тип – эмпирик Сталин, открытый “чужим влиянием не со стороны воли, а со стороны мысли”. Итог наблюдениям Троцкий воплощает в характерную для него отточенную формулу об исторической роли лидеров правых в 1917 г.: “Так публицист без решимости и организатор без кругозора довели в марте свой большевизм до самой грани меньшевизма”⁵⁹.

Изменение тактики большевистской партии наступает, по Троцкому, в августе–сентябре 1917 г. Теоретически он связывал его с неудачами “левых” разведывательных экспериментов июля, корниловским выступлением, завоеванием большинства в столичных Советах и, что немаловажно, с отклонением в сентябре 1917 г. ленинского «чересчур “левого” плана» вооруженного восстания⁶⁰.

Выше говорилось об особом отношении Троцкого к Ленину. Оно ярко проявилось и в изучении идейных течений в большевистской партии в февральско-октябрьский период 1917 г. в “Уроках Октября”, последующих работах. Перед Троцким возникала непростая проблема. Его анализ включал цепь тактических промахов Ленина. Более того, октябрьский переворот предстал реальным воплощением троцкистской схемы. Эти моменты вызвали почти мгновенную реакцию оппонентов и послужили поводом к обвинению Троцкого в подмене ленинизма троцкизмом, возвеличивании собственной роли в революции и т.д. Однако, ситуация оказалась сложнее. И в “Уроках Октября”, и в книге “О Ленине” аналитический ум их автора отыскал компромисс между своим апологетически-восторженным отношением к вождю большевиков и критикой его ошибок.

Ленинские просчеты лета–осени 1917 г. Троцкий обосновывал тем, что главный идеолог и руководитель партии “осужден был тогда на эмигрантское положение”⁶¹. Так он писал в 1924 г.; аналогичные оценки повторял в 30-е годы. В ответе критикам “Истории русской революции” Троцкий подчеркивал стремление показать и, как ему представлялось, неопровержимо доказал, что Ленин, “отрезанный своей нелегальностью от театра борьбы, слишком нетерпеливо стремился приблизить восстание, совершенно отрывая его от съезда советов”. Троцкий же, опираясь на большинство ЦК, стремился максимально приблизить восстание к открытию съезда советов, прикрыть его авторитетом последнего⁶².

Против подобной аргументации антитроцкисты приводили самый серьезный, в их понимании, довод: именно партия и Ленин работали и руководили вооруженным восстанием, совершившимся в противовес троцкистским авантюрам. Однако подтвердить свою точку зрения фактами они не смогли. Поэтому в их арсенале оставались два средства: замалчивание и фальсификация. Первое использовалось активно. Троцкий-историк практически всю вторую половину 20-х–30-х годов употребил на разоблачение сталинской школы фальсификаций⁶³. Важнейшей проблемой он считал выяснение истинной роли руководящих органов октябрьского переворота.

В противовес так называемому партийному центру, объявленному в 1924 г. сердцем восстания, Троцкий перенес центр тяжести на Петроградский совет. Ведущую мысль исследования истории событий октября 1917 г. он сформулировал в следующих словах: “Октябрьский переворот, низвергший правительство, во главе которого стоял Керенский, был проведен Военно-Революционным комитетом...”⁶⁴ План восстания в “Уроках Октября” трактовался как продолжение и углубление методов двоевластия.

В историографическом смысле важнейшим положением троцкистской концепции Октябрьского переворота явилось утверждение о совпадении его начала с датой организации ВРК. Как указы-

вал Троцкий, Ленин, находившийся вне Петрограда, не оценил подготовительных мероприятий ВРК, которые уже означали “вооруженное восстание, – вооруженное, хотя и бескровное восстание петроградских полков против Временного Правительства под руководством Военно-Революционного комитета и под лозунгом подготовки к защите второго Съезда Советов...”⁶⁵ Что касается замалчивания, то запрет был наложен на все документы, не подтверждавшие официальной трактовки событий.

Таким образом, исследования Троцкого по истории революций 1917 г. заметно расширили диапазон методов и приемов анализа и, что наиболее ценно, вели к постановке сложных и неоднозначных проблем. В пылу борьбы с троцкизмом научная сторона работ Троцкого оказалась невостребованной. Что касается самого автора, для него они стали ступенью к осмыслению еще более дискуссионных и актуальных сюжетов о российской революции.

Поражение левой оппозиции и высылка из СССР в 1929 г. вынудили Троцкого сосредоточиться на подготовке книг и других печатных материалов. Вынудили, потому что требовались средства для жизни и, конечно, возникла необходимость найти причину тотальных неудач, преследовавших оппозицию с 1923 г.

Источник зла Троцкий увидел в росте советской бюрократии. Эту проблему он впервые попытался обобщить в 1923–1924 гг. в ходе дискуссии о новом курсе. Но в тот период ему казалось, что опасность бюрократизма вполне преодолима и не затронула основ государства. Сказанное не означает, что до Троцкого об опасности бюрократизации не говорили. Напротив, о ней писали много. Но Троцкий перенес центр тяжести с бюрократии в государственных учреждениях на бюрократию в партии и ее эпицентр – партийный аппарат. Суть партийной бюрократии он попытался проанализировать в историческом и историко-философском аспектах. Причем в своих наблюдениях Троцкий пошел, во многих случаях, дальше своих современников.

Прежде всего, он не сводил бюрократизм к проблеме личностей и, что еще важнее, не замыкал его в простые, чисто логические конструкции. В записных книжках Троцкого имеются строчки, показывающие понимание им многомерности проблемы.

Вот это место: “Ленин создал аппарат
Аппарат создал Сталина
а=а есть только частный случай закона
а № а”

Отсюда он делает вывод: “Логика формальная имеет дело с неподвижными величинами: а=а. Диалектика возражает: а № а. Обе правы.

А=а в каждый данный момент. А № а в два разные момента”⁶⁶. Подобный взгляд характерен при изучении Троцким бюрократии. Под тем же углом зрения его интересовала эволюция государства и

государственных институтов, политика СССР и его лидеры. В целом, повышенное внимание к личности являлось одной из черт Троцкого-историка. Его главные исторические работы включали как обязательный элемент портреты участников событий. Многочисленные архивные источники показывают, что Троцкий начинал разработку исследовательской проблемы с эскизов о людях. Среди подготовленных материалов к ненаписанной книге о Ленине, биографии Сталина, других незаконченных произведений таких работ немало. О том же говорят письма Троцкого, его просьбы присылать ему необходимые документы⁶⁷. Эта манера резко контрастировала с набиравшей силу на протяжении 20-х–30-х годов тенденцией советской историографии изучать не людей, их судьбы, а безликие исторические процессы. Эра борьбы с “врагами народа” еще более обезлюдил историю.

Троцкому, в большинстве случаев, удавалось нащупать баланс между человеком – субъектом исторического действия и самим действием. Все сказанное относится и к его анализу бюрократии. Самой крупной работой в данном направлении стала книга “Преданная революция” (1936 г.). Как некоторые другие издания Троцкого 30-х годов, она первоначально вышла не на русском языке. В отличие от предшествующих публикаций, посвященных большей частью сталинскому террору, в “Преданной революции” Троцкий попытался отрешиться от эмоций и представить спокойные, взвешенные размышления о том, что такое СССР и куда он идет. Современному читателю многие выводы и подходы автора покажутся спорными, неточными. Однако как историческое исследование “Преданная революция” не потеряла своего значения.

Схема, положенная в основу книги, достаточно традиционна для марксистских работ: связать в единый узел экономические, социальные и политические составляющие исторического феномена советской бюрократии. В методологическом отношении “Преданная революция” построена по формуле, описанной выше – а № а. Троцкий не считал бюрократию первородным грехом большевизма. Наоборот, рождение и укрепление бюрократии он определял как процесс разложения и конца большевистской партии. ВКП(б) для Троцкого с конца 20-х – начала 30-х годов перестала быть коммунистической партией.

“Перерождение партии, – подчеркивал он, – стало и причиной и следствием бюрократизации государства”⁶⁸. Непростой исторический вопрос, который поставлен в “Преданной революции”, формулируется следующим образом: как победила группа партийных функционеров, “не умевшая будто бы далеко заглядывать вперед, тогда как более проницательная группировка (левая оппозиция. – А.О.) терпела поражение за поражением”⁶⁹. Те же мотивы имели значение для Троцкого и в личностном плане: почему победил Сталин?

В изучении этой проблемы он сразу отбрасывал, как второстепенный, фактор личных возможностей лидеров. «Столь обычный (и столь наивный) вопрос “почему Троцкий не использовал своевременно военный аппарат против Сталина?” – резюмировал бывший председатель Реввоенсовета, – ярче всего свидетельствует о нежелании или неумении продумать общие исторические причины победы советской бюрократии»⁷⁰. Он проводил аналогию с другим периодом отечественной истории – революцией 1917 г. Здесь Троцкий вновь подчеркивал, что победу большевиков обеспечило не личное превосходство их лидеров, а новое сочетание социальных сил. Теми же причинами (иным сочетанием сил и условий) он объяснял и поражение оппозиции. “Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции”, – таков образный итог многолетних исследований советского Термидора – теории перерождения революции.

Историческая ретроспектива, выведенная в “Преданной революции”, вновь напоминает о двойственности анализа Троцкого. В нем по-прежнему чувствуется отпечаток старой социал-демократической традиции. С другой стороны, оставаясь большевиком-ленинцем, Троцкий призывал следовать за методологией Ленина. Так, высказываясь по поводу ленинской книги «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», он в 1932 г. специально отметил: “В книге Ленина нет ни одной формулы, от которой нам приходилось бы отказываться”⁷¹. И одновременно, через систему аргументов Троцкий фактически отказывался от некоторых центральных идей “Детской болезни”.

Прежде всего, логикой изложения он отрицал вывод Ленина о большевизме как течении политической мысли и партии с 1903 г. Троцкий писал о большевистской фракции, причем непримиримость большевизма к инакомыслию он объявил мифом эпохи упадка, т.е. сталинской эпохи. Данный методологический подход, несомненно, оказался историчнее ленинской конструкции, выделявшей в виде критерия врагов, “в борьбе с которыми вырос, окреп и закалялся большевизм”⁷².

Троцкий-теоретик в вопросе о свободе фракций и в конце 30-х годов остался верен прежним идеалам, фактически повторив в “Преданной революции” формулу 1923 г. из заявления 46-ти о вынужденности установления “режима фракционной диктатуры”, иными словами, запрещения фракций после X съезда РКП(б)⁷³. В 1936 г. Троцкий развил прежний тезис, заявив о солидарности Ленина с планами оппозиции возродить демократические институты в партии, т.е. версию, выдвинутую им в предшествующих работах.

В “Преданной революции” Троцкий отметил, что второй удар, а затем смерть не дали Ленину “помериться силами с внутренней реакцией”⁷⁴. В развитии темы “Ленин против бюрократии”, особое значение приобрело исследование Троцким исторической роли и места террора и репрессий. Его работы по указанной проблематике

до настоящего времени являются одними из наиболее авторитетных исследований природы и сути сталинских репрессий. Понятно, что логика Троцкого, оценки, выводы интересны не только сами по себе. Они принадлежат бывшему второму человеку в партии и государстве и в этой части не идут ни в какое сравнение с амбициозными книгами Бажанова, Агабекова и им подобным.

В волне массовых арестов и казней Троцкий увидел способ сохранения бюрократии. Как говорилось выше, он не был противником террора и насилия вообще.

Более того. Даже находясь за рубежом, в 1929–1940 гг. Троцкий, судя по некоторым источникам его личного архива, не оставлял надежды вернуться в СССР и делал все от него зависящее в данном направлении.

Здесь мы выходим за рамки проблем идейно-теоретического наследия Троцкого, а потому только выделим некоторые специфические черты сложного комплекса вопросов нелегальной деятельности оппозиции в нашей стране в 30-е годы. Известно, что именно Троцкий являлся одним из ее основных стимуляторов.

Остановимся на некоторых деталях подобной деятельности. Прежде всего, обратим внимание на особенность документов Троцкого по данным вопросам: отсутствие в их содержании специфических (нелегальных) и конфиденциальных моментов, связанных с его бывшей Родиной. Он сознательно (объективно), а в силу своего характера (субъективно) чаще обходит стороной разного рода нелегальщину из СССР и для СССР. Можно констатировать, с момента высылки (и даже чуть раньше) существовало четкое разделение ролей между Троцким, его сыном Львом Седовым, остальным окружением. Этот факт в отечественной и зарубежной историографии не выделяется четко, а он принципиально важен. Обширная часть семейной по форме переписки Льва Седова с матерью – на деле, переписка с отцом. Таким образом, она уточняет и конкретизирует важные стороны работ самого Троцкого.

Другая проблема, которая хорошо описана в литературе, но которая порождает различные суждения, – провокации и провокаторы вокруг Троцкого. Дело в том, что очевидный факт – множество провокаторов и постоянные провокации советских органов госбезопасности против Троцкого – не снимает вопроса о его готовности поддаться на них, о поручении провокаторам секретных, нелегальных заданий.

Одним из главных направлений деятельности троцкистов в СССР до середины 30-х годов было распространение нелегальной литературы. Она, по мысли Троцкого, указывала путь борьбы, направляла недовольство по определенному руслу. Одновременно содержащаяся в ней информация о многочисленных организациях оппозиции как бы подталкивала к их дальнейшему созданию и росту.

Как расходилась троцкистская литература? В начале 30-х годов спрос на нее был. Трудно оценить количество экземпляров, пересекавших границу, так как точных данных об этом нет. Но рассылка шла активно. «Продвигать “Бюллетень” в Россию» – это требование Троцкого, повторялось десятки раз в письмах того времени. С этой целью составлялись инструкции, задействовались различные каналы, в том числе – зарубежные троцкисты и сторонники в СССР, дипломатические работники. Так, один из лидеров чешских “большевиков-ленинцев” Сальфрис (кличка “Звон”) сообщал Троцкому в апреле 1930 г.: “Получены листовки и № 10 Бюллетеня. Отправляем половину в Совроссию”. В июне того же года вновь: “Посылаю в СССР 12 конвертов с материалами”.

Пытался Троцкий повлиять и на своих бывших друзей, соратников, знакомых. Так, оценивая по достоинству недовольство Крупской сталинским режимом, он, редактируя письмо ссыльного оппозиционера (опубликовано в “Бюллетене оппозиции”), дает совет вдове Ленина, как следует выражать несогласие с властями. “Ужасно обидно, – пишет Троцкий, – что Крупская вмешивается в большую политику, не имея для этого необходимых данных. Как это близкие люди не посоветуют ей большей сдержанности...”⁷⁵ А чтобы “данные” имелись, Троцкий и пытался снабжать всех потенциально недовольных оппозиционными материалами. В подтверждение сошлемся на список-сообщение о рассылке “Открытого письма” Троцкого 1932 г. против лишения последнего советского гражданства. Там названы имена Крупской, Сокольников, Серебрякова⁷⁶.

К сожалению, в коллекции документов Троцкого очень немного источников о связях зарубежной коммунистической оппозиции с нелегальными организациями в СССР. Ясно, что такие документы не хранили. Ложь, провокации и фальсификации, нагроможденные следователями ГПУ и НКВД, извратили реальные факты. Реакцией историков явилось отрицание фальсификаций, а одновременно и самих фактов существования организаций оппозиции в первой половине 30-х годов. Лейтмотив перестроечной историографии о невинности жертв репрессий превратил оппозиционеров в лабораторных борцов-одиночек. Оно и понятно, ибо трудно представить сломленных и деморализованных “вождей” типа Зиновьева или Бухарина, собирающих новую группу для нелегальной борьбы с режимом.

Троцкий и его окружение понимали такую ситуацию. Капитуляция лидеров требовала новой ориентации. Объектом пристального внимания становилась молодежь и средний и низовой уровень аппарата.

Однако парадокс позиции Троцкого состоял в том, что, осуждая сталинский террор, отвергнутый лидер пролетарской революции призывал к историческому взгляду на подавление сопротивления про-

тивников. Поэтому небезынтересно перейти от раскрытия практических шагов троцкистов и их лидера, использовавшихся властями СССР для подтверждения правильности крайних мер в подавлении инакомыслия внутри страны, к теоретическим воззрениям Троцкого.

Террор, выполнивший свою революционную миссию, писал Троцкий в 1935 г., превратился в оружие самосохранения узурпаторов, в “абсурд”⁷⁷. Надо отметить внимание, с которым Троцкий относился ко всем свидетельствам о репрессиях в СССР, включая официальные материалы открытых процессов. В них он находил не только фальсификацию и мистификацию (или “амальгаму” – слово, обычно используемое Троцким), но считал одним из исторических документов.

Знания, которыми обладал бывший руководитель, оказывались много шире отразившихся в его книгах и статьях. Некоторые намеки в работах Троцкого, а также сопоставления их с другими документами, говорят о недосказанности ряда сюжетов. К примеру, версия смерти Ленина. Троцкий оказался наиболее авторитетным свидетелем и исследователем, который выдвинул версию об отравлении Ленина. У него были сомнения в необходимости обнародования этой информации в начале 30-х годов⁷⁸. Тогда он не решился на такой шаг, вероятно, боясь провокаций сталинистов, с одной стороны, и надеясь сохранить не скомпрометированными потенциальных союзников из зиновьевцев и правых оппозиционеров, – с другой. Процессы 1935–1938 гг., особенно процесс 1938 г., изменили политическую ситуацию и заставили Троцкого обратиться к анализу недавнего прошлого. Он писал в 1939 г.: “Роль ядов в жизни сталинского Кремля ярко обнаружилась на процессе в марте 1938 г.”⁷⁹ В теоретическом аспекте Троцкий увидел в своей версии косвенное подтверждение тенденции самосохранения бюрократии.

Тематически анализ обстоятельств смерти Ленина оказывался связан с идеей блока Ленин–Троцкий, реальность которого вызывала сомнения современников и историков. Источником недоверия были противоречия в отношении Троцкого к демократии и свободе фракций. Многочисленными ссылками в работах на прошлое и настоящее большевистской партии он пытался опровергнуть неблагоприятное мнение части общества о Троцком – стороннике сверхцентрализации и бюрократе.

В системе его доказательств реальности идей блока главный упор делался на веру широких слоев членов партии в эпизодичность ограничений внутрипартийной демократии. Подтверждение справедливости подобных суждений он видел в наличии фракций и группировок за все годы существования революционной демократии. Современник описываемых событий и их историк-теоретик, Троцкий не мог не отметить противоположность режима внутренней жизни большевистской партии до и после ее прихода к власти.

Причину он выводил из бюрократизации, которая оказалась неизбежной из-за оставшейся на бумаге, чисто доктринальной идеи отмирания государства при социализме. Марксистский постулат об ограничении государства настолько ограничивал для Троцкого историческую методологию, что в угоду ему (постулату) он шел на нарушение фактологической последовательности.

Ликвидацию самостоятельности и демократических начал в деятельности советов, партий, общественных организаций Троцкий фиксировал в качестве первых шагов новой власти. Причем, в противоположность официальной советской науке он настаивал на вынужденности подобной политики ограничений. Она, указывал Троцкий, противоречит духу советской демократии, являясь не принципом, а актом самообороны⁸⁰.

Здесь мы наблюдаем процесс эволюции взглядов Троцкого-обществоведа, хотя, по сути, на новом уровне он вернулся к прежним оценкам социал-демократической эпохи. Парадоксально, но решения партийного большинства в 1923–1927 гг., определившие левую оппозицию как социал-демократический уклон и меньшевизм, с формальной точки зрения оказываются обоснованными. Неминуемый доктринерский вопрос: можно ли вообще говорить о левизне, если она так близка к меньшевизму, вполне уместен и легко разрешим.

Став государственной партией (Троцкий хорошо показал этапы сращивания партаппарата с госструктурами), большевистское движение по целям, задачам, функциям перестало быть и социал-демократическим, и коммунистическим. Оно оказалось вынуждено, при сохранении прежней терминологии и ритуалов, проводить политику обеспечения интересов нового слоя руководителей (номенклатуры) за счет эксплуатации трудящихся. Ни о каком реальном равенстве и социальной справедливости говорить не приходилось. Изменение социальной базы нового слоя хозяев не меняло главного: основополагающие идеи социал-демократии (в том числе большевизма) оказывались слишком левыми. Партия, а следом остальные общественные институты уверенно двинулись вправо.

Троцкий осознал необратимость подобных изменений в середине 30-х годов. В плане исторической концепции они отразились в его возврате к некоторым прежним ценностям социалистов эпохи II Интернационала. Но возврат к ним произошел у Троцкого на базе опыта, почерпнутого из истории перерождения социал-демократии и большевизма, а также опыта прямого участия в выработке политики первых пяти лет советской власти. Отсюда упомянутое выше нарушение фактологии. Противореча собственному изложению событий, Троцкий в “Преданной революции” сделал вывод о ликвидации внутрипартийной демократии до того, как “отошла в прошлое демократия советов, профессиональных союзов, кооперативов, культурных и спортивных организаций”⁸¹. Методология большевизма со-

хранилась еще в одном важном аспекте: демократия продолжала пониматься поверженным лидером оппозиции как ворота, тщательно охраняемые от посторонних⁸².

Единственным противовесом бюрократии в теоретических построениях Троцкого оказывалась партия. Социологическая схема строилась по принципу управляющего (бюрократия) слоя и контролирующей инстанции (партия). Следовательно, в условиях сохранения государства решающей силой выступал субъективный фактор в лице той или иной фракции. Таким образом, анализ советской бюрократии, предпринятый Троцким, подвел его к мысли о значении фракции Сталина, “уничтожившей раздвоенность партии и аппарата государства через превращение правящей партийной элиты в государственную”.

Справедливости ради нужно сказать, что Троцкий пытался изучить роль бюрократии объективно-исторически. Он подчеркивал наличие прогрессивного периода в ее истории. Прогрессивный этап, по его мнению, совпал “с периодом перенесения важнейших элементов капиталистической техники в Советский Союз”⁸³.

В трудах Троцкого имеется еще один аспект теоретического анализа сути советского государства, оказывающий влияние на современную науку, на котором следует остановиться. Речь идет об общей характеристике сталинского режима как “бонапартизма на плебиситарной основе”⁸⁴. Вообще, сопоставление русской и французской революций было излюбленным сюжетом отечественного обществоведения. Несмотря на несовпадение условий, разрыв во времени, оба революционных кризиса обнаруживали некое внешнее сходство. Увлечение сказывалось даже в терминологии. Достаточно вспомнить споры о термидоре в 20-е годы. Изменения, происходившие в мире, привели Троцкого к новым аналогиям.

Среди исследователей большевистской школы он первым связал сталинизм с “бонапартизмом новой эпохи” – фашизмом. Исследование связи советского бюрократического бонапартизма с фашизмом составило содержание ряда статей и брошюр Троцкого начала 30-х годов. В них содержались главные положения, указывавшие направление последующего изучения. В своих статьях он констатировал, что бонапартизм фашистского толка порожден разгромом, разочарованием и деморализацией масс⁸⁵. Аналогичные подходы использовались Троцким и для характеристики особенностей советского режима. Он отмечал, что сталинизм и фашизм, несмотря на глубокое различие социальных основ, представляли собой симметричное явление⁸⁶.

Хронологически данная тема оказалась последней в творчестве Троцкого. Он был убит во время работы над рукописью книги о Сталине, когда как раз готовился исследовать биографию “вождя народов” в 30-е годы. Об общем содержании характеристики советского диктатора говорят подготовительные материалы статьи в “Бюллете-

не оппозиции". В них Сталин и Гитлер представлены однопорядковыми фигурами. Причем, в этой тесной связке Сталину отводилась роль интенданта Гитлера, человека, не способного переиграть гитлеровскую дипломатию, остановить надвигающуюся мировую катастрофу.

* * *

Подведем итоги... Идейно-теоретическое наследие Л.Д. Троцкого – необычайно объемный корпус книг, статей, документов, других материалов. Собранные воедино, они могли бы составить не один десяток томов. К сожалению, такая работа, начатая в 20-х годах, осталась незавершенной. Читатели так и не получили собрания сочинений Троцкого, которого с полным основанием можно отнести к главным теоретикам большевизма, который является его непризнанным классиком.

- ¹ Луначарский А.В. Великий перелом: Октябрьская революция. Пб., 1919. Ч. 1. С. 78.
- ² Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 425.
- ³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 73.
- ⁴ Sinclair L. Trotsky: A Bibliography. Scholar Press, 1989. Vol. 1–2.
- ⁵ Справедливости ради укажем, что среди них немалая часть никогда не печаталась на русском языке.
- ⁶ XIV съезд ВКП(б): Бюллетени. 1925. № 3. С. 9.
- ⁷ Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов. М.; Л., 1933. Вып. 1–2.
- ⁸ Троцкий Л.Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. М., 1990. Т. 1. С. 118.
- ⁹ Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. М.; Л., 1925. С. 97.
- ¹⁰ Луначарский А.В., Радек К.Б., Троцкий Л.Д. Силуэты: политические портреты. М., 1991. С. 256.
- ¹¹ Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Т. 1. С. 53.
- ¹² РЦХИДНИ. Ф. 325. Оп. 17 Д. 606. Л. 13.
- ¹³ Deutscher I. The Prophet Armed: Trotsky: 1879–1921. L., 1954; *Idem*. The Prophet Unarmed: Trotsky: 1921–1929. L., 1959; *Idem*. The Prophet Outcast: Trotsky: 1929–1940. L., 1963; Вопр. истории КПСС. 1989. № 12. С. 98–115.
- ¹⁴ Коммунистический интернационал. 1925. № 1. С. 15.
- ¹⁵ Овсянников А.А. Истоки вождизма: идеология и практика // Формирование командно-административной системы (20–30-е годы): Сб. статей. М., 1992. С. 185–203.
- ¹⁶ Троцкий Л.Д. К истории русской революции. С. 83.
- ¹⁷ Плеханов Г.В. Соч. М.; Л., 1925. Т. XX. С. 3–6.
- ¹⁸ Троцкий Л.Д. К истории русской революции. С. 84.
- ¹⁹ Бюллетень оппозиции. 1936. № 49. С. 4.
- ²⁰ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 378–382.
- ²¹ Бюллетень оппозиции. 1932. № 32. С. 22.
- ²² Троцкий Л.Д. К истории русской революции. С. 91.
- ²³ Там же. С. 86.
- ²⁴ Из работ Троцкого видно, что главные исторические факты он черпал из трудов П.Н. Милюкова и В.О. Ключевского.
- ²⁵ Троцкий Л.Д. К истории русской революции. С. 95.
- ²⁶ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 80.

- 27 Троцкий придавал комментарию к бухаринской интерпретации перманентной революции большое значение, опубликовав его также в книге "Сталинская школа фальсификаций", ссылаясь на него в ряде других работ.
- 28 Бюллетень оппозиции. 1931. № 23. С. 18–19.
- 29 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. С. 77.
- 30 За Ленинизм. М.; Л., 1925. С. 488.
- 31 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. С. 193–194.
- 32 За Ленинизм. С. 433.
- 33 Троцкий Л.Д. Портреты революционеров. М., 1991. С. 341.
- 34 Троцкий Л.Д. За Ленинизм. С. 443.
- 35 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. С. 321.
- 36 Луначарский А.В., Радек К.Б., Троцкий Л.Д. Силуэты: политические портреты. С. 115.
- 37 Quoted by permission of the Houghton Library. TP, bMS Russ. 13.1 (8981). Весь материал цитируется с разрешения библиотеки Гарвардского университета (США). Далее – TP, bMS Russ, 13.1... В целом, анализ авторских поправок в рукописи этого письма наводит на некоторые размышления. Например, вычеркивание слов о том, что Троцкий одновременно с другими ответственными чиновниками получил приказ ("все они, как и я") немедленно выехать в Москву.
- 38 TP, bMS Russ, 13.1 (8981).
- 39 Луначарский А.В., Радек К.Б., Троцкий Л.Д.: Силуэты: политические портреты. С. 87.
- 40 Архив Троцкого. Т. 1. С. 135.
- 41 TP, bMS Russ, 13.1 (17211).
- 42 Trotsky's Notebooks: 1933–1935, N.Y., 1986. P. 125.
- 43 Троцкий Л.Д. Соч. М., 1926. Т. 8: Политические силуэты.
- 44 TP, bMS Russ, 13.1 (8154).
- 45 XIII съезд РКП(б). М., 1924. С. 167.
- 46 Мельгунов С.П. Золотой немецкий ключ большевиков. Париж, 1940. С. 9–11.
- 47 TP, bMS Russ. 13.1 (10010).
- 48 Ibid. (8189).
- 49 Ibid.
- 50 Ibid. (9508).
- 51 Дискуссия 1923 года: Материалы и документы. М.; Л., 1927. С. 21.
- 52 За Ленинизм. С. 132.
- 53 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 417.
- 54 За Ленинизм. Т. 440.
- 55 Там же. С. 443.
- 56 Там же. С. 448.
- 57 Там же. С. 453.
- 58 Trotsky's Notebooks. P. 139.
- 59 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. С. 314–315.
- 60 Архив Троцкого. Т. 1. С. 126.
- 61 Там же.
- 62 Бюллетень оппозиции. 1933. № 35. С. 21.
- 63 В 1932 г. в Берлине вышла книга Троцкого "Сталинская школа фальсификаций", где он впервые суммировал искажения и извращения истории революций 1917 г., содержащиеся, по его мнению, в официальной историографии.
- 64 TP, bMS Russ. 13.1 (10010).
- 65 За Ленинизм. С. 469.
- 66 Trotsky's Notebooks. P. 129.
- 67 TP. bMS Russ 13.1 (13274).

- 68 *Троцкий Л.Д.* Преданная революция. М., 1990. С. 81.
- 69 Там же. С. 75.
- 70 Бюллетень оппозиции. 1935. № 46. С. 2.
- 71 Там же. 1932. № 32. С. 28.
- 72 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 41. С. 14–22.
- 73 Архив Троцкого. Т. 1. С. 84.
- 74 *Троцкий Л.Д.* Преданная революция. С. 83.
- 75 Hoover Institution Archive. Boris I. Nicolaevsky Collection. 344–13. Meloch. Письма из СССР. № 19.
- 76 TP, bMS Russ 13.1 (12961).
- 77 Бюллетень оппозиции. 1935. № 45. С. 4.
- 78 *Троцкий Л.Д.* Сталин; В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 255.
- 79 TP, bMS Russ 13.1 (8917).
- 80 *Троцкий Л.Д.* Преданная революция. С. 83.
- 81 Там же. С. 86.
- 82 Бюллетень оппозиции. 1933. № 33. С. 29.
- 83 *Троцкий Л.Д.* Преданная революция. С. 228.
- 84 Там же. С. 230.
- 85 Бюллетень оппозиции. 1934. № 40. С. 5.
- 86 *Троцкий Л.Д.* Преданная революция. С. 230.

С.А. Александров

К ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА В ЭМИГРАЦИИ

(Возникновение и деятельность РДО)

Российское либеральное движение в эмиграции претерпело организационные и идеологические изменения. Весной 1920 г. во время совещания кадетов в Париже (23–24 апреля) обнаружили расхождения взглядов по отношению к белому движению и армии Врангеля, к способам борьбы с советской властью. Хотя тогда еще были надежды на то, что удастся подчинить разрозненные партийные организации избранному на съезде Парижскому комитету (М.М. Федотов, Е.И. Кедрин, барон Б.Э. Нольде, С.В. Панина, А.И. Коновалов, М.М. Винавер, П.Я. Рысс, Ю.В. Ключников, Н.С. Аджемов, И.И. Астров)¹, объединения не получилось. Большинство кадетов продолжало искать силы, которые должны были открыть дорогу Врангелевской армии. Парижская же группа кадетов, видя бесперспективность военного нашествия, начала вести поиск новых, более гибких форм борьбы против советской власти. П.Н. Милюков писал по этому поводу: “Поражение Врангеля... не прибавило ничего нового к уже создавшемуся мнению о несостоятельности коренных основ заканчивающегося периода белого движения”². На вышеупомянутом апрельском совещании 1920 г. в Париже Милюков настаивал на необходимости изменения отношения своей партии к белым генералам для сохранения ее демократической репутации.

Осенью 1920 г. парижская группа кадетов продолжала напряженно работать над анализом причин краха белого движения и поиском новой тактики борьбы против Советов. На заседании Парижского комитета партии Народной Свободы 3 декабря 1920 г. Милюков заявил: “На прошлое я смотрю как на ошибку, но как и на опыт. Повторение и продолжение его не возможно. Цикл закончился сам по себе. Борьба с большевизмом отныне не укладывается в нашу прежнюю схему. Мы знаем, что старое не годится, но каково должно быть новое, мы не знаем, Здесь у нас пустое место”³.

Уже 21 декабря 1920 г. в докладе П.Н. Милюкова, озаглавленном “Что делать после Крымской катастрофы?”, обосновывалась новая тактика кадетов: “...Очевидно то, что борьба с большевизмом не может продолжаться в прежних формах. Уже одна перемена обстановки диктует коренной пересмотр тактики. Из прежних национально-русских военных центров борьба переходит, по необходимости, отчасти за границу, отчасти во внутренность России”⁴. В этом же докладе П.Н. Милюков отмечает: «...Вооруженная борьба, конечно, может понадобиться в дальнейшей борьбе с большевизмом, но это употребление должно быть поставлено, как частность, в зависимости от нового общего плана и никаким образом не должно стоять в преемственной связи с закончившимся периодом борьбы.

Первой чертой этого плана должно быть отделение военных сил и их командования от политического сопротивления...

Второй чертой “новой тактики” является разрешение ряда основных вопросов внутренней политики – как вопрос аграрный, национальный и о форме государственности.

...На обслуживание этих задач и должны быть обращены организационные силы и материальные средства русских учреждений за границей.

...Решенные в указанном направлении принципы открывают... путь к политической деятельности в будущей России»⁵.

Совершенно очевидно, что речь шла не только об изменении форм и методов борьбы, но и об изменении основных программных установок кадетской партии. И вряд ли это, как утверждают некоторые авторы, только демагогическая уловка опытного политика⁶. Скорее всего, в этом проявилась эволюция взглядов части кадетской партии и, прежде всего, одного из ее лидеров, П.Н. Милюкова, под воздействием происходящих событий и осознания итогов и уроков революции и гражданской войны. Эта эволюция взглядов закономерна, так как, по словам Ф. Энгельса, “раз возникнув, всякая идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений, подвергая их дальнейшей переработке”⁷. В.И. Ленин, в свою очередь, отмечал видную роль, которую играли в формировании антисоветской платформы эмиграции представители буржуазной интеллигенции, “особенно те, кто поумнее, как Ми-

люков – он историю учил внимательно и все свои знания обновил изучением русской истории на собственной шкуре”⁸.

Следует оговориться, однако, что перемена тактики вовсе не означала выбора новой цели борьбы. Милюков считал, что примирение с большевизмом невозможно, хотя и пользовался каждым случаем, чтобы критиковать тех, кто уповал на “белые штыки”. Он писал: “Принимавшие непосредственное участие в вооруженной борьбе, психологически не могут оторваться от своего прошлого, хотя события и выбросили их в совершенно иную жизненную обстановку. Они все еще считают возможным продолжать борьбу в старой форме, не успев осознать, что объективные условия делают это совершенно невозможным”⁹.

Справедливости ради следует отметить, что Милюков был большим патриотом своей страны, не отождествлял большевиков и Россию. Об этом свидетельствует его категорический отказ от планов вмешательства извне, так как он опасался, что “борьба против большевиков может превратиться в борьбу против России”¹⁰. Более того, П.Н. Милюков неоднократно подчеркивал, что “спасение России зависит не от эмиграции, а от самой России”¹¹.

“Новая тактика” П.Н. Милюкова легла в основу организованной в июле 1921 г. “демократической группы партии Народной свободы”¹². Официальное сообщение о ее образовании было опубликовано в газете “Последние новости” 20 августа 1921 г. Этому предшествовало то, что на съезде партии кадетов, проходившем 2 июня 1921 г., большинством членов ЦК был отклонен проект резолюции, касающийся “новой тактики”. Однако проект был принят парижской группой во время заседания 23 июня 1921 г.¹³ Так произошел формальный раскол партии кадетов. Образование “Демократической группы” объяснялось тем, что Константинопольская и другие группы и члены партии в Берлине, Софии, Белграде и Лондоне отказались изменить тактику.

Первоначально в состав “демократической группы” партии “Народной свободы” входили: Председатель группы П.Н. Милюков, товарищ председателя М.В. Винавер, секретарь Н.Н. Волков, казначей А.М. Михельсон, члены группы С.И. Басс, А.С. Безчинский, М.В. Брайневич, Е.М. Винавер, П.П. Гронский, Н.П. Демидов, Н.Н. Ефремов, П.Ю. Зубов, А.И. Коновалов, А.В. Косиковская, А.С. Милюкова, Н.П. Могилянский, М.А. Рысс, П.Я. Рысс, А.А. Свечин, В.А. Харламов, И.С. Шнеерсон, А.Е. Эльяшев. Всего 22 человека¹⁴.

В этом перечне лиц отсутствуют имена видных членов партии кадетов, большинство их не поддержали П.Н. Милюкова, обвинив его в полевении и чуть ли не в признании большевизма.

П.Н. Милюков и “демократическая группа” приступили к переговорам по созданию Республиканско-демократического объединения (РДО), которое стало, по мнению самих участников, “сговором

лиц – от левых кадетов до правых социалистов”¹⁵. Был предпринят ряд попыток республиканско-демократических групп сговориться между собой, выяснить взаимные отношения и тем самым подготовить, возможно, близкое сотрудничество в будущем. Плодом этих попыток явился республиканско-демократический союз (блок)¹⁶.

Первые попытки объединения представителей республиканско-демократического лагеря в эмиграции были сделаны еще в начале 1921 г. Для этой цели был создан исполнительный комитет членов Учредительного собрания (вовсе не для оживления собрания и без претензий на какую-либо власть, так как организаторы считали, что избрание в Учредительное собрание есть некоторая гарантия демократичности). Комитет, избранный на частном совещании членов Учредительного собрания в Париже 8–21 января 1921 г. в составе девяти лиц, не предполагал вырабатывать общих взглядов на задачи внутренней политики, полагая, что у каждой партии эти взгляды свои. Они ограничили свою деятельность только теми вопросами, которые касались отношений между Россией и границей.

Вопрос об объединении более широкого состава и о выработке общей программы по внутренним вопросам сам собою стал снова на очередь в 1922 г., когда органы ГПУ выселили из крупных городов в северные районы и за границу ряд интеллигентов, таких как С. Прокопович, Е. Кускова, М. Осоргин, А. Изгоев и др. (всего 160 человек). Эти лица привезли с собой знание нужд России, и с их участием эта трудная задача, поставленная себе республиканско-демократическими элементами за границей, казалась легче разрешимой. Вот как этот факт освещают советские источники: «В ответ на деятельность правой профессуры в России, как то: отстаивание идеи “чистой” науки и аполитичности вузов, борьбу за автономию высших учебных заведений, сохранение уклончивого тона советское государство применило репрессивные меры. XII Всероссийская конференция РКП/б подчеркнула, что “нельзя отказываться и от применения репрессий не только по отношению к эсерам и меньшевикам, но и по отношению к политиканствующим верхушкам мнимобеспартийной, буржуазно-демократической интеллигенции”»¹⁷.

Уже с лета 1921 г. группа партии Народной Свободы, которая участвовала в создании комитета членов Учредительного собрания, окончательно отделилась от правого крыла и центра партии. Она назвала себя “демократической группой партии Народной Свободы”. Тогда же начала образовываться и группа “Крестьянская Россия”. Близко к обеим группам по политическому настроению находились, с одной стороны, группа социалистов-революционеров, объединившаяся на издании ежемесячного журнала “Современные записки” и более других участвовавшая в деятельности комитета членов Учредительного собрания, с другой – группа социал-демократов, объединившаяся около журнала “Заря”, и, наконец, группа Е.Д. Кусковой и С.Н. Прокоповича.

24 сентября 1922 г. представители всех этих групп вместе с отдельными членами родственных течений собрались в Париже, чтобы дать возможность создать общую организацию демократических элементов, объединенных единой платформой. Однако положить текст платформы в основу объединения совещание не решилось ввиду возражения некоторых представителей. Решено было смотреть на него как на материал для более глубокого обсуждения в разных группах, для чего было решено организовать республиканско-демократические клубы. Доклады в этих клубах и обсуждение самого проекта платформы оказало существенное влияние. Появился целый ряд программ демократических кружков, в которых отразились те или другие положения парижского проекта платформы.

Таким образом, задача направить мысли демократической эмиграции по определенному руслу, была до некоторой степени осуществлена. Но оставалась другая, более трудная часть задачи: организация самоопределившихся таким образом элементов в единый союз. Выполнением этого занялись главным образом две организации: демократическая группа партии Народной Свободы и группа "Крестьянская Россия", сговорившиеся между собой в конце июня 1923 г.

Решительный толчок работе в этой новой стадии дан был приездом в Прагу П.Н. Милюкова, публично поставившего задачу республиканско-демократического объединения в своем докладе при открытии республиканско-демократического клуба. К этому времени помимо организованных групп партийного характера начали появляться республиканско-демократические группы, построенные на ином начале: группы местные (территориальные) или профессиональные. Было ясно, что слишком детальная платформа сентябрьского совещания 1922 г. для объединения новых элементов не подходит. Во второй половине 1923 г. была решена и эта задача.

По вопросу о формах организации при этом обнаружили, путем предварительной переписки с разными группами, две противоположные точки зрения. Так, лондонская республиканско-демократическая группа предлагала основать объединение на чисто личной связи членов групп, независимо от партийной принадлежности каждого. Но это объединение не пошло бы дальше того, что уже было достигнуто путем создания республиканско-демократических клубов.

Прямо противоположное предложение сделали народные социалисты, которые полагали, что в союз должны войти только оформленные группы, политическая физиономия которых определилась как группа партийного характера. Сюда не могли быть отнесены вновь образовавшиеся республиканско-демократические группы и клубы.

Демократическая группа партии Народной Свободы и группа "Крестьянская Россия" не могли по названным причинам согласиться

ся ни на один из планов и предложили свой собственный, средний между ними. В объединение должны входить не лица, а группы, но не обязательно строго партийного характера. Выбрать тот или иной план объединения предполагалось на съезде организаций, которые сговорятся на одной общей платформе. Текст переработанной платформы был обсужден на совещании в Париже 23–27 октября 1923 г. (см. прил.). Тогда же были установлены организационные и тактические положения для деятельности предполагаемого Союза.

Организационные основы объединения¹⁸:

1. Объединение носит название “Союз Республиканско-демократических организаций”.

2. Основные цели и деятельность Союза определяются особой программой и принципами тактики, принятыми учредителями Союза.

3. Союз является объединением организаций; персональное, вне организаций, участие в Союзе не допускается.

4. Впредь, до решения учредительного съезда, для вступления в Союз новых организаций требуется согласие всех наличных организаций.

Тактическая основа Союза Республиканско-демократических организаций¹⁹:

1. В целях освобождения России от коммунистической власти Союз признает революционные и мирные формы борьбы с нею.

2. Для достижения своих целей Союз:

а) ведет пропаганду внутри и вне России путем издания органа, брошюр и т.п.;

б) создает постоянные связи с Россией;

в) объединяет демократические силы российской эмиграции;

г) устанавливает связи с общественными группами Европы и Америки.

В работе съезда, который состоялся 25–29 декабря 1923 г. в Праге, приняли участие представители демократической группы партии Народной Свободы, “Крестьянской России” и Народно-социалистической партии. После обсуждения и внесения ряда поправок был составлен окончательный текст платформы и тактических положений “республиканско-демократического Союза”. Название “Союз” принято единогласно, хотя вступить в него Народные социалисты не решились (так как Союз открыт для организаций не строго партийного характера). Тем не менее, объединившиеся в Союз группы считали задачу выполненной, Союз существующим и открывшим свою деятельность²⁰.

На организационном собрании Центрального Бюро демократической группы партии Народной Свободы от 26 мая 1924 г. председатель собрания П.Н. Милюков отмечает: «Раньше, в первое время существования демократической группы, термин “демократиче-

ская” достаточно отделял нас от той части конституционно-демократической партии, члены которой оказались не с нами, и являлся признаком, вполне определявшим наше положение по отношению к другим политическим группировкам. Но затем стало выясняться, что понятие “республика” является именно тем характерным отличительным признаком, который сразу определяет наше место и в борьбе за который, в сущности, нами произведена большая работа. В связи с этим правильно было бы добавить к названию слово “республиканско”»²¹.

8 июля 1924 г. в Париже при содействии группы молодых республиканцев-демократов было созвано учредительное собрание. В нем приняли участие все те, кто выражал свои симпатии делу объединения республиканско-демократических элементов в русской эмиграции. В основу данного объединения была положена платформа, наметившая политический курс организации, которая имела определенные отличия от близкой к ней по своей сути платформы Республиканско-демократического блока, созданного в октябре–декабре 1923 г.

П.Н. Милюков характеризовал отличительные черты этих двух организаций следующим образом: “Республиканско-демократический блок есть сговор определенных политических партий, РДО есть сговор лиц. Среди этих лиц есть представители различных демократических партий... Но в значительном большинстве своем Объединение состоит из лиц, не входящих ни в одну из существующих партий, людей, впервые начинающих свою политическую жизнь. Эта особенность состава республиканско-демократической организации сообщает психологии этого молодого объединения своеобразный характер”²².

Прежде всего, эта новая психология характеризуется, по словам П.Н. Милюкова, свободой от партийного прошлого со всеми как отрицательными, так и положительными последствиями. Членов объединения, в большинстве своем выросших в эпоху мировой и гражданской войн, отличает также особая острота и напряженность патриотического чувства, осознание национальной идеи как определяющей в их мировоззрении. Настроение политического реализма, выражающееся в недоверии к отвлеченному догматизму и боязни партийного сектантства, в свою очередь, определяло и саму широту базиса платформы объединения, удерживало ее от превращения в детализированную политическую программу. “Широта базиса в платформе Объединения есть результат сговора путем утверждения того небольшого основного, что... соединяет всех”, – писал П.Н. Милюков²³.

Платформа Республиканско-демократического объединения базировалась на восьми основных пунктах. Первое и по месту, и по значению положение платформы посвящено государственному устройству. Организаторы Объединения считали, что Россия должна стать Демократической федеративной республикой.

П.Н. Милюков рассматривал эту форму правления как наиболее возможную, хотя и совершенно новую на российской почве. “Демократическая республика не только является принципиально наиболее желательной заменой советской власти... Она оказывается также и наиболее возможной – и потому наиболее вероятной”²⁴.

П.Н. Милюков приходит к этому выводу методом исключения, доказывая историческую неусловленность других форм государственной власти в России на данном этапе ее развития. Причем, главным аргументом является следующий: «...республика есть факт настоящего, понятный населению и дорогой ему, как вернейший способ охраны приобретенного. Превращение этой фактической республики из “пролетарской” и коммунистической в “формально”-демократическую настолько вероятно, что правоверные большевики сами считают это превращение за величайшую для себя опасность... Это превращение повелительно диктуется тем безысходным кризисом, в котором уже сейчас находится советская власть, и который будет усиливаться, пока она не откажется от тактики введения социализма в России»²⁵. Здесь, пожалуй, с наибольшей ясностью проявляется ориентация на внутренние процессы, происходящие в советской России, которая составляла сущность новой тактики П.Н. Милюкова.

Следующее положение платформы Республиканско-демократического объединения звучит так: “Гарантия политических и гражданских свобод, гражданское равноправие, независимый суд и защита прав национальных меньшинств”²⁶. Наряду с основополагающими принципами демократии, в этом положении содержится тезис, признающий права национальных меньшинств, который является новшеством в сравнении с платформой Республиканско-демократического союза.

Основой пункта платформы, касающегося всеобщих активных и пассивных выборов в органы центрального и местного представительства является один из важнейших демократических принципов – всеобщее избирательное право.

Одно из положений платформы РДО полностью копирует тезис Республиканско-демократического Союза. В нем говорится о решительном отказе от коммунистической системы хозяйства. Делается также акцент на восстановлении производительных сил России на основе свободы экономической деятельности с учетом признания полной свободы хозяйственной инициативы и частной собственности во всех ее проявлениях. Этот пункт убедительно свидетельствует как о неприятии сторонниками “новой тактики” социалистического строительства в России, так и об ориентации на новые процессы, которые стали происходить в жизни страны в связи с введением нэпа.

Весьма значимый пункт также отражает один из главных постулатов “новой тактики”, с которым не могли смириться монархисты. Речь в нем идет о земле: “Признание происшедшего во время рево-

люции перехода земли к крестьянам и решительная борьба со всеми попытками отчуждения земли из рук ее теперешних держателей или иных способов восстановления дореволюционных земельных отношений”²⁷. Здесь совершенно очевидна боязнь оттолкнуть народные массы, на действия которых “изнутри” рассчитывали сторонники “Новой тактики”.

Обращает на себя внимание положение платформы РДО, посвященное новым подходам к проблемам наемного труда. Государство должно взять наемный труд под охрану во всех сферах государственной экономики без исключения, что даст рабочим право беспрепятственно создавать свои организации по профессиональному признаку.

Одно из положений подчеркивает заботу будущей республики по отношению к умственному потенциалу страны; всеобщая грамотность населения необходима для самого существования республики. Государство должно в полной мере содействовать просвещению народных масс. Предполагалась также энергичная поддержка, которую в этой сфере могут оказывать государству различные общественные организации, с учетом и частной инициативы.

Заключительным пунктом платформы является тезис, касающийся защиты будущей республики. Провозглашается всесторонняя забота об армии и военнослужащих, так как сильные, хорошо организованные, обученные и оснащенные вооруженные силы являются необходимым условием безопасности и независимости народа, нормального экономического и политического развития государства, самого его существования. Годы первой мировой и гражданской войн, развивающиеся планы интервенции многому научили создателей Республиканско-демократического объединения, стремившихся не к порабощению, а к возрождению и процветанию своей Родины.

Все приведенные выше положения платформы РДО отражают те черты мирозерцания эмигрантского демократического крыла, на которые указывал П.Н. Милюков. Текст платформы подтверждает уверенность его создателей в том, что Россия выйдет из-под большевистского господства окрепшей и обновленной. П.Н. Милюков и его сторонники несмотря ни на что с оптимизмом взирали на развитие своей Родины, верили в будущее России.

Основные положения РДО, обязательные для членов РДО²⁸:

- сохранение пафоса неприятия советской власти и борьба с нею, а, следовательно, и революционное к ней отношение и отрицание всякого рода примиренчества;

- преодоление духовного отрыва от России и стремление войти в духовное общение с внутрирусской демократией.

Это предполагает:

- признание положительного значения за общим смыслом происходящих внутри России процессов, ведущих к освобождению России от советской власти силами самого населения;

– внимательное изучение этих процессов со всеми произведенными ими изменениями – социальными, бытовыми, психологическими;

– согласование тактики эмиграции с тактикой населения, борющегося методами как революционными, так и мирными, которые оказываются наиболее целесообразными при внутрирусской обстановке борьбы;

– признание того, что борьба с советской властью не должна переходить в борьбу против национальных интересов России.

Органы РДО²⁹:

а) общее собрание, б) правление, в) провинциальные отделения, г) ревизионная комиссия и комиссии.

Верхнее руководство и контроль за деятельностью РДО и его отделений принадлежат общему собранию членов РДО.

Примеч.: Делегаты провинциальных отделений выбираются общими собраниями этих отделений.

Правление состоит из 10 членов Объединения, избираемых на один год общим собранием РДО и председателей правлений провинциальных объединений, входящих в состав Правления РДО с правом решающего голоса. Правление выбирает двух товарищей председателя, секретаря и казначея. Правление само распределяет свой внутренний распорядок.

Членами РДО могли быть российские граждане, как мужчины, так и женщины по достижении 18-летнего возраста. Граждане, которые пожелали бы вступить в число действительных членов Республиканско-демократического объединения, должны были подать на имя правления об этом заявление, с указанием того, что они согласны и поддерживают платформу Объединения и тактические тезисы, а также представить рекомендации членов РДО. Если лица, желающие вступить в Объединение, проживали не в Париже, а в других местах, где имелось бы отделение РДО, вместо соответствующей рекомендации должны были представить краткую свою биографию. Все члены РДО должны были выплачивать ежемесячный взнос в размере 5 франков, малообеспеченные и безработные освобождались от уплаты членских взносов.

Республиканско-демократическое объединение уделяло серьезное внимание пропагандистской и просветительской работе в эмигрантской среде. Например, за первый год существования РДО в Париже произошло 9 организованных собраний, 10 товарищеских обедов и литературно-музыкальных вечеров, а также 34 доклада, ряд которых прочитал П.Н. Милюков, как, например, доклад “О белом движении”, состоявшийся 3 августа в зале Географического общества при переполненной аудитории (400–500 человек стояли у дверей, в зале находилось около 1000 слушателей)³⁰. В конце года были открыты агитационно-политические курсы при РДО, руководство которыми принял на себя П.Н. Милюков. Проводились также семина-

ры по ключевым проблемам положения в России, в частности, – по крестьянскому и рабочему вопросам³¹.

В помещении Объединения для его членов и сочувствующих была открыта библиотека и читальня с эмигрантскими и советскими газетами, с книгами политико-экономического и мемуарного характера. В Бюллетене РДО за октябрь 1926 г. сообщается, что за год читальня и библиотека РДО значительно пополнились новыми книгами как беллетристического, так и социально-политического содержания³². Библиотечная комиссия РДО оказывала членам Объединения содействие в приобретении той или иной литературы.

Говоря об издательской деятельности РДО, прежде всего следует упомянуть выход в свет Бюллетеней, содержащих подробные отчеты о жизни Объединения. Издавались также листки и различные пропагандистские материалы, которые освещали “новые явления политической и социальной жизни и вопросы республиканско-демократической идеологии”³³. Газета “Последние новости” фактически стала печатным органом РДО.

Результатом этой работы во многом и явилось то, что по прошествии небольшого периода времени после возникновения РДО открылись филиалы организации в Лионе (август 1924 г.) и в Алыгранже (сентябрь 1924 г.). Через год дело Объединения приобрело своих сторонников практически во всей среде русской эмиграции.

Уместно привести заметку А. Веденского о деятельности РДО в Брно, присланную в Париж.

“РДО в Брно подвело итоги своей полугодовой деятельности. В главных чертах работа состояла:

1. В поддержке тесной связи с аналогичными организациями, в первую очередь с РДО в Париже.

2. В устройстве регулярных собраний, обычно с участием и не членов Объединения, на которых происходит оживленный обмен мнений, как по вопросам идеологического характера, так и текущего момента, причем выявлялось полное согласие с линией, проводимой РДО в Париже.

...Не могут не отозваться благоприятно и изменения в настроении, каковые произошли среди русской колонии в Брно и причину каковых нужно искать, с одной стороны, в повышении общего культурного уровня русской колонии, а с другой стороны, в разочаровании под влиянием многократного неисполнения предвидений и обещаний правой части эмиграции в тактике и идеологии ее”³⁴.

Возникновение РДО отразило те процессы, которые происходили в среде русской эмиграции в предшествующий период. Три года, прошедшие после поражения белого движения, заставили многих изменить свое отношение к далекой России и методам борьбы за ее благо. Вопрос о “значении и смысле происходящего в России”, о “новой тактике” был “решен жизнью... в пользу точки зрения Милюкова”³⁵.

П.Н. Милюков в брошюре “Три платформы республиканско-демократических объединений” характеризует этот процесс в среде русской эмиграции, который дал жизнь РДО, следующими чертами: “Освобождение от белого догматизма... отказ от старых неоправдавших себя методов борьбы, идейный и формальный отрыв от старых тезисов и кадров белого движения, собрание новых идейных кадров, сговор вокруг нового политического мирозерцания, – но всегда и снова, все ради той же старой цели – борьбы за освобождение России”³⁶.

Создатели РДО стремились к объединению всех демократических сил эмиграции, а вовсе не к всеобщему антибольшевистскому фронту для борьбы с советской властью, который включал бы и реставраторские течения. Эта позиция ярче всего проявилась в отношении Республиканско-демократического объединения к всероссийскому эмигрантскому съезду, проходившему весной 1926 г. в Париже, цель которого состояла в попытке объединения всех эмигрантских кругов. Организации монархистов, надевавшихся на иностранную военную интервенцию, держались за остатки белой армии, объединенной в “Русский общевоинский союз” (РОВС). 31 августа 1924 г. Великий князь Кирилл неожиданно для “никولاевцев” объявил себя императором Всероссийским. В ответ сторонники Великого князя Николая Николаевича стали готовить “зарубежный съезд”, чтобы объединить эмиграцию и изолировать “кирилловцев”. В период шумной кампании подготовки съезда были созданы журнал “Эмигрант”, газета “Возрождение”. Но, тем не менее, во Франции, например, в избрании делегатов на съезд участвовало только 8,8% русских. Состоявшийся в апреле 1926 г. в Париже съезд никого не объединил. На нем не было “кирилловцев” и республиканско-демократической части эмиграции. П.Н. Милюков назвал сборище монархистов “вырожденческим съездом”³⁷. Он признавал, что “...все политические партии в эмиграции не годятся для новой политической обстановки”³⁸. Современник событий М.М. Винавер отмечает: “Неудача попытки правых кругов реставрировать старые формы белой борьбы (Зарубежный съезд) и нанесенный этим удар правой идеологии – создают благоприятные условия для дальнейшей более систематической пропаганды идей РДО среди эмиграции”³⁹.

Республиканско-демократическое объединение выпустило обращение, в котором говорилось: “Присмотритесь повнимательней, что происходит за кулисами у созывающих съезд... В составе устроителей съезда есть только одна группа, которая знает, что хочет, – это крайние монархисты. Это те люди, которые в свое время помешали той самой династии, которую теперь защищают, сделать необходимые уступки народу, чтобы сохранить свое существование. Это они – Треповы, Крупенские, Скаршинские, Палеологи и т.д. – своим упорством довели Россию до революции”⁴⁰. Другой документ – “Воззвание от Республиканско-демократического Объединения” – гла-

сит: «Русские люди! Вас приглашают выбирать представителей для участия в Зарубежном Съезде, созываемом открытыми и скрытыми монархистами. Присмотритесь, что происходит за кулисами у созывающих съезд. Прежде чем объединяться, отдайте себе отчет с кем вы объединяетесь и для чего... Давайте думать, как вернуться в Россию не в старой роли “полицмейстеров” своего народа, а в роли верных слуг и помощников на том новом пути, которым пойдет Россия, одолев своих теперешних насильников – большевиков»⁴¹.

Задаваясь вопросом, какую политическую линию проводило по отношению к Советской России само РДО, ее можно охарактеризовать следующим образом – не принимая советского строя, РДО в то же время было против попыток реставрации в стране монархии. Все это соответствовало новой тактике, выдвинутой Милюковым, и принятой за основу платформе Республиканско-демократического объединения, которое тоже фактически являлось его детищем.

На страницах “Последних новостей”, которые П.Н. Милюков сделал рупором РДО с 1920 по 1940 г., публиковалось немало анти-советских материалов, которые соседствовали с жаркой полемикой, направляемой демократами против правых кругов эмиграции, делавших ставку на внешнее вмешательство. П.Н. Милюков был уверен сам и прилагал все усилия, чтобы убедить своих оппонентов в том, что большевизм должен изжить себя самостоятельно, разложиться изнутри⁴².

РДО существовало вплоть до оккупации территории Франции немецко-фашистскими войсками, а в 1943 г. умер и его основатель – П.Н. Милюков.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Платформа Союза Республиканско-демократических организаций*.

(Основы соглашения между Демократической Группой партии Народной Свободы, Центральным Бюро заграничных групп “Крестьянской России” и др. для объединенных политических действий)

1. Государственное устройство России на основах:
 - а) Республиканско-демократического строя.
 - б) Гарантии прав человека и гражданина, равноправие.
 - в) Независимого суда.
 - г) Демократического местного самоуправления и областной автономии.
2. Восстановление государственного единства России на основах федерации.
3. Возможно скорый созыв Учредительного собрания.
4. Решительный отказ от коммунистической системы хозяйство-

* ГАРФ. Ф. 5856. Оп. 1. Ед. хр. 682. Л. 9–10.

вания, с признанием хозяйственной инициативы и частной собственности.

5. Признание сельского хозяйства основой возрождения народного хозяйства России.
6. Признание происшедшего во время революции перехода земель к хозяйствам крестьянского типа.
7. Государственная охрана наемного труда.
8. Широкая постановка дела народного просвещения.
9. Мир как основа политики, работа об армии.

1 Последние новости. Париж, 1920. 8 мая.

2 Миллюков П.Н. Россия на переломе: Париж, 1927. Т. 1. С. 240.

3 Протокол заседания Парижского комитета партии Народной Свободы // ГАРФ. Ф. 7506. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 54.

4 Миллюков П.Н. Что делать после Крымской катастрофы (к пересмотру тактики кадетской партии)? // ГАРФ. Ф. 7506. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 5–7.

5 Там же.

6 Мухачёв Ю.В., Шкаренков Л.К. Крах “Новой тактики” контрреволюции после гражданской войны. М., 1980. С. 21.

7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 313.

8 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 139.

9 Последние новости. Париж, 1921. 1 марта.

10 Миллюков П.Н. Что делать после Крымской катастрофы? Париж, 1926. С. 134–135.

11 Миллюков П.Н. Политическая деятельность “Последних новостей” // Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 19.

12 ГАРФ. Ф. 5818. Оп. 1. Д. 11. Л. 4.

13 Последние новости. Париж, 1921. 21 июля.

14 Последние новости. Париж, 1921. 20 августа.

15 Миллюков П.Н. Три платформы республиканско-демократических объединений. Париж, 1925. С. 52.

16 ГАРФ. Ф. 5856. Оп. 1. Ед. хр. 682. Л. 44.

17 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. 8-е изд. М., 1970. Т. 2. С. 395.

18 ГАРФ. Ф. 5856. Оп. 1. Ед. хр. 682. Л. 11–12.

19 Там же.

20 Там же. Л. 50.

21 ГАРФ. Ф. 7506. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 4.

22 Миллюков П.Н. Три платформы республиканско-демократических объединений. С. 5.

23 Там же. С. 6.

24 Миллюков П.Н. Республика или монархия. Париж, 1929. С. 27–28.

25 Там же.

26 Миллюков П.Н. Три платформы республиканско-демократических объединений. С. 59.

27 Там же.

28 Афанасьев А.Л. Полюнь в чужих краях. М., 1987. С. 57.

29 Изменения и дополнения Устава РДО // ГАРФ. Ф. 5856. Оп. 1. Ед. хр. 682. С. 6–8.

30 Бюллетень РДО: № 1, октябрь. Париж, 1925. С. 10.

31 Там же. С. 22.

³² Там же. С. 27.

³³ Последние новости. Париж, 1937. 26 августа.

³⁴ ГАРФ. Ф. 6845. Оп. 1. Ед. хр. 309. Заметка А. Веденского о жизни РДО в Брно.

³⁵ Сборник по чествованию 70-ти летия П.Н. Милюкова. Париж, 1929. С. 120.

³⁶ Милюков П.Н. Три платформы... С. 4.

³⁷ Он же. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С. 15.

³⁸ Последние новости. Париж, 1925. 22 ноября.

³⁹ ГАРФ. Ф. 5856. Оп. 1. Ед. хр. 682. Л. 38.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Там же. Ед. хр. 518. Л. 117.

⁴² Милюков П.Н. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С. 240.

Ю.Н. Емельянов

**МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
И МОНАРХИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
(1920-е – середина 1930-х годов)**

Политическая жизнь русской эмиграции ее первой послереволюционной волны является, в силу определенных причин, одним из недостаточно изученных сюжетов истории русского зарубежья как в отечественной, так и в эмигрантской историографии. Российская эмиграция этого периода – явление совершенно уникальное в отечественной и мировой истории. И дело тут не только в количестве российских изгнанников, но и в их качестве – большинство русских беженцев принадлежало к культурной и политической элите России. Этот факт предопределил высокий уровень культурных ценностей, которые были созданы в эмиграции “первой волны”.

Вполне естественно, что культурная история русского рассеяния своей неоспоримой значительностью заслонила ее идейно-политическую историю. Последняя долгое время трактовалась только в негативном ключе как “агония белой эмиграции”. Даже в самой русской диаспоре ее нередко пытались охарактеризовать как что-то малоинтересное и незначительное, не заслуживающее серьезного научного анализа. Так, Марк Раев утверждает, что “политическая жизнь эмиграции состояла из бесконечных пререканий, порождаемых использованием непроверенной информации, беспомощностью, озлоблением, тоской по прошлому... Попытка распутать сложную и не имевшую практического результата деятельность политических организаций Русского Зарубежья не представляется нам особенно перспективной. Горячие споры об ответственности за прошлое, равно как и идеологические противоречия из-за выбора тактики или программы в связи с теми или иными событиями в Совет-

ском Союзе или в мире в целом представляют преходящий и ограниченный интерес”¹. В данном случае М. Раев только констатирует, но ни в коем случае не пытается объяснить создавшуюся ситуацию. Подобная точка зрения представляется нам чрезмерно категоричной и в своей категоричности несколько несправедливой. Безусловно, в политической жизни “первой волны” русской эмиграции были и “бесконечные пререкания”, и “взаимное озлобление”, но никак невозможно всю идейно-политическую жизнь эмиграции свести только к ним. Все дело в том, что политика русского зарубежья, как и политика всех эмиграций вообще, неизбежно ведет к постоянному дроблению, зачастую опускаясь до склоки. Происходит все это из-за того, что у эмиграции нет возможности заниматься многими реальными делами в законодательной и исполнительной областях, которые и представляют в нормальных условиях суть политики, а потому всегда заземляют ее и превращают в искусство невозможно. Вот почему в эмиграции политика сводится к борьбе программ и проектов без обратной связи с действительностью решений и дел. Эмигрантская политика – искусство, как правило, невозможного, хотя и случается, что одно из тысяч этих предположений превращается в реальность. В то же время, с не меньшим основанием можно сказать, что “политическая история русской эмиграции – это история бурных споров о путях развития России и человечества, история смелых мечтаний о новом мироустройстве” и попытках их воплощения в жизнь, что это “история трагических самопожертвований и предательств”, героической и безнадежной борьбы “с гигантской государственной машиной”². Эмиграция была погружена в свои проблемы, в изучение того, что произошло в России, в планирование того, что и как нужно сделать для возрождения России.

Для Российского Зарубежья 1920-х – 1930-х годов характерен широкий спектр политических и идеологических установок борьбы за будущую Россию. В политических устремлениях выделяются две основные тенденции: во-первых, сведение политической деятельности к различным мероприятиям с целью свержения власти большевиков и реставрации порядка, существовавшего в Российской империи, но с учетом определенных изменений, внесенных временем. Во-вторых, все более определялась тенденция к поиску компромисса с большевиками, создания новой России через тактику “обволакивания” советского государства и перерождения его в “нормальное, демократическое государство”. Одновременно в эмиграции шла усиленная работа по созданию образа будущей России. Достаточно широкое распространение получили идеи построения новой России на основе христианского социализма, а также путем соединения идей капитализма и социализма, во многом предвосхитившие создание теории конвергенции. Идеи и теории российской эмиграции имеют принципиальное значение для осмысления природы и специфики

российской государственности, политической и правовой культуры. Это все является актуальным для того времени, когда еще не утратила своей остроты для русских изгнанников возможность возвращения на Родину.

Основным стержнем, вокруг которого формировалось общественное сознание русской эмиграции, было отношение к советской власти. П.Н. Милюков писал, что непримиримость к советскому строю “совершенно неизбежна и обязательна для политической эмиграции... В этой непримиримости – вся сущность политической эмиграции”³. Но идея непримиримости облекалась в различные формы. Актуальным в этой связи является изучение политической мысли и общественно-политической деятельности русской эмиграции, в частности ее взглядов, концепций, оценок, и прогноз перспектив возрождения России и создание новой русской государственности.

Русская эмиграция – сложное политическое и духовное явление. Ее численность, по различным источникам, доходила до 2,5 млн человек. Барон Б.Э. Нольде, известный деятель политической и научной жизни эмиграции, не без основания писал, что это была “не эмиграция русских”, а “эмиграция России”⁴. Политически активная часть эмиграции была сосредоточена в различных партиях и организациях, начиная от монархистов и кончая социал-демократами, меньшевиками. Начало 20-х годов – время окончательной кристаллизации политических течений русской эмиграции. Особенностью ее политического спектра, как отмечал П.Б. Струве, было наличие “огромной массы центра, количественное преобладание правых над левыми, при наличии, однако, у левых значительно больших финансовых и информационных возможностей”⁵. Монархисты составляли правый фланг эмигрантского лагеря. Среди них, по свидетельству П.Н. Милюкова, к концу белого движения окончательно возобладали “реставраторские и монархические идеи”⁶. Согласно подсчетам П.Б. Струве, 85% всей белой эмиграции составляли монархисты⁷, создавшие в различных странах Европы около сотни своих организаций, центром которых и стал созданный в 1922 г. Высший монархический совет (ВМС).

Итог трехлетней гражданской войны привел к неизбежной поляризации политических сил и симпатий. Разочарование в народе означало разочарование и в демократии, что и привело к возобладанию монархических настроений, причем путь к восстановлению монархии виделся через диктатуру.

Монархическая эмиграция оформилась раньше других групп и организаций, чему способствовал ряд объективных причин, и, прежде всего, фактор ее социального состава. В эту группу входили представители высшей аристократии, дипломатического корпуса и т.п., которые не вернулись в Россию уже после Февральской революции или покинули страну при Временном правительстве. Существенную

часть монархически настроенной русской эмиграции составили офицеры белых армий Врангеля, Деникина, Миллера и Юденича. Так, в Эстонии, где нашла себе временный приют часть армии генерала Н.Н. Юденича (а это около 100 000 военных, принимавших участие в действиях Северо-Западной армии), быстро оформились монархические организации: “Белый крест”, “Союз верных” и т.п. К 1923 г. окончательно определились две основные группы монархистов – русские монархисты (лидер граф А. Игнатъев) и монархисты немецкой ориентации (лидер полковник Б.Е. Агапов). Национально настроенная часть русских монархистов подчинялась избранному в 1921 г. Высшему Монархическому совету и поддерживала великого князя Николая Николаевича. Эта группа была в тесном контакте с парижскими монархистами во главе с генералом Е.К. Миллером. Основным центром монархистов немецкой ориентации был союз остзейских баронов “Риттербунд” (“Ritterbund”). В этот союз могли входить только представители высших сословий⁸. Это был как бы костяк, существенно дополненный тем потоком эмигрантов, который хлынул в Европу после окончательного разгрома белых армий.

Был и еще один источник формирования лагеря монархистов. Непонимание Западом явлений, происходивших в России, и наличие определенной враждебности к ней, проистекало из того, что Россия как великая держава отождествлялась Западом с неограниченной монархией. Традиционно враждебное отношение западных демократий к “царизму” перенеслось с крушением Российской империи на Россию как таковую. По мнению Струве, данное обстоятельство заставляло русских отстаивать “историческую Россию”, что и сделало многих из них идейными монархистами. “Поскольку крушение монархии, – писал Струве, – для русских означало и крушение самой России, многие образованные русские, не бывшие монархистами, стали монархистами из русского патриотизма”⁹.

В этой связи нельзя не обратить внимания на тот факт, что монархическими настроениями было проникнуто и русское студенчество. Так, руководство в пражском русском студенческом союзе было передано в руки русских монархистов, а затем и в ОРЭСО¹⁰. Самым ярким моментом реакционности настроения в среде студенчества, проявившейся на I организационном съезде этой центральной студенческой организации, был демонстративный отказ 90% студентов подписать сочувственную телеграмму семье убитого в Берлине В.Д. Набокова. Подобному проявлению политических антипатий не находилось никаких оправданий, если учесть, что в это же время подобные телеграммы были направлены не только от генерала Врангеля, от присутствующих на съезде лидера чешских правых К. Клармаржа, писателя А.В. Амфитеатрова, увлекшегося затем фашизмом, но и от русских монархистов в Рейхенгале. Таким образом, присутствующие студенты оказались “правее правых” и даже более озлобленными и непримиримыми¹¹.

Нельзя сбрасывать со счетов и того факта, что на формирование правых взглядов русского студенчества могла оказать и русская профессура, все “правые” профессора, собравшиеся в эмиграции, как правило, были “левыми” в условиях царской России.

Тем не менее, монархисты не представляли собой сплоченной силы. Большой негативный опыт, накопленный в годы гражданской войны, убедил их в насущной необходимости объединения усилий. Инициатива принадлежала правому флангу монархистов, выступавшему за реставрацию самодержавия в его “неурезанном виде”, и левому, состоящему из октябристов и небольшой части кадетов и призывавшему к “конституционной модернизации” прежней власти. По свидетельству историка белой эмиграции В. Белова, “в неописуемом сумбуре политических группировок эмиграции, в тумане лицемерия, лжи и мещанской тупости, в клубке переплетающихся идеологий новых толков и самостоятельных организаций можно указать на монархистов как на единственную группировку, твердо знающую, чего она хочет и к чему стремится, откровенно и коротко об этом заявляющую”¹². С подобным же признанием выступил и князь А.В. Бобринцев-Пушкин¹³.

К концу 1918 – началу 1919 г. относится оформление одного из первых и наиболее крупного монархического объединения в Германии, которому немецкие власти оказывали всяческую поддержку¹⁴. Не без их материальной помощи полковник Ф. Винберг (бывший корниловец и участник заговора В.М. Пуришкевича) и офицеры-монархисты П.Н. Шабельский-Борг (до этого участвовавший в заговоре с целью освобождения царской семьи из екатеринбургского заточения)¹⁵ и С.В. Старицкий (довольно скоро даст о себе знать) стали издавать журнал монархического направления “Луч света”¹⁶, основу публикаций которого составили, прежде всего, погромные статьи самих издателей. Данная направленность была подхвачена и продолжена журналом “Двуглавый орел”, издаваемым Н.Е. Марковым 2-м¹⁷.

Идеологами крайнего монархического направления выступили Н.Д. Тальберг, Н.Е. Марков 2-й, Г. Бостунич (позже – Шварц-Бостунич), Н. Скрынников и др., считавшие происшедшие события в России лишь результатом действия всемирного масонского заговора¹⁸.

Наряду с П.М. Бермонт-Аваловым, А.И. Гучковым и др., одной из центральных фигур этого круга был бывший белогвардейский генерал В.В. Бискупский, пользовавшийся поддержкой прусского юнкера Вольфганга Каппа. Неудача капповского мятежа в марте 1920 г., имевшего целью ликвидацию Веймарской республики и реставрацию монархии, заставили многих ее участников, в том числе и русских белоэмигрантов (часть которых с определенностью участвовала в мятеже) переместиться в Баварию, где центром деятельности белоэмигрантов-монархистов стал Мюнхен. Здесь развернул свою активную деятельность Русский комитет, целью которого являлась вербовка новых членов и сбор средств.

Русские монархисты для осуществления замысла реставрации монархии в России, стремились заручиться поддержкой националистических элементов Германии, Австрии и Венгрии, разрабатывавших план создания Союза побежденных держав для восстановления династий. В некоторых столицах появились русские “аристократические” салоны. Наиболее известным из них был венский салон княгини М.А. Васильчиковой, где вынашивались реставрационные планы русских, австрийских и немецких монархистов¹⁹. Со всей определенностью эти идеи нашли свое выражение в меморандуме генерала В.В. Бискупского, обращенном к общеевропейской конференции монархистов, открывшейся летом 1922 г. в Будапеште. В нем говорилось: “Монархические группы, генералы императора и большая часть русского народа ясно видят, что это катастрофическое положение может кончиться лишь в том случае, если побежденные народы заключат между собой тайный Союз, избрав общую программу и начав очень активную политику. Великая Россия, Великая Германия и Великая Венгрия, связанные друг с другом экономически и политически, – вот единственное спасение в нашем отчаянном положении”²⁰, это – единственная возможность для восстановления тронов.

Для осуществления этих планов предполагалось создать военный и политический центры, которые должны были осуществлять руководство “добровольческой армией”, сформированной не только из белогвардейцев, но и офицеров других “дружественных” стран.

Составной частью этого предприятия предполагалась и пропагандистская подрывная работа в странах, куда планировалось вторжение, в том числе и в России. Согласно меморандуму Бискупского, “русский народ будет подготовлен пропагандой, раздачей русских денег в неограниченном количестве в целях поднятия антикоммунистического движения в тылу коммунистической армии”²¹.

Эти документы стали достоянием общественного мнения благодаря публикациям эсеровской “Воли России”. Их подлинность была подтверждена ее редакторами В.М. Зензиновым и О.С. Минором²².

Разгром армии барона П.Н. Врангеля заставил определенную часть русской эмиграции более трезво оценить сложившуюся ситуацию. П.Н. Милюков, разрабатывавший “новую тактику” борьбы с большевиками, предостерегал от прямых военных выступлений, полагая, что их время прошло. Да и страны Антанты отнюдь не горели желанием поддерживать надежды врангелевской армии, оказавшейся в эмиграции, на скорейший военный реванш, рассматривая их как неуместные в сложившейся политической обстановке. Милюков объяснял поражение “белой борьбы” целым рядом допущенных ее вождями “ошибок”, которые не были случайными. Все это вело к отторжению от белогвардейцев не только демократических элементов, но и “окраинных народов”²³. Милюков, считая вооруженную борьбу законченной, а идею военной диктатуры неприемлемой, провозгласил “принцип республики” без какой-либо санкции буду-

щего Учредительного собрания. Эти предложения, писал он, “разрывали с теми компромиссами, которые часть членов кадетской партии принуждена была заключить в период участия в различных белых правительствах”²⁴. Таким образом, компромисс с белой идеей подменялся на этот раз соглашением с “социалистами” — меньшевиками и эсерами на основе “республиканско-демократического объединения” (РДО)²⁵.

Но не было единства и в лагере кадетов. По свидетельству А.В. Бобрищева-Пушкина, они “разбрелись по всем эмигрантским пепелищам, вплоть до самого черносотенного”. Милюков, поддержанный лишь парижской группой кадетов, не получил оной и от других, и, прежде всего, от константинопольской, софийской и белградской групп, принимавших, по словам Милюкова, более активное участие в белой борьбе.

Раскол в среде кадетов по вопросу об отношении к “новой тактике” привел к оформлению в кадетской партии трех течений: республиканско-демократического (РДО) во главе с Милюковым, центристского — во главе с Н.И. Астровым и правого большинства — во главе с В.Д. Набоковым, А.В. Карташевым, Ф.Ф. Федоровым и пр. Собранный в июне 1921 г. Съезд Русского Национального Объединения (организованный В.Л. Бурцевым и кадетом В.Д. Набоковым) прошел под знаком превосходства правых. Национальный Комитет (в составе 74 человек), созданный на этом съезде, прямо заявил о своей полной верности “существованию корниловских стремлений”, “душе” Добровольческой армии и т.д.²⁶ Лидер комитета А.В. Карташев, последний обер-прокурор св. Синода, открыто провозгласил: “Никакого другого объединяющего начала сейчас для русских, кроме реакции, ни один мудрец указать не может...”²⁷. Несмотря на то, что Национальный Комитет стоял на позициях “непредрешенства” и выступал против “механической реставрации” самодержавия, он отнюдь не отвергал монархизм как форму будущего государственного устройства России и открыто поддерживал Врангеля и великого князя Николая Николаевича (Младшего)²⁸. В результате была принята весьма расплывчатая антибольшевистская программа, имевшая своей целью удовлетворить как правых, так и левых.

Более определенно о своей монархической приверженности заявила группа кадетов, обосновавшаяся в Софии. В ее “Записке” говорилось следующее: “Настало время признать, что отказ от монархических лозунгов в 1917 г. был ошибкой, объясняемой увлечением борьбой с определенной формой монархического режима... По мере того, как отходят в прошлое годы монархии, постепенно изглаживаются из памяти воспоминания о тяжелых сторонах монархического режима и монархия окружается новым ореолом”²⁹.

Несмотря на то, что этот монархизм был “конституционным”, он с очевидностью представлял собой вполне определенную основу для блока с крайними монархистами. И если Милюков и его привер-

женцы не признавали претензий Врангеля, считая его обанкротившимся реакционером и монархистом, то правые монархисты, напротив, считали, что он недостаточно “монархичен”, и требовали от него провозглашения лозунга “За веру, Царя и Отечество”.

Врангель, не скрывавший своего политического лица и прямо заявлявший о своих монархических симпатиях, тем не менее, оставлял вопрос открытым – под каким именно московским царем он мыслит будущую Россию. По его словам, это можно будет решить только после освобождения России от большевиков “в совете с русским народом”³⁰. Таким образом, в вопросе о государственном устройстве “восстановленной” России на белогвардейский манер, Врангель выступал с “непредрешенческих” позиций. Для него было главным: борьба не за монархию, не за республику, а за Отечество. В письме к А.В. Карташеву от 1 января 1922 г. он отмечал: “Все прошлое России говорит за то, что она, рано или поздно, вернется к монархическому строю, но, не дай Бог, если строй этот будет навязан силой штыков, или белым террором... Кропотливая работа проникновения в психологию масс с чистыми, национальными лозунгами может быть выполнена лишь при том сознательном отрешении от узкопартийных, а тем более классовых доктрин и искренности в намерениях построить государство так, чтобы построение удовлетворяло народным чаяниям. Если она (русская эмиграция. – Ю.Е.) претендует на то, чтобы принять какое-либо участие в воссоздании России, она должна вернуться домой единым фронтом, с единой программой, с единым лозунгом – Отечество”³¹.

Изменившаяся политическая ситуация, связанная с окончательным разгромом Врангеля, заставила активизироваться крайне правые монархические объединения. Прежде всего, они выступили с критикой своих вождей за то, что те в свое время не решились открыто поднять монархический флаг. Игнорирование монархической идеи, по их мнению, и привело к тому, что “белое дело” было “сведено на уровень неудачной политической авантюры”³².

В этой связи в монархических кругах окончательно оформилась идея о созыве заграничного монархического съезда. С инициативой выступили генерал В.В. Бискупский, депутат бывших III и IV Государственных дум, черносотенец Н.Е. Марков 2-й и А.А. Римский-Корсаков, член Государственного совета, сенатор, председатель Русского Комитета и Русского общественного собрания в Берлине.

Первым шагом организаторов съезда явилось создание в Берлине (январь–февраль 1921 г.) Временного Русского Монархического Союза, который возглавили Н.Е. Марков 2-й, сенатор, член Государственного совета, барон М.А. Таубе и член Государственной думы А.М. Масленников.

В проекте Устава Российского монархического объединения в Германии было сказано, что оно отнюдь не является ни партией, ни политическим союзом, а представляет собою организацию, которая

стремится “объединить возможно шире монархические течения всех оттенков, признающие принцип легитимной монархии для совместной дружной работы по воссозданию России на основах этого принципа”³³. Учредители объединения ставили перед собой задачу объединить все имеющиеся к этому времени монархические объединения, “где имеются русские эмигранты”. По утверждению авторов проекта, эти объединения уже имелись, кроме Германии, в США, Франции, Англии, Италии, Сербии, Эстонии, Латвии и других странах³⁴.

Накануне съезда с обоснованием монархической идеи выступил “Белый орел”. Автор редакционной статьи рассматривал причины, приведшие к поражению Белой армии в гражданской войне. Они, по его мнению, заключались в том, что восстанавливалась “царская армия”, т.е. Белая, но “без восстановления самого царя”. Корнилов, Каледин и Алексеев, как полагал автор, не понимали того, что “весь уклад общественной и социальной жизни держался непрерываемым авторитетом Царской власти”³⁵. И, если Колчак и Деникин не были уж “столь безнадежно привержены революции”, то только потому, что, по-видимому, “понимали необходимость монархии для России”. Потеря всеми ими доверия монархических кругов и сыграла, по мнению автора, роковую и решающую роль в поражении белого движения³⁶.

Одну из причин неудачи белого движения автор видел и в зависимости от требований “союзных демократий”, которые грозили белым генералам в отказе в помощи, как только те “сойдут с приказанной им демократической платформы”³⁷.

Врангель, по мнению автора, скрыл монархическое начало “в двусмысленном заявлении о Хозяине, которого народ сам себе выберет”³⁸. Многим это было непонятно: то ли царь, то ли президент, то ли диктатор на Белом коне. В результате, “неустранимое противоречие внутреннего монархического стремления и показного “демократизма” лишило Врангеля той силы народного доверия, без которого невозможно было победить большевиков”³⁹. Ни красный, ни белый террор не дадут успокоения. Это возможно лишь при монархии⁴⁰, когда будут восстановлены присяга и законность⁴¹.

Данная статья и ей подобные, послужили основой для выработки монархической платформы на Рейхенгалльском съезде и Мюнхенской конференции Русского народно-монархического союза (1922 г., март–апрель).

Съезд предполагалось провести в Берлине, против чего резко выступила левая немецкая печать, что и заставило организаторов созвать съезд в Баварии, где его работе оказало непосредственную помощь реакционно-монархическое общество “Aufbau” (“Строитель”), председателем которого был все тот же В.В. Бискупский.

Итак, с 29 мая по 7 июня 1921 г. в баварском курортном городе Рейхенгале проходил Общероссийский Монархический Съезд, на

котором присутствовало 106 человек. Съезд почтили своим присутствием иерархи русской православной церкви за рубежом митрополиты Антоний (который был почетным председателем) и Евлогий, выступивший на открытии съезда с церковным обоснованием монархии. Председателем съезда был А.Н. Крупенский, бывший бесарабский губернский предводитель дворянства. Съезд приветствовала телеграммой вдовствующая императрица Мария Федоровна, жившая в Копенгагене.

На открытии съезда прозвучало признание, что, не имея главы, монархическое движение не может успешно развиваться. Несмотря на наметившиеся разногласия в вопросе об устройстве “монархического” образа правления, на съезде восторжествовала идея легитимной монархии “в полном объеме”, провозглашенная Марковым 2-м. Четко прозвучала мысль, что “единый царь принесет народу не продолжение кровавой распри, а беспристрастно и милостиво рассудив правых, заблудших и виновных, вернет ему порядок, хлеб и необходимую землю”⁴². В результате, в резолюции съезда было записано следующее: “Съезд признает, что единственный путь к возрождению великой, сильной и свободной России есть восстановление в ней монархии, возглавляемой законным государем из дома Романовых, согласно основным законам Российской империи”⁴³.

Подобная “определенность” резко контрастировала с позицией одновременно проходившего в Париже съезда “Национального объединения”, собравшегося ради решения лишь одной задачи — объединения всех сил эмиграции. Ради этой цели вопрос о монархии и республики был вынесен за скобки. Вполне естественно, что подобный подход вызвал критику как справа, так и слева.

Марков 2-й, неоднократно выступавший на съезде, заявил, что русскому народу нужна не только “трехцветная опояска”, но “и хорошие ежовые рукавицы”⁴⁴.

Особый интерес представляло решение съезда по национальному вопросу. В резолюции подчеркивалось, что тем из окраинных новообразований, которые примут активное участие в воссоздании Российской империи, “возможно, будет дарована автономия в составе империи”⁴⁵. В “Докладе” по основам тактики и организации монархического движения говорилось: “Будучи сами националистами русскими, мы не можем и не должны не признавать за другими народами права на национальное самоопределение”⁴⁶.

Время вносило определенную корректировку не только в решение национального вопроса, но и в целый ряд других, не менее важных. Так, утверждая монархию как “единственный путь к возрождению России”, съезд в то же время соединил ее с такими принципами, как оставление земли за крестьянами при условии возмещения ее стоимости владельцам за счет государства, “равенство всех перед законом”, “свобода гражданская, политическая и вероисповедная”⁴⁷.

Выступившие на съезде генералы Б.С. Перемыкин, Г.Е. Эльвенгрэн, С.Н. Булак-Булахович и др., требовали объединения белой эмиграции вокруг монархистов и продолжения вооруженной борьбы⁴⁸.

Итогом работы съезда было создание Высшего Монархического совета (ВМС), в состав которого вошли князь К.А. Ширинский-Шихматов, А.М. Масленников, барон М.А. Таубе, А.Ф. Трепов и Марков 2-й, и печатного органа – “Еженедельника Высшего Монархического совета”. Как писали милюковские “Последние новости”, был создан не только центр монархической эмиграции, но и “намечена полная реставрация, полное возвращение даже не в 1916 г., а к 1914 г.”⁴⁹.

Программа совета была крайне консервативной и предусматривала реставрацию прежнего политического и экономического строя и, прежде всего, восстановление помещичьего землевладения. В то же время, монархический совет склонен был принять Советы, как единственное “завоевание революции”. Идея принятия Советов была повторена в 1922 г. уже на конференции Народно-монархического союза (конституционных монархистов).

Большинство лидеров Высшего монархического совета склонно было считать, что ликвидация власти большевиков возможна лишь с помощью вооруженной силы, при поддержке интервенции. Но эта позиция далеко не всеми разделялась.

Съездом была направлена делегация (митрополит Антоний, А.Ф. Трепов и генерал В.М. Безобразов) в Копенгаген к вдовствующей императрице Марии Федоровне с просьбой собрать семейный совет для избрания временного “блюстителя престола” до окончательного решения вопроса о его замещении “законным государем-императором”. Формулировка обращения объяснялась тем, что многие еще верили в спасение царя и его семьи. Мария Федоровна, тем не менее, сочла возможным уклониться от каких-либо переговоров с делегацией.

По существу ее позиция была поддержана и старейшим представителем дома Романовых в эмиграции – великим князем Николаем Николаевичем (младшим), заявившим, что временно отказывается возглавлять монархическое движение, подчеркнув, что для этого он должен быть призван “всенародно”. Подобная уклончивая и неопределенная позиция самих Романовых оформила позицию “непредрешенчества”, сторонники которой утверждали, что необходимо отложить вопрос о личности будущего монарха до момента свержения власти большевиков и реставрации прежнего строя и до возвращения в Россию не принимать решения о персональной принадлежности престола. Да и сам Марков 2-й в одном из своих многочисленных докладов заявлял, что “царь России нужен не только законный, но и желанный”⁵⁰.

Высший Монархический совет во главе с Марковым 2-м формально занял позицию непредрешенчества, а фактически – поддер-

жал великого князя Николая Николаевича, бывшего Верховного главнокомандующего. Уже в 1922 г. руководство Высшего Монархического совета было признано 85 монархическими организациями⁵¹.

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что съезд укрепил связи между монархической русской эмиграцией и германскими реакционно-националистическими кругами, жаждавшими реванша, на что прямо указывала коммунистическая печать Германии⁵².

Итоги работы съезда по существу иллюстрировали несомненный разброд среди его участников. По свидетельству И.Ф. Наживина, «чувствуется работа сторонников разных “претендентов” на престол. Но непримиримо борется со всеми этими претендентами кучка изуверов, которая неустанно проповедует, что вся царская семья жива... Здесь жалкая грызня, взаимное окачивание помоями и пошлые интриги. И всякая котерия так и хватает вас за фалды: к нам, к нам, пожалуйста, – наш кандидат самый законный, самый лучший»⁵³.

Стремясь укрепить успех, достигнутый на съезде, руководители монархической группировки пытались навязать формулу восстановления монархии во главе с императором из династии Романовых большей части российской эмиграции. В этой связи их внимание привлек Заграничный русский церковный собор, проходивший в Сремских Карловацах (Югославия) с 21 ноября по 3 декабря 1921 г. Собор, призванный обсуждать исключительно проблемы церкви, на самом же деле оказался, по свидетельству В.Х. Даватца, последовательного сторонника генерала Врангеля, “оскверненным самой нечистоплотной политикой”, опутанным “паутиной интриг”⁵⁴.

Политизация работы собора определялась, прежде всего, составом его участников. Из 155 его членов менее одной трети являлись лицами духовного звания. Две трети присутствовавших на соборе были “мирянами”. Именно эта часть была известна своей активной антисоветской позицией. Именно ими не был прощен кающийся в своих заблуждениях и ошибках М.В. Родзянко”⁵⁵.

Собор отвергал Октябрьскую революцию и коммунизм. Принятая резолюция осуждала “лжеучение социализма и наиболее последовательную формулу его – большевизм, или коммунизм, как учение антихристианское в своей основе”⁵⁶.

Собором была оправдана борьба с Советской властью. Собравшиеся считали возможным использование всех средств борьбы с нею во имя возвращения “на всероссийский престол помазанника... законного православного царя из дома Романовых”⁵⁷.

Для восстановления “помазанника” на престоле делегаты съезда признавали одно средство – интервенция и новый белогвардейский поход на Советскую Россию. В своем обращении к Генуэзской конференции собор призывал: “Народы Европы, дайте им (т.е. эмигрантам. – Ю.Е.) в руки оружие, дайте им своих добровольцев и по-

шлите изгнать большевиков”. Собор уверял, что эмигранты “в лице доброй своей половины офицеров, генералов и солдат готовы взяться за оружие и идти походом в Россию”⁵⁸.

Активизация монархических сил не могла не вызвать беспокойства не только “левого” фланга русской эмиграции, но и так называемых “умеренных рейхенгалцев”, выражавших опасения, что подобные действия Высшего монархического совета, руководимого Марковым 2-м, приведут к политической изоляции всего монархического движения и компрометации его в глазах всей буржуазно-демократической Европы. Эти настроения нашли свое выражение в письме, подписанном “Рейхенгалец” и опубликованном в сборнике “Детинец”. Автор критиковал Рейхенгальский съезд за то, что на нем предпринимались попытки “во что бы то ни стало реабилитировать прошлое и его деятелей и героев”, несмотря на то, что у прежнего режима были “тяжкие грехи и ошибки”, да и во время царствования императора Николая II “далеко не все было достойно фимиама”. Автор призывал монархистов “пересмотреть свои положения и программы основательно, введя в них те новые данные, которые властно выдвинуты жизнью за последние годы и от которых ни отмолчаться, ни отговориться пустяками нельзя”. Отвергая принцип легитимизма, “рейхенгалец” считал, что вопрос о монархии и монархе должен решаться выборным путем, с подведением под эту идею “народной базы”⁵⁹.

Стремление приспособиться к политическим реалиям времени нашло свое выражение в формировании “конституционного крыла” монархистов во главе с бывшими кадетами Е.А. Ефимовским и А.М. Масленниковым. В основанной ими газете “Грядущая Россия” они ратовали за расширение социальной опоры монархистов, а посему звали к блоку с “левыми”, не порывая при этом с другими рейхенгалцами. В результате, на созванную в апреле–мае 1922 г. в Берлине–Мюнхене учредительную конференцию Русского народно-монархического союза (конституционных монархистов) были приглашены и представители откровенных черносотенцев. В выступлениях на конференции прославлялся “либерализм” царского правительства и предлагался блок со всеми, кто стоял “правее Милюкова”⁶⁰. Большинство правых придерживалось конституционно-монархических взглядов. Выступавшее большинство было убеждено в необходимости установления единства между законным православным государем и обществом, а сельские Советы временно останутся как опора монарха в деревне⁶¹. Более точное определение сути монархического конституционализма трудно себе представить. Программные установки конституционных монархистов отличались очевидной противоречивостью. С одной стороны, они стояли за предоставление национальной автономии народам, населявшим Россию. С другой – они так и не высказались, да и не могли высказаться со всей определенностью, по вопросу о признании перехода земли к крестья-

янам. В результате ими был дан шанс в руки большевистской анти-эмигрантской пропаганды.

На конференции был поднят вопрос о внешнем долге России. Было предложено организовать международный консорциум и сдать ему в аренду часть территории страны, а появившуюся прибыль при этом направлять на погашение долгов. Только при этом условии, по их мнению, Россия могла бы рассчитывать на получение западных кредитов, в результате чего и возродилась бы ее экономика. Но все это было бы возможно лишь при наличии “крепкой монархической власти” как “гарантии против опасности чрезмерного влияния иностранного капитала”.

В августе 1921 г. сторонники Е.А. Ефимовского совместно с Варун-Секретом, лидером левого монархического течения на съезде в Рейхенгале, попытались образовать русскую национал-демократическую партию⁶². Но дальнейшим планам не дано было осуществиться. И 25 марта 1922 г. на русском народно-учредительном съезде, состоявшемся в Берлине, ими была организована, совместно с бароном М.А. Таубе, М.И. Горемыкиным, А.М. Масленниковым, В.В. Бискупским и др., группа “конституционалистов”⁶³, которая вошла в общемонархическое объединение, созданное на съезде в Рейхенгале.

Несколько ранее, в декабре 1921 г., в Будапеште было образовано Русское монархическое объединение во главе с А.Л. Казем-Бек-ком⁶⁴. Предпринимались также попытки создания Народно-монархической партии.

В момент всеобщего разброда, поиска вариантов выхода из политического тупика первыми не выдержали нервы именно у монархистов. 29 марта 1922 г. было совершено покушение на П.Н. Милюкова во время его выступления в берлинской филармонии. Милюков не пострадал, но был убит В.Д. Набоков и ранены А.И. Каминка (один из редакторов газеты “Руль”) и еще несколько человек⁶⁵.

Покушавшиеся были схвачены. Ими оказались уже известные П. Шабельский-Борг и С. Таборицкий. Ф. Винберг, также принимавший участие в подготовке покушения, за несколько дней до выступления Милюкова выехал из Берлина. Все трое были теснейшим образом связаны с Высшим Монархическим советом и самим Марковым 2-м. Этот выстрел окончательно выявил не только истинные цели и методы монархистов, но вместе с тем и их политическую слабость, и очевидную изолированность от общей массы эмиграции. Все это не могло не привести к новому разброду в рядах монархистов, что и проявилось на их очередном съезде в ноябре 1922 г. в Париже.

Раскол на съезде наметился в намерении большей части участников съезда сместить Маркова 2-го с поста председателя Высшего Монархического совета. Компромисс был достигнут пополнением состава последнего новыми членами – князем П.А. Оболенским и А.А. Крупенским.

Достаточно резко проявились разногласия и между сторонниками П.Н. Врангеля и марковским руководством совета. В этом отчетливо проявился тот факт, что у монархистов не было общепризнанного вождя, тем более, что в этот момент обострилась борьба между двумя претендентами на российский престол – между великими князьями Николаем Николаевичем (младшим) и Кириллом Владимировичем, сторонники которого были объявлены легитимистами.

До 1922 г. Кирилл Владимирович предпочитал не высказываться по существу вопроса, говоря, что у него “нет денег на подобные вздорные замыслы”⁶⁶. Оживление же монархистско-националистического движения в Германии внесло корректив и в его позицию. 26 июля (8 августа) 1922 г. в Сен-Бриак великий князь Кирилл Владимирович издал манифест, в котором объявлял себя “блюстителем российского престола” вплоть до выяснения судьбы последнего русского царя, его семьи и великого князя Михаила Александровича. “Я как старший в порядке престолонаследия член императорского дома считаю долгом взять на себя возглавление Русских освободительных усилий в качестве блюстителя Государева Престола”⁶⁷. Этим актом Кирилл Владимирович стремился сохранить юридический статус династии в изгнании и обеспечить воспитание законного наследника на тот случай, если народ России пожелает возродить монархию.

В тот же день великий князь Кирилл Владимирович обратился к русскому воинству, и к белому, и к красному. В обнародованном обращении говорилось, что нет двух русских армий, но “имеется по обе стороны рубежа Российского единая Русская армия”, которая беззаветно предана России. Эта армия должна спасти многострадальную Родину. В этой связи он считает необходимым обратиться к великому князю Николаю Николаевичу с просьбой принять верховное главнокомандование⁶⁸. Обращение к Николаю Николаевичу объяснялось несомненной популярностью великого князя в военных кругах и его положением как соперника к расстановке сил в монархическом движении.

Обращение к “российскому воинству” было не случайным. Дело в том, что с конца 1921 – начала 1922 г. генерал П.Н. Врангель начинает предпринимать ряд конкретных попыток, направленных на объединение широких политических сил вокруг армии, оказавшейся в эмиграции. Но все дело в том, что для Врангеля лозунгом дня была борьба не за монархию или республику, а за Россию. Такая позиция не устраивала крайне правые политические силы, которые настаивали на немедленном выдвижении монархических лозунгов, на что Врангель никак не мог согласиться.

В результате вскоре после своего обращения к Армии, Кирилл Владимирович потребовал от Врангеля полного подчинения, на что последний 5 мая 1923 г. ответил категорическим отказом, заявив,

что разделяет позицию великого князя Николая Николаевича и о своем ему подчинении. Свой отказ подчиниться Кириллу Владимировичу Врангель закончил словами, что “он будет счастлив повести армию за Николаем Николаевичем”⁶⁹. 16 декабря 1923 г. Врангель выступает с новой инициативой, заявив о передаче в ведение великого князя всей политической работы, ограничив свои функции заботой о повседневной жизни русского зарубежного воинства. Таким образом, расстановка сил в монархическом движении как бы определилась.

Но Николай Николаевич не торопился делать официального заявления о возглавлении им борьбы за престол. Выступая за “непредрешение” формы будущего правления в России, он не исключал возможности возглавить широконациональное, а не только монархическое движение. Утверждение будущего политического устройства России и выбора императора он собирался осуществить на “Земском Соборе”, который предполагалось созвать сразу же после освобождения страны от власти большевиков⁷⁰.

Но и великий князь Кирилл Владимирович на первых порах был осторожен в выражении своих политических симпатий. Он постоянно утверждал, что для полного возрождения Отечества необходимо сочетать традиции с современностью и нельзя огульно отвергать все, что уже было создано в СССР. Так, в своем обращении 23 апреля 1923 г. он говорил, что “не нужно уничтожать никаких учреждений, жизнью вызванных, но необходимо отвернуться от тех из них, которые оскверняют душу человеческую”. Кирилл Владимирович соглашался на сохранение Советов, при условии, если эта политическая система будет завершена царем, то есть им самим⁷¹. Подобная осторожность объяснялась тем, что в 1922 г. происходит резкий обмен посланиями между Кириллом Владимировичем и Марковым 2-м, председателем Высшего Монархического совета по вопросу о целесообразности “выступления” великого князя как претендента на русский престол.

В мае 1923 г. в Париже состоялся съезд объединения монархических организаций, в котором принял участие генерал Е.К. Миллер как представитель армейского командования. Стремление организаторов съезда А.Ф. Трепова и Маркова 2-го сплотить вокруг великого князя Николая Николаевича белоэмигрантские группы и организации не удалось, и монархический блок окончательно раскололся на “николаевцев” и “кирилловцев”. В результате, как писал кирилловец Н. Снесарев, “эмигрантские центры обратились в клоаку сплетен, лжи, интриг и всевозможных недостойных слухов”⁷².

Вскоре кирилловцы организовали в Мюнхене Русский легитимно-монархический союз, где оказались в меньшинстве. Этого и следовало ожидать, ибо уже к началу 1923 г. из 128 монархических организаций 108 поддерживали Николая Николаевича и лишь 20 – Кирилла Владимировича⁷³.

В начале 1923 г. при материальной поддержке баварских реакционных кругов кирилловцы начали издавать газету “Вестник Русского монархического объединения в Баварии”. В результате, с очевидностью проявилось взаимное тяготение реакционных кругов Германии и русских монархистов. Как писал кирилловец А. Байков, России и Германии был крайне необходим “национальный социализм”, который освободит страну “от большевиков и III Интернационала”⁷⁴. А. Волин, еще один идеолог этого клана, пошел дальше, заявив, что “необходимо возможно скорее обосновать фашизм, превратив его в государственную теорию, а не в ряд опытов дилетантов”⁷⁵. Многие монархисты, в том числе и Марков 2-й, выражали уверенность в том, что фашизм должен прийти к монархизму.

Складывающийся альянс не мог не встревожить левую часть всей русской эмиграции. Как писала газета А.Ф. Керенского “Дни”: “Внешние успехи фашизма укрепили зарождавшееся черное западничество русской реакции. Фашизм стал мощной этикеткой для искателей русского престола”. Автор статьи четко отметил “процесс вrastания европейских реакционных идей в русское монархическое движение”, и нет никакого сомнения в том, что и монархисты “надеются в западных образцах найти опору для российского трона”⁷⁶. Позже та же газета отмечала, что русские монархисты «объединились в большую организацию, которая всемерно поддерживала югославских реакционеров и фашистскую организацию “Возрождающаяся Венгрия”, тесно связанную с союзником Гитлера Хорти»⁷⁷.

Так, не без активного участия врангельцев в июне 1923 г. произошел фашистский переворот в Болгарии, когда было свергнуто правительство А. Стамболийского. Врангель и его окружение рассчитывали превратить Болгарию в “исходный пункт” для войны против Советской России⁷⁸.

Монархическая часть русской эмиграции в Германии поддерживала фашистский переворот в Баварии в 1923 г. Вот что писала газета “Дни” уже после провала мюнхенского путча: “Какими высокопатриотическими фразами будет оправдывать Марков 2-й... участие русских офицеров в боевых отрядах крайне правых в Баварии”⁷⁹. Более определенно писал об этой акции монархистов все тот же Снесарев: “Гитлеровское движение в Баварии провалилось с треском и увлекло за собой Людендорфа, который дискредитировал и Бискупского, только на Людендорфа и опиравшегося. Монархическое движение в Баварии, да и во всей Германии, сильно ослабело...”⁸⁰.

Между тем, перебравшийся в Париж Высший Монархический совет продолжал противостоять претензиям Кирилла Владимировича на российский престол, тем более, что последний предпринял более активные шаги. В своих претензиях он перешел от “блюстительства” к “занятию престола”, не пренебрегая при этом даже прямыми угрозами. Так, в апреле 1924 г. он заявил, что те из эмигрантов, ко-

торые не поддержат его, будут лишены права считаться русскими и даже возможности возвратиться в Россию, после того как он будет коронован в Кремле. Подобный демарш не мог не вызвать в эмигрантской среде бурю протеста, что, однако, не остановило Кирилла Владимировича, и 31 августа 1924 г. он объявил себя императором всероссийским, а своего сына Владимира – наследником престола. Таким образом, принцип “непредрешенства”, проповедуемый Николаем Николаевичем, был отброшен. По словам Снесарева, в окружении Кирилла Владимировича отдавали себе отчет, что в данных обстоятельствах выбор царя в России – “это то же самое, что вынуть голую рукой из кипящего котла с ухой намеченного ерша, когда их варится в котле 1000 штук”⁸¹. Составителями Манифеста великого князя Кирилла Владимировича были Н.В. Снесарев и граф А.А. Бобринский.

Манифест великого князя внес действительный раскол в ряды монархической эмиграции. Однако он был поддержан лишь меньшинством монархического крыла Российского зарубежья. П.Б. Струве считал это крыло “правых доктринеров” “количественно ничтожным”⁸².

Существенная поддержка при этом была ему оказана иерархами русской церкви и, в первую очередь, митрополитом Антонием (Храбровицким), признавшим Кирилла Владимировича законным носителем царской власти по принципу первородства (по мужской линии), т.е. старшим в династии⁸³.

С немедленным протестом выступили вдовствующая императрица Мария Федоровна (кстати, крестная Кирилла Владимировича) и великий князь Николай Николаевич. Мария Федоровна назвала заявление Кирилла Владимировича “несвоевременным” и “преждевременным”, ибо “Государь император будет указан Основными Законами в союзе с Церковью Православною, совместно с Русским народом”. В конце своего послания Мария Федоровна не упустила возможности поставить на место зарвавшегося крестника, заявив, что “старейший член (подчеркнуто нами. – Ю.Е.) великий князь Николай Николаевич одинаково со мною мыслит”. Намек более чем понятный – старшинство передавалось в руки Николая Николаевича.

В тот же день императрица отправила Кириллу Владимировичу еще одно письмо, в котором предлагала “новому императору” подумать “о том фальшивом положении, в которое он поставил себя и всех остальных”⁸⁴. Мария Федоровна давала понять Кириллу Владимировичу, что все помнят о его появлении в февральские дни 1917 г. у Таврического дворца с красным бантом, что было воспринято всеми как отказ императорской фамилии от борьбы за свои права и как признание ею самого факта революции. Тем более что в последовавшем заявлении Кирилла Владимировича было сказано: “великий князь доволен быть свободным гражданином”⁸⁵. Вот почему объяв-

ление великого князя Кирилла Владимировича себя императором было расценено как безнравственный акт.

Великий князь Николай Николаевич, поддержав выступление императрицы Марии Федоровны, заявил, что “будущее устройство Государства Российского может быть решено только на Русской Земле, в соответствии с чаяниями Русского Народа”⁸⁶.

Эти заявления получили поддержку не только многих влиятельных членов династии, но и большинства членов Высшего Монархического совета.

Заявление великого князя Кирилла Владимировича сыграло решающую роль в определении позиции великого князя Николая Николаевича. 1 ноября 1924 г. после переговоров в своей резиденции в Шуаньи с Врангелем он подписал заявление (не подлежавшее опубликованию) о принятии на себя руководства как армией, так и всеми военными организациями. От него теперь зависело и финансирование армии. До этого, как известно, великий князь категорически отказывался связывать свое имя с любыми организациями.

В этих условиях и Кирилл Владимирович предпринял ответный шаг. И если на первых порах он еще склонен был согласиться возглавить монархическое движение при условии “всемирного признания”, то уже в ноябре 1924 г. он объявляет о принятии на себя руководства всеми белогвардейскими формированиями и организациями, находившимися ранее в распоряжении Врангеля.

Но, сделав этот шаг, Кирилл Владимирович не учел того обстоятельства, что прежней армии уже давно не было. Верховный главнокомандующий Врангель, видя усиливающуюся разбросанность армейских частей по странам не только Европы, а также переход многих на положение рабочих, 1 сентября 1924 г. издал приказ об образовании Российского Общевоинского союза (РОВС), объединяющего все прежние подразделения, военные союзы и общества. Этим актом Врангель стремился сохранить армию и приспособить ее к новым обстоятельствам, сплотить ее остатки (довольно внушительные) на случай военной интервенции против СССР, от чего до конца не отказывались ни Врангель, ни Николай Николаевич. Политическая линия РОВС была “прониколаевской”, а потому все претензии Кирилла Владимировича отвергались. Таким образом, “император Кирилл I” оказался без армии. Политические акции Кирилла Владимировича падали, что с очевидностью проявилось в 1926 г. на Зарубежном съезде, где вопрос о престолонаследии вообще не затрагивался и был лишь избран “Верховный вождь” – великий князь Николай Николаевич. Авторитет Кирилла Владимировича стал укрепляться лишь после смерти в 1928 г. вдовствующей императрицы Марии Федоровны и П.Н. Врангеля, а в 1929 г. – великого князя Николая Николаевича. Теперь уже никто не мог противостоять притязаниям великого князя Кирилла Владимировича на российский престол.

Неудачи “кирилловцев” в это время усугублялись и внешними причинами. Генерал Бискупский, запятнавший себя участием в гитлеровском путче, был немедленно выслан из Баварии, а от великого князя Кирилла Владимировича потребовали заявления, что он отказывается от какой-либо политической деятельности на территории Германии. В ландтаге коммунистами даже поднимался вопрос “о выдворении” Кирилла Владимировича как нежелательного лица.

О кризисе монархического движения, который все явственнее проявлялся, свидетельствовал факт появления самозванцев. Ставка на “чудесное спасение” кого-либо из бесспорных наследников престола способствовала бы, по мнению организаторов этой акции, консолидации разобщенного монархического движения в эмиграции, а также дало бы надежду на укрепление его материальной базы получением денег семьи Романовых, которые, как полагали, хранились в европейских банках. Так, к концу 20-х годов своего апогея достигла “эпопея” с Лже-Анастасией, а соответственно вновь стали циркулировать слухи о возможной интервенции против Советской России.

Стабилизация положения в СССР, приведшая, в свою очередь, в эмиграции к “смене вех”, не могла не обеспокоить лидеров монархического движения, а соответственно и активизировать их действия. В сентябре 1925 г. Марков 2-й, глава Высшего Монархического совета, выступил с заявлением, что вся русская эмиграция должна поддерживать интервенцию в любом случае и даже в том, если она завершится разделом России⁸⁷. Это была своеобразная цена, которую монархические круги эмиграции готовы были уплатить европейской реакции за ее возможную помощь в осуществлении интервенции. С другой стороны, Марков 2-й стремился подтвердить силу и возможности российской эмиграции и авторитетность ее монархического крыла.

В этой связи с осени 1925 г. в белоэмигрантских кругах стал циркулировать слух о необходимости объединения всей эмиграции под началом какого-либо органа или определенного лица. С инициативой выступили именно монархисты, план которых сводился к созыву так называемого Зарубежного съезда, который бы и провозгласил великого князя Николая Николаевича “Верховным вождем” всей эмиграции. Еще за год до этого, в мае 1924 г., Николай Николаевич в интервью газете “Вечернее время” заявил, что он ни в коем случае не собирается “предрешать” форму государственного строя России, но в то же время подчеркивал, что эта власть должна быть “национальной, внеклассовой и внепартийной”, а также “твердой и сильной”⁸⁸.

Однако в рядах самих “непредрешенцев” в это время не было единства. Так, бывший донской атаман П.Н. Краснов, один из сторонников Николая Николаевича, призывал сплотиться вокруг великого князя, громил “народоправство” и призывал к установлению монархии⁸⁹.

Тем не менее, программа Зарубежного съезда, главным пунктом которой было избрание “Верховного вождя”, получила поддержку Национального Комитета и Торгово-Промышленного союза, созданного еще в 1920 г. и располагавшего большими средствами. Союз основал газету “Возрождение”, главным редактором которой был П.Б. Струве. Газета пропагандировала идею объединения всей эмиграции вокруг великого князя Николая Николаевича и П.Н. Врангеля в целях свержения Советской власти и реставрации монархии⁹⁰.

Лидеры Национального Комитета (А.И. Гучков, П.П. Рябушинский, С.Л. Третьяков и др.) и Торгпрома официально отмежевались от Маркова 2-го и К° (А.Ф. Трепова и А.Н. Крупенского) и заявили, что поддерживают съезд только ради осуществления идеи свержения большевиков при условии “непредрешенства”. Они подчеркивали, что будущий государственный строй России должен быть “правовым”, что означало бы на практике возвращение к “17 Октября 1905 года”⁹¹.

С реабилитацией царизма и призывами к объединению эмиграции вокруг великого князя Николая Николаевича выступил в “Возрождении” П.Б. Струве. Он выдвинул идею создания “Центра Зарубежной России” и объявления Николая Николаевича главой “широкого народного фронта”, который несет на себе “явственную печать исторической избранности”. Подобная позиция Струве позволила, и не без основания, его другу и биографу С.Л. Франку говорить о нем как о “революционере контрреволюции”⁹². В частной беседе Франк выразил сомнение в целесообразности “монархического возглавления” русской эмиграции, поскольку это “политически вредно”. И хотя для Струве “вопрос о будущей форме правления (монархии или республики) не имел принципиального значения, разногласие касалось только вопроса о тактической целесообразности “оказательства монархических симпатий”, и в этом Струве “отказался считаться с бесспорно установленным состоянием умов в России”⁹³.

Монархисты, стремясь придать Зарубежному съезду более представительный характер, шли, вопреки своей прежней позиции, на блок с либеральным флангом. Говоря о том, что “пора переходить от слов к делу”, Марков 2-й призывал к сотрудничеству даже с кадетами-республиканцами, лишь бы свергнуть власть Советов под предводительством “народного вождя” Николая Николаевича⁹⁴.

Монархист А.Ф. Трепов, склонный не решать “на чужбине вопроса о будущем государственном строе России”, в то же время выражал уверенность, что “возглавление” эмиграции Николаем Николаевичем станет “поручкою в том, что чаяния русского народа свободно осуществляются и России не будут навязаны несвойственные ей и чуждые русской самобытности политические формы”⁹⁵.

П.Б. Струве, оценивая сложившуюся к этому времени в эмиграции политическую ситуацию, писал следующее: “...с одной стороны

стоят доктринеры-монархисты, именующие себя легитимистами, стоящие за реставрацию и считающие законным наследником Российского императорского трона великого князя Кирилла; на другом конце находятся доктринеры-республиканцы, видящие необходимость установления в России республиканского строя; эта группа делится в свою очередь на две: буржуазную с П.Н. Милоковым во главе и социалистическую во главе с А.Ф. Керенским”⁹⁶.

В обстановке споров и работал с 4 по 11 апреля 1926 г. в парижском отеле “Мажестик” Российский Зарубежный съезд, ставший самой значительной попыткой объединения политических сил эмиграции правого и правоцентристского толка. В Обращении съезда была декларирована попытка объединения с целью восстановления монархии и свержения советской власти: “Ваше сопротивление и наша посильная работа здесь, общая горячая любовь к Отчизне и Вера в милосердие Всевышнего – приведут нас к желанной цели. Настанет час, когда мы все, под Вами и нами признанного Народного Вождя, Великого князя Николая Николаевича, свергнем соединенными с Вами усилиями сатанинскую власть”⁹⁷.

На съезде было 420 делегатов от “организованной эмиграции” из 26 стран. По настоянию П.Н. Врангеля не было официальных представителей от военных организаций (военные могли участвовать только как частные лица), а также сторонников великого князя Кирилла Владимировича. Председателем съезда был избран П.Б. Струве. К личности председателя отношение со стороны крайне правой части делегатов съезда было более чем критическое. С.Л. Франк приводит высказывание одного из вождей правых: “Чего можно ожидать от съезда, на котором председательствует такое... (следовало нецензурное бранное слово), как Струве”⁹⁸.

Тон всей работе съезда задавали правые монархисты: А.Ф. Трепов, Марков 2-й и др. Основным лейтмотивом выступления правых было сетование, что белогвардейское движение своевременно не подняло монархического знамени. Правые были склонны и в данный момент не разворачивать его ради общей цели – единения под главенством “Верховного вождя”, т.е. великого князя Николая Николаевича, который выдвигался как “символ национальной России”⁹⁹, но отнюдь “не как претендент на престол”. Не присутствовавшие на съезде Николай Николаевич и Врангель как бы подчеркивали этим внепартийность позиций как главы эмиграции, так и армии и независимость от возможных дискуссий по спорным вопросам. Вполне понятно, почему группа великого князя Кирилла Владимировича вообще не была приглашена на съезд.

То же самое было заявлено и “умеренными”. Так, “конституционалист” М.М. Федоров заявил, что они “готовы сделать то же самое”¹⁰⁰. Таким образом, говоря о “чаяниях русского народа”, съезд по существу ставил вопрос лишь о выборе монархии как формы пра-

вления, а не о “выборе царя”, считая это прерогативой закона о престолонаследии.

В ответ на это великий князь Николай Николаевич заявил, что он согласен “не предрешать будущих судеб России” (кивок в сторону “умеренных”) и не этому “должны быть отданы наши помыслы, а одному общему стремлению восстановить в России законность и порядок”¹⁰¹. Николай Николаевич приветствовал “готовность” и правых “содействовать” его начинаниям¹⁰².

Несмотря на многочисленные заявления выступавших, что при возможном возвращении в Россию они “встанут выше всяких сословных, партийных, классовых и частных интересов”, а потому “не будет мести и кар”¹⁰³, действительность оказалась далекой от идеала, что особенно проявилось при обсуждении “земельного устройства” будущей России. Делегаты говорили о том, что “интересы владельцев земли” должны быть защищены, так же как “необходимо защитить и тех, у кого земля захвачена иностранцами и иудеями”, и т.д.¹⁰⁴.

Попытка Трепова “не решать земельного вопроса”, ввиду очевидного разброда мнений, при соблюдении “известной осторожности даже в тех обещаниях, которые мы дадим”, свидетельствует о накаленности обстановки на съезде и подлинном смысле монархических деклараций об отказе от “имущественной реставрации”¹⁰⁵. Дело в том, что именно Струве выступил на съезде с предложением вести “реальную политику”, т.е. отказаться от притязаний прежних владельцев на восстановление их прав собственности¹⁰⁶. В итоге, предложение великого князя Никола Николаевича не отнимать у крестьян землю, захваченную ими в годы революции, было принято единогласно.

Струве в этой связи нравственной заслугой съезда считал признание того, что “России нужно возрождение, а не реставрация. Возрождение всеобъемлющее, проникнутое идеями нации и отечества, свободы и совести и в то же время свободное от духов корысти и мести”¹⁰⁷.

Особенно резко заявили монархисты о своей идее монархической реставрации при обсуждении вопроса о создании Российского зарубежного комитета, подчиненного Николаю Николаевичу. В ответ на сомнения некоторых в его несвоевременности прозвучали явные угрозы со стороны того же Маркова 2-го. И.А. Ильин, идеолог монархизма, призывал “вести дело цареву честно и грозно”¹⁰⁸.

Подобное поведение правых не на шутку напугало либералов, присутствовавших на съезде, и они, не поддержав предложения о создании правительства при “Верховном вожде”, согласились лишь на Особую исполнительную комиссию.

В 1926 г. Высший Монархический совет возглавил А.Н. Крупенский и был его руководителем до своей смерти в 1939 г.

Итак, по существу работа Зарубежного съезда по объединению эмиграции зашла в тупик и не дала каких-либо определенных результатов. Это сказалось при оформлении после съезда сразу двух

объединений: Патриотического (председатель И.П. Алексинский) и Центрального (председатель А.О. Гукасов). Первое настаивало на безоговорочном подчинении всей эмиграции великому князю Николаю Николаевичу, а второе поддерживало важность “тесного сближения” с Николаем Николаевичем и установления связей с Россией.

Налицо был очевидный провал. Струве потерпел поражение в своем стремлении объединить всю эмиграцию. По свидетельству А.В. Карташева, Зарубежный съезд произвел впечатление “сумасшедшего дома”, хотя сам Струве в то же время склонен был охарактеризовать съезд “самым большим общественным делом своей жизни” и гордился тем, что зарубежное “объединение” было возглавлено Николаем Николаевичем¹⁰⁹.

Более определенную оценку съезду дал П.Н. Врангель: “После Зарубежного съезда общественность оказалась у разбитого корыта. Ни одна группа не оказалась достаточно сильной, и в чувстве собственного бессилия все ищут союзников”¹¹⁰. Полная договоренность была достигнута лишь при обсуждении вопроса о “подготовке к активной борьбе с большевиками”, которая “должна вестись всякими способами и не должна исходить из единичных выступлений”, а потому “является обязательным делом, неотвратимым и высоким делом”¹¹¹.

Провал работы съезда по времени совпал с общим понижением “эмигрантской жизни и политической мысли”¹¹².

Логическим завершением явилось признание фашизма, который учит, “как надо бороться с большевизмом”¹¹³. Правые и правоцентристы, объединенные последовательным антибольшевизмом, проявляли определенные симпатии к фашизму, особенно итальянскому. Фашизм ими приветствовался не как вариант будущего политического устройства России, а как антикоммунистическая сила. П.Б. Струве видел в фашизме “крупное духовное явление”, “героическое направление ума”¹¹⁴. Несколько позже он уже писал, что “фашизм лишь в той мере есть явление творческое... в какой... он духовно порывает с социализмом и коммунизмом”¹¹⁵. Следует отметить факт дальнейшего тяготения монархистов эмиграции к фашизму, что нашло свое идеологическое обоснование у В.В. Шульгина¹¹⁶.

Идеологические споры вокруг фашизма неминуемо перерастали в его практическое осуществление в борьбе против Советской власти – шпионаж, диверсии, террор, провокации. Не пренебрегали монархические круги и установлением тесных связей с иностранными разведками. Как писал “Социалистический вестник”: “Все монархическое подполье тесными нитями связано с иностранными разведками, причем этим патентованным патриотам безразлично, кому продавать военные тайны России, – только бы хорошо платили полноценной валютой”¹¹⁷.

Но все эти попытки не давали желаемых результатов. Их безрезультатность порождала среди части эмиграции убеждения, что ста-

рый монархизм подошел к своему концу. Именно в этой среде, главным образом молодежной, усилилось влияние евразийства, своеобразной неославянофильской идеологии, приписывающей России особый путь развития, который приведет страну к ее исконно консервативным началам.

Свое политическое выражение оно проявило и в младоросском движении, выдвигавшем “монархический принцип”, исходящий не только из “исторически традиционного” российского самодержавия, но и из тех изменений, которые произошли в стране после революции. В итоге, идеал “легитимного царя” сочетался с признанием Советов, освобожденных от большевиков¹¹⁸. Младороссы верили, что русский народ после своего освобождения выберет монархию как лучшее историческое воплощение единства России. В Декларации I съезда “Союза молодой России” говорилось: “Мы знаем, что недалек тот час, когда народ наш, наказанный огнем, кровью и смертельными муками и просветленный Всевышним, вернется в лоно Православной церкви и призовет на родной престол законного царя”¹¹⁹. Но это требование младороссы удивительным образом сочетали с признанием советской политической системы, выдвигая лозунг – “Царь и Советы”. Они призывали зарубежных монархистов в патриотическом чувстве слиться с большевизмом. Их монархизм нетрадиционен. Грядущая монархия должна была стать социально укорененной, связанной со всеми слоями общества и сочетаться с советской системой управления. Они считали себя легитимистами, а потому поддерживали великого князя Кирилла Владимировича и, более того, стали его интеллектуальным штабом. Младороссы наиболее радикально из всех “пореволюционеров” осуществили “праволевый” синтез, соединив в своей идеологии социализм, национализм и монархизм. Они в сущности развили и конкретизировали одну из интуиций Константина Леонтьева, мечтавшего о том, как “славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение... и с благословения церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной”¹²⁰.

Подобное “легкомысленное” обращение с понятием “монархии” вызывало вполне законное возмущение не только у “неисправимых монархистов”, видевших в этом “возмутительное спекулирование именами династии”¹²¹. Как писал П.Б. Струве, младороссы “хотят шапкой Мономаха увенчать вавилонскую башню большевизма” – намерение “столь нелепое, что его трудно критиковать”. Большевизм и легитимизм, указывал он, “по своей сущности диаметрально противоположны”. Вся сущность большевизма кроется “в насильственном отрыве от истоков его истории, в уничтожении всего прошлого”. По его мнению, всю эту нелепость политических построений младороссов “можно объяснить не только фактопоклонством, растерянностью, но и жаждой быстрого успеха, которая иногда заставляет становиться на голову”¹²².

Показательна в этом смысле полемика с младороссами Г.П. Федотова, одно время разделявшего убеждение о возможности и необходимости “демократической диктатуры” (“авторитарной демократии”) в послереволюционной России. Теоретически, пишет он, если бы чудом “свалилась с неба монархия”, она имела бы даже некоторые преимущества именно для пореволюционной России. Она облегчила бы “трудную задачу построения российского союза”: народы “менее подозрительны к чужеземной династии, чем к гегемонии чужого народа”. Кроме того, возможна культурная роль монархии как центра кристаллизации культурного меньшинства. “В том демократическом разливе, который грозит затопить в России все культурные высоты”, “независимая монархия” могла бы, по мнению Федотова, стать “спасительным островком не только для родовой, но и духовной аристократии”. Однако все это мечты “во вкусе XVIII века”. В России XX века они “неизбежно обернутся вредной или политической утопией”¹²³.

По мнению Федотова, вопрос о монархии нельзя ставить абстрактно, безотносительно к происшедшим в России переменам. Ставить его надо конкретно, т.е. для России пореволюционной. И тогда встают вопросы “о династии и ее носителях” и “об отношении народа к этой династии”. Самодержавная монархия славянофилов, пафосом которой в духе Льва Тихомирова проникнуто правое крыло младороссов, в сущности есть, по словам Федотова, “утопия прошлого, жестокое искажение исторической правды”. Даже при всех ее исторических заслугах русская монархия “никогда не была идеальным носителем (не существовавшего единства)”. Она “была церковно-боярской в XV столетии, опричной в XVI, дворянско-купеческой в XVII, дворянской только в XVIII, бюрократически-полицейской в XIX”. Всенародной (и то в ограниченном смысле) ей удавалось стать “лишь в немногие моменты русской истории: борьба с татарами, реформы Петра I и Александра II”. Тем более опасной утопией считал Федотов все разговоры о восстановлении монархии в России пореволюционной: “В наше время полной духовной расколотости единство самодержавия может быть только тоталитарным насилием”¹²⁴. Впоследствии он также отвергал частью левых младороссов защищавшуюся идею “конституционного монарха”, который “царствует, но не управляет”¹²⁵. Этот политический идеал, столь привлекательный в Англии и Северной Европе, “для России и вообще революционных эпох является утопичным. Ни в Италии, ни в Греции конституционная монархия не может защитить народ от тиранов (либо сама превращается в династическую диктатуру)”¹²⁶.

Еще более проблематичным являлся, по мнению Федотова, тезис о русском народе как носителе монархического сознания. Быстрое и почти бесследное исчезновение монархической идеи было “одним из самых разительных фактов” русской революции. Об этом, в частности, свидетельствовало, отмечает автор, и то, что

“Россия не имела своей Вандей”. Ни одно из антибольшевистских движений, возглавляемых монархистами, “не решалось поднять открыто монархического знамени”. Даже церковь поспешила “отметаться от монархии, с которой была связана тысячелетиями”¹²⁷.

Но “монархия не может жить без монархического сознания”, чем она отличается от республики, “которая может существовать и без республиканцев”. В этом как раз и кроется причина легкой гибели современных монархий. Совершенному рациональному сознанию они непонятны и могут существовать и питаться “только мистическим чувством или глубоким уважением к традиции”. Особенно это относится, по мнению автора, к современной пореволюционной России, где традиции сметены так радикально, как ни в одной из революций. В то же время народ, веками старавшийся “отделить царя от боярства”, задолго до революции (из-за продворянской политики царизма) “перестал делать это различие”. Поэтому не республиканская ненависть к “тирану”, а “мужицкая ненависть к барину”, считает Федотов, делает невозможным возвращение “первого дворянина на трон”. Если он вернется, то это будет означать “дворянскую социальную реставрацию”. И не “политические мечтатели” вроде младороссов, исходящие из веры в славянофильский монархический идеал русского народа, а “Марков II будет править Россией именем царя”¹²⁸.

Все, что делает невозможной монархию в России, укореняет в ней, как заявляет Федотов, республику, которая “не требует ломки в народном сознании”. За нее дух простоты, которая владеет ныне народной душой и с которой “прекрасно вяжется мужицкая республика, возглавляемая Калининым”.

Мы преднамеренно за рамками данной статьи оставляем анализ взглядов выдающегося русского мыслителя и философа И.А. Ильина на проблему будущего монархического строя в России, ибо это требует специального исследования¹²⁹.

Преобладание монархического идеала в духовной жизни Русского Зарубежья ни у кого не вызывало сомнения. Причем о восстановлении монархии в России говорили не только представители правых монархических групп и течений. По мнению Д.П. Святополк-Мирского, “целый ряд соображений властно говорят, что монархии у нас еще предстоит роль, по значению своему весьма выдающаяся, а по продолжению весьма длительная”. В обоснование этой мысли автор указывал на тот факт, что идея монархии “относится к категории идей, в которых чувство преобладает над рассудком”, что обуславливает их силу и большую живучесть, придает им “характер не убеждений, а верований”. Русскому же человеку всегда было свойственно верить своему чувству, а не рассудку. Вырвать монархическое чувство (существовавшее в течение столетий) “из тайников народной психики” нелегко, тем более в России. К тому же последние события не улучшили, а понизили уровень благополучия народных

масс, а потому едва ли ослабили веру русского народа “в спасительную силу монархии”¹³⁰.

В современной отечественной историографии по-разному оцениваются монархические течения в эмиграции “первой волны”. Диапазон разброса мнений достаточно широк – от единодушия в осуждении до противоречий в констатации конкретных исторических фактов. Как правило, все авторы неоднозначно подходят к рассмотрению единства монархического фланга эмиграции. Так, например, М.В. Назаров¹³¹, а также О.Ю. Олейник и В.С. Меметов¹³², И.А. Верба и Л.О. Гусарова¹³³ рассматривают его как очень неоднородный по составу. В то время, как другой автор, В.Ф. Ершов, под “монархистами” подразумевает единую силу, выделяя в ней только два направления: сторонников династии Романовых и “бонапартистов” (тех, кто допускал возможность выборов совершенно нового царя)¹³⁴. М.В. Назаров, справедливо указывая на многообразие монархических течений, склонен в то же время видеть элементы единства. В самом деле, на протяжении 1920-х годов межпартийная борьба в монархическом блоке не была столь категоричной. Случалось, спорные вопросы намеренно не поднимались для достижения определенного единения. Пример тому – Съезд хозяйственного восстановления России, проходивший с 27 мая по 7 июня 1921 г. в баварском городе Бад-Райхенхалль. Олейник и Меметов пишут, что на съезде единства монархического лагеря достичь так и не удалось. В действительности же здесь произошло объединение монархических сил в форме создания Высшего Монархического совета. К тому же неинформированность съезда о судьбе императора Николая II и его семьи не давали повода для расхождений по вопросам престолонаследия (этот вопрос вообще не ставился) и споров легитимистов с непредреженцами. К тому же, формула нового облика российской монархии – “без старых недостатков, но на старом фундаменте” – также не вызывала споров между сторонниками парламентарной, конституционной монархии и сторонниками самодержавия.

Сами конституционные монархисты объявили о своем существовании лишь в марте 1922 г. Как считают Верба и Гусарова, “представители этого направления опасались, что откровенно черносотенная линия Высшего монархического совета приведет к изоляции монархического движения, скомпрометирует его в глазах Европы”¹³⁵. Подобная оценка вызвана, по-видимому, тем обстоятельством, что он возглавлялся Н.Е. Марковым, одним из основателей крайне правого “Союза русского народа” и известного своими черносотенными воззрениями. Но при рассмотрении деятельности Высшего монархического совета следует отличать, как рекомендуют сами авторы, “покаянный монархизм от реставрационного черносотенства”¹³⁶. Райхенхалльский съезд не был реставраторским¹³⁷. Он скорее был консервативным, нежели реакционно-реставраторским. Что же касается Высшего Монархического совета, то можно кон-

статировать, что большинство его членов вместе с Н.Е. Марковым встало на позицию, сходную с мнением великого князя Николая Николаевича, т.е. “непредрешенства”. В то же время следует отметить, что в дальнейшем тот же Марков все-таки оказал поддержку великому князю Кириллу Владимировичу, а потому в 1931 г. был вынужден выйти из состава Высшего Монархического совета. Раскол в ряды монархической эмиграции внес манифест Кирилла Владимировича, объявившего себя в 1922 г. Блюстителем Престола, а в 1924 г. – императором. С этим согласно большинство отечественных исследователей.

Сам факт Зарубежного съезда в 1926 г. демонстрировал как бы видимость единства в эмиграции. Но после смерти в 1929 г. великого князя Николая Николаевича, несмотря на продолжающиеся разговоры о необходимости сохранения достигнутого на съезде единства, эта видимость все явственнее становилась призрачной. Со смертью в 1938 г. великого князя Кирилла Владимировича полюс притяжения в монархической среде стал создаваться вокруг его наследника Владимира Кирилловича, который, к слову, не перенял императорского титула своего отца. Таким образом, Владимир Кириллович стал во главе династии, против чего, кстати, не возражали и многие ее члены. В этих условиях проблему престолонаследия склонны были решать примирительно. Г. Апанасенко, корреспондент журнала “Сигнал”, органа Русского Национального союза участников первой мировой войны, писал следующее: поскольку “не было и нет единодушия по этому вопросу среди самой династии”, который сам “почему-то утратил обычную простоту и ясность”, а отсюда “и нет абсолютной необходимости, вытекающей из непреложной ясности, ставить в настоящий момент точку над *i*”¹³⁸.

Приход Гитлера к власти несколько оживил надежды белоэмигрантских монархических организаций, в числе которых были, например, “Русско-национал-социалистическое движение”, Национальный совет нового поколения и др. В дальнейшем к активному сотрудничеству с фашистами перешли В.В. Бискупский, Р. Шабельский-Борг, П. Бермонт-Авалов, П. Краснов, Г. Шкуро, Султан-Гирей Клыч и др.¹³⁹

Монархические группировки оформились и в среде маньчжурской эмиграции, основная масса которой осела в Харбине. Так, в Шанхае действовали две монархические группировки – группа Н.Н., связанная с великим князем Николаем Николаевичем, и Боголюбское братство¹⁴⁰. Уже в мае 1931 г. состоялся их первый съезд, на котором была образована Русская фашистская партия (РФП) во главе с К.В. Родзаевским, по словам которого фашистом мог быть только “монархист, легитимист, бонапартист и т.п.”. Не чуждались они и проповеди младороссийских идей.

В 1933 г. Родзаевский выступил с инициативой объединения всех белогвардейских фашистских групп эмиграции в единую организа-

цию, что было поддержано в США А. Вонсяцким, бывшим врангелем, создателем Всероссийской фашистской организации (ВФО). Вонсяцкий устанавливал связи с европейскими монархо-фашистскими группами, а после переговоров в 1934 г. с Родзаевским была создана Всероссийская фашистская партия, штаб которой находился в Харбине. Наиболее активно проявила себя партия Родзаевского, называемая Русский фашистский союз (РФС), пользовавшаяся поддержкой японской военщины. Родзаевский призывал к установлению монархии, но лишь после установления фашистской диктатуры¹⁴¹.

Последовавший в 1945 г. разгром фашистской Германии и милитаристской Японии, как казалось, подвел окончательную черту под монархо-белогвардейской эмиграцией. Нельзя не согласиться с утверждением С.Л. Франка, что “всякая политическая деятельность в условиях эмиграции обречена оставаться призрачной и бесплодной”¹⁴². Тем не менее, политические и общественные изменения последнего десятилетия, происшедшие в нашей стране, возродили надежду определенных групп эмиграции на восстановление монархии в России. Претендентами на русский престол выступили потомки великого князя Кирилла Владимировича, получившие, как это ни покажется странным, поддержку некоторых общественных деятелей и кругов современной России.

¹ См.: *Раев М.* Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 1919–1939. М., 1994. С. 20–21.

² Политическая история русской эмиграции: 1920–1940 гг. М., 1990. С. 4.

³ *Милоков П.Н.* Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С. 96.

⁴ *Нольде Б.Э.* Заграничная Россия // Последние новости. Париж, 1920. 27 апр.

⁵ *Назаров М.* Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992. С. 41.

⁶ Последние новости: Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 15.

⁷ *Назаров М.* Указ. соч. С. 42–45.

⁸ Об этом см.: *Меймре Аурика.* “За веру, царя и Отечество”: Эпизод из деятельности русских и монархистов в Эстонии // Диаспора. III: Новые материалы. Париж; С.-Петербург, 2002. С. 267–292.

⁹ *Струве П.Б.* Размышления о русской революции. София, 1921. С. 7.

¹⁰ ОРЭСО – Объединение Русских Эмигрантских Студенческих Организаций – было оформлено в октябре 1921 г. в Праге с целью защиты прав и свобод русского студенчества, оказавшегося в эмиграции. Существенную часть этого объединения составляли недавние участники армии Врангеля, осевшие затем в Галлиполи и переехавшие в 1921 г. в Прагу для поступления в высшие учебные заведения по рекомендации “Русской Акции” чешского правительства. Эти новоявленные студенты, которые давно перешагнули студенческий возраст, и проявили наибольшую политическую активность.

¹¹ См.: Записки Русской Академической Группы в США. New York, 2001–2002. Т. XXXI: Русская Прага. С. 102.

¹² *Белов В.* Белое похмелье. М.; Пг., 1923. С. 88.

¹³ *Бобринцев-Пушкин А.* Патриоты без отечества. Л., 1925. С. 38. И.А. Ильин в письме к П.Б. Струве от 11 марта 1928 г. сразу же по прибытии в Берлин, писал более определенно: “Почему так идейно опустошена и бесплодна рус-

- ская эмиграция...” (См.: *Ильин И.А.* Дневник. Письма. Документы (1903–1938) М., 1999. С. 117).
- 14 *Иоффе Г.З.* Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977. С. 267.
 - 15 См.: Луч света. Берлин, 1991. Кн. 1. С. 25.
 - 16 Луч света: Литературно-политическое издание / Ред. Сергей Таборицкий [а также Петр Шабельский-Борг и Ф. Винберг]. Берлин; Мюнхен; Новый Сад, 1919–1926. № 17.
 - 17 Двуглавый орел: (Вестник Высшего Монархического Совета). Берлин, 1920–1922. № 1–3; Париж, 1926–1931. № 1–42. Парижским изданием журнала руководил А.Ф. Трепов.
 - 18 *Скрынников Н.* Масонство? Париж, 1921. С. 40–41.
 - 19 Правда. Москва, 1920. 11 сент.
 - 20 Воля России. Прага, 1920. 5 дек.
 - 21 Там же. 1920. 9 дек.
 - 22 В подлинности этих документов усомнилась редакция берлинской газеты “Руль” (1920, 10 дек.)
 - 23 *Милюков П.Н.* Эмиграция на перепутье. С. 133.
 - 24 *Милюков П.Н.* Россия на переломе. Париж, 1926. Т. 2. С. 240.
 - 25 См.: *Милюков П.Н.* Три платформы Республиканско-демократического объединения. Париж, 1925. С. 5.
 - 26 Вестник Русского Национального Комитета. Париж, 1923. № 1. С. 4, 5, 7.
 - 27 Там же. 1924. № 9. С. 16.
 - 28 Там же. С. 1, 5.
 - 29 *Думова Н.Г.* Из истории кадетской партии в 1917 г. // Исторические записки. 1972. № 90. С. 121–122.
 - 30 *Даватиц В.* Годы: Очерки пятилетней борьбы. Белград, 1926. С. 61.
 - 31 *Бортневский В.Г.* Загадка смерти генерала Врангеля. СПб., 1996. С. 15–16.
 - 32 Двуглавый орел. Берлин, 1922. Вып. 1, 1(14) янв.; *Немирович-Данченко Г.В.* В Крыму при Врангеле: Факты и итоги. Берлин, 1922. С. 100.
 - 33 Двуглавый орел. Берлин, 1921. Вып. 5, 1(14) апр. С. 4.
 - 34 Там же. С. 5.
 - 35 Белый орел. Берлин, 1921. Вып. 3, 1(14) марта. С. 1.
 - 36 Там же.
 - 37 Там же. С. 2.
 - 38 Там же. С. 3.
 - 39 Там же.
 - 40 Там же.
 - 41 Белый орел. Берлин, 1921. Вып. 3, 1(14) марта. С. 2.
 - 42 Свободная Россия. Берлин, 1924. № 5. С. 283.
 - 43 Двуглавый орел. Берлин, 1921. Вып. 11. 1(14) июля. С. 16.
 - 44 Там же. 1921. Вып. 10, 15 (28) июня. С. 7.
 - 45 Там же. Вып. 11, 1 (14) июля. С. 16.
 - 46 Там же. С. 16, 18.
 - 47 *Наживин И.* Среди потухших маяков. Берлин, 1922. С. 200.
 - 48 Двуглавый орел. Берлин, 1921. Вып. 5, 1 (14) апр. С. 28–31.
 - 49 Последние новости. Париж, 1921, 22 июля.
 - 50 *Думин С.* Романовы: Императорский дом в изгнании: Семейная хроника. М., 1998. С. 115.
 - 51 *Мухачев Ю.В.* Идеино-политическое банкротство планов буржуазного реставраторства в СССР. М., 1982. С. 44.
 - 52 *Иоффе Г.З.* Крах российской монархической контрреволюции. С. 281–282.
 - 53 *Наживин И.* Среди потухших маяков. С. 200.

- 54 Даватиц В. Годы. С. 51.
- 55 Руль. Берлин, 1922. Дек.
- 56 Горев М. Карловацкий собор. М., Б. г. С. 5.
- 57 Русская Православная Церковь за границей, 1918–1968 / Под ред. А.А. Соллогуб. Нью-Йорк, 1968. Т. 1. С. 31.
- 58 Там же. С. 33.
- 59 Детинец. Берлин, 1922. Сб. 1. С. 208–209.
- 60 Труды учредительной конференции Русского народно-монархического союза (конституционных монархистов). Мюнхен, 1922.
- 61 Там же.
- 62 Правда. Москва, 1921. 19 авг.
- 63 Последние новости. Париж, 1922. 1 окт.
- 64 Мухачев Ю.В. Идеино-политическое банкротство планов буржуазного реставраторства в СССР. С. 44.
- 65 Об этом см. свидетельство очевидца данного события В.В. Шверубовича, сына актера В.И. Качалова. *Шверубович В.В.* О старом Художественном театре. М., 1990. С. 371–372.
- 66 Белов В. Белое похмелье. С. 95.
- 67 Снесарев Н. Кирилл I, император Кобургский. Берлин, 1925. С. 47–48.
- 68 Там же.
- 69 Даватиц В. Годы. С. 96.
- 70 Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. Париж, 1930. С. 350.
- 71 Снесарев Н. Кирилл I, император Кобургский. С. 146.
- 72 Снесарев Н. Провокация монархизма. Берлин, 1923. С. 39.
- 73 Еженедельник Высшего Монархического совета. Париж, 1923. 15 янв.
- 74 См.: *Иоффе Г.З.* Крах российской монархической контрреволюции. С. 287.
- 75 Волин А. Молодая Россия. Берлин, 1923. С. 265.
- 76 Дни. Берлин, 1923. 16 окт.
- 77 Там же. 1923. 22 дек.
- 78 Об этом см. подробнее: *Шкаренков Л.К.* Агония белой эмиграции. М., 1986. С. 42, 46.
- 79 Дни. Берлин, 1923. 22 дек.
- 80 Снесарев Н. Кирилл I, император Кобургский. С. 30.
- 81 Там же. С. 19.
- 82 См.: *Назаров В.Д.* Указ соч. С. 49.
- 83 *Никон (Рклицкий), архиепископ.* Жизнеописание Блаженнейшего Анатолия, митрополита Киевского и Галицкого. Нью-Йорк, 1962. Т. IX. С. 261.
- 84 Россия: Русский эмигрантский альманах. Шанхай, 1926. С. 68.
- 85 Половцов П. Дни затмения. Париж, б.г. С. 17–18.
- 86 Думин С. Романовы. С. 125–126.
- 87 Об этом см.: *Милюков П.Н.* Эмиграция на перепутье. С. 13.
- 88 Вечернее время. Париж, 1924. 8 мая.
- 89 *Краснов П.Н.* Открытое письмо к казакам, № 5. Деревня Сантенн (Франция). Б.г. С. 8.
- 90 Последние новости. Париж, 1925. 12 июля.
- 91 *Милюков П.Н.* Итоги полемики // Последние новости. Париж, 1926. 12 июля.
- 92 *Франк С.Л.* Биография П.Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 127.
- 93 Там же. С. 140–141.
- 94 Российский Зарубежный съезд в Париже, 4–11 апреля 1926 г. Париж, 1926. С. XIV.
- 95 Там же. С. XIII.
- 96 Возрождение. Париж, 1926. 14 авг.

- 97 Сборник российских политических программ: 1917–1955. Клайпеда, 1990. С. 36.
- 98 Франк С.Л. Биография П.Б. Струве. С. 140.
- 99 Российский Зарубежный съезд в Париже... С. 10.
- 100 Там же. С. 26–27.
- 101 Возрождение. Париж, 1926. 7 апр.
- 102 Российский Зарубежный съезд... С. 30.
- 103 Там же. С. 32.
- 104 Там же. С. 57, 61.
- 105 Иоффе Г.З. Крах монархической контрреволюции. С. 296.
- 106 Франк С.Л. Биография П.Б. Струве. С. 141.
- 107 Возрождение. Париж, 1926. 3 июня.
- 108 Российский Зарубежный съезд... С. 89.
- 109 Франк С.Л. Биография П.Б. Струве. С. 140.
- 110 Бортневский В.Г. Загадка смерти генерала Врангеля. С. 58. См. также: Шааренков Л.Г. Агония белой эмиграции. С. 141.
- 111 Российский Зарубежный съезд... С. X.
- 112 Франк С.Л. Биография П.Б. Струве. С. 288.
- 113 Российский Зарубежный съезд... С. XIX.
- 114 Последние новости. Париж, 1927. 8 апр.
- 115 См.: Возрождение. 1927. 15 апр.
- 116 Шульгин В.В. Три столицы. Берлин, 1927. С. 364.
- 117 Социалистический вестник. Берлин, 1927. 20 окт.
- 118 См.: Возрождение. Берлин, 1928. 3 авг.; Последние новости. 1928. 13 дек.; Стерлигов А. Младоросская правда. София, 1931.
- 119 Варшавский В.С. Незамеченное поколение. С. 53.
- 120 Леонтьев К. Избранные письма. СПб., 1993. С. 473.
- 121 См.: Современные записки. Париж, 1928. Кн. XXXVII. С. 547–548.
- 122 Струве П.Б. От Карамзина до младороссов // Россия и славянство. 1932. 2 апр.
- 123 Федотов Г.П. Пробуждение будущей России // Современные записки. 1931. Кн. XIV. С. 480–481.
- 124 Федотов Г.П. Проблемы будущей России. С. 481–482.
- 125 Федотов Г.П. Искания младороссов // Новый град. 1938. № 13. С. 183.
- 126 Там же. С. 184–185.
- 127 Там же. С. 185.
- 128 Федотов Г.П. Проблемы будущей России. С. 482–484.
- 129 См., например: Пивоваров Ю.О. Может ли спасти Россию самодержавная монархия? // Вопр. философии. 1991. № 6.
- 130 Святополк-Мирский Д.П. Чем объяснить наше прошлое и чего ждать от нашего будущего? Париж, 1926. С. 70–72.
- 131 Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. М., 1994.
- 132 Олейник О.Ю., Меметов В.С. Интеллигенция, эмиграция, Отечество. Иваново, 1997.
- 133 Верба И.А., Гусарова Л.О. С думой о Родине на чужбине: Эволюция русских политических партий в эмиграции (1920–1940-е гг.) // Кентавр. 1995. № 3.
- 134 Ершов В.Ф. Белоэмигрантские концепции восстановления российской государственности // Кентавр. 1995. № 4. С. 60.
- 135 Верба И.А., Гусарова Л.О. Указ соч. С. 102.
- 136 Там же. С. 99.
- 137 См.: Назаров В.Д. Указ. соч. С. 58.
- 138 Апанасенко Г. Три слова // Сигнал. Париж, 1938. 1 марта.

- ¹³⁹ См.: *Самойлов Е.* От белой гвардии – к фашизму // Неотвратимое возмездие: По материалам судебных процессов над изменниками Родины. М., 1972. С. 136–146.
- ¹⁴⁰ См.: *Голинков Д.Л.* Крушение антисоветского подполья в СССР: 1917–1925. М., 1975. С. 656.
- ¹⁴¹ Об этом см.: *Стефан Джон.* Русские фашисты: Трагедия и фарс в эмиграции 1925–1945 / Пер. с англ. М, 1992.
- ¹⁴² *Франк С.Л.* Биография П.Б.Струве. С. 135.

М.Г. Вандалковская

**ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ
Н.А. БЕРДЯЕВА**

Н.А. Бердяев принадлежит к ученым не только отечественной, но и мировой культуры XIX – начала XX в. Его научное творчество – существенный вклад в мировую философско-религиозную и историческую мысль.

В центре историософии Бердяева был поставлен человек. Бердяев всегда занимал “пафос свободы и пафос личности, т.е. в конце концов пафос духа”. Стремление “проникнуть в духовные течения” эпохи определяли обращение философа к истории и культуре, к общественно-политическим и культурно-историческим процессам эмпирической истории. Стремление к целостному постижению “судьбы человека в истории” обусловило синтетический характер творчества Бердяева. Это проявлялось не только в обращении философа к истории, но и к литературе. Так называемый междисциплинарный подход как метод научного исследования был блестяще реализован в трудах Бердяева. Оправданность этого метода диктовалась исследовательской задачей ученого – дать социально-психологический анализ духовного развития русского народа, его ментальности и самосознания.

Творчество Бердяева касается широкого круга проблем российской истории. Однако центральными в них являются: русская идея, русский национальный характер, русская общественная мысль, русская революция и ряд конкретно-исторических тем (Московское царство, реформы Петра I и т.д.)¹.

В данной статье предпринята попытка раскрыть особенности русского “образа мышления”, русской ментальности XIX – начала XX в.; показать преемственную духовную связь русской интеллигенции, ее разных течений с носителями идеи революции и социализма. Эта тема многоаспектна, и в данной статье затрагиваются, разумеется, не все ее стороны.

Народничество Бердяев рассматривал как одну из ступеней в развитии русского национального сознания. Он отмечал наличие в

нем различных течений, главными из которых были религиозное народничество, ярко проявленное в славянофильстве, и атеистическо-материалистическое, выраженное в нигилизме, в революционном народничестве.

В объяснении народничества в целом Бердяев присоединялся к общепринятой историографической традиции, оценивающей народничество как порождение отсталости России, “темного мужицкого царства”, “плод экстенсивного хозяйства”. Русское народничество разных направлений, подчеркивал Бердяев, всегда жило иллюзиями, ложным убеждением, что своеобразие, отсталость России является ее преимуществом.

К существующей традиции относилась и мысль о том, что возникновение русского народничества объяснялось также большим разрывом (начиная с эпохи Петра) народа и интеллигенции, “тонкостью” культурного слоя в России, который не являлся зрелой самостоятельной силой, способной направлять общественное развитие.

Бердяев одним из первых исследователей народничества обратил внимание на общность психологии народничества разных оттенков. “Одна и та же болезнь нашего национального духа, – писал он, – обнаруживается на противоположных полюсах”². К числу этих болезней он относил нераскрытость и неразвитость личного начала: личность в России всегда чувствовала себя пребывающей в первоначальном коллективизме, классы были мало активны, у них не было культурных традиций. Бердяев указывал на отсутствие у народников культуры личности, культуры личной ответственности и чести, на неспособность к духовной автономии, на “искание правды не в себе, а вне себя”. Все это, в конечном счете, “угашало развитие” духовной культуры, творчества, так как в нем видели уклонение от исполнения долга перед народом или измену народной правде.

Общей основополагающей чертой народничества, объясняемой этими свойствами, Бердяев считал идеализацию народа, убеждение в том, что русский народ выше цивилизованных народов Европы, что цивилизация европейская слишком “буржуазна” и именно русские призваны осуществить на земле царство правды и справедливости. В идолопоклонстве перед народом Бердяев усматривал рабскую зависимость русского культурного слоя от “народной тьмы”, “потерянность всего качественного русской жизни в количествах”. С точки зрения религиозного восприятия это означало обоготворение внешней среды, веру в спасительную роль эмпирического начала. Веру в народ Бердяев признавал иллюзией, малодушием и бессилием русских мыслящих людей, их неспособностью к созиданию. В связи с этим важно психологическое заключение Бердяева: служение народу и сострадание к нему преломились в моральном складе русской души – работа совести стала преобладать над чувством достоинства и духовной свободы.

Указывая на народопоклонство народничества как общую черту, Бердяев отмечал вместе с тем и различие в восприятии народа разными течениями народничества: если для славянофилов в народе воплощалась народная мудрость, то для народников-нигилистов – “социальная правда”, близкая к “трудоу жизни”.

Бердяев признавал ошибочным народническое толкование понятия народа. Для Бердяева народ – целостный мистический организм, соборная личность, включающая все слои населения; для народников – это крестьяне и простонародье, отличающееся психологией взбунтовавшегося раба, соединением черт смутной эпохи и удельного периода, смещением смирения и склонностью к анархии, невежеством, стремлением к всеобщей уравнительности. “Народу поклоняться нельзя, – заключал Бердяев свои размышления об отношении к народу, – нечего от него ждать, его надо просвещать... Огромное темное мужицкое царство должно пройти долгий путь цивилизации, просвещения и подчинения закону. Это – мировой путь развития и лишь через него может быть выявлена национальная сущность и национальное призвание”³.

Задачу русских мыслящих людей Бердяев видел в освобождении национального сознания от народопоклонства.

Славянофильство Бердяев считал самой серьезной идеологией в России, с которой “можно считаться по существу”⁴. Все творческое и значительное в русской культуре, по мысли Бердяева, всегда являлось религиозным “по теме, по устремлениям, по размаху”. Именно славянофилы признавали русскую культуру, литературу, философию и искусство религиозными по своей сущности. Неумирающую заслугу славянофилов он видел в том, что они выразили самосознание русского народа как религиозное “по духу и цели”.

Славянофильство характеризовалось Бердяевым как крупное культурное явление своего времени. Он отвергал характерное для традиционной историографии утверждение о том, что славянофильство по своему происхождению и проявлениям исключительно русское явление. Славянофильское сознание вписывалось им в общий поток духовной и умственной жизни Западной Европы, романтической и религиозной реакции XIX века на рационализм XVIII столетия. Постановка проблемы национального самосознания и национального призвания явилась реальным итогом этого умственного движения. Романтическая реакция, – писал Бердяев, – воплощенная в новых течениях общественной мысли, являлась творческим движением вперед, “оплодотворяла новый век творческим историзмом и освобождающим признанием иррациональной полноты жизни”⁵.

В славянофилах Бердяев видел “первых русских европейцев”, которые приняли не внешность европейского просвещения, а его глубинную сущность. “Они творчески преломили в нашем национальном духе то, что совершалось на вершинах европейской и мировой культуры”, переработали философию Гегеля и Шеллинга,

преодолев западный абстрактный идеализм и создали “конкретно-оригинальный плод” русской мысли – философию целостной жизни духа⁶.

Бердяев относил славянофилов к “исторической школе” общественной мысли, утверждавшей идею закономерного исторического развития.

Истоком, на котором зародилось славянофильское сознание, Бердяев признавал чисто русское явление – Отечественную войну 1812 г. Именно с этого времени, полагал он, началась переоценка Петербургского периода русской истории, “чувствование России отделилось от бюрократического механизма и связалось с жизнью народной”; возникла потребность определять национальный лик России не по блестящим царедворцам и по внешне цивилизованным барам, а по органической народной жизни. И славянофильство было первым течением, которое выразило в сознании тысячелетний уклад русской жизни, русской души, русской истории⁷.

Бердяев дал комплексное представление о содержании славянофильства, в его философии истории он видел “идею цельного знания, основанного на органической полноте жизни”, признание “целостного духа” как основы познания мира. Основаниями славянофильства он считал как идеалистические, так и реалистические начала. К реалистическим относились русский национальный быт, русская деревня, тысячелетний уклад русской жизни; к идеалистическим – религиозный опыт всего русского народа, “религиозный опыт восточного православия, претворенного в русской душе”.

“В славянофильстве, – писал он, – отпечатались деяния Сергия Радонежского, Нила Сорского, русских старцев и юродивых, словом, все своеобразие христианского опыта на русской почве”.

В этом, по Бердяеву, проявлялся особый национально-психический тип веры. “Все своеобразие этого типа веры, – писал он, – национально-русскую физиономию этой веры, можно изучать по славянофилам”⁸.

Непреходящее значение славянофильства заключалось, как подчеркивал Бердяев, в том, что оно заложило основы органического понимания народа “как нации, как мистического организма”⁹. Он ценил их органический демократизм, мессианские идеи, преобладание внутренней свободы над внешним оформлением, “рыцарское” отношение к церкви, что особенно импонировало Бердяеву как религиозному мыслителю, нелюбовь к авторитетам, государству, к формализму.

Бердяев отмечал и заслуги славянофилов в практической деятельности, участие в освобождении крестьян с землей, их борьбу за свободу совести и слова, обличение несовершенств церковного строя, защиту угнетенных славянских народов и т.д.

Позитивную роль славянофилов он видел в их борьбе с нигилизмом и материализмом, в стремлении предотвратить в России про-

цесс разложения общины на враждующие стороны, в вере в то, что христианский русский народ обладает “органическим единством” и в нем “бьется единое сердце”¹⁰.

Опыт славянофильства в формировании религиозно-христианского сознания Бердяев признавал “замечательным” и “местами гениальным”.

Однако он был далек от безоговорочного принятия достигнутого ими. К оценке славянофильства он подходил диалектически, отмечал не только сильные, но и слабые, с точки зрения религиозного мыслителя, стороны.

Так, он считал, что славянофильское мнение о христианском мирозерцании русского народа было односторонним. Русский народ принял христианский дух, но “по плоти и крови” принадлежал к языческому быту. Утверждение многих славянофилов о том, что в Древней Руси “чуть ли не полностью было осуществлено христианство”¹¹, их отношение к русскому национальному быту, как к эпохе почти хилиастической (мистическая вера в тысячелетнее царствование Христа), обнаруживали, по мысли Бердяева, двойственность славянофилов, их языческую и христианскую природу.

“Роковым последствием” для национального самосознания Бердяев признавал славянофильское представление о народе, как о простонародье, противоположном культурному слою. Это противопоставление усиливало разрыв между народом и культурным слоем и способствовало становлению социально-классовой точки зрения на общественное развитие.

В некоторых славянофильских идеях, особенно в идее мессианизма, Бердяев признавал “бытовую”, эмпирическую окраску; в славянофильском восприятии теории “Москва – Третий Рим” видел не религиозные, а научно-исторические основы.

К числу “недостатков” славянофильства Бердяев относил его неспособность объяснить вопросы, связанные с образованием русского государства, его эволюции, истории общины и др.

Признаваемые Бердяевым “несовершенства” славянофильского учения он объяснял временными рамками, ограниченностью религиозного сознания того времени – отсутствием пророческого истолкования истории, религиозно-мистических прозрений, апокалипсиса, космологии, недостатком любви к западному христианству, невидением в Церкви богочеловеческого процесса.

Солидаризируясь со славянофилами в их критике католичества, Бердяев отмечал их несколько предвзятое отношение к западному христианству. Хомяков, по его словам, “слишком исключительно отождествлял католичество с учебниками догматического богословия, канонического права, с политикой пап, с моралью иезуитов”¹².

Оценивая славянофильство исторически, как “самое большое явление” в истории русского самосознания с присущими ему особен-

ностями и ограниченностью временем, его породившим, Бердяев указывал на сложность этого течения, в котором сочетались различные и противоречивые элементы. Славянофильство, – писал он, – “с самого начала было чревато разными возможностями, от него шли разные пути: путь свободы и путь принуждения, путь мистических упований и путь позитивно-натуралистических притязаний”¹³.

В эпоху 60–80-х годов “малорелигиозное” славянофильство, замечал Бердяев, постепенно окрашивалось “в цвет натурализма и позитивизма”, а его мессионизм “вырождался в национализм”.

От славянофильства Бердяев вел разные линии. Одна из них воплотилась в личности Н.Я. Данилевского, автора известной книги “Россия и Европа”. Бердяев признавал его переходной фигурой, утрачивающей славянофильские основы. Если в личном и бытовом плане Данилевский сохранял заветы православия, то в научных трудах его проявлялся позитивистско-научный подход, неприемлемый для религиозного восприятия. В научном наследии Данилевского Бердяев видел “неверность” идеальным заветам славянофилов, “натуралистическое перерождение славянофильства”¹⁴.

Историческую концепцию Данилевского Бердяев, думается, не без основания, может быть, несколько преувеличивая, считал националистической и, естественно, несовместимой с христианством.

В силу этих особенностей Данилевского нельзя было “признать выразителем русского национального самосознания” и духа русского народа¹⁵. Признаваемый Бердяевым национализм Данилевского давал ему основание причислять Данилевского к западникам.

Изучение национального самосознания, естественно, обращает внимание Бердяева к русской литературе, к писателям, творчество которых раскрывает внутренний духовный мир человека. В этом ряду первое место, несомненно, принадлежит Достоевскому. “Идея свободы, – писал Бердяев, – всегда была основой для моего религиозного мироощущения и мирозерцания, и в этой первичной интуиции свободы я встретился с Достоевским как своей духовной родиной”¹⁶.

В 1920–1921 гг. в Вольной академии духовной культуры Бердяев вел семинары о Достоевском, опубликовал ряд статей, а позднее издал книгу “Мирозерцание Достоевского”. Эта книга удивительно точно раскрывает не только сущность и особенности творчества Достоевского, но и многие стороны российской действительности, обусловленные русским национальным характером.

В Достоевском Бердяев видел продолжение и развитие религиозного сознания, связанного со славянофильством, но отличного от него. Достоевский, по Бердяеву, революционно развивал славянофильское сознание, не отрывался от “национальных корней”, не был связан “со статикой быта”, как старые славянофилы, он весь в динамике, “пронизан токами, идущими от грядущего”.

Достоевский принадлежал уже другой исторической эпохе, “новой по духу”. Для новой религиозной эпохи, “апокалиптической, обращенной к концу, к пределу, к конечным, эсхатологическим темам, характерен, – писал Бердяев, – катастрофизм, устремленность к Граду Христову, ужас перед градом антихристовым” и усиление проческо-мистических сторон¹⁷.

“...Я хочу попытаться подойти к Достоевскому, – писал он, – путем верующего, целостного интуитивного вживания в мир его динамических идей, проникнуть в тайники его первичного мирозерцания”¹⁸. Этот подход принес Бердяеву большой успех в постижении сущности творчества великого русского писателя.

Центральной темой произведений Достоевского Бердяев пронизательно признавал мир идей, русский духовный строй с его антиномичностью и полярным совмещением религиозной устремленности к концу мира и нигилизма. Здесь же Бердяев замечает, что русские люди по природе своей, если они наиболее выражают своеобразные черты русского народа, либо апокалиптики, либо нигилисты. И обе эти крайности ведут к разрушению культуры, истории и человека, так как не сохраняют традиционные установления жизни, постепенность в развитии.

Исследование Достоевским внутренней подсознательной жизни человека, сопровождаемое верой в него, в Христа и Богочеловека делает его в глазах Бердяева не только великим христианским писателем, мыслителем, но и великим метафизиком, духовидцем, гениальным диалектиком, психологом и пневматологом. В литературе, современной Бердяеву, не существовало столь глубокого и объемного анализа творчества Достоевского.

Д.С. Мережковский, также религиозный писатель, в книге “Л. Толстой и Достоевский”, по наблюдению Бердяева, “лучше всего все-таки писал о Достоевском”, но не сумел оценить его как “целостное явление духа”.

Бердяев особенно ценил прозрения Достоевского, связанные с природой русского нигилизма.

“Достоевский, – писал он, – берет человека отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, выпавшим из космического порядка и исследует судьбу его на свободе, открывает неотвратимые результаты путей свободы”¹⁹.

Достоевский, подчеркивает Бердяев, испытывает человека свободой. Его путь на свободе начинается с крайнего индивидуализма, непомерного самомнения, с бунта против внешнего миропорядка и отрицания всякой рациональной организации человеческой жизни. В человеке открывается “подполье” и различные иррациональные свойства.

Путь своеволия и самоутверждения, направленного против христианских заповедей, неизбежно приводит к попиранию свободы. “Свобода переходит в своеволие, своеволие переходит в принуждение”²⁰.

Процесс перерождения свободы в “безграничный деспотизм”, раскрытый Достоевским, Бердяев признает самым “гениальным” его прозрением. Это прозрение Бердяева, вслед за Достоевским, подтверждает путь революционной борьбы, деятельности революционной демократии в России, опыт Французской революции и революционного социализма.

Бердяев подчеркивал, что вражда Достоевского к революции не была враждой бытового человека, отстаивающего какие-либо интересы старого строя. “Это была вражда апокалиптического человека, – писал он, – ставшего на сторону Христа в последней борьбе Его с антихристом”²¹. Достоевский был “величайший изобличитель лжи и неправды духа”, действующего в революции.

Из любви к свободе, по заключению Бердяева, Достоевский восстал против революции.

Достоевский “знал, – писал Бердяев, – что революция, которую он ощутил в подземном, подпочвенном слое России, не приведет к свободе, что началось движение к окончательному порабощению человеческого духа”²².

Бердяев обращал внимание не только на гениальное раскрытие Достоевским человеческого пути от свободы к деспотизму, от своеволия к преступлению, но и на трансформацию человеческой души, совершившей это преступление. “Зло связано со свободой. Поэтому свобода ведет к страданию. Путь свободы есть путь страдания”²³.

“Моральную диалектику”, нравственный пафос Достоевского Бердяев видит в его исходной позиции: в каждом человеке надо чтить образ и подобие Божие, зло, заложенное в иррациональной природе человека, убивает и злодея, а страдание имеет огромную искупительную силу.

Веру Достоевского в человека “как в божеское существо”, любовь к человеку, совесть которого постоянно подвергается испытанию свободой, Бердяев считал “величайшим” свидетельством принадлежности писателя к религиозному сознанию.

В Достоевском Бердяев видел своего предшественника и в оценке революционной интеллигенции, ее отношения к народу, революции и социализму.

Русский нигилизм в лице Белинского, Добролюбова, Чернышевского и Писарева Бердяев признавал радикальной формой русского просветительства, “диалектическим моментом” в развитии русской души и национального сознания. Он отмечал различия в просветительстве России и Западной Европы. Западные просветители. Вольтер и Дидро не выступали против достижений мировой цивилизации. В России же отрицание либо подозрение к идеалам философии и эстетики, особый интерес к естественным наукам, что Бердяев объяснял “научной отсталостью” России, несмотря на существование отдельных замечательных ученых²⁴, являлись характерными особенностями.

Бердяев отмечал вместе с тем в нигилизме большое правдолюбие, наличие морального пафоса в борьбе со злом. “Нигилистическое оголение, снятие обманчивых покровов” он рассматривал как “неприятие мира, лежащего во зле”²⁵. Эту особенность он вел от православного аскетизма и эсхатологизма, от русского раскола.

В русском нигилизме Бердяев усматривал противоречивость и двойственность.

С одной стороны, революционные нигилисты, особенно Чернышевский и Писарев, проповедовали свободу личности, ее возвышение над социальной средой и традициями прошлого; с другой стороны, их опора на материализм, как крайнюю форму детерминизма и утилитаризм, не могла обеспечить свободу личности, ее “персонализм”.

В признании нигилистами идеи развития личности, Бердяев видел существенное ограничение – отрицание права на творчество и духовную культуру. Это вело к обеднению личности и подавлению свободы. Такова была обратная сторона русской борьбы за освобождение и за социальную правду. “Результаты сказались на русской революции, на совершенных ею гонениях на дух”²⁶.

Нигилизм Бердяев признавал типичным русским явлением; он “принадлежит русской исторической судьбе, как принадлежит и революция”²⁷.

Основой русского марксистского социализма Бердяев признавал миросозерцание Белинского, который являлся выразителем русского социального “максимального идеала” и не останавливался перед насилием.

Нигилисты 60-х годов по социальному составу были разночинцами. Бердяев называл Чернышевского и Добролюбова “нравственным капиталом”, однако указывал на понижение типа культуры шестидесятников в сравнении с культурой 40-х годов, в частности с Герценом. Как и многие исследователи, Бердяев отмечал психологическое различие душевного склада разночинца и барина, демократа и человека аристократической культуры, появление у нигилистов 60-х годов догматизма, аскетизма, нетерпимости, неприязни к эстетизму и утонченности.

В Чернышевском он видел сочетание нравственной социальной глубины и примитивной, с точки зрения религиозного мировоззрения, материалистической философии. Борьба Чернышевского за освобождение человека не могла увенчаться успехом, так как и в мышлении Чернышевского, и в его антропологии отсутствовали психология и метафизическая глубина.

Писарева Бердяев выделял из общего ряда нигилистов. Основанием для этого служил его особый интерес к свободной человеческой личности, к индивидуальности и качествам человека, персонализму, что импонировало Бердяеву.

Мировоззрение Писарева, подчеркивал Бердяев, было основано на той же материалистической и утилитаристской философии, что

являлось препятствием для исполнения его “благородного замысла” – воспитать свободную личность.

Судьбу народников 70-х годов Бердяев признавал трагичной не только потому, что они подвергались преследованиям со стороны властей, но главное – они не были приняты народом, который имел иное мирозерцание, чем интеллигенция.

К ярким выразителям психологии 70-х годов он относил Н.К. Михайловского, для которого народопоклонство было характерно в меньшей мере, чем для шестидесятников, указывал на его переход от материализма к позитивизму. В субъективном методе Михайловского Бердяев признавал “неосознанную правду персонализма”. Верные идеи Михайловского о соединении правды-истины и правды-справедливости, о необходимости в познании мира отказаться от дарвинизма в применении к социальным явлениям и необходимость применить принцип психологического вживания, приближения к пониманию общества как духовной организации, по мнению Бердяева, ограничивались сциентизмом и позитивизмом.

Высокая оценка Бердяевым персонализма Лаврова также сопровождалась признанием негативней роли его позитивистской философии, не дающей возможности обосновать ценность и независимость личности.

Он фиксировал разочарование народников в крестьянстве: народ не понимал народников, а верил в религиозную освященность самодержавной монархии и не принимал просвещения, которое они несли. В конечном счете это привело к господству в народничестве политической борьбы и террора.

Проявление жесткой политической борьбы реализовывалось на российской общественной арене в деятельности Нечаева и Ткачева, которых Бердяев называл “крайними революционерами”.

Бердяев отмечал аморальность идей и поступков Нечаева, который проповедовал принцип аскезы – “все, что служит революции – морально, революция есть единственный критерий добра и зла”, при этом человеческая личность оказывается раздавленной, от нее отнимается богатство жизни во имя революции²⁸.

Ткачева, в “большей мере, чем Маркса и Энгельса”, Бердяев относил к теоретикам революции и предшественникам большевизма; революция для него – насилие меньшинства над большинством.

Развитие русского марксистского социализма Бердяев видел в деятельности «Группы “Освобождения труда”» во главе с Плехановым.

Начало XX в. он связывал с новой эрой в развитии русских социалистических течений и одновременно с кризисом сознания русской интеллигенции, с оформлением более высокой и сложной культуры, подготовившей русский идеализм начала XX в.

Тип же марксиста и большевика представлялся Бердяеву более жестким, чем тип народника.

Развитие социальной темы XIX в., по мысли Бердяева, вело к оформлению идеи братства людей и народов, т.е. русской идеи. Однако отрыв от христианства вел к двойственности идейного развития русских марксистов и коммунистов, “переплетению правды и лжи”. Эта двойственность, идущая еще от Белинского и шедшая через мировосприятие Нечаева и Ткачева, выразилась в большевизме.

Большевизм воплощал в себе иллюзию социальной правды и одновременно уничтожал все ценное, качественное, свободу, индивидуальность. Духу большевизма, – писал Бердяев, – ненавистен онтологический аристократизм, который лежит в основе всякой подлинной религии, особенно христианства, аристократизм духовной свободы и духовного первородства, божественного происхождения человека²⁹.

Русский большевизм и максимализм Бердяев считал порождением азиатской души, отвращающейся от западных путей культурного развития и культурного творчества³⁰.

По мнению Бердяева, мысли первых марксистов о том, что России предстоит пройти эпоху капиталистического пролетарского развития, школу свободной гражданственности, а буржуазии принадлежит политически и экономически прогрессивная роль, была забыта.

В большевизме победил “старый народнический утопизм”, лже-религия, основанная на преклонении перед стихийностью и идолопоклонством перед количественной массой³¹.

Связь народников и большевиков Бердяев признавал генетической, проявлявшейся и в революции, и в ее последствиях.

Большевики, по Бердяеву, являлись последними русскими нигилистами, в которых нигилизм русской интеллигенции соединился с народной тьмой³².

“Русская революция, – писал он, – оказалась опытом последовательного применения к жизни русского нигилизма, атеизма и материализма, огромным экспериментом, основанным на отрицании всех абсолютных духовных начал в личной и общественной жизни”³³.

Большевики, – подытоживал эту мысль Бердяев в своей книге “Философия неравенства”, – сделали последний вывод из долгого пути народников-социалистов и наглядно показали, к чему ведут их идеи. Большевики – последние русские нигилисты, в них интеллигентский нигилизм соединился с народным нигилизмом³⁴. В большевиках Бердяев видел особый антропологический тип, который отличался особой жестокостью и активностью и морально резко отличался от старой русской интеллигенции.

Тема русской революции, ее предпосылок и последствий – одна из центральных тем творческого наследия Бердяева.

Он многопланово подходил к анализу русской революции, изучал ее разные стороны, разумеется, в рамках тех представлений, которые были обусловлены временем создания тех или иных работ.

Революции в творчестве Бердяева посвятил свои исследования Б.Г. Могильницкий³⁵. Он раскрыл религиозные основы бердяевской концепции революции, представлений об ее истоках и сущности, родовых чертах, национальных особенностях и социальных последствиях.

Характерной чертой исследований Б.Г. Могильницкого является рассмотрение творчества Бердяева в эволюции, показ того, как обогащались его взгляды на революцию в России и как менялись акценты в освещении этого явления. Исследователем раскрыты представления Бердяева о революциях в России (1905–1907 гг., Февральской и Октябрьской) как едином процессе, о сочетании утопизма и реализма в теоретико-методологических построениях ученого, а также разные точки зрения на революцию: революционная и контрреволюционная, объективно-историческая научная и религиозно-апокалиптическая, сторонником которой был сам Бердяев.

Анализ трудов Бердяева, особенно его статьи “Духи революции”, привел Б.Г. Могильницкого к важному заключению о том, что проблему революции автор трактует как проблему русского менталитета, особенностей национального мышления. Исследователь правомерно подчеркивает актуальность этого подхода, открывающего новый аспект в изучении истоков и природы революции.

Небезинтересно и сравнение, приводимое Могильницким, характеристик бинарного мышления Ю.М. Лотмана в его книге “Культура и взрыв” (М., 1992) и бердяевских оценок русского мышления.

Сущность бердяевского подхода к революции состоит в том, что он рассматривает ее как неотъемлемое звено исторического процесса, как результат накопления отрицательных состояний (азефовщина, распутинщина, сухомлиновщина и т.д.) и одновременно как предпосылку нового возрождения, которое мыслится, разумеется, в рамках религиозного сознания. Все это отмечено в статьях Б.Г. Могильницкого.

Важно подчеркнуть, что работы Бердяева отличает широкий подход к осмыслению феномена революции. В той или иной степени он касается разных проблем, имеющих отношение к теме русской революции: ее связи с мировой войной, генетических основ революции, возможности альтернативного развития России по эволюционному пути, сопоставления русской и французской революций и др.

Обратимся лишь к отдельным сторонам бердяевского подхода к революции, которые, как представляется, недостаточно освещены или требуют в изложении определенного акцента. К их числу относится тема связи революции с мировой войной.

Мировую войну, согласно своему религиозному воззрению, Бердяев воспринимал как “изживание внутренней тьмы мировой жизни”, внутреннего зла, принятие вины и искупления. “Мы войну и принимаем и отвергаем. Мы принимаем войну во имя ее отверже-

ния”, – писал Бердяев³⁶. Опыт войны, полагал он, должен повернуть русское сознание к международной политике, к судьбам народов и их взаимоотношениям, к укреплению собственного национального самосознания.

Мировая война вызвала кризис “монизма русского мышления, всегда склонного насилловать бесконечную сложность бытия”³⁷.

Традиционное сознание русской интеллигенции разных видов (славянофильское, народническое, социал-демократическое), как считал Бердяев, основывалось на доктринерских схемах, социализме и морализме.

В этом кризисе сознания, вызванного войной, Бердяев усматривал возможность не только осознания национальной самостоятельности, силы и роли России, но и вовлечения ее в “неизбежный процесс европеизации России и... в круговорот всемирной истории”³⁸.

Мировую войну Бердяев рассматривал как важное мировое событие и органически связывал с революцией. “Революция вызвана войной, – писал он, – и она может быть осмыслена лишь в связи с войной”. Именно война раскрыла кризис и несостоятельность мирового общественного устройства, низводящего личность до обобществления национального человечества и человеческой души в ходе обуржуазивания и пролетаризации, машина и власть техники дегуманизируют человеческую жизнь.

“Для христианства в известном смысле всякая человеческая душа более значит и более стоит, чем вся история со своими империями, войнами, расцветами цивилизаций, переворотами. И потому неизбежен срыв истории и суд над историей”³⁹.

Процесс капитализации, по Бердяеву, был тождественен антиперсонализму. Война, писал он, “была беспощадным разочарованием в идеалистическом понимании истории, во всех возвышенных идеях” и только договорила, что человек потерял свою ценность.

В связи с этим либеральные правления утратили свою силу и обнаружилась тяга к авторитарным правлениям. Но санкция начала авторитета и авторитарного строя стала иной.

Переживаемая агония народов во время войны напоминала Бердяеву конец античного мира.

Именно в этом “мировом смысле” Бердяев считал мировую войну событием, большим, чем революция⁴⁰.

Бердяев считал, что “социально” передовая революция в России была “культурно реакционной”, поскольку нигилистическая идеология, идущая от 60-х годов XIX в. являлась умственно отсталой.

Реакционность русской революции Бердяев усматривал в ее ходе и последствиях. “Существенно и характерно в русской революции восстание необразованных против образованных, некультурных против культурных, невежественных против знающих, количест-

венного материального труда против труда же, но качественного, духовного”⁴¹.

Отмечая это, Бердяев подчеркивал потребительский характер психологии восставших, направленный на захваты, насилие и разделы.

В этой связи Бердяев считал чрезвычайно важным при оценке социальной и духовной сущности русской революции обращать внимание не только на столкновение классовых интересов (что он признавал), но и на столкновение и противоположность жизненных интересов и жизнеощущений представителей материального и духовного труда.

Революционно-народническая традиция идеализации трудовых народных масс, осуществленная в революции, означала опасные последствия для развития русской культуры.

Особенностями этой идеологии Бердяев считал догматизм, максимализм, неспособность понять относительное, аскетизм, особое отношение к экономическому положению народа в ущерб нравственному.

В итоге этих размышлений Бердяев приходил к выводу, что “время уже осознать”, что русское народничество и особенно его левая форма – иллюзии, порожденные русской культурной отсталостью, а русская революция одновременно и крах народнической идеологии⁴².

Русскую революцию Бердяев рассматривал в сопоставлении с мировым революционным процессом.

Мысль Бердяева о том, что каждая революция имеет свой характер, свою национальную особенность находила свое выражение, правда, в немногочисленных, сравнительных бердяевских характеристиках русской и французской революций.

В оценках Бердяевым этих революций обозначались и общие, характерные в целом для революционного процесса, черты.

Все революции, утверждал Бердяев, являются порождением темных стихий и рабских страстей, рефлекса на зло прошлого; они не рожают “новые души” и новых людей.

“Напрасно вы, – делатели революции, одержимые ее демонами, думаете, что вы – творческие люди и дела ваши – творческие дела”, – писал Бердяев в одном письме к “недругам по социальной философии”⁴³. Эпохи революции и революционеры лишены творческого духа, его лишены были Робеспьер и Ленин. Творчество аристократично, не терпит равенства, революции же подавляют все гениальное и выдающееся. Начало творчества и духовного углубления означает конец революции.

Французскую революцию (как и русскую) “делали старые души, и они внесли в нее все старые грехи и страсти”. И в качестве примера возрождения творческого начала после революции он приводил пример Шатобриана, написавшего “Ренэ” и “Гения христианства”.

Общей чертой русской и французской революций Бердяев признавал тираническую власть над духом, что было характерно как для якобинской, так и для советской диктатуры⁴⁴. Обе эти формы государственности Бердяев называл тиранической идеократией, принимающей на себя церковные функции. Французскую и русскую революции Бердяев различал по их исторической подготовленности и идейным основам.

Французскую революцию он признавал “кровавой и страшной”, но в ней “действовал сильный государственный и национальный инстинкт народа”, т.е. революция была подготовлена более высоким, чем в России, уровнем цивилизации⁴⁵. Франция и после революции сохранила иерархизм, градации, ступени в обществе, традиции цивилизации, в отличие от русской эгалитарной традиции. Русские же революционеры, обладающие “особой революционной моралью”, – подчеркивал Бердяев, – воспринимали эти свойства как буржуазность⁴⁶.

В русской революции Бердяев видел разрушение государства, неспособность организации власти после революции, отсутствие созидательной силы в западноевропейском смысле.

Различной была и идейная подготовленность революции. В русской революции разрыв между высшим культурным слоем и высшим интеллигентским и народным слоем, утверждал Бердяев, был несоизмеримо выше, чем во французской революции. Деятели французской революции вдохновлялись идеями Ж.Ж. Руссо и философии XVIII столетия.

В России революция и ее деятели питались идеями материализма и утилитаризма, “устаревшего мирозерцания”, которое привело к торжеству большевизма. Этот итог Бердяев считал не случайным. Деятели революции не интересовали Достоевский, Толстой, Вл. Соловьев, Н. Федотов, их устраивало мирозерцание Гельвеция и Гольбаха (естественнонаучный подход), Чернышевского и Писарева.

Ленин, как считал Бердяев, “философски и культурно был реакционер”, не допускал диалектики Маркса, прошедшего через германский идеализм. Из этих рассуждений Бердяев делал вывод, что русская революция “совершила настоящий погром высокой русской культуры”⁴⁷.

Решение социального вопроса Бердяев связывал с эволюционным развитием России. Отсюда его интерес к либерализму, с которым могла быть связана альтернативность русского исторического развития.

Вне зависимости от отношения к либерализму как к пути исторического прогресса (оно, как известно, было отрицательным), Бердяев касался этой темы применительно к России.

Он отрицал наличие в России либеральной идеологии, которая могла бы воздействовать на общественное сознание, хотя деятели реформ 60-х годов являлись либералами.

Самым представительным русским либералом он считал Б.Н. Чичерина, при этом арсенал его воззрений (государство, а не личность – высшая ценность, неприятие социализма) Бердяев признавал чуждым русским исканиям. По Чичерину, полагал Бердяев, можно изучать дух западничества, но не русской мысли⁴⁸. А русский пафос свободы он связывал не с либерализмом, а с анархизмом.

“К сожалению, – писал Бердяев, – в русском культурном обществе, либеральном и просвещенном, нет той силы духа и той горячей веры, которые могли бы спасти Россию от беснования”⁴⁹. Русские либеральные круги, писал Бердяев о предреволюционном периоде России, исповедовали “поверхностные” просветительство и позитивизм и этим разлагали русскую духовную жизнь.

Называя русский либерализм “бескрылым”, Бердяев утверждал, что национальная идея, усилившаяся в нем в период мировой войны, не имела глубоких корней и что для русских либералов в массе патриотизм был вопросом политической тактики. И поэтому, возлагая вину за свершение революции на все русское общество, Бердяев не исключал и либералов.

В 1906 г., в период революции, Бердяев написал статью “Русская Жиронда”, в которой сравнивал французских либералов-жирондистов с русскими либералами-кадетами, полагая, что истинная свобода во Франции восторжествовала бы при победе жирондистов. Тогда Франция, размышлял он, избежала бы якобинского террора и военного диктата⁵⁰.

Бердяев предсказывал, что конституционных демократов в России ожидает та же судьба, что и жирондистов во Франции, но допускал возможность развития революции по иному, т.е. либеральному пути. “Я не сторонник исторического фатализма и верю в творческую свободу человека, – писал Бердяев в этой статье, – но нельзя отрицать внутренней логики революционной эпохи, логики безумия и особенно нельзя отрицать роковой психологии таких эпох”⁵¹.

Изучение взглядов П.Б. Струве, “самого выдающегося”, “единственного, быть может, творческого политического ума” кадетской партии, привело Бердяева к мысли (впрочем, вслед за самим Струве), что теоретические принципы либерализма могли бы быть положены в основу социализма, призванного осуществить свободу личности.

Однако практически, замечал Бердяев, “состав и дух” партии кадетов-либералов чужд народу, их демократизм теоретичен, их миросозерцание буржуазно и не может зажечь массы; их склонность к мирной парламентской деятельности находится в несоответствии с творческой работой национального перерождения. Все эти свойства Бердяев квалифицировал как “психологический” и по существу коренной дефект. Иначе говоря, в русских либералах-кадетах Бердяев не видел их органичности, почвенности и корней

в народе. Поэтому путь либерального развития России представлялся ему неприемлемым.

Представляют интерес и размышления Бердяева о соотношении революции и контрреволюции в России. Бердяев рассматривал эти явления как явления одного происхождения: им являлось зло.

Носителем этого зла были коммунисты и крайние монархисты. Сторонниками контрреволюции, как известно, выступали живущие не только в России, но и в эмиграции монархисты, одержимые идеей реставрации в России старого режима. Бердяев вступал, таким образом, в противоречие и с довольно многочисленной частью эмигрантской среды, которая делала ставку на реставрацию дореволюционного строя⁵².

Он полагал, что только положительное начало может противостоять злу и им не может быть контрреволюция. “Гражданские войны революционных и контрреволюционных армий – есть обычно борьба сил революции с силами дореволюционными, революцией порожденными”⁵³. Революции могут быть преодолены лишь пореволюционными силами, началами, отличными от господствующих до и в ходе революции.

И не случайным было изречение Бердяева, написанное им в 1924 г.: “Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков”⁵⁴.

Бердяев признавал бессмысленным реставрировать то, что привело к революции. Поэтому задачу выхода “из кровавого круга революций и реакций” он видел в переходе в другое измерение, т.е. в область религиозного возрождения.

Целью общественного благоустройства являлся социализм. В понятие социализма он вкладывал емкий и разноплановый смысл: раскрывал его сущность, разные стороны, оценивал исторические формы социализма, показывал истоки возникновения социализма и перспективы его развития.

Исторически социализм рассматривался им как один из этапов в совершенствовании жизни и социальной среды. Социализм как проблема хозяйственной организации приемов и методов, определялся конкретно-историческими особенностями времени, в духовном плане социализм продолжает “чистые принципы” либерализма – свобода, равенство и братство, – как неизбежный результат либеральной “Декларации прав человека и гражданина”.

Из этого следовало, что социализм должен быть эволюционным, подготовленным предшествующим развитием и реформаторским, при котором возможно религиозное освящение социальной жизни. Это социальное реформаторство, направленное на защиту интересов труда (как относительная и частичная правда) должно быть согласовано с исторической преемственностью во всех областях общественной жизни, в том числе либеральными и консервативными тенденциями (если речь идет о регулировании и организации

производства, уровне общественной инициативы и т.д.), с началами частной собственности, тесно связанной с личностью, ее положением и уровнем культуры⁵⁵.

Бердяев диалектически подходил к оценке социализма и видел в нем “две правды”.

Он поддерживал моральную и религиозную правду социализма, которая состояла в том, что социализм окончательно провозгласил труд источником права на жизнь, осуждал классовое устройство и угнетение. “В пределах моральности, – писал Бердяев, – нельзя не быть социалистом”. Он неоднократно приводил слова Вл. Соловьева: “Я не буду опровергать социализм. Обыкновенно он опровергается теми, которые боятся его правды. Но мы держимся таких начал, для которых социализм не страшен. Итак, мы можем свободно говорить о *правде социализма*”⁵⁶.

“Другая правда” состоит в том, что социализм – один из видов государственного позитивизма, означающего обоготворение земного государства, признание за ним права высшего критерия прав и свобод человека.

Социалистическое государство всегда основано на коллективной общественности. При этом личность, что, с точки зрения Бердяева, составляет сердцевину исторического развития, тонет и исчезает; социалистическое государство обезличивает личность, ведет к уравниванию и стиранию индивидуальности. К социализму Бердяев подходил как к исторической категории, предусматривал возможность его старения, отрицания и утверждал, что в социализме не может быть никакой окончательной и абсолютной правды. “Социализм есть только условное и относительное указание на средства и методы”, с помощью которых можно улучшить человеческую жизнь⁵⁷. Революционный социальный максимализм всегда основан на смешении относительного и абсолютного, средств и цели. Эти рассуждения давали Бердяеву основание называть правду социализма “печальной” правдой, удел которой состоит только в том, что “она расчищает почву...”⁵⁸ для последующего исторического развития.

Правда социализма выводилась им из правды личности, которая должна быть свободна и обогащена духовно и религиозно.

Бердяев уделял большое внимание предшественникам и формам социализма, но относился к ним неоднозначно.

Он подчеркивал, что происхождение социалистических идей – порождение цензового мира. Сен-Симон, Оуэн, Маркс, Лассаль и др. социалисты обладали не только талантом, но и определенным уровнем образования и культуры, и каждый из этих мыслителей являлся выразителем своей конкретной среды и индивидуальных свойств⁵⁹.

По мнению Бердяева, не все социалистические учения в полной мере выражали социалистические идеи; пафос социализма имеет антидемократический характер. Так, утопический социализм Сен-Си-

мона возник как реакция против французской революции, во многом был родственен духу Ж. де Местра и имел антидемократическую направленность.

“Демократический социализм” жоресовского типа (парламентский социализм) он считал полусоциализмом; социалистов-революционеров и правых меньшевиков в России он признавал “скорее левыми демократами, чем социалистами”⁶⁰.

Особое внимание Бердяев уделял Марксу и его учению.

Еще в 1907 г. в книге “Новое религиозное сознание и общественность” Бердяев критиковал Маркса за его атеизм, “вражду к вечности”, привязанность к “злому началу”. Парадокс марксизма он видел в стремлении “принудить человечество насильственно к счастью, создать добрую гармонию путем злого антагонизма, вражды, ненависти и распада человечества на части, наделить людей лишь необходимой свободой”⁶¹.

Бердяев указывал на презрение Маркса к человеческой личности, к внутреннему миру человека, хотя отмечал и его желание облагодетельствовать человечество (равное лишь пролетариату) по законам необходимости. В Марксе и марксизме он усматривал черты Великого Инквизитора, для которого главным оружием был “меч кесаря”.

Вместе с тем Бердяев признавал огромное значение марксистской теории классовой борьбы как исторической теории, заимствующей понятие класса из конкретно-исторической, капиталистической эпохи, как отражение заметного факта социальной жизни XX в. – резких классовых антагонизмов и классовой борьбы.

Однако применение этой теории в том виде, как она проповедует марксизмом, не может претендовать на социологическое обобщение. Для этого необходимо, полагал Бердяев, избавиться в марксистской теории от печати современной эпохи, изучить роль пролетариата в разные исторические эпохи и довести свои выводы до уровня абстрактной категории⁶².

Марксизм для Бердяева означал “совершенно новую формацию”, стоящую на более высоком культурном уровне в сравнении с другими умственными течениями русской интеллигенции. Марксизм являл собой процесс европеизации русской интеллигенции, приобщение к западной культуре.

В книге “Самопознание (опыт философской автобиографии)”, написанной в 1940 г. он писал: “Маркса я считал гениальным человеком и считаю и сейчас”⁶³. Это, однако, не означало бездумного и полного принятия марксизма, даже в период увлечения марксизмом. “Мой марксизм не был тоталитарным, я не принимал всего”, – писал он⁶⁴. В своих воспоминаниях Бердяев рассказывал, что Плеханов, с которым он встретился в период увлечения марксизмом, сказал ему, что с такой философией как у Бердяева нельзя остаться марксистом, поскольку, принимая марксову критику капитализма, его ши-

роту и перспективность, он решительно не соглашался с теорией классовой борьбы и ортодоксией марксизма, защищал свободу человеческого духа и творчества⁶⁵.

В марксизме Бердяев видел две стороны. Одна из них связана с экономическим детерминизмом, вторая – с мессианским призванием пролетариата.

Он подчеркивал, что власть экономики в человеческой жизни открыл не Маркс, он лишь обобщил это явление и придал ему универсальный характер, распространил свое верное суждение о роли экономического детерминизма в капиталистическом обществе на всякое общественное устройство. В этой универсализации частного Бердяев видел ошибку Маркса. Вместе с тем он подчеркивал, что экономический детерминизм Маркса имел особый характер, суть которого состояла в разоблачении иллюзий сознания. В качестве примера подобного рода он приводил Фейербаха, материализм которого разоблачал религиозное сознание. Часто бытующее утверждение о том, что марксизм всякую идеологию непосредственно выводит из экономики Бердяев признавал неверным. Идеологию Маркс выводит из классовой психологии, т.е. в социалистический детерминизм Маркс включает психологическое звено. Однако он признавал, что разработка учения о психологии – слабая сторона марксизма.

Вторая сторона марксизма – мессианское призвание пролетариата, – по мысли Бердяева, означает учение об избавлении, о грядущем совершенном обществе, в котором человек уже не будет зависеть от экономики. И, если детерминированность человека экономикой относится к прошлому и означает материализм, то, как замечает Бердяев, признание в мессианских свойствах пролетариата рычага, с помощью которого можно изменить в будущем мир, – свидетельство его идеализма.

Вера Маркса в активность человека, во всемогущество человеческой деятельности, Бердяев рассматривал как веру в дух, несовместимый с материализмом. Признание особой миссии пролетариата – квалифицировал как “настоящий миф о пролетариате”, как веру и религию. История прошлого, по пронизательному суждению Бердяева, для марксистов детерминирована экономикой, а будущего – связана с социальной активностью пролетариата, предвещавшего установление “царства свободы”.

Таким образом, в марксизме Бердяев усматривал “логическое противоречие”, т.е. соединение материалистических, научно-детерминистических, аморалистических элементов с элементами идеалистическими, моралистическими, религиозно-мифотворческими.

Существенное внимание Бердяев уделял вопросу восприятия марксизма в России. Русское восприятие марксизма, связанное с классовой точкой зрения, с субъективно-пролетарским мышлением, Бердяев рассматривал как полупросвещенный марксизм, поскольку

свойственные марксизму элементы социальной объективной науки не принимались во внимание.

Он отмечал, что марксизм в России был воспринят по-разному. Плеханов сосредотачивал внимание на развитии сознания революционного пролетариата, легальный марксист Струве – на развитии капиталистической промышленности, меньшевики – особенно дорожили объективно-научной, детерминированной стороной марксизма, полагая, с чем соглашался и Бердяев, что социалистическая революция возможна лишь в стране с развитой капиталистической индустрией.

В отношении русских марксистов к классическому марксизму Бердяев видел двойственность, “моральный конфликт”. “Как можно желать развития капитализма, приветствовать это развитие, – писал он, – и вместе с тем считать капитализм злом и несправедливостью, с которой каждый социалист призван вести борьбу?”⁶⁶. Эта двойственность, по мысли Бердяева, вытекала из двойственности самого классического марксизма при оценке капитализма и буржуазии.

Однако при рассмотрении этого вопроса Бердяев в определенной мере становится на защиту Маркса. Он признавал в Марксе сторонника эволюционной теории, четко и последовательно применявшего принцип историзма. Оценка буржуазии, как считал Бердяев, у Маркса менялась в зависимости от стадии развития капитализма – от прогрессивной до тормозящей и реакционной.

В связи с этим Бердяев формулирует чрезвычайно важную проблему, стоящую перед марксизмом: является ли марксистская идеология отражением экономической действительности, как и все другие идеологии, или она претендует на открытие абсолютной истины, независимой от исторических форм экономических интересов⁶⁷.

Ортодоксальный, тоталитарный марксизм большевиков, как считал Бердяев, являлся по-русски трансформированным марксизмом. Он воспринял прежде всего не научную, детерминистическую, эволюционную сторону марксизма, а мифологическую, религиозную сторону, “допускающую экзальтацию революционной воли, выдвигающую на первый план революционную борьбу пролетариата, руководимую организованным меньшинством, вдохновленным сознательной пролетарской идеей”⁶⁸. Этот марксизм всегда требовал исповедания материалистической веры, но в нем были и сильные идеалистические элементы. Бердяев отмечал, что опыт большевистской революции доказывал “великую” роль идей над человеческой жизнью, “если она тотальна и соответствует инстинктам масс”⁶⁹.

В марксизме-большевизме, – писал Бердяев, – пролетариат являлся не эмпирической реальностью (в России он был немногочислен), а идеей пролетариата, носителем которой было незначительное меньшинство, могущее при хорошей организации преодолеть

детерминизм социальной закономерности. Это воплотилось в коммунистической революции Ленина, которая совершалась не по Марксу, а во имя Маркса, и где миф о народе был заменен мифом о пролетариате.

Ортодоксальный, тоталитарный марксизм, подчеркивал Бердяев, запретил говорить о противоположности пролетариата и крестьянства, которое Маркс считал мелкобуржуазным классом. Крестьянство в советской России было объективно революционным классом, хотя правительство с ним постоянно боролось.

В промышленной отсталости России как преимущества для совершения социальной революции Бердяев усматривал русификацию и ориентализацию марксизма. В этом он видел отступление от классического марксизма и возвращение к теории Ткачева. Бердяев считал, что русский марксизм отличался не столько состраданием к угнетенному положению пролетариата, сколько верой в то, что он – грядущая сила и освободитель человечества.

Главная направленность марксизма оставалась прежней – искание царства социальной правды и справедливости, жертвостопособность, аскетическое отношение к культуре, целостное, тоталитарное отношение к жизни, определяемое главной целью – осуществление социализма⁷⁰.

“Многими головами” выше всех социалистов и лучшим из них, Бердяев признавал Лассалья. Он считал необходимым усвоить “дух” Лассалья, его умение стать на историческую точку зрения. В нем Бердяеву импонировал историзм и объективность в оценке общественных сословий и классов. Лассаль, подчеркивал Бердяев, признавал, что в разные исторические эпохи, разные классы являлись носителями мировой прогрессивной идеи, высоко оценивал историческую роль буржуазных классов и осуждал выступления трудящихся против буржуазии. Бердяев отвергал морализм социалистов, направленный на осуждение буржуазии и не признающий ее исторических заслуг⁷¹.

Современный социализм, т.е. социализм XX в., имеет, по Бердяеву, рефлекторную природу. “Социализм, – писал он, – плоть от плоти и кровь от крови буржуазно-капиталистического общества, явление внутри этого общества. Он целиком определяется строем этого общества и его внутренним движением. Он духовно остается в той же плоскости”⁷². Эта мысль пронизывает многие произведения Бердяева.

Социализм он считал лишь дальнейшим развитием индустриально-капиталистической системы, закономерным и неизбежным выводом всего буржуазного развития.

Эта общность проявлялась в единстве экономических интересов; “экономизм” служил базой существования как капитализма, так и социализма.

Социалисты в своих устремлениях всегда были буржуазны до самой своей глубины и никогда не поднимались “над уровнем буржуазного чувства жизни и буржуазных идеалов жизни”⁷³. Отличие со-

стояло в том, что социалисты защищали лишь равную для всех буржуазность, рационализированную и упорядоченную.

“Оргия наживы капиталистического общества, – писал Бердяев, – должна была породить социализм”. Буржуа и пролетария Бердяев называл близнецами. “Буржуазное” самочувствие и самопознание имущего есть такое же недолжное и дурное состояние, как “пролетарское” самочувствие и самосознание неимущего”⁷⁴.

Буржуазность социализма, по Бердяеву, проявлялась и в том, что социализм связал свою судьбу с классом, порожденным буржуазным строем и детищем капитализма – пролетариатом.

“Идеологи социализма, – писал Бердяев, – рабы необходимости, не знающие духовной свободы, – вообразили, что пролетариат, состоящий из пасынков капитализма, может быть классом-мессией”⁷⁵. Между тем этот класс отличается бедственным положением, он принижен нуждой, отравлен завистью, злобой и местью и лишен всякого творческого начала, из этих душевных стихий не может родиться высший человеческий тип; по своим душевным первоосновам пролетарский социализм “не благороден, низменен и корыстен; психология поднявшихся низов всегда неприглядна; в этой психологии христианское чувство вины каждого человека затемнено нехристианским сознанием пролетарской обиды”⁷⁶. Буржуазную психологию Бердяев считал “обратной стороной” пролетарской психологии.

Социальное движение, построенное на принципе классовой борьбы, культивирующей низменные инстинкты человеческой природы, он рассматривал как неизбежное понижение психического типа человека, отречение от духовной основы человеческой жизни, от традиционной духовной культуры.

Бердяев отмечал также, что суверенная воля народа подменяется при социализме суверенной волей одного класса – пролетариата, что в реальности является волей избранного меньшинства⁷⁷.

Социализм с капитализмом объединяет, по Бердяеву, материализм, безбожие, поверхностное просветительство, нелюбовь к духовной жизни, борьба за эгоистические интересы, весь его “внутренний дух”, упадок духовного торжества и переход культуры в цивилизацию⁷⁸.

Революционный социализм, его социалистически-религиозный пафос Бердяев связывает с атеистическим началом, с обоготворением и самоутверждением эгоистических устремлений человека и с “жаждой устроить мир не только помимо Бога, но и против Него”. Религия этого социализма является вероучением, решающим вопрос о смысле жизни, цели истории и проповедующим свою социалистическую мораль, философию, науку и искусство, подчинением всех сторон жизни “хлебу насущному”⁷⁹.

Бердяев признает величайшим провидением раскрытие сущности этого социализма Достоевским в легенде о Великом инквизиторе и в “Повести об Антихристе” Вл. Соловьева⁸⁰.

Наиболее законченной формой этого социализма, “предельного коллективизма”, является социал-демократия, исходящая из марксистского учения. Ее религия, а точнее лжерелигия, основана на необходимости организации новой жизни, экономического коллективизма, нового производства и распределения, новой культуры и уничтожения личности и духовных ценностей. “Ничего коллективизм, – писал он, – не хочет оставить в индивидуальную собственность самого человека” и никакое, даже самое тираническое и деспотическое государство не имеет подобных притязаний⁸¹.

Идеологию революционного социализма Бердяев называл идеологией материального бескачественного труда, враждебной духовному и качественному труду, так как здесь отрицается его творческая и религиозная природа. Этот социализм, по мысли Бердяева, не содержит идеи облагораживания труда, необходимости повышения его творческого и качественного начала; он игнорирует духовное состояние труженика, дисциплину труда, имеющую религиозные основы, отрицает иерархический строй труда, разделение труда, его духовные основы⁸². “Вы презираете духовный труд и его представителей, вы хотите, – обращался Бердяев к недругам по социальной философии, – поработить его труду материальному... И потому страшен социализм не только для капитала, он еще более страшен для духовного труда, для творчества, т.е. в конце концов для духа человеческого”⁸³.

Бердяев решительно выступил против защищаемого социалистами принципа равенства. В решении этого вопроса он исходил из религиозной посылки о том, что людям не дано знать, почему один богат, а другой беден и тем более стремиться к “исправлению” этой несправедливости Промысла.

Бердяев полагал, что на известной ступени развития материальных производительных сил неравенство способствует удовлетворению потребностей народа. Всякое уравнивание, по его утверждению, ведет к понижению производительности труда, а, следовательно, к истреблению источника народного богатства. Сам по себе факт существования немногочисленного слоя имущих не может служить причиной социальных бедствий; для подъема материального благосостояния народа необходимы развитие производительности труда и производительных сил.

Социальный вопрос, делает вывод Бердяев, “реально разрешим прежде всего на путях производства, а не распределения”⁸⁴.

Развитие “по низшим”, которого требуют революционеры-социалисты, для Бердяева означает разгром культуры и понижение уровня жизни. “Принудительное уравнивание человека некультурного и грубого и человека утонченной и высокой культуры может требовать лишь мстительная злоба и ненависть”⁸⁵. Именно неравенство он считал условием развития культуры. Стремление к обеспечению достойного существования народа не требует равенства, а революционная борьба за справедливость рождает злые чувства.

Бердяев считал, что в России невозможно построить истинный социализм, так как Россия является бедной, отсталой и малокультурной страной⁸⁶. Русский революционный социализм, как и русское революционное народничество, он считал порождением отсталости, как остаток первобытного коммунизма, несвободного от чувства орды и не прошедшего через личную культуру.

Для строительства социализма необходимо высокое развитие производительных сил, и интенсификация культуры, порожденная народным богатством.

“Социализм, – писал он, – есть роскошь, которую могут позволить лишь богатые, но предполагает непреложные и объективные условия (уровень развития производства, культуры и сознания)”⁸⁷.

“Социалистический эксперимент, производимый над отсталой и бедной страной, каковой являлась Россия, – писал он в 1917 г., – по существу реакционный”⁸⁸ и многое раскрывает и многому научает: нельзя “со злобой и ненавистью” отвергать все лучшее, что было в буржуазном мире и приумножать его грехи и болезни и низости”⁸⁹.

Социализм бедности представлялся ему, впрочем, как и многим его современникам, осуждающим марксистский социализм, самым страшным и “недолговечным” социализмом. Наиболее выносливым с точки зрения его эффективности и жизнеспособности являлся социализм от избытка⁹⁰. Но к этому надо быть готовым не только экономически. Русские люди должны пройти школу гражданства. Человек, размышлял Бердяев, наследует вечное, а не класс, класс разлагает все ценности. Гипноз классовой идеи коверкает и самый социализм.

В основу социализма, если он возможен и допустим, должен быть положен человек, а не класс⁹¹. Этот социализм призван организовать питание человечества, целесообразную экономическую жизнь, решающую проблему “хлеба насущного и не претендующую заменить хлеб насущный хлебом земным”. Он должен быть нейтральным в религиозном смысле, образовать нейтральную религиозную среду, где происходит накопление богатств и нарастание социальной справедливости, в чем заключается “очеловечение” человечества, не обоготворять материю и орудия производства.

Подобный социализм Бердяев считал сохраняющим исходную человеческую правду, существующим с благоволения Бога и соединенным с религиозным сознанием⁹².

Возрождение России Бердяев связывал с религиозным сознанием, с социализмом, но с социализмом не коллективистского, а персоналистского типа, во главе которого стояла человеческая личность.

¹ О Бердяеве создана большая литература. См., например: *Полторацкий Н.П.* Бердяев и Россия (Философия истории России у Н.А. Бердяева). Нью-Йорк, 1967; *Маслин М.А., Андреев А.Л.* О русской идее: Мыслители русского зарубежья о России и ее философской культуре // О России и русской философии

- ской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990; *Сикорский Б.Ф.* Н.А. Бердяев о роли национального характера в судьбах России // Социально-политический журнал. 1993. № 9/10; *Могильницкий Б.Г.* Бердяев о Русской революции // Новая и новейшая история. 1995. № 6; *Гаман Л.А.* Историософия Н.А. Бердяева: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1998; *Ширко К.Н.* Н.А. Бердяев о природе российской цивилизации. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2002 и др.
- ² *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского // Собр. соч. Умка-Press, 1997. Т. 5. С. 329.
 - ³ *Бердяев Н.А.* Духовные основы русской революции // Собр. соч. Т. 4. С. 119.
 - ⁴ Там же. С. 114.
 - ⁵ *Бердяев Н.А.* Алексей Степанович Хомяков // Собр. соч. Т. 5. С. 16, 23.
 - ⁶ Там же. С. 12, 13.
 - ⁷ Там же. С. 15–16.
 - ⁸ Там же. С. 20.
 - ⁹ *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского. С. 331.
 - ¹⁰ *Бердяев Н.А.* Алексей Степанович Хомяков. С. 189.
 - ¹¹ Там же. С. 21. Сам Бердяев не идеализировал Древнюю Русь, а видел в ней высокий тип развития, но ступень этого развития не считал высокой.
 - ¹² *Бердяев Н.А.* Алексей Степанович Хомяков. С. 83.
 - ¹³ Там же. С. 188.
 - ¹⁴ Там же. С. 190.
 - ¹⁵ Там же; *Бердяев Н.А.* Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. М., 1997. С. 57–58.
 - ¹⁶ *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского. С. 205.
 - ¹⁷ *Бердяев Н.А.* Алексей Степанович Хомяков. С. 193–194.
 - ¹⁸ *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского. С. 210.
 - ¹⁹ Там же. С. 233–234.
 - ²⁰ Там же. С. 262.
 - ²¹ Там же. С. 263.
 - ²² Там же. С. 303.
 - ²³ Там же. С. 282–283.
 - ²⁴ *Бердяев Н.А.* Русская идея. С. 114–117.
 - ²⁵ Там же. С. 118.
 - ²⁶ Там же. С. 119.
 - ²⁷ Там же. С. 112.
 - ²⁸ Там же. С. 102–103.
 - ²⁹ *Бердяев Н.А.* Духовные основы русской революции. С. 33.
 - ³⁰ Там же. С. 125.
 - ³¹ Там же.
 - ³² Там же. С. 94.
 - ³³ Там же. С. 93.
 - ³⁴ *Бердяев Н.А.* Философия неравенства: Письма к недругам по социальной философии // Собр. соч. Париж, 1990. Т. 4. С. 279; *Он же.* Духовные основы русской революции. С. 94.
 - ³⁵ *Могильницкий Б.Г.* Н.А. Бердяев о Русской революции // Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. М., 1996; *Он же.* Н.А. Бердяев о Русской революции // История исторической мысли XX века: Кризис историзма. Томск, 2001. Вып. 1.
 - ³⁶ *Бердяев Н.А.* Судьба России: Опыты по психологии войны и национальности. М., 1990. С. 183.
 - ³⁷ Там же. С. 47.
 - ³⁸ Там же. С. 49.

- 39 Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире // К пониманию нашей эпохи. Париж, 1934. С. 6.
- 40 Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. С. 153.
- 41 Там же. С. 68.
- 42 Там же. С. 182–188.
- 43 Бердяев Н.А. Философия неравенства... С. 261–262.
- 44 Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. С. 30, 40–41.
- 45 Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. С. 104–105.
- 46 Бердяев Н.А. Там же. С. 172–173.
- 47 Там же. С. 172–173.
- 48 Бердяев Н.А. Русская идея... С. 125–126.
- 49 Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. С. 100.
- 50 Бердяев Н.А. Русская Жиронда // Опыты философские, социальные и литературные. М., 2002. С. 437–438.
- 51 Там же. С. 438.
- 52 Там же. С. 438–441.
- 53 Бердяев Н.А. Новое средневековье. М., 2002. С. 260.
- 54 Там же. С. 262.
- 55 Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность. М. 1999. С. 160–161, 179–180.
- 56 Там же. С. 159.
- 57 Там же. С. 161.
- 58 Там же. С. 176.
- 59 Бердяев Н.А. Новое средневековье... С. 286.
- 60 Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 495–496.
- 61 Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность. С. 84.
- 62 Бердяев Н.А. Опыты философские, социальные и литературные. С. 134–135.
- 63 Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 118.
- 64 Там же. С. 122.
- 65 Там же.
- 66 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 85.
- 67 Там же. С. 85.
- 68 Там же. С. 88.
- 69 Там же.
- 70 Там же. С. 89.
- 71 Бердяев Н.А. Философия неравенства... С. 482–483.
- 72 Там же. С. 463; Бердяев Н.А. Новое средневековье. С. 237; Он же. Новое религиозное сознание и общественность... С. 177; Он же. Духовные основы русской революции. С. 21–23.
- 73 Бердяев Н.А. Философия неравенства... С. 463.
- 74 Там же. С. 466–467.
- 75 Там же. С. 463.
- 76 Там же. С. 465–466; Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции... С. 24–25.
- 77 Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. С. 496.
- 78 Бердяев Н.А. Новое средневековье. С. 237.
- 79 Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность... С. 128–130.
- 80 Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. С. 26.
- 81 Бердяев Н.А. Философия неравенства... С. 476.
- 82 Там же. С. 489–490.
- 83 Там же. С. 491; Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность... С. 166–167.

⁸⁴ Бердяев Н.А. Философия неравенства... С. 484–485.

⁸⁵ Там же. С. 484.

⁸⁶ Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции... С. 186–187.

⁸⁷ Там же. С. 43.

⁸⁸ Там же. С. 48–52.

⁸⁹ Там же. С. 49–50.

⁹⁰ Бердяев Н.А. Философия неравенства... С. 484.

⁹¹ Там же. С. 64.

⁹² Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность... С. 128, 177.

Л.А. Сидорова

ДУХОВНЫЙ МИР ИСТОРИКОВ “СТАРОЙ ШКОЛЫ”: ЭМИГРАЦИЯ ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ. 1920-е годы

Бури революции и гражданской войны забросили на чужие берега сотни тысяч людей. Неприятие новых общественных устоев, тяготы материальной жизни, выдворение большевиками неугодных, стихия массового бегства, увлекавшая человека даже помимо его воли, – вот далеко не полный перечень потоков, из которых складывалась русская эмиграция.

Изгнанниками стали и многие историки. «Что нас заставило покинуть Россию? – спрашивал М.И. Ростовцев в своей статье “Амнистия” (1922 г.) и сам же отвечал на него. – Конечно же, не коммунистическая доктрина как таковая. У нас не было бы трудностей с этими принципами дома, если бы нам дали шанс бороться с ними силой наших убеждений¹». Причины отъезда либо высылки лежали главным образом в политико-экономической сфере.

Историческое сообщество России было расколото; его эмигрантская ветвь была вынуждена продолжать свою научную деятельность в отрыве от нормальных условий исследования, в изоляции от русских библиотек и архивов. Оставшиеся на родине историки, превратившиеся в стране победившего марксизма в историков “старой школы”, теснимые поколением “красных профессоров”, также стали своеобразными эмигрантами, только в сфере духовной.

Это явление получило и собственное наименование. С.П. Мельгунов в своих «Записках “внутреннего эмигранта” (1918–1921 гг.)» писал: «Бухарина ли в Советской России или Кускова и Пешехонова в эмиграции стали называть “внутренний эмигрант”, но термин этот довольно верно определяет настроения некоторых общественных кругов после октябрьского переворота – никакого политического соглашения с партией большевиков, никакого участия в административной власти»².

Таковыми ощущало себя большинство оставшихся в советской России историков “старой школы”; в этом же их обвиняли историки-марксисты, глава которых, М.Н. Покровский, писал 19 сентября 1928 г. в редакцию журнала “Историк-марксист”: «Между ним (Е.В. Тарле. – Л.С.), Ростовцевым и Платоновым по существу нет никакой разницы, а формальная разница, что один эмигрант “внешний” (Имеется в виду М.И. Ростовцев. – Л.С.), а другие “внутренние”»³. Действительно, с позиций воинствующего марксизма не было принципиальных отличий между историками “старой школы” внутри страны и за ее пределами. Вместе с тем, изучение их мироощущения убеждает, что при преобладании общих черт были и особенности.

Главной составляющей гражданской позиции этого поколения историков стала обостренная любовь к России, несмотря на неприятие современных им политических реалий. Ностальгия была общим чувством историков-эмигрантов, как и большинства русской эмиграции. “Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются руки и вянет душа, душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь. Вот мы – смертью смерть поправшие! Думаем только о том, что теперь *там*. Интересуемся только тем, что приходит *оттуда*”, – так передавала Н.А. Тэффи царившую в российском зарубежье атмосферу⁴. В.Ф. Ходасевич писал М.О. Гершензону в своем письме из Саарова 29 ноября 1922 г.: “Мы все здесь как-то несвойственно нам, неправильно, не по-нашему дышим – и от этого не умрем, конечно, но – что-то в себе испортим... Я здесь не равен себе, а я здесь минус что-то, оставленное в России”⁵.

Обостренное чувство утраты родины было связано с качественным составом эмигрантов, которые включали в себя значительные интеллектуальные силы, что с неизбежностью обуславливало “устойчивое и эмоционально окрашенное отношение к России”⁶. Неизменным было стремление сохранить неразрывную духовную связь с родиной: “Мы *не* оторвались от нашей *Родины* и, слава Богу, никогда не сможем оторваться от нее”, – писал философ И.А. Ильин и так пояснял нерасторжимость этой связи: “...Ведь мы сами – *живые куски* нашей России”⁷.

Но реальное течение жизни с неизбежностью обособляло русское зарубежье. Историки же “старой школы”, оказавшиеся во внутренней эмиграции, сознательно отделяли себя от новой России. В день созыва Учредительного собрания, 5 января 1918 г., Ю.В. Готье, отвергавший произошедшие в стране перемены, записал в своем дневнике: “Я весь день сидел дома, много занимался, и как будто вне дома ничего не было”⁸. А вот строки из дневника С.Б. Веселовского (5 апреля 1919 г.): “Сегодня воскресенье, я свободен и с удовольствием сижу дома и отдыхаю за книгами. Вообще за последнее

время я никуда не хожу, много читаю и делаю выписки. Только за чтением отдыхаешь от кошмаров современности”⁹.

Чтение, научная работа были главными отдушинами для “старой” профессуры в обстановке пролетарской диктатуры. Такое настроение было характерно не только для историков. Вот дневниковая запись В.И. Вернадского, сделанная ученым 24 марта 1921 г.: «На моем докладе о геохимии много старых учеников и товарищей. Было и приятно и тяжело их видеть. У всех тяжелое настроение, и в то же время всюду видишь мелочи приспособляемости к жизни, и неприятные, и нелегкие. ...Вчера очень на меня неприятно подействовала отсрочка отъезда в Питер. И пришлось в конце концов сделать усилие, чтобы взять себя в руки. Читал поэтов (Владимир Соловьев, Баратынский). Фаррара – “Darkness and Dawn”. Но совершенно с собой справился и сейчас силен духом и готов к работе»¹⁰.

Такая позиция позволяла сохранять иллюзию недавнего, но кнувшего в лету прошлого, находиться в пределах своей духовной автономии, отстраняясь от чуждых идеалов. Она смягчала трагизм положения историков “старой школы”, но одновременно создавала и новые душевные переживания, связанные с утратой своего положения в обществе. Эмигранты, с горечью признавал Ф.А. Степун в своих “Мыслях о России”, – это “души, еще вчера пролежавшие по духовным далям России привольными столбовыми дорогами, ныне же печальными верстовыми столбами торчащие над своим собственным прошлым, отмечая своею неподвижностью быстроту несущейся мимо них жизни...”¹¹ Думается, что это суждение было справедливо для большинства русской интеллигенции как за рубежами, так и в пределах России.

Но не думать о России, ее прошлом и будущем, не анализировать причин и последствий 1917 г. они не могли, тем более что к этому их призывал профессиональный интерес и долг. Более того, прошлое оказывалось единственной нитью, связывавшей зарубежье с Родиной; для оставшихся в России оно олицетворяло традиции русской государственности и культуры. Тема исторических судеб России стала в эпицентре внимания историков, философов, писателей и публицистов.

Бытовавшие в дореволюционной России общественные идеалы, представления о народе, роли революции претерпели ряд существенных изменений. Преклонение перед народом, отрицание самодержавия, блоковское ожидание революции как невесты – все это уже не представлялось безусловно позитивным. Питавшие общество на протяжении полувека стереотипы были разрушены; они стали, в свою очередь, предметом критики.

Кризис “народолюбия” стал источником острых переживаний для российской интеллигенции в целом. П.Б. Струве, касаясь этой проблемы, видел ее истоки в том, что “интеллигенция выросла во вражде к государству, от которого она была отчуждена, и в иде-

ализации народа, который был вчерашним рабом, но которого, в силу политических и культурных условий и своего развития, она не знала”¹².

Разрушение народнических иллюзий было очевидным. “Лучшие люди России пережили страшное, небывалое крушение идеалов, — отмечал М.И. Ростовцев в статье “Практика и цели большевизма” (написана не ранее 25 октября 1918 г.). — Всю жизнь они работали для того, чтобы дать народу свободу и культуру, чтобы укрепить и облагородить Россию. Когда, казалось, наступил момент для дружной общей работы на пользу России, все те, кто работал для народа, очутились лицом к лицу с озверевшим врагом, у которого по отношению к ним оказалось одно чувство, — чувство ненависти, желание унижить и оскорбить всех, кто морально и интеллектуально был выше, ограбить тех, кто имел больше”¹³.

Проблема народа и социальной революции обсуждалась не только на страницах научных и публицистических изданий. Она стала темой повседневных бесед, дневниковых записей, переписки. В апреле 1917 г. С.Б. Веселовский писал в своем письме С.Ф. Платонову: “Как я пережил последний месяц? В общем — как все. Разница, пожалуй, та, что не поддерживала и не поддерживает вера в возрождение, в поворот к лучшему. Сознаюсь в своем пессимизме. Некоторым оправданием или смягчающим обстоятельством мне служит то, что я стал пессимистом давно, еще с 1904–1905 года”¹⁴. Отвечая на это письмо, С.Ф. Платонов признавался С.Б. Веселовскому, что разделяет его опасения: “Пессимист и я. Не пугают меня теоретические кликуши, пугает “стихия” некультурная и слепо-злая и эгоистичная. Очень она стала заметна...”

Ну, да что же можно делать нашему брату, кабинетному человеку, в настоящую минуту? Только ждать”¹⁵.

Такие же печальные выводы из современной действительности делал и Н.П. Лихачев, добавляя, что “отчаяние заползает в душу”. Он писал в письме А.В. Орешникову: “Царство небесное Михаилу Васильевичу (Никольскому (1848–1917). — Л.С.)! Очень добрый и оригинальный был человек. Теперь в России нет ассириолога. По-старому судя очень горько, а по-новому — для обращающегося в первобытное состояние народа — жалеть нечего — наука и культура — предмет роскоши — ни рабочим, ни солдатам, ни крестьянам не нужный и не понятный”¹⁶.

В обстановке социального реванша историки “старой школы” были лишены привычного и необходимого для научной и преподавательской деятельности уклада жизни. Профессора-историки, за небольшим исключением, и до Октябрьской революции не были богатыми людьми. Еще в благополучном 1913 г. А.Е. Пресняков писал С.Б. Веселовскому по поводу финансирования научных изданий: “Весьма сомневаюсь в исполнении самоиздания и самооплаты. Много ли у нас научных работников, которые могут позволить себе та-

кую роскошь? Не живет ли большая их часть – за редкими исключениями – заработком, из которого свободные десятки рублей, если таковые оказываются, имеют назначение весьма существенное – покупку книг?”¹⁷ Однако зарабатываемых средств хватало на достойную жизнь, позволявшую поддерживать и развивать свой профессиональный потенциал. Достаточно поместительные квартиры, наличие прислуги, прием гостей, домашние концерты и научные кружки на дому, посещение театров и пр. – были неотъемлемы от профессорского бытия.

Вот весьма показательная зарисовка образа жизни “старой профессуры”. М.А. Дьяконов, в своем письме от 28 апреля 1913 г. благодаря С.Б. Веселовского за предложение устроить его в Москве на своей квартире, писал: “Откровенно говоря, я хотел воспользоваться Вашим предложением ввиду предстоящих в Москве торжеств (Имеется в виду празднование 300-летия Дома Романовых. – Л.С.) и большого съезда к ним с разных сторон. Возможно, что при таких условиях в гостиницах и не так легко найти приют. Меня смущает лишь одно: если квартира Ваша будет пустовать, то мое в ней присутствие может оказаться неудобным за отсутствием в квартире прислуги. Буде возможно будет воспользоваться услугами швейцара или его жены, или же дворника, то дело бы с самоваром легко устроить; а дальнейшего и не требуется”¹⁸. Таким образом, достаточная непритязательность в быту не отменяла правил его устройства.

В годы Октябрьской революции и гражданской войны все кардинально изменилось. Шутливая запись Е.Я. Кизеветтер, супруги А.А. Кизеветтера, сделанная ею в своем дневнике 13 декабря 1905 г. в разгар Декабрьского вооруженного восстания в Москве, что “революция одним хороша: не надо в гости ходить, и к нам гости не ходят. Так спокойно можно сидеть дома. Чувствуешь себя в безопасности, знаешь, что никто не явится”¹⁹, едва ли могла бы появиться после потрясений 1917 г.

Дом перестал быть убежищем от окружающих невзгод, более того, тревога за его сохранение неотступно следовала за русскими историками. “Я прозябаю, трепещу в связи с вопросом о национализации дома”, – писал Н.П. Лихачев в письме А.В. Орешникову 19 января 1919 г.²⁰ Дневник Ю.В. Готье сохранил печальную летопись вытеснения историка из своего жилья. “Сегодня я в последний раз пишу в своем кабинете, в котором работал пять лет”²¹, – говорится в записи от 21 марта 1918 г. На следующий день Ю.В. Готье запишет: “Весь день в суматохе с переносом вещей в квартире. К вечеру более или менее убрались, имея уже не пять комнат, а три, и начали новую полупролетарскую жизнь. Жильцы въехали вечером; пока кажется, что будем ладить”²², а еще почти через год, 27 февраля 1919 г., опять возвращение к тому же сюжету: “Два дня прошли в переезде, и вот мы теперь стеснены в 2-х комнатах, в которых еле помещается та часть имущества, которая нам необходима для жизни.

Извольте при таких условиях заниматься и двигать науку, т.е. исполнять ту обязанность, которую с нас не снимают и большевики”²³.

Однако внешние обстоятельства не прервали традиций неформального общения. “Старая профессура” продолжала собираться в своих домах, обсуждая научные и политические проблемы и просто отдыхая. “Вчера мы обедали с Любавским в тесном кругу, в квартире Веселовского; предлогом было поднесение ему книг, а настоящей причиной – отвести душу, забыться хотя бы на один вечер”²⁴, – записал в своем дневнике Ю.В. Готье 10 марта 1918 г.

Случалось, что такие частные собрания заканчивались арестами. Об одном таком эпизоде, произошедшем 31 августа 1919 г., рассказывает Ю.В. Готье: “Кизеветтер с женой пришли неделю назад к Петрушевским, и сейчас же (дело было в 6 часов вечера) вслед за их приходом (за ними, вероятно, следили) туда нагрянула ЧК и арестовала гостей и хозяина. В этот вечер у Петрушевских должны были быть гости; пришел С.Б. Веселовский, с нотами, чтоб играть на рояле, и иностранной валютой в кармане – сцапали и его; потом пришла Р.П. Богословская, также попавшаяся в ловушку; наконец, во втором часу ночи, М.М. Богословский явился узнать, что сделалось с его женой, и был схвачен засадой. Такие засады устраиваемы в домах очень многих арестованных. Богословский и Петрушевский, которые не принимали участия в политике (а М.М. даже и не кадет), будут на днях выпущены. Но лицам более крупным, особенно кадетам, будет выбраться гораздо труднее”²⁵.

Таким образом, цвет московской профессуры оказался под арестом. На следующий день, 1 сентября, С.Б. Веселовский пишет из Бутырок (1-й коридор, 3-я камера) А.И. Яковлеву, обращаясь с просьбой организовать передачу воды и питания и переговорить с Д.Б. Рязановым о возможности взять его на поруки с сыном: “Поговорите с ним об этом, если он не получил заявления, посланного нами в Главное управление архивным делом”²⁶. Инцидент окончился благополучно, но тревожное ожидание возможных арестов оставалось. Страх перед политическими преследованиями составлял отныне неотъемлемую часть мироощущения “внутренних эмигрантов”.

Исследовательская работа в обстановке, когда речь шла подчас о физическом выживании, была возможна лишь благодаря глубокой увлеченности историков своим предметом. “Прозябаю, и даже механическая научная работа плохо удается, – писал Н.П. Лихачев 17 июня 1919 г. – Хотел было составить подробные программы по сфрагистике и дипломатике. Начал – и плохо подвигается. Понимаю теперь, что такое ночные страхи и холодный пот. С продовольствием бьюсь. Пока я достаю, но все хуже и хуже”²⁷. Но своих занятий, которые являлись важнейшей составляющей их духовного мира, они не оставляли.

Научный труд придавал русским историкам силы в тяжелейшие годы, когда, как писал в 1920 г. М.А. Вишняк, люди “...утратили рав-

новесие не только физически, но и морально. Не только прежние российские кумиры померкли. Смутились умы и души. Берутся под сомнение стихийнейшие желания человека – жить и творить”²⁸. Историки “старой школы” не прерывали своих архивных изысканий, преподавательской деятельности, участвовали в работе по сохранению архивов. «Продолжаю заниматься послужными списками дьяков, – записал в своем дневнике С.Б. Веселовский 16 февраля 1918 г. – Это занимает мою мысль и дает некоторое успокоение, хотя по временам это занятие кажется нелепым, несвоевременным и ненужным будущей России.

Ну, наплевать. Живу и даю, что могу и к чему привык. Не моя вина, если кто не понадобится. Да и сам я едва ли буду в состоянии, в моем возрасте, приспособливаться к жизни, если она будет мало похожа на прежнюю и не будет нуждаться, как раньше, в таких специалистах и “плодах культуры”, как я»²⁹. Та же мысль выражена в письме М.М. Богословского А.С. Лаппо-Данилевскому от 3 мая 1918 г.: “Только в научной работе и я нахожу душевное равновесие, и большое счастье, что у нас такая работа есть, я всецело погружен в упомянутую выше биографию Петра, которая начинает, однако, меня пугать своими размерами”³⁰.

Трудно приходилось и историкам-эмигрантам. “Я знаю некоторых историков, которые работают садовниками”³¹, – писал М.И. Ростовцев в статье “Русская наука в изгнании”. Но, как восклицал в своем дневнике В.И. Вернадский 22 ноября 1921 г., находясь в Петрограде, “разве можно сравнивать наши нечеловеческие условия с ихними!”³². Переписка историков напоминает мартиролог. Сообщения о смерти того или иного ученого-историка постоянно появляются на страничках писем. М.И. Ростовцев писал в статье “Мученики науки в Советской России. В память об умерших друзьях и коллегах”: «Получаю от времени до времени письма бежавших из большевистского рая, где так пышно цветут науки и искусства, учителей моих, коллег и учеников. И каждое письмо содержит прежде всего “синодик” – сухие списки погибших с однообразными приписками: умер от голода, расстрелян, покончил самоубийством. Десятки имен – одно крупнее другого, десятки образов самоотверженных работников на ниве науки и просвещения, профессоров-идеалистов, в полуннице героически несших свой крест апостолов знания»³³.

“Вы пишете о смертях, – откликается Н.П. Лихачев на письмо А.В. Орешникова 16 декабря 1919 г., – здесь самым естественным образом вымирают ученые по несколько человек к факультетскому заседанию”³⁴. И вот его другое письмо тому же адресату, от 22 августа 1920 г.: “От недоедания умерли знаменитые Лаппо-Данилевский, Смирнов, Дьяконов, к ним в одну неделю присоединились столь же знаменитые в своих специальностях – Тураев, Марков, Чичагов. Вчера говорили, что Шахматов при смерти.

Превосходный режим!

В честь Тураева было торжественное заседание в Академии. Выяснили чуть ли не мировое значение покойного, были попытки даже произвести его не то в интернационалисты, не то в сверхнационалисты.

Зала была полна. Много было ученых, но что за лица! Потрепанные, изможденные, в разнообразных изношенных до дыр костюмах, почти все в обуви, постепенно превращающейся в опорки! Не мало кандидатов на чествование!³⁵”.

Трагическое мироощущение в первые послереволюционные годы было характерной чертой духовной жизни русских историков. Оно захватывало даже тех из них, кого, казалось бы, обошли стороной большие беды. С.Ф. Платонов разделял общее настроение, хотя, как он сам писал в “Автобиографической записке” (1928 г.), “переворот 1917 г. и ломка старого строя, начатая в 1918 году, пощадили меня и мою семью, и среди общих лишений, испытанных русским обществом в период блокады и голода, я не потерял своей библиотеки и привычной оседлости. Я мог продолжать преподавание в Университете и написал свою монографию о Борисе Годунове, напечатанную в 1921 г.”³⁶

С введением нэпа стала нормализовываться бытовая сторона жизни историков, не перестававших быть внутренними эмигрантами в своей стране. В противовес нигилизму большевиков в отношении традиций старой России они соблюдали православные праздники с их обрядовой стороной. В тяжелом 1919 г. Ю.В. Готье с радостью констатировал, что “удалось вспомнить старую масленицу и съесть вволю блинов”³⁷, а 5 января 1922 г. он записал в дневнике: “Рождественские приготовления в нынешнем году шире и больше, чем в прошлом. Во-первых, больше денег; во-вторых, все можно купить, поэтому готовится елка и куплен гусь”³⁸.

Русские историки за рубежом не испытывали ограничений в отношении свободы личности, но проблема сохранения традиций русской духовности оказалась не менее сложной. М.И. Ростовцев в статье “Нынешний статус российских университетов” (1920 г.) писал: “Я так настойчиво, но, к сожалению, без особого успеха борюсь, стараясь сделать так, чтобы эмигрантская молодежь не забыла Россию, не растворилась бы в океане западноевропейской и американской интеллектуальной жизни, а взяла бы у Запада все, что он может дать. Они должны быть готовы к возвращению в Россию, к тому, чтобы работать дома”³⁹.

В этих целях историки-эмигранты (А.А. Кизеветтер, И.И. Лаппо, Е.Ф. Шмурло) организовали в Праге целый ряд научно-просветительских и научных учреждений и среди них – Русский заграничный исторический архив (1924 г.), Русское историческое общество (1925 г.). В 1920-е годы в Белграде проходили съезды науки и культуры, в 13 странах русской эмиграции были проведены так называемые “Дни русской культуры”, на которых отмечались памятные

даты, посвященные А.С. Пушкину, Л.Н. Толстому, русским историкам Н.М. Карамзину, С.М. Соловьеву, А.А. Корнилову и др. Было отмечено такое знаменательное для русских ученых событие, как 175-летие Московского университета, соблюдалась традиция празднования Татьянина дня и др.⁴⁰

П.Б. Струве считал возможным даже героизацию минувшего, что было чревато нарушением исторической перспективы и объективности. Но здесь уже накладывала свою длань политика. “Только через культ и идеализацию прошлого в его целом и в его непрерывности может возродиться русский национальный дух, – писал он в работе “Прошлое, настоящее, будущее. Мысли о национальном возрождении России”. – Самое злостное, самое ядовитое, самое ужасное в большевизме, – а большевизм во всех его выражениях есть подлинное существо революции, – продолжал П.Б. Струве, – есть преступный, отцеубийственный разрыв с великим национальным прошлым, которое в смрадную эпоху разрушения, переживаемую нами, есть единственное хранилище и прибежище национального духа”⁴¹.

Прошлое России занимало большое место в духовной жизни историков “старой школы” не только как способ поддержания русской культурной традиции и патриотизма. В нем они искали причины и из него пытались объяснить произошедшие с Родиной катаклизмы. “Россия переживает в начале XX века глубочайшее потрясение, и взоры наши *естественно* (Курсив мой. – Л.С.) обращаются за триста лет назад, в эпоху первой великой русской смуты, которая предшествовала воцарению дома Романовых”⁴², – говорилось в работе П.Б. Струве “Исторический смысл русской революции”.

Но такой методологический подход к оценке настоящего и будущего России содержал опасность искажения действительности. Исходя из своего опыта изучения французской историографии, Е.В. Тарле в статье “Очередная задача” (1922 г.) писал: “Психологически дело начиналось с поисков аналогий, со стремления понять пережитое, изучая antecedенты, – а затем, сплошь и рядом нечувствительно, история переходила в аллерию и криптограмму. Вся французская историография первой трети, если не первой половины XIX века, развивалась под знаком той катастрофы, которая в последнее десятилетие предшествовавшего столетия покончила со старой Францией и начала новую”⁴³. Поиск “уроков истории”, по мнению П.Г. Виноградова, мог и не причинить вреда, но всегда являлся теоретически необоснованным⁴⁴.

Настоящее, а именно революция со всеми вытекающими из нее последствиями, было главным предметом раздумий и профессионального анализа историков “старой школы” вне зависимости от того, где они работали – в России или в эмиграции. “Взбудораженное сознание современников жадно, хоть и растерянно, ищет разума “переживаемого момента”⁴⁵, – писал А.Е. Пресняков в 1920 г.

“Оно, – справедливо замечал он, – дается с некоторой ясностью, конечно, лишь по достижении процессом перелома той или иной относительно завершенности”⁴⁶.

Горький опыт потрясений революций, гражданской войны и эмиграции не мог не вызвать раздумий о *всякой революции вообще*. Февраль и Октябрь 1917 г. заняли свое место в цепи мировых потрясений. Судьба российской революции невольно наталкивала на сопоставления с английской и Великой французской революциями, высокие цели и нравственные идеалы революционеров соизмерялись с жертвами революций. “История революций в бесконечных вариациях и видоизменениях, – приходит к выводу С.Л. Франк, – повторяет одну и ту же классически точно и закономерно развивающуюся тему: тему о святых и героях, которые, горя самоотверженной жадной благодетельствовать людей, исправить их и воцарить на земле добро и правду, становятся дикими извергами, разрушающими жизнь, творящими величайшую неправду, губящими живых людей и водворяющими все ужасы анархии или бесчеловечного деспотизма”⁴⁷.

Вдумчивый мыслитель, С.Л. Франк отметил широкое распространение в среде русской эмиграции “недуга сужения духовного горизонта”, только “с обратным знаком: для очень многих теперь добро тождественно с правым, а зло – с левым”⁴⁸. Более того, он видел разрушительную силу не только революции, но и контрреволюции. Когда последняя “овладевает душами как абсолютное начало, – был уверен С.Л. Франк, – она способна стать таким же насильственным подавлением жизни, революцией с обратным содержанием”⁴⁹.

События 1917 г. в среде историков-профессионалов первоначально получали оценку эмоциональную, связанную с принятием или неприятием произошедшего и зависящую, в первую очередь, от личных политических убеждений и предпочтений. Февральская революция была встречена большинством из них положительно. “Дорогой Степан Борисович, – обращался М.А. Дьяконов в письме к С.Б. Веселовскому 10 марта 1917 г. – Итак, свершилось. У нас новый строй вместо сгнившего бюрократического самодержавия. Дай Бог ему, этому новому строю (а не самодержавию), долгой жизни и успеха”⁵⁰. Для П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера и его единомышленников день 27 февраля 1917 г. знаменовал новую эру русской истории и был всенародным национальным праздником, вне зависимости от того, “как пришла революция – сложное явление, сотканное из глупости и близорукости старого режима, недовольства страны, ненависти угнетенных классов, энтузиазма революционной молодежи, полицейской провокации и неприятельской интриги”⁵¹.

Были и противоположные отклики. Ю.В. Готье так оценивал события в июле 1917 г.: “Вынуты душа и сердце, разбиты все идеалы. Будущего России нет; мы без настоящего и без будущего”⁵². Не менее резко отзывались и ученые в эмиграции, например, Е.В. Спек-

торский или П.Б. Струве. По словам последнего, эта революция, каковы бы ни были идеи, ее вдохновлявшие, была разрушением и деградацией всех сил народа, материальных и духовных”⁵³.

Перспективы буржуазно-демократического развития России после Февральской революции оценивались весьма осторожно даже историками, принявшими ее. В приведенном выше письме М.А. Дяконов выражал сомнения в успехе новой власти, потому что, писал он своему младшему коллеге, “мы-то остались прежними с прежней ленью, с горячими порывами уничтожить старое сгнившее, со страстишками к погромам и совершенным отсутствием дисциплины, без какой-либо никакой организации немыслима”⁵⁴. Абсолютно справедливым следует признать вывод Ф.А. Степуна, который констатировал, что “русская интеллигенция десятилетиями подготавливала революцию, но себя к ней не подготовила”⁵⁵.

Октябрь 1917 г. в среде историков “старой школы” приверженцев не имел. Как типическое, В.С. Брачев в своей книге, посвященной петербургской школе русских историков, приводит содержание графы “Отношение к Октябрьской революции” в анкете, заполненной Б.Д. Грековым в 1924 г., где историк сухо констатировал: “Находился в момент революции в Пермском университете, активного участия не принимал. Признал совершившийся факт и продолжал работу”⁵⁶. В том же ключе 12 апреля 1930 г. отозвался о победе большевиков и С.Ф. Платонов, вынужденный давать показания в ходе академического дела: “О большевизме, признаться, совсем не думалось, и внезапное торжество его озадачивало. Следовательно я говорил, что с апреля–мая 1918 г., благодаря сближению с Д.Б. Рязановым, я вошел в разумение совершившегося, признал власть и стал работать в Главархиве”⁵⁷.

Устойчивость власти большевиков рассматривалась неоднозначно; по свидетельству Ю.В. Готье, относящемуся к 6 ноября 1917 г. (прошло двенадцать дней после Октябрьского переворота), “разговоров много; некоторые переоценивают, некоторые недооценивают положение; одни дают ему срок месяцы, другие недели; я не разделяю оптимистических настроений и думаю, что нам предстоит полоса очень тяжелых испытаний, перед которыми бледнеют прошедшие три года”⁵⁸; 18 января 1918 г. он записал в своем дневнике: “Сегодня у меня сложилось твердое убеждение, что большевики останутся у власти очень долго...”⁵⁹ Но и пессимисты, и оптимисты, которых среди, например, московских историков возглавляли соответственно М.К. Любавский и Д.Н. Егоров, были согласны с тем, что “до такого ужаса они еще не доживали”⁶⁰.

Осмысление проблемы революционных потрясений в России не могло не затронуть событий гражданской войны и военной иностранной интервенции. В эмигрантских изданиях печатается большое количество воспоминаний участников белого движения, романы и повести, сюжетом для которых послужила гражданская война

(например, “Очерки русской смуты” и воспоминания “На внутреннем фронте” генералов А.И. Деникина и П.Н. Краснова, роман Н.Н. Брешко-Брешковского “Дикая дивизия” и многие другие).

Проблемы белого движения и причины его неудачи самым живым и непосредственным образом затрагивали российский эмигранцию. Поэтизация и героизация белого движения соседствовала с попытками осмысления его поражения. «Разве мы не имели опыта “белого”, контрреволюционного движения, воодушевленного самыми чистыми и бесспорными идеалами спасения родины, восстановления государственного единства и порядка, – движения, которое, правда, не имело своего торжества и потому в памяти многих сохранило свою святость мученической борьбы за правое дело, но о котором все же один из самых пламенных, но и самых чутких и правдивых его вождей уже должен был с горечью признать, что “дело, начатое святыми, было закончено бандитами” (буквально так же, как русская революция)?»⁶¹ – писал С.Л. Франк.

Что же привело к поражению? Вытекало ли оно из сущности белого движения или было вызвано субъективными ошибками его вождей – именно в такой плоскости шло обсуждение этой проблемы. Сторонников случайности было больше, и это понятно: гораздо труднее было признать слабые стороны белого движения.

Но имел место и поиск объективных причин. Так например, Н.В. Устрялов в своей статье “В борьбе за Россию” (опубликована в Харбине в конце 1920 г.) обнаруживает их в двух плоскостях. «Во-первых, события убеждают, – считал он, – что Россия не изжила еще революции, то есть большевизма, и воистину в победах советской власти есть что-то фатальное – будто такова воля истории. Во-вторых, противобольшевистское движение силою вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевизм известным национальным ореолом, по существу чуждым его природе. Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула советскую власть с ее идеологией Интернационала на роль национального фактора современной русской жизни – в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, потускнел и поблек на практике вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми “союзниками”»⁶².

Здесь мы сталкиваемся с еще одним вопросом, который занимал умы российской эмиграции. Речь идет об участии в гражданской войне иностранных держав на стороне белых – насколько нравственно было использовать их вооруженные силы против своего же народа, пусть даже находящегося в состоянии гражданской войны. Для Устрялова, бывшего в рядах белой армии, “путь вооруженной борьбы против революции – бесплодный, неудавшийся путь”⁶³. Готовность “принять любую власть, лишь бы она удовлетворяла нашей основной (белой. – Л.С.) идее”, была признана им ошибочной. Более того, Устрялов подчеркивал, что “как это, быть может, ни па-

радоксально, но объединение России идет под знаком большевизма, ставшего империалистичным и центристским едва ли не в большей мере, чем сам П.Н. Миллюков⁶⁴. Поэтому, исходя из интересов России, делал он вывод, “наша общая очередная задача способствовать этому процессу”⁶⁵.

Большой общественный резонанс имела опубликованная в первом номере “Современных записок” за 1920 г. статья Н.Д. Авксентьева “Patriotica”. Ее название говорило само за себя. Ключевые темы статьи – революция, контрреволюция, патриотизм. На исходе гражданской войны и иностранной интервенции, не принеших победы в стан противников большевизма, а потому не давших возможности сказать, что победителей не судят, встал вопрос о моральной стороне сотрудничества со странами Антанты в борьбе с Советской Россией.

Авксентьев резко заостряет проблему. Он восклицает: “Значит, раздавить Троцкого и Ленина даже ценою унижения России – заманчивая вещь?” В подтверждение своего понимания патриотизма Авксентьев приводит эпизод из герценовских “Былого и дум” – рассказ о французском эмигранте – графе Кенсона, которого Герцен видел, будучи ребенком, в доме своего отца. «Надобно было на мою беду, – цитирует Герцена Авксентьев, – чтобы вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне. “Да ведь вы, стало, сражались против нас?” – спросил я его пренаивно. “Non, mon petit, non, j’étais dans l’armée russe (Нет, мой маленький, я был в русской армии)”. “Как, – сказал я, – вы – француз и были в нашей армии, этого не может быть!” Отец мой строго взглянул на меня и замыл разговор. Граф геройски поправил дело, он сказал, обращаясь к моему отцу, что ему “нравятся такие *патриотические* чувства”. Отцу моему они не понравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. “Вот что значит говорить очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять. Граф из верности *своему* королю служил *нашему* императору”».

“К сожалению, – констатировал Авксентьев, – известная часть русской общественности стала как будто понимать то, чего не понимал Герцен.” Гражданская война как следствие революции внесла разлад в мирозерцание российского офицерства, других слоев общества, противопоставив классовые и национальные интересы, раздвоив патриотизм на российский и советский.

По отношению к советской власти историки “старой школы” в России и в эмиграции в 1920-х годах делились на непримиримых и тех, кто не поддерживал ее идеологии, но признавал установившийся строй *de facto*. Естественно, что первые находились за рубежом. М.И. Ростовцев так отвечал на открытое письмо В.М. Бехтерева “К русским ученым за границей”, опубликованное в “Петроградской правде” 24 июня 1920 г., в котором знаменитый психоневролог призывал к возвращению на родину: “Я не знаю, что скажут мои колле-

ги, но я отвечу профессору Бехтереву и ему подобным. Нет, в большевистскую Россию я не вернусь. Не потому, что в России голодно и холодно, не потому, что в России правит та или иная партия, а потому, что Россия полностью поработана, потому, что там нет свободы, потому, что культура и религия там упразднены, потому, что мораль вытраивается из детских душ... Там, где человека за защиту своих идей преследуют или расстреливают, не может быть работы за или против правящей партии”⁶⁶.

Такого же мнения придерживался и С.П. Мельгунов. Он участвовал в издании политического еженедельника “Борьба за Россию” (Париж, 1926–1931), против программы которого, не только отвергавшей какие-либо контакты с советской властью, но и призывавшей к борьбе с нею, выступила большая часть эмиграции – от П.Н. Милюкова до А.Ф. Керенского. Мельгунов был поддержан лишь группировкой П.Б. Струве⁶⁷. П.Н. Милюков разработал “новую тактику” борьбы с большевистской Россией. Он выступал против иностранной интервенции как средства свержения большевистского режима и считал необходимым в политической борьбе учитывать реальные политические условия, факт установления советской власти⁶⁸.

Историкам, оставшимся в России, было много сложнее формулировать свое отношение к советской власти. В первые моменты после ее установления они видели в ней угрозу своей жизни и деятельности. «“Декреты” новой власти сыпятся как из рога изобилия... Скоро дойдет черед до университетов, ученых учреждений, и очень скоро мы все, м.б., будем на мостовой. Эмигрантская палуба все ближе и ближе”⁶⁹, – писал 10 ноября 1917 г. Ю.В. Готье.

Предпринимались попытки саботировать ее распоряжения. Обратимся вновь к дневнику Ю.В. Готье. Вот запись о состоявшемся 29 января 1918 г. университетском совете, на котором профессора Московского университета обсуждала текущие события. “Наши профессора, я говорю, по крайней мере, о господствующей группе, – писал Ю.В. Готье, – большие идеологи; они упорствуют в непризнании большевицкого правительства и даже не желают отвечать на вежливые, пока что, запросы из бывшего министерства”⁷⁰.

Ю.В. Готье, которого трудно было заподозрить в симпатиях к большевикам, считал такую позицию ошибочной. Вместе со своими единомышленниками, среди которых были М.К. Любавский, С.В. Бахрушин, А.И. Яковлев и др., он считал, что в сфере практической деятельности необходимо налаживать сотрудничество. Еще 19 декабря 1917 г. Ю.В. Готье писал: “Завтра предстоит решить вопрос об отношении Румянцевского Музея к Комиссии по охране памятников С.Р.Д. (Совет рабочих депутатов. – Л.С.); я буду отстаивать деловое соглашение, ибо культурные работники могут идти на конфликт только по очень веским соображениям; я полагаю, что таковых не имеется. Вечером был у нас М.К. Любавский; говорили об

общих делах, думая о них вполне согласно”⁷¹. После этого заседания по поводу позиции Румянцевского Музея Ю.В. Готье так сформулировал свою позицию, которую разделили большинство его коллег: “А если они зовут помочь в деле не политическом, а культурном, то мы, как во имя дела, так и во имя блага нашего учреждения и его прямых целей, не должны без веских причин, и без крайней нужды, обострять положение”⁷².

Такое сотрудничество не изменяло общего отношения историков “старой школы” к советской власти, ее оценки в контексте российской государственности. С.Ф. Платонов на допросе 11 июля 1930 г. сказал: “Признаюсь, что неоднократно между мною, Богословским, Любавским, Егоровым, Рождественским, Лихачевым, Андреевым, Бахрушиным, Яковлевым, Готье и Измайловым были обсуждения и обмен мнениями о том, что советская власть является лишь переходной формой государственного строя, а более соответствующим интересам русского народа явился бы республиканский конституционный строй во главе с твердой властью”⁷³.

Взгляды историков-эмигрантов на оптимальное для России государственное устройство варьировались от монархических до леволиберальных. Правоту именно своих воззрений ученые и публицисты стремились доказать, активно полемизируя в эмигрантской прессе. Историки, оставшиеся в России, такой возможности были лишены (за исключением бесед в узком кругу единомышленников); но не только это обстоятельство делало их более сдержанными в оценках и прогнозах. Находясь внутри страны, они были более озабочены сущностью государственного устройства.

Эта черта миросозерцания ученых “старой школы”, работавших в Советской России, как нельзя лучше отражена в размышлениях В.И. Вернадского по поводу прочитанной им в “Последних новостях” статьи П.Н. Милюкова “Республика и монархия”⁷⁴. Статья представляла собой текст речи, произнесенной П.Н. Милюковым 22 февраля 1922 г. на собрании республиканско-демократического клуба в Париже. В ней представлена многолетняя полемика о наиболее подходящих для русского народа государственных формах. П.Н. Милюков доказывал, что массы продолжают не столько поддерживать рабоче-крестьянское правительство, сколько предпочитают его всякому другому, для них неизвестному и подозрительному. Реакция В.И. Вернадского (он прочитал эту статью спустя год после ее опубликования, находясь в научной командировке в Париже) на рассуждения П.Н. Милюкова была следующей: “Схоластический спор, далекий от жизни. Демократии-монархии – все это сейчас получило другой смысл. Кто верит этим формам жизни как формам? Важно *содержание*: свобода слова, мысли, веры. Обеспечение личности, собственности – как необходимое условие защиты личности. Работа культурная. Работа над будущим человечества: организация знаний”⁷⁵.

Такая жизненная позиция находила свое прямое отражение в научном творчестве, которое, исходя из нее, должно было быть продолжено и в условиях советской власти. Сошлемся еще раз на дневник В.И. Вернадского, в котором 9 ноября 1922 г. он записал: “Наука должна брать все что может и от своих врагов, какими являются коммунисты”⁷⁶. Необходимость государственной поддержки существовала и прежде, в дореволюционной России. Как писал в 1917 г. М.И. Ростовцев, “настоящая чистая наука, база интеллектуального развития, жила исключительно государством, могла существовать только постольку, поскольку ее поддерживало и питало государство”⁷⁷.

Поэтому, дистанцируясь духовно, оставшиеся в России историки должны были сотрудничать с новой властью. Давалось это нелегко. Огромные трудности создавали “невежество и вандализм реформаторов, в руках которых оказались университеты”. Перед ними убежденные седины ученые чувствовали себя растерянными, писал 30 декабря 1918 г. С.Б. Веселовский⁷⁸. Это вызывало не только смятение в душах русских историков, но и прямое желание покинуть страну. “С Яковлевым и Бахрушиным решили, – записал 5 февраля 1919 г. в своем дневнике Ю.В. Готье, – что, если будет мир, конечно, временный и, вероятно, кратковременный, надо тотчас же выбираться из Совдепии”⁷⁹. Судьба распорядилась так, что названные историки своего намерения не осуществили, не стали эмигрантами. Они остались в России, пережив подлинную трагедию в конце 1920 – начале 1930-х годов в связи с академическим делом.

Историки “старой школы” продолжали преподавательскую и исследовательскую деятельность, активно включились в процесс архивного строительства. С.Ф. Платонов начал работать в Комиссии по охране и устройству архивов упраздненных учреждений (по истечении некоторого времени она стала ядром Главного управления архивным делом), являясь заместителем ее председателя, коммуниста Д.Б. Рязанова*. Ближайшими помощниками С.Ф. Платонова являлись А.Е. Пресняков, С.Ф. Рождественский, С.Н. Валк, Б.А. Романов.

Организация архивного дела была задачей многотрудной, как с точки зрения практической, так и научной. «Мы здесь все не наладим “главного управления” и кредитов; толчемся, как мошки на солнце, а толку нет, – писал С.Ф. Платонов в Москву С.Б. Веселовскому 13 августа 1917 г. – Скучно, а уходить не хочется, да и мои ученики не пускают, ибо я – буфер между ними и Рязановым»⁸⁰. Платонов, с симпатией относившийся к Рязанову, в противоположность, скажем, Ю.В. Готье, который резко негативно отзывался о последнем⁸¹, старался сглаживать острые углы, возникавшие при общении

* После перевода Главного управления в Москву, с 1918 по 1923 г., С.Ф. Платонов заведовал Петроградским отделением Главархива.

своих коллег с представителями власти, что, кстати напомнить, делал и Готье, несмотря на свое личное отношение. Главной побудительной силой, вовлекавшей историков в сотрудничество с новыми органами власти, было их представление о профессиональном долге. Вот как сказал об этом М.К. Любавский 21 июня 1918 г.: “Естественно, что руководит всеми нами – это желание спасти источники наши: истории и права”⁸².

Постепенно организация научной жизни входит в определенную колею. Историки “старой школы”, сохраняя свою духовную автономию, достаточно мирно сосуществуют с еще не окрепшей марксистской исторической наукой. Более того, процесс сосуществования не исключал и элементов взаимопроникновения. Некоторые академические ученые начали проявлять интерес к истории современности, в первую очередь к истории революции и классовой борьбы. Самым маститым из них был А.Е. Пресняков. В.С. Брачев в своей монографии, посвященной петербургской школе русских историков, приводит высказывание С.Ф. Платонова относительно своего коллеги: Пресняков сумел проявить такое ценное в те годы качество, как умение “связать изучение отдаленного прошлого с пониманием задач и требований настоящего”⁸³.

А.Е. Пресняков публикует статьи, посвященные новейшей истории России. Приведем выдержку из одной из них, опубликованной в 1920 г. в “Делах и днях”: «Можно отметить одну из характернейших особенностей *нашей революции* (Курсив мой. – Л.С.) и самую существенную: ее все нарастающее “углубление” обусловлено планомерным подчинением стихийной игры революционных сил сознательному партийному руководству, которое, покоряя эти силы и дисциплинируя массы, достигло крупных результатов в форме так называемой “диктатуры пролетариата” и всемерно стремится расширить и укрепить свою базу пробуждением и культивированием сознательности в этой народной массе»⁸⁴. Обращает на себя внимание сама тональность этого высказывания. В нем А.Е. Пресняков не просто объективно рассматривает отдельные черты Октябрьской революции – он называет ее “нашей”.

Внимание к марксистской тематике обнаружили многие ученики С.Ф. Платонова: С.Н. Чернов, С.В. Вознесенский, А.А. Введенский, М.Н. Мартынов, Б.А. Романов, С.Н. Валк. Учитель был недоволен этими тенденциями. В.С. Брачев в названной выше книге приводит несколько произошедших в связи с этим неприятных инцидентов. Так, А.А. Введенский намеревался в связи с двадцатилетием первой русской революции сделать в Первом исследовательском институте при ЛГУ доклад о революции 1905 г. на Урале. С.Ф. Платонов, по словам Введенского, через своих “сановных агентов” категорически потребовал от него замены этого доклада на доклад о строгановской иконе. “Мне было заявлено, – цитирует Брачев Введенского, – что специалисту по истории Древней Руси неприлично зани-

маться темами по истории XX века, которые не являются наукой, а только публицистикой, а эти темы по XX веку следует оставить другим”.

Не встретила одобрения С.Ф. Платонова и монография его ученика Б.А. Романова “Россия в Маньчжурии”, которая увидела свет в 1928 г. С.Ф. Платонов, бегло просмотрев книгу, быстро заскучал и бросил чтение, как только дошел “до всяких банков и займов”⁸⁵.

Но не только “старая профессура” обновляла свои представления о предмете исторической науки. Было и встречное движение, пусть и не очень заметное, со стороны отдельных представителей молодой “красной профессуры”. В 1922 г. совсем еще юная слушательница Института красной профессуры М.В. Нечкина начала изучение темы, которая полвека спустя найдет свое завершение в фундаментальной монографии “Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества” (М.: Наука, 1974).

В предисловии к этой книге М.В. Нечкина рассказала об истории ее создания⁸⁶. Изучение темы было начато в 1921 г. в Казанском университете, продолжено в семинаре М.Н. Покровского в Институте красной профессуры. Вариант рукописи, частично опубликованной в 1930 г. в двухтомнике “Русская историческая литература в классовом освещении”, 30 ноября 1923 г. обсуждался в РАНИОН. В прениях по докладу “В.О. Ключевский как социолог” приняли участие ученики Ключевского – М.М. Богословский, В.И. Пичета, Ю.В. Готье, М.К. Любавский и др.

Работая над темой, М.В. Нечкина обращалась за консультациями к историкам старшего поколения, например, М.М. Богословскому. Отвечая ей, он писал: «Многоуважаемая Милица Васильевна.

На Ваши вопросы могу ответить следующее: 1) Тему о Ключевском я считал весьма желательной и приемлемой, но без ограничительной прибавки – “как социолог”. Это очень сузило бы вопрос. Вопрос же должен обнимать все напечатанные труды Ключевского. 2) О рукописном его наследстве мне ничего не известно. Биографией Ключевского, насколько я знаю, никто пока не занят – да она без рукописного материала и невозможна. 3) 5-й том “Курса” издан по лучшей из литографий. Коллекция литографий есть, кажется, в Румянцевском музее в Москве. Доклад в Истор[ическом] общ[естве] о Ключевском был бы, конечно, весьма желательным.

Простите, пожалуйста, за внешний вид этой записки. Писал я, будучи застигнут врасплох.

10 окт[ября] 1922 г.

Преданный Вам М.Богословский»⁸⁷.

Пожелания М.М. Богословского были реализованы в итоговой монографии. В отличие от публикации 1930 г., построенной в плане анализа социологической концепции В.О. Ключевского, взятой преимущественно статически, М.В. Нечкина поставила задачу “дать историю жизни и творчества Ключевского, показать процесс формирования и развития его понимания истории России”⁸⁸. Конечно,

классовый подход при оценке творчества В.О. Ключевского, “крупнейшего буржуазного историка предреволюционной России”, оставался в силе, но он не довел над тщательностью научной проработки исследуемых сюжетов, а богатейшая документальная канва работы вкупе с блестящей манерой изложения ставят монографию М.В. Нечкиной в ряд фундаментальных исторических произведений. Появление таких книг – материализованное свидетельство преемственности поколений российских историков, несмотря на крутые изломы в жизни их страны и собственные, сохранения исследовательской струи в советской историографии.

Но возвратимся во вторую половину 1920-х годов. В кругах “старой профессуры” зарождаются мнения, что “наряду с разрушением революция несет огромные новые возможности”⁸⁹. Известный краевед Д.И. Шаховской, со студенческой скамьи близкий с В.И. Вернадским, Ф.Ф. и С.Ф. Ольденбургами, И.М. Гревсом, А.А. Корниловым, с удивлением отмечал, что “никогда не было такой тяги к изучению старины, в частности XVII века, как сейчас, и изучение идет не отвлеченное, как у славянофилов сороковых годов, а самое доподлинное, по архитектурным памятникам, по произведениям искусства, затем – пока очень слабо – по литературным памятникам и по актам. Но всего этого накапливается в музеях и выброшено на поверхность такая масса (икон, рукописей, актов), что волей-неволей придется и за это взяться. И это не только в столицах. Нет, в губернских и уездных городах перед изумленным вниманием вырастают старинные памятники, как нечто новое, на что впервые открываются глаза, создаются музеи, появляются влюбленные в музейное дело, преданные до самозабвения делу изучения старины и окружающей действительности, толково во всем этом разбирающиеся люди”⁹⁰.

Д.И. Шаховской отмечает и другую особенность исследовательской деятельности – “вся наша история обзревается с огромной высоты, на которую возносит нас пережитое нами”⁹¹. Еще ранее, в 1922 г., Е.В. Тарле сказал об этом так: “Эпохи, подобные нашей, обостряют способность к пониманию многого, что в другое время осталось бы не совсем ясным: они делают реальным то, что иначе оставалось бы пустым звуком”⁹².

Историки “старой школы” поддерживали те начинания советской власти, которые считали созвучными своим идеалам. Именно поэтому они участвовали в сохранении культурного наследия страны, в просвещении русского народа. Культурная революция для них не ограничивалась рамками социалистического строительства, они понимали ее шире. “Мы во многом не согласны с Сергеем (С.Ф. Ольденбургом, неперменным секретарем Академии наук, который занимал слишком лояльную, по их мнению, позицию по отношению к власти. – Л.С.). И по философским, и по практическим вопросам. Так не согласны, что и спорить не приходится – а приходит-

ся более или менее почтительно молчать. – Писал Д.И. Шаховской И.М. Гревсу 4 марта 1928 г. – Но вот он провозглашает лозунг – *Культурная революция*.

Можем ли мы сказать, что мы с этим не согласны? Можем ли мы сказать, что он себя, нас и всю страну бессовестно надувает? – А если мы не можем сказать ни того, ни другого, то можем ли мы молчать?

Ведь мы испокон века культурные революционеры. И когда подымается наше знамя, можем ли мы не стоять в рядах под ним? И тут недостаточно – сомневаться, соглашаться, размышлять... Нет, надо стать под знамя, надо найти свое место в рядах”⁹³.

Однако даже те из историков “старой школы”, которые, как Б.А. Романов, “приближались к марксизму”⁹⁴, были включены в сообщество советских историков лишь условно. Такое положение поддерживало сознание обособленности в умонастроениях историков как немарксистского, так и марксистского направлений. Глава последнего, М.Н. Покровский, порвавший со своим поколением историков и заслуживший в их среде недобрую славу (Покровский – “вот истинно позорное имя в русской истории и позор для школы московских русских историков”⁹⁵, – отзывался о нем Ю.В. Готье), проводил политику, направленную на вытеснение историков “старой школы”, на превращение советской исторической науки в марксистскую на 100%. “Не идти академическим путем”, ибо “академизм включает в себя как непереносимое условие признание этой самой объективной науки, каковой не существует», – так говорил М.Н. Покровский в речи на десятилетии Института красной профессуры 1 декабря 1931 г. и провозглашал принцип партийности исторической науки⁹⁶.

Многие историки “старой школы” занимали не менее категоричную позицию, хотя с противоположным знаком. “Признаю, что, не будучи марксистом и держась иной идеологии (эволюционной), я считал монополию марксистской точки зрения в науке вредной и полагал правильным в области истории поддерживать традиционное направление (в теории и технике науки), а потому сочувствовал и активно содействовал сохранению и развитию работ немарксистского направления в негласных кружках историков и в Археогр[афической] комиссии»⁹⁷, – говорил С.Ф. Платонов на допросе 6 июня 1930 г.

Окрепшая к концу 1920-х годов марксистская школа, подготовившая свои кадры историков и образовавшая свои учреждения, мириться с таким положением дел больше не желала. Сбывались предостережения историков-эмигрантов, потерявших, казалось бы, свою остроту к середине 1920-х годов, что большевики *терпят* Академию, университеты, пока у них нет ничего своего, чтобы заменить старое образование и науку (так писал в “Times” М.И. Ростовцев 5 апреля 1921 г.)⁹⁸. Поколение “красных профессоров”, ведомое М.Н. Покровским, переходит в прямое наступле-

ние, выразившееся в разгроме Академии наук, главенствующие позиции в которой до той поры занимали историки “старой школы”. Остановить его не могли никакие уступки со стороны Академии. Дело было не в том, что “у многих академиков, – по словам С.Ф. Платонова, – настроения и их политические взгляды перевесили доводы благоразумия”⁹⁹; более всего ситуацию объясняют бессмертные слова из басни И.А. Крылова: “Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать”, – а аппетита и силы молодым марксистам было не занимать.

Невыбор кандидатов-коммунистов в Академию наук высветил еще один небольшой нюанс в мироощущении историков “старой школы” – ожидание, несмотря на всю его тщетность, реванша, восстановления своего положения в исторической науке страны. Д.И. Шаховской писал В.И. Вернадскому 15 января 1929 г. по поводу прошедшего голосования: “Хотелось Тебе высказать и чувство полного примирения с политикой уступок, и чувство глубокого удовлетворения, что эта политика дала маленькую трещинку»¹⁰⁰.

Академическое дело стало трагедией для историков, которые пали его жертвами. Оно вселило страх в души оставшихся в живых после заключения и ссылки, заставляло приспособлять труды к господствующей методологии или, что тоже было нередким, просто украшать работы цитатами классиков марксизма-ленинизма. Внутренняя эмиграция историков “старой школы”, оставшихся в России, стала еще более потаенной.

Изучение духовного мира блестящей плеяды русских историков, оказавшихся расколотым поколением, выявило его богатство, насыщенность гражданственными и нравственными раздумьями, болью за судьбы России и отечественную историческую науку. Существовавшие отличия в отношении к некоторым вопросам современности определялись помимо политических убеждений и тем обстоятельством, что одна ветвь ученых смотрела на проблему изнутри, а другая – извне. Это объясняет большой пиетет по отношению к прошлому у историков-эмигрантов, менее непримиримую позицию оставшихся на Родине ученых по вопросу о сотрудничестве с новой властью в сфере науки.

Духовное родство “внешних” и “внутренних” эмигрантов не могло предотвратить их постепенного обособления. Как появились, говоря словами М.А. Вишняка, «две России: “Россия, оставшаяся в России”, подлинно-сухая и имеющая будущее, и Россия ирреальная, бывшая, покойная, эмигрантская “Россия № 2-й”»¹⁰¹, так образовались и два научных сообщества с разными судьбами. Русские историки-эмигранты внесли огромный вклад в европейскую и американскую историографию, эмигранты внутренние своей школой утверждали сохранение традиций научности и объективности в исследовательской деятельности в условиях господства марксист-

ской историографии. Свое *specto* – отношение к истории как к науке, стремящейся к независимости от политики и идеологии – обе ветви поколения “буржуазных” профессоров старались передать своим ученикам.

- ¹ Ростовцев М.И. Политические статьи. СПб., 2002. С. 191.
- ² Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. М., 2003. С. 316.
- ³ Евгений Викторович Тарле: Биографический очерк // Академическое дело 1929–1931 гг. СПб., 1998. Вып. 2: Дело по обвинению академика Е.В. Тарле. Часть первая. С. XCIV.
- ⁴ См.: Тэффи Н.А. Ностальгия // Рысь. Берлин, 1923.
- ⁵ Река Времен: (Книга истории и культуры). М., 1995. Кн. 3. С. 185.
- ⁶ Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Исторические записки. Вып. 3(121). М., 2000. С. 227.
- ⁷ Ильин И.А. Родина и мы // Литература русского зарубежья: Антология в шести томах. М., 1991. Т. 2: 1926–1930 гг. С. 418.
- ⁸ Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997. С. 104.
- ⁹ Вопр. истории. 2000. № 2. С. 98–99.
- ¹⁰ Вернадский В.И. Дневники: Март 1921 – август 1925. 2-е изд. М., 1999. С. 23.
- ¹¹ Цит. по: Литература русского зарубежья. Т. 2. С. 301.
- ¹² Струве П.Б. Исторический смысл русской революции // Историки-эмигранты: Вопросы русской истории в работах 20-х – 30-х годов. М., 2002. С. 123.
- ¹³ Ростовцев М.И. Избранные публицистические статьи: 1906–1923. М., 2002. С. 46.
- ¹⁴ С.Б. Веселовский – С.Ф. Платонову. Татариновка, 5 апреля 1917 г. // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. М., 2001. С. 188.
- ¹⁵ С.Ф. Платонов – С.Б. Веселовскому. Петроград, 12 апреля 1917 г. // Там же. С. 189.
- ¹⁶ Н.П. Лихачев – А.В. Орешникову. 12 июля 1917 г. // Река Времен (Книга истории и культуры). М., 1995. Кн. 2. С. 163.
- ¹⁷ А.Е. Пресняков – С.Б. Веселовскому. СПб., 9 января 1913 г. // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. С. 216.
- ¹⁸ М.А. Дьяконов – С.Б. Веселовскому. СПб., 28 апреля 1913 г. // Там же. С. 127.
- ¹⁹ Кизеветтер Е.Я. Дневник 1905–1907 гг. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах: XVIII–XX вв. М., 1994. Вып. V. С. 334.
- ²⁰ Н.П. Лихачев – А.В. Орешникову. 6 (19) января 1919 г. // Река Времен. Кн. 2. С. 167.
- ²¹ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 124.
- ²² Там же.
- ²³ Там же. С. 266.
- ²⁴ Там же. С. 119.
- ²⁵ Там же. С. 308.
- ²⁶ С.Б. Веселовский – А.И. Яковлеву // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. С. 465.
- ²⁷ Н.П. Лихачев – А.В. Орешникову. 17 (4) июня 1919 г. // Река Времен. Кн. 2. С. 168–169.
- ²⁸ Вишняк М.А. На Родине: Традиция русской журналистики // Публицистика русского зарубежья: Сб. ст. М., 1999. С. 102.
- ²⁹ Вопр. истории. 2000. № 2. С. 102.
- ³⁰ Богословский М.М. Историография. Мемуаристика. Эпистолярная (Научное наследие). М., 1987. С. 141.

- 31 *Ростовцев М.И.* Избранные публицистические статьи. С. 105.
- 32 *Вернадский В.И.* Дневники: Март 1921 – август 1925. С. 59.
- 33 *Rostovtzev M.I.* Martyrs of Science in Soviet Russia // *The New Russia*. 1920. Vol. 2. July 1. P. 275–278; // *Ростовцев М.И.* Политические статьи. С. 94.
- 34 *Река Времен.* Кн. 2. С. 172.
- 35 Там же. С. 176.
- 36 Академическое дело 1929–1931 гг. СПб., 1993. Вып. 1: Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. С. 284.
- 37 *Готье Ю.В.* Указ. соч. С. 266.
- 38 Там же. С. 511.
- 39 *Ростовцев М.И.* Политические статьи. С. 159.
- 40 Подробнее см.: *Вандалковская М.Г.* П.Н. Милоков, А.А. Кизеветтер: История и политика. М., 1992.
- 41 Публицистика русского зарубежья: Сб. ст. С. 177.
- 42 *Струве П.Б.* Исторический смысл русской революции // *Историки-эмигранты: Вопросы русской истории в работах 20-х–30-х годов.* С. 117.
- 43 *Тарле Е.В.* Очередная задача // *Анналы.* Петербург, 1922. № 1. С. 13.
- 44 *Виноградов П.Г.* Об истории // *Историки-эмигранты: Вопросы русской истории в работах 20-х – 30-х годов.* С. 14.
- 45 *Пресняков А.* Обзоры пережитого // *Дела и дни.* Петербург, 1920. Кн. 1. С. 346.
- 46 Там же.
- 47 *Франк С.Л.* Крушение кумиров // *Литература русского зарубежья.* Т. 2. С. 345.
- 48 Там же.
- 49 Там же. С. 344.
- 50 Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. С. 152.
- 51 *Милоков П.Н.* Как пришла революция // *Публицистика русского зарубежья: Сб. ст.* С. 165.
- 52 *Готье Ю.В.* Указ. соч. С. 13.
- 53 *Струве П.Б.* Прошлое, настоящее, будущее: Мысли о национальном возрождении России // *Публицистика русского зарубежья: Сб. ст.* С. 174.
- 54 Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. С. 152.
- 55 *Стенун Ф.А.* Мысли о России // *Литература русского зарубежья.* Т. 2. С. 305.
- 56 *Брачев В.С.* “Наша университетская школа русских историков” и ее судьба. СПб., 2001. С. 137.
- 57 Собственноручные показания С.Ф. Платонова. 12 апреля 1930 г. // *Академическое дело 1929–1931 гг.* Вып. 1. С. 60.
- 58 *Готье Ю.В.* Указ. соч. С. 47.
- 59 Там же. С. 108.
- 60 Там же. С. 117.
- 61 *Франк С.Л.* Крушение кумиров // *Литература русского зарубежья.* Т. 1. С. 45.
- 62 *Устрялов Н.В.* В борьбе за Россию // Там же. С. 398.
- 63 Там же.
- 64 Там же.
- 65 Там же. С. 399.
- 66 *Ростовцев М.И.* Мученики науки в Советской России: В память об умерших друзьях и коллегах // *Ростовцев М.И.* Политические статьи. С. 120.
- 67 Подробнее см.: *Емельянов Ю.Н.* С.П. Мельгунов: В России и эмиграции. М., 1998.
- 68 Подробнее см.: *Вандалковская М.Г.* Указ. соч.
- 69 *Готье Ю.В.* Указ. соч. С. 48.

- ⁷⁰ Там же. С. 111.
- ⁷¹ Там же. С. 56.
- ⁷² Там же.
- ⁷³ Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. С. 89.
- ⁷⁴ Последние новости. 1922. 28 февраля. (№ 877); 1 марта (№ 878).
- ⁷⁵ Вернадский В.И. Дневники: Март 1921 – август 1925. С. 96.
- ⁷⁶ Там же. С. 91.
- ⁷⁷ Ростовцев М.И. Наука и революция // Ростовцев М.И. Избранные публицистические статьи. С. 23.
- ⁷⁸ Вопр. истории. 2000. № 2. С. 104.
- ⁷⁹ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 261.
- ⁸⁰ Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. С. 190.
- ⁸¹ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 145.
- ⁸² М.К. Любавский – С.Б. Веселовскому. Москва, 4 июля (21 июня) 1918 г. // Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. С. 440.
- ⁸³ Брачев В.С. Указ. соч. С. 156.
- ⁸⁴ Пресняков А. Обзоры пережитого // Дела и дни. Петербург, 1920. Кн. 1. С. 346.
- ⁸⁵ Брачев В.С. Указ. соч. С. 157–158.
- ⁸⁶ Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский: История жизни и творчества. М., 1974. С. 5–6.
- ⁸⁷ Богословский М.М. Историография. Мемуаристика. Эпистолярная (Научное наследие). С. 142.
- ⁸⁸ Нечкина М.В. Указ. соч. С. 5.
- ⁸⁹ Д.И. Шаховской – В.И. Вернадскому. 12 сентября 1926 г., Москва // Звенья: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 235.
- ⁹⁰ Там же.
- ⁹¹ Там же.
- ⁹² Тарле Е.В. Очередная задача // Анналы. 1920. № 1. С. 15.
- ⁹³ Д.И. Шаховской – И.М. Гревсу. 4 марта 1928 г., Москва // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. С. 236.
- ⁹⁴ Цит. по: Брачев В.С. Указ. соч. С. 157.
- ⁹⁵ Готье Ю.В. Указ. соч. С. 117–118.
- ⁹⁶ Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов. М.; Л., 1933. Вып. II. С. 405.
- ⁹⁷ Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. С. 80.
- ⁹⁸ Ростовцев М.И. Наука в большевистской России // Ростовцев М.И. Избранные публицистические статьи. С. 90.
- ⁹⁹ Собственнооручные показания С.Ф. Платонова. 13 января 1930 г. // Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. С. 24.
- ¹⁰⁰ Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. С. 252.
- ¹⁰¹ Вишняк М.А. На Родине. Мы и они // Публицистика русского зарубежья. С. 104.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОССИИ В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ ЭМИГРАЦИИ*

Духовная жизнь эмигрантской интеллигенции, в том числе ученых-историков и просто любителей истории, в 1920–1930-е годы была достаточно насыщенной и полнокровной. В ней ярко проявилось стремление сохранить самобытность своей национальной культуры, не раствориться в иноязычной среде. Одним из самых слабо изученных аспектов деятельности российских эмигрантов в 20-е–30-е годы XX в. является создание и сохранение музейных собраний. В отличие от эмигрантских архивов, которые исследовались В.Г. Бортневским, П.К. Гримстед, Т.Ф. Павловой, Л.И. Петрушевой, Е.В. Старостиным и другими учеными, на них пока не обращают должного внимания¹. В немногочисленных изданиях можно встретить самую общую информацию о музеях, основанных за рубежом эмигрантами². Лишь самым представительным и ценным пражским собранием Русского культурно-исторического музея и Музея освободительной борьбы Украины посвящены специальные работы³.

Между тем разработка этой проблемы весьма перспективна в целях дальнейшего расширения тематики и источниковой базы исследований по истории российского зарубежья. Ведь в большинстве эмигрантских музеев, наряду с прочими экспонатами, хранились архивные документы и фотографии, редкие книги, которые объективно отражают представления диаспоры о прошлом России, ее исторических и культурных ценностях, корнях, традициях. Обратившись к ним, можно полнее и глубже соприкоснуться с духовной жизнью наших зарубежных соотечественников, оказавшихся волею судеб далеко от Родины. Поэтому так важно выявить, в каких условиях возникали музейные коллекции эмигрантов, как пополнялись, определить их состав и проследить дальнейшую судьбу.

После 1917 г. вместе с эмигрантами за границей появилось немало культурно-исторических ценностей, вывезенных из России. Оказавшиеся за ее пределами русские писатели и художники продолжали активную творческую деятельность. Будучи весьма стесненной в финансовых средствах, интеллигенция российского зарубежья делала все возможное, чтобы сохранить для потомков исторические и культурные реликвии, произведения изобразительного и прикладного искусства, а впоследствии вернуть их на Родину. Особенно много эмигрантских музеев существовало в период между двумя мировыми войнами во Франции⁴.

* Данная проблема разрабатывается авторами с 1993 г., с 2003 г. – при финансовой поддержке РГНФ (проект № 03-01-00693).

ФРАНЦИЯ

В отличие от других стран, самые первые музейные собрания, посвященные России, были созданы во Франции задолго до революции. Еще в 20-е годы XIX в. князь И.С. Гагарин, И.М. Мартынов, Е.Балабин, П. Пирлинг основали в Париже Славянский музей-библиотеку с русским отделением и богатой коллекцией старославянских рукописей⁵. Еще большую известность получил находившийся там же Пушкинский музей. За сорок с лишним лет его создатель Александр Федорович Отто (Онегин) собрал по крупицам ценнейшую коллекцию рукописей и других материалов, связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Н.В. Гоголя, А.И. Герцена, И.С. Тургенева, за что был удостоен ордена Почетного Легиона. Согласно договору, заключенному в 1909 г. с Императорской Академией наук, Онегин, оставив за собой лишь право пожизненного пользования, завещал свой музей и личный капитал Пушкинскому Дому, учрежденному в 1905 г. в Петербурге. После его смерти, последовавшей 21 марта 1925 г., завещание было исполнено, и редчайшие реликвии в 1928 г. перевезли с берегов Сены на набережную Невы в бывшее здание Петербургской таможни, где располагается Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Двумя годами позднее там открылась выставка, но впоследствии, к сожалению, целостность бесценной коллекции была нарушена: нумизматические материалы и некоторые из картин попали в Эрмитаж; во Всероссийский музей А.С. Пушкина оказалось большинство личных вещей великого русского поэта; в Пушкинском же доме остались на хранении рукописи Пушкина, мебель, библиотека, онегинские альбомы⁶.

В качественно иных условиях происходило формирование музейных собраний эмигрантов после революций 1917 г. и братоубийственной гражданской войны, когда во много раз увеличилась численность русской диаспоры во Франции и существенно изменился ее состав. В период между двумя мировыми войнами Париж был признанным центром культурной жизни российской эмиграции, состоявшей из самых разных социальных и профессиональных групп, отличавшихся по уровню общей культуры, образованности, имущественному положению, наконец, интересам. В то время во Франции проживали немало представителей российской интеллигенции, в том числе известные политические деятели (П.Н. Милоков, В.А. Маклаков, М.М. Федоров и др.), писатели и деятели искусства (И.А. Бунин, А.И. Куприн, М.И. Цветаева, Ф.И. Шалапин, А.Н. Бенуа, К.А. Коровин, Г.Л. Серебрякова и др.), ученые (А.В. Карташев, Г.В. Флоровский, Н.А. Бердяев и др.). Но среди возникших там в 20–30-е годы эмигрантских музеев преобладали собрания не художественно-культурного, а военно-исторического характера⁷. Связано это было с большей сплоченностью и организованностью военных кругов российской эмиграции.

Вот почему значительная часть эмигрантских музейных коллекций во Франции отражала историю русской армии, первой мировой и гражданской войн. Таковы, например, коллекции Музея лейб-гвардии Казачьего полка, Музея лейб-гвардии Атаманского полка, Донского исторического музея, Музея Союза конногвардейцев, Кадетского музея, Музея Александрийского гусарского полка.

До сих пор в Курбевуа, пригороде Парижа, в доме под номером 12 на улице Сан-Гюйом располагается Музей лейб-гвардии Казачьего полка, учрежденного Павлом I в 1798 г. Возник он на основе собраний полкового музея, вывезенных после февраля 1917 г. по приказу командира полка генерала А.М. Грекова из Петрограда в Новочеркасск, а оттуда в Новороссийск. Из Новороссийска, через Стамбул, остров Лемнос и Белград они попали во Францию, где музей был вновь открыт в 1929 г. сначала в г. Аньере по инициативе и на средства эмигрантов, членов Объединения лейб-казаков. Затем для него удалось приобрести дом в Курбевуа. В залах музея выставлены портреты 27 полковых командиров, в том числе одного из героев Отечественной войны 1812 года генерала, графа В.В. Орлова-Денисова; комплекты и отдельные части униформы полка (в том числе мундир с заплаткой простого казака образца 1814 г.); русские ордена, медали, штандарты и почетные серебряные трубы; гравюры с батальными сценами, в том числе сражения под Фер-Шампенуа 13 марта 1814 г.; шпоры, галуны, эполеты генерала Ефремова; личные вещи генерала П.Н. Врангеля (походный китель, погоны, значок); на блюде небольшая горка картечи, собранной на Бородинском поле; старинная полковая посуда; фотографии; документы полковой канцелярии. В 1937 г. эмигранты переправили часть наиболее ценных экспонатов на хранение в Брюссель, в Королевский Военный музей, опасаясь, что правительство Народного фронта передаст их властям СССР. Но Музей в Курбевуа сохранился. Им ведет Объединение лейб-гвардии Казачьего полка, состоящее сегодня не из самих его офицеров, как в прежнее время, а из их потомков. Ежегодно оно совместно с Казачьим союзом, Союзом казаков-комбатантов и Объединением лейб-гвардии Атаманского полка устраивает в октябре войсковой праздник Донского, Кубанского и Терского казачьих войск, который по традиции начинается панихидой около памятника казакам на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. До 1989 г. Объединение возглавлял полковник Б. Дубенцов. В начале 60-х годов было издано на гектографе несколько номеров Информационного бюллетеня Объединения лейб-казаков, в которых рассказывалось о деятельности музея. Его посетители, побывав в Курбевуа, и сегодня могут соприкоснуться с реликвиями воинской славы России⁸.

Во многом напоминает его судьбу история Музея лейб-гвардии Атаманского его императорского высочества Государя-наследника цесаревича полка, сформировавшегося еще до революции в Петер-

бурге. В 1917 г. его коллекции были переправлены в Таганрог, откуда – в Новороссийск. В новороссийской катастрофе при спешной эвакуации в марте 1920 г. под ударами наступавшей Красной Армии уцелело всего лишь семь ящиков с имуществом полкового собрания и музея, для перевозки которого ранее требовалось восемь вагонов. Сохранившаяся чудом часть реликвий пропутешествовала через Константинополь, Египет, Болгарию, Сербию во Францию, где музей был возрожден в 1931 г. русскими эмигрантами – членами Общества атаманцев. Первоначально он размещался в помещении полкового собрания в Сен-Клу, а с апреля 1932 г. – в Аньере. Как и другие эмигрантские музеи, он существовал на членские взносы и добровольные пожертвования. Экспозиция и архив музея включали императорские грамоты, документы полковой канцелярии с подписями А.В. Суворова, М.И. Платова, других военачальников, мундиры августейших шефов и исторические формы полка, штандарты, походные иконы, портреты шефов и полковых командиров, гравюры, фотографии, редкие книги. Хранителем музея в 30-е годы был Н.Н. Туроверов (1899–1972), на личности которого стоит остановиться подробнее. Уроженец станицы Старочеркасской на Дону, после окончания реального училища он поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Атаманский полк, в котором дослужился до звания подъесаула, участвуя в первой мировой и гражданской войнах. В эмиграции он жил сначала в Сербии, а затем в Париже, где, работая грузчиком, учился в Сорбонне, в течение 37 лет служил в одном из банков и получил известность как поэт, автор пяти книг поэм и стихов. Особой популярностью пользуются его стихотворения “Уходили мы из Крыма”, “Покидал я родную станицу”. Будучи председателем Казачьего союза, Туроверов много сил отдавал музею, собирал всю жизнь книги, рукописи, гравюры по истории казачества, устраивал интересные тематические выставки. Личная коллекция Туроверова до сих пор хранится во Франции у одного из его родственников⁹.

В Париже также находился музей Союза конногвардейцев имени великого князя Дмитрия Павловича. В его стенах экспонировались материалы по истории лейб-гвардии Конного полка, собранные флигель-адъютантом, полковником В.Ф. Козляниновым: портреты российских императоров и императриц, коллекция форм конногвардейцев до 1914 г., образцы холодного оружия и офицерской амуниции; батальные гравюры; акварели с изображениями полковых штандартов; кирасы и каски; серебряное паникадило из полкового Благовещенского собора в Петербурге; фотографии; рукописные документы. Полк вел свою историю от личного конного конвоя А.Д. Меншикова, созданного еще в 1706 г. в Киеве. Музей полка получал финансовую и моральную поддержку от великого князя Дмитрия Павловича¹⁰.

Музей Александрийского гусарского полка существовал в 20–30-х годах в Ментоне (на юго-востоке Франции). Он возглавлял-

ся председателем полкового объединения полковником С.А. Топорковым. В музее экспонировались Георгиевский штандарт, которым полк был награжден за сражение с турками под Эски-Стамбулом в 1829 г.; полковые документы; портреты наследника цесаревича и командиров полка. Он был тесно связан с деятельностью Общества ревнителей истории русской конницы, возникшего в Париже в 1934 г. Последнее поддерживало контакты с Музеем русской конницы в Белграде и другими аналогичными эмигрантскими объединениями. Его члены активно занимались сбором документов, книг, рукописей, фотографий, гравюр, рисунков, портретов, предметов вооружения и обмундирования, иллюстрировавших действия кавалерийских частей в войнах начала XX в.¹¹

Члены группы Военно-морского союза собрали в своей кают-компании в Марселе живописные полотна с изображениями сражений парусного флота, морских битв времен первой мировой войны, а также портреты российских императоров и знаменитых адмиралов, предметы корабельной обстановки¹².

В нашем распоряжении пока нет материалов о находившихся в Париже Донском историческом музее и Кадетском музее на бульваре Эксельманн.

Культурно-просветительскую деятельность российской эмиграции во Франции характеризовали собрания Музея имени С.П. Дягилева, Русского музыкального исторического музея, Русского педагогического музея. Первый из них так и остался, по существу, частной коллекцией, впоследствии распроданной. Русский музыкальный исторический музей был создан в 1931 г. при Российском музыкальном обществе в Париже. В нем собирались рукописи, ноты, письма, автографы, программы выступлений, реквизит и другие личные вещи выдающихся российских композиторов, музыкантов, дирижеров, артистов, оперных певцов, инструменталистов. Материалы музея освещали их творческую деятельность как в России, так и за рубежом. Дальнейшая судьба его коллекций неизвестна¹³.

Собрания Русского педагогического музея включали учебные наглядные пособия по российской и всемирной истории, географии, библейской истории (негативы, фотографии, карты, таблицы, книги, картины), рукописные сборники нот и пьес. Они рассылались музейными сотрудниками в низшие и средние учебные заведения, основанные русскими эмигрантами в Польше, Франции, Югославии. Бюджет музея на 1930 г. составлял около 2600 французских франков, его служащие из числа эмигрантов получали всего по 10 франков в месяц, но несмотря на весьма стесненные материальные обстоятельства, с увлечением занимались своей подвижнической деятельностью до начала второй мировой войны¹⁴.

В 1923 г. в Нью-Йорке открылся музей имени Н.К. Рериха, куда художник передал свыше 1000 своих работ, позднее был основан его Европейский центр в Париже¹⁵.

Интересное собрание древнерусской церковной живописи сформировалось при обществе “Икона”, возникшем в 1925 г. в Париже под председательством известного коллекционера В.П. Рябушинского. Поставив своей целью изучение и сохранение произведений иконописи, оно заслушивало доклады, неоднократно проводило выставки. Одна из них, например, открылась в январе 1930 г. в помещении Русской школы живописи (ул. Жюль Шапле, 11). Ученый с мировым именем, член-корреспондент Французской Академии Дм.П. Рябушинский возглавлял Общество охраны русских ценностей за рубежом, существующее поныне¹⁶. В последние годы во главе его стоял А.Б. Серебряков, сын известной русской художницы З. Серебряковой, оказавшейся в эмиграции.

В Русском старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа на стенах висят портреты императоров (Екатерины II, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III), полученные из бывшего российского посольства; стоят бюсты Николая II и императрицы Александры Федоровны, императорское кресло из дерева с позолотой¹⁷.

Старинные иконы и другие культовые вещи находятся в русских православных храмах Парижа, Анъера, Медона и других городов Франции. В православном соборе Св. Александра Невского на улице Дарю в Париже, например, можно увидеть и полковые иконы, и русские награды (ордена, медали) в киотах.

В крипте православного Свято-Николаевского собора в Ницце разместился своеобразный Музей русской колонии, в котором хранятся иконы, портреты русских императоров, ордена, медали, знамена, штандарты, гусарский мундир с позументами и прочие реликвии¹⁸.

Еще больше существовало во Франции частных эмигрантских собраний, полный перечень которых невозможно даже составить. Произведения старинного русского искусства коллекционировал Г.В. Чижов, иконы – известный антиквар А. Попов и Я. Золотницкий, книги и документы по русской истории – А.К. Семенченков, награжденные знаки – П.В. Пашков и бывший офицер, георгиевский кавалер В.Г. фон Рихтер, серебряную парадную утварь XVII–XVIII вв. – Е. Любович¹⁹.

Разумеется, частные коллекции отличались по значимости и представительности, а иногда приобретали общественный характер.

Нередко наряду с мемориальными вещами эмигрантские музеи включали архивные документы, библиотеки и играли роль своеобразных культурных очагов русских колоний. В них устраивались встречи однополчан, сослуживцев, земляков, празднования Дня русской культуры, отмечались юбилеи. Значительный резонанс в эмигрантской среде имели выставки, организовывавшиеся некоторыми музеями и владельцами частных собраний во Франции.

В 1934 г. в Париже у входа в помещение, в котором экспонировалась выставка казачьих реликвий, посетителей встречали не-

сколько лейб-казаков в формах времен Екатерины II и Александра II и один донской казак в обмундировании начала XX в. Всеобщее внимание привлекла выставка “Пушкин и его время” в парижском зале Фуайе Плейель, организованная С.М. Лифарем и М.Л. Гофманом в дни празднования Пушкинского юбилея в 1937 г. На ней были представлены автографы великого поэта, его личные вещи, портреты, мебель той эпохи²⁰.

Еще более частым явлением в культурной жизни российского зарубежья стали художественные выставки, экспонировавшиеся во Франции. Они сыграли большую роль в ознакомлении французского народа с культурным достоянием российских эмигрантов, способствовали расширению знаний в целом о русском искусстве.

По-разному сложилась дальнейшая судьба общественных эмигрантских музейных собраний во Франции в годы второй мировой войны и после ее окончания. Большинство из них по объективным причинам прекратили существование. Сказалось отсутствие государственной финансовой поддержки, которую не могли восполнить небогатые частные пожертвования эмигрантов. Часть историко-культурных реликвий была перевезена в США, в том числе собрание существовавшего в Париже музея Николаевского кавалерийского училища, оказавшееся после второй мировой войны под крышей здания эмигрантского общества “Родина” в американском г. Лейквуде (ныне Хауэлл, штат Нью-Джерси)²¹. Сыграл свою роль уход из жизни либо отход от активной деятельности основателей и многолетних хранителей музеев, хотя Общество любителей русской военной старины даже продолжало издавать в Париже в 50–70-х годах “Военно-исторический вестник”, в 1953–1969 гг. выходил и “Вестник конногвардейского объединения” (редактор А.П. Тучков). У нового поколения эмигрантов, родившихся во Франции и в значительной степени стремившихся побыстрее интегрироваться в местную среду, не было уже такого интереса к русским историко-культурным реликвиям. В результате на сегодняшний день во Франции сохранились лишь два музея российских эмигрантов – в Курбевау под Парижем и в Ницце.

Кроме того, в столице Франции существует Музей-библиотека имени Симона Петлюры, основанный организациями украинских эмигрантов. В нем хранятся бюст и посмертная маска С. Петлюры, документальные материалы об Украинской Демократической Республике, картины украинских художников²². В 1978 г. Александр Глезер, представитель новой волны эмиграции из СССР, создал в Париже Музей современного русского искусства, коллекции которого включают работы советских художников-нонконформистов, графиков, скульпторов (Э. Булатова, М. Шемякина, Э. Неизвестного, О. Рабина, В. Немухина и др.)²³. В мае 1995 г. было объявлено о создании в Париже Музея русского флага, формирующаяся экспозиция которого должна была состоять из следую-

щих разделов: флаги, штандарты, гербы, геральдика; живопись, графика, плакаты, скульптура; оружие, форма, ордена, медали, знаки отличия; иконы и другие предметы Русской православной Церкви; макеты военных кораблей и все, что относится к военноморскому флоту; монеты, марки, книги, автографы, документы, фотографии²⁴. Русский центр святого Георгия в Медоне проводит выставки икон²⁵. Но это уже новая глава в истории эмигрантских музейных собраний.

Судьба же многих эмигрантских музейных коллекций общественного характера, возникших в 20–30-х годах XX в. во Франции, до сих пор остается невыясненной. И перед нами стоит задача дальнейшего поиска материалов о них как в прессе, так и в архивах, в том числе частных, хранящихся во Франции, России и других странах.

Многие из существовавших когда-то во Франции музейных собраний эмигрантов утрачены безвозвратно, другие же распроданы после смерти их владельцев или хранителей. Бесценную коллекцию реликвий нашей культуры, своеобразный Русский музей, создан в результате активной и целенаправленной деятельности французским профессором-славистом Рене Герра. В его домашних собраниях в Париже и под Ниццей около 30 000 книг, (в том числе редчайшие эмигрантские издания); произведения живописи (картины А. Бенуа, Б. Григорьева, М. Добужинского, Б. Кустодиева, К. Коровина, С. Чехонина, З. Серебряковой, К. Сомова, Ю. Анненкова и других художников); рукописи (А.С. Пушкина, И.А. Бунина, Б.К. Зайцева, З.Н. Гиппиус, Дм.С. Мережковского, А.М. Ремизова, И.С. Шмелева и других писателей). В апреле–мае 1995 г. в Москве, в Третьяковской галерее демонстрировалась выставка из коллекции Р. Герра под названием “Они унесли с собой Россию”. По его инициативе основана Ассоциация по сохранению русского культурного наследия во Франции, в которую вошли известные французские деятели культуры и предприниматели, имеющие российские корни²⁶.

ЮГОСЛАВИЯ

Королевство сербов, хорватов и словенцев (так до 1929 г. именовалась Югославия) в межвоенные годы являлось одним из самых крупных центров сосредоточения эмигрантов из России, среди которых было немало представителей интеллигенции (врачей, ученых, архитекторов, учителей и др.), внесших заметный вклад в развитие культуры родственной славянской страны²⁷. Но наиболее организованной частью эмиграции, как и во Франции, стали военные. В 1921 г. в Югославию эвакуировались из Турции остатки армии П.Н. Врангеля. Тогда же в Белграде возник и Совет объединенных офицерских обществ в Королевстве СХС. Через два

года в него входили уже 16 офицерских обществ: Общество русских офицеров в Королевстве СХС; Общество офицеров Генерального штаба; Общество офицеров-артиллеристов; Общество полковых объединений гвардейской пехоты и сапер; Общество военных юристов; Общество военных инженеров; Общество офицеров инженерных, железнодорожных и технических войск; Общество бывших воспитанников Николаевской Инженерной академии и училища; Общество офицеров Корпуса военных топографов; Общество военных интендантов; Общество гвардейской артиллерии; Общество георгиевских кавалеров; Общество морских офицеров; Общество пажей; Общество бывших юнкеров Николаевского кавалерийского училища; Общество офицеров Корпуса военно-воздушного флота.

Позже были созданы и учреждены “Союз полковых объединений офицеров гвардейской пехоты и гвардейских сапер” и “Русское офицерское собрание”²⁸. И многие из перечисленных выше обществ формировали свои музейные коллекции.

Самым представительным и богатым было собрание Музея Первого Русского кадетского корпуса имени великого князя Константина Константиновича, созданного в сентябре 1925 г. в г. Бела-Црква (Сербия) по инициативе его директора, видного военного педагога, генерал-лейтенанта Бориса Викторовича Адамовича (1870–1936). В литературе он иногда именуется как Русский Зарубежный музей военно-учебных заведений. Его экспозиция постоянно расширялась. На 1930 г. в нем насчитывалось 2000, а через два года – уже 3000 экспонатов, которые подразделялись на несколько отделов: русский военный; зарубежных военно-учебных заведений; орденов, медалей, почетных и памятных знаков, печатей, монет, денежных ассигнаций и почтовых марок; П.Н. Врангеля; шефский, посвященный великому князю Константину Константиновичу. В залах музея с высоких стен склонялись 46 полковых знамен русской армии, знамена кадетских корпусов; кроме них экспонировались различные знаки отличия, части обмундирования, печати, фотографии, фанфары, погоны, документы, книги, картины. У посетителей неизменно вызывали интерес стол и скамья, у которых в 1918 г. погиб Л.Г. Корнилов, личные вещи и другие реликвии, связанные с генералом Врангелем (шинель, фуражка, шашка, кинжал, чуваки, надгробные венки, ленты, доски, эмблемы). При корпусе существовали еще два небольших музея: лейб-гвардии Кексгольмского пехотного полка и Виленского военного училища, сформированные их бывшим командиром и начальником Б.В. Адамовичем. Он подготовил к печати “Опись Музея Первого русского Великого князя Константина Константиновича Кадетского корпуса” с перечнем и описанием 3000 предметов общим объемом около 18 печатных листов, но для ее издания так и не удалось собрать необходимую сумму – 18 000 югославских динаров.

Один из эмигрантов, П. Борин, посвятил ему свое стихотворение “В музее корпуса”, в котором есть такие строки:

Вхожу в музей, и старина седая
Суворовских развернутых знамен,
Из тлеющего шелка вырастая,
Встречает славою былых времен.

В 1935 г. над корпусом нависла угроза закрытия, но несмотря на все финансовые и политические неурядицы, он продолжал функционировать даже в период немецко-фашистской оккупации Югославии. Когда в декабре 1943 г. из Белграда в Белу Цркву с инспекцией приезжал начальник Бюро русской эмиграции генерал-майор В.В. Крейтер, во время молебна в корпусную церковь вынесли из музея для освящения хранившееся там знамя Полоцкого кадетского корпуса²⁹. Дальнейшую судьбу музейных коллекций после освобождения Сербии в 1944 г. пока проследить не удалось.

В 30-х – начале 40-х годов Музей императора Николая II размещался в Белграде в Русском Доме (ул. Королевы Наталии, 33), носившем имя последнего российского царя и открытом в 1933 г. Общество ревнителей его памяти во главе с генералом В.Е. Флугом собрало для музея интересные реликвии, связанные с царствованием Николая II: различные вещи, картины, документы фотографии царя и членов его семьи³⁰. Музей был закрыт в конце 1944 г. вместе с другими эмигрантскими музеями в Югославии.

В 1928 г. в Белграде по решению общего собрания офицеров-кавалеристов был основан Музей русской конницы. Первоначально он размещался в Русском офицерском доме (ул. Дечанска, 18), позднее переехал в Русский Дом имени императора Николая II. В музее экспонировались и хранились в фондах полковые знамена, значки, эмблемы, трубы; портреты августейших шефов конных полков и известных кавалерийских военачальников А.В. Суворова, Д.В. Давыдова, М.И. Платова и др.; образцы военного снаряжения и обмундирования; картины, гравюры, фотографии, карты, схемы сражений, книги; списки личного состава, раненых, убитых, Георгиевских кавалеров; другие материалы по истории полков русской кавалерии и конных артиллерийских батарей. Его деятельностью руководила музейная комиссия во главе с генерал-майором Е.В.Ивановым³¹. Музей имел своих представителей, почетных членов и сотрудников на общественных началах в других городах Югославии, а также в Германии, Китае, Прибалтике, Польше, Франции, Чехословакии, Албании, США. Даже в годы второй мировой войны продолжали проводиться музейные праздники, собирались пожертвования на дальнейшее развитие Музея русской конницы, но в конце 1944 г. он был закрыт после освобождения Белграда частями Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии.

В Белграде в Русском Доме также нашлось место для небольшого музейного собрания при "Обществе офицеров Российского военно-воздушного флота в Югославии"³². В Русском офицерском собрании в Белграде возник импровизированный музей лейб-гвардии Уланского полка³³. Собственные коллекции имели общества бывших юнкеров Николаевского кавалерийского училища, лейб-гвардии Волынского и 81-го пехотного Апшеронского полков, Первопоходников; члены русского военного собрания в г. Суботице (Сербия); воины лейб-гвардии дивизиона Кубанских и Терской сотен на станции Белишче у г. Осиек (Хорватия)³⁴.

Как и в других странах проживания русской диаспоры, в Югославии порой возникали недоразумения и трения с местными властями, настойчиво предлагавшими передать ряд эмигрантских музейных собраний в государственные музеи. Председатель музейной комиссии Музея русской конницы Е.И. Иванов был весьма обеспокоен приказом по Военному министерству Королевства Югославии № 42 от 5 декабря 1936 г. об образовании в составе Военного музея в Белграде нового Русского отдела, в который принимались на хранение архивы, коллекции и отдельные предметы русских военных организаций в Югославии и других странах. Но сознавая, что могут наступить времена, когда Музей русской конницы не сможет самостоятельно функционировать, на всякий случай решил вступить в контакты с управлением Военного музея Югославии³⁵. А перевезенные из Екатеринодара через остров Лемнос и хранившиеся с 1921 г. в Белградской крепости Калемегдан регалии Кубанского казачьего войска (знамена, штандарты, иконы, грамоты российских императоров, парадные мундиры и др.) были переданы в 1939 г. в Военный музей, где экспонировались в трех залах. Условия их пребывания в стенах государственного музея оговаривались в специальном договоре, заключенном на 25 лет³⁶. Кто же мог предвидеть, что в годы второй мировой войны они будут вывезены в Германию, откуда перекочат через океан в США и со временем очутятся под крышей здания бывшего буддистского монастыря в г. Хауэлл (штат Нью-Джерси), где в 1977 г. откроется Кубанский войсковой музей³⁷. В Белградской крепости в 1921–1925 гг. хранились и реликвии Войска Донского, после 1945 г. возвращенные в Новочеркасский музей истории донского казачества. Там же временно сберегались штандарты лейб-гвардии Казачьего полка, 7-го гусарского Белорусского полка³⁸. Существовали в Югославии и частные коллекции российских военных раритетов.

В сентябре 1931 г. к десятилетию Сараевского отдела Общества русских офицеров в Югославии энтузиасты из числа эмигрантов подготовили для обозрения из своих собраний портреты российских государей, шефов различных полков; исторические формы лейб-гвардии Волынского и Егерского полков; материалы по истории военно-учебных заведений; документы, фотографии боев времен первой мировой и гражданской войн³⁹.

Реликвии российской истории и культуры поступали на хранение и в православные храмы, основанные эмигрантами в Югославии. Особенно ценным было собрание русской церкви Св. Троицы в Белграде, построенной в 1924 г. в Ташмайданском парке, ее настоятелем долгие годы был отец Виталий Тарасьев (1901–1974). В ней рядом с прахом генерала П.Н. Врангеля находились особо почитаемая икона Курской богородицы, коллекции орденов и медалей, серебряных труб и других знаков отличия русской армии, 19 штандартов кавалерийских полков (Киевского гусарского, Астраханского драгунского, Чугуевского уланского, Текинского конного и др.), знамя Уральского казачьего войска, частей Добровольческой армии. В годы второй мировой войны знамена были вывезены в неизвестном направлении немецкими оккупационными властями, пропали и другие реликвии, поэтому после войны пришлось практически заново создавать при храме музейное собрание. Эстафету подвижнической деятельности по сбору и сохранению русских реликвий с 1947 г. принял от отца его сын, священник Василий Тарасьев. И сейчас, побывав в домике напротив Русского храма Белграда, можно увидеть самые разнообразные предметы прошлого: русские картины; оружие; старинное распятие; ордена и медали; нагрудные знаки военных и кадетских училищ; погоны; кокарды; коллекцию брошек, сделанных из пуль, которые были извлечены из раненых солдат и офицеров⁴⁰.

Вскоре после освобождения Белграда частями Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии музеи, как и прочие эмигрантские учреждения (библиотеки и др.), были закрыты новыми властями⁴¹. Документальные материалы из них попали в закрытые фонды московских архивов, прежде всего Центрального государственного архива Октябрьской революции (ЦГАОР, ныне ГАРФ), а музейные коллекции ждала еще более печальная участь разграбления и распыления по разным местам и владельцам. Кое-какие экспонаты очутились в Народном и Военном музеях Белграда, Народном музее сербского г. Зренянина.

Быть может, при посредничестве коллекционеров-эмигрантов в белградские музеи попали позднее путем закупок и некоторые из крестов-энколпионов древнерусского происхождения конца XI–XII вв.⁴²

От эмигрантских коллекций 20–40-х годов XX в. заметно отличается существующее до сих пор музейное собрание этнографического характера “Руски Керестур”, характеризующее быт русинов, предки которых переселялись в Северную Сербию, в область между Сомбором и Панчево, еще с середины XVIII в.⁴³ Его материалы свидетельствуют о духовной и культурной близости восточнославянских народов и сербов, корни которой уходят в глубокую древность.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

В 1920–1930-е годы столица Чехословакии была одним из самых оживленных центров культурной и научной жизни российской эмиграции, получавшей финансовую поддержку и материальную помощь от правительства республики и от частных лиц. Поэтому именно в Праге в относительно благоприятных условиях возникло несколько музейных коллекций реликвий российской истории и культуры⁴⁴.

Из них, пожалуй, наиболее ценным являлось собрание Русского культурно-исторического музея, основанного Валентином Федоровичем Булгаковым (1886–1966), последним секретарем Л.Н. Толстого, литературоведом и писателем, прекрасным знатоком искусства, замечательным музейным работником⁴⁵. Родился он в городе Кузнецке Томской губернии, в семье смотрителя народных училищ. Еще в годы обучения в томской гимназии юный Булгаков увлекся родной литературой и фольклором народов Сибири, начал публиковаться в местных газетах. В 1906 г. поступил на историко-филологическое отделение Московского университета. Но полный курс обучения в университете он, однако, не прошел. В студенческие годы Валентин Федорович ощутил жгучий интерес к творчеству и личности Л.Н. Толстого, с которым не раз встречался. А с 17 января 1910 г. по рекомендации В.Г. Черткова стал личным секретарем великого писателя и переселился на хутор Телятинки вблизи Ясной Поляны. Булгаков регулярно вел дневник, на основе которого впоследствии им были изданы воспоминания “Л.Н. Толстой в последний год его жизни”. После смерти Льва Толстого Валентин Федорович занимался описанием его яснополянской библиотеки. А в 1914 г. как противник грянувшей мировой войны был арестован за составление и распространение антивоенных воззваний. Более года он провел в заточении в тульской тюрьме, так и не отказавшись от своих убеждений. Выйдя из заключения, Булгаков продолжал заниматься популяризацией идей Л.Н. Толстого и увековечиванием его памяти.

После 1917 г. В.Ф. Булгаков до вынужденной эмиграции работал директором Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве и одновременно хранителем Дома-музея Л.Н. Толстого в Хамовниках, а в 1923 г. был выслан с семьей из СССР в Чехословакию за пропаганду толстовского учения, несовместимого с обстановкой развязанного в стране террора и преследования инакомыслящих. Таким образом, В.Ф. Булгаков еще до отъезда на чужбину приобрел немалый опыт музейного работника, занимаясь сбором, хранением и экспонированием коллекций, посвященных жизни и творчеству великого русского писателя. Находясь в эмиграции, Булгаков продолжал пропагандировать идеи Л.Н. Толстого: выезжал выступать с лекциями о нем во многие европейские страны (Австрию, Болгарию, Германию, Францию, Швейцарию, Югославию), издавал книги (например:

“Толстой – моралист”, Прага, 1923 и др.) и статьи. Одновременно все эти годы (за исключением военного лихолетья) активно занимался общественной деятельностью, будучи членом совета “Интернационала противников войны”, а также главой Союза русских писателей в Чехословакии.

Но главным и самым любимым делом его жизни в эмиграции с конца 1933 г. стало создание Русского культурно-исторического музея (РКИМ), первоначально именовавшегося “Русский заграничный музей”. В 1934 г. одновременно с Русским научным обществом РКИМ официально присоединился к Русскому народному университету (создан в 1923 г.), переименованному в этой связи в Русский свободный университет (РСУ). Председателем Музейной комиссии РСУ стал один из его основателей профессор М.М. Новиков, крупный ученый-зоолог, бывший ректор Московского университета; секретарем – В.Ф. Булгаков⁴⁶. Дом № 8 по ул. Краковской, в котором располагался РСУ, стал также официальным адресом формирующегося музея. Вот текст удостоверения Русского народного университета, подписанного 12 декабря 1933 г. его ректором М. Новиковым: “Настоящим удостоверяется, что Валентину Федоровичу Булгакову поручена организация учреждаемого при Университете Русского Культурно-исторического музея и покорнейше просит учреждения и лиц, к которым В.Ф. Булгаков обратится по этому делу, не отказать ему своим любезным содействием”⁴⁷.

Подвижническая деятельность по организации музея начиналась, по существу, на пустом месте: без соответствующего финансового обеспечения, помещений и самих экспонатов. Некоторые даже не верили, что через пятнадцать лет после начала массовой эмиграции В.Ф. Булгакову удастся создать полноценную коллекцию, иллюстрирующую эмигрантскую жизнь. Но предсказания скептиков, к счастью, не сбылись... Новый музей получил денежную помощь и от чехословацких властей (3000 крон из канцелярии Президента Чехословакии), и от эмигрантов, и от меценатов. Благодаря содействию Художественно-промышленного музея достали часть необходимого оборудования. Благородному начинанию эмигрантов оказывало поддержку и Министерство образования Чехословакии.

Чтобы дать представление о замысле создателя музея, приведем отрывки из двух интересных документов. Вот о чем говорилось в первых трех пунктах “Положения о Русском Культурно-историческом музее в Праге”, утвержденного в 1934 г.

“1. Русский культурно-исторический музей учреждается при Русском Свободном университете в Праге и в будущем должен быть перенесен в Россию как национальное достояние.

2. Целью музея является собирание, хранение, изучение и экспонирование памятников и материалов, относящихся к истории, жизни, творчеству и быту русской эмиграции и русского зарубежного населения вообще.

3. К памятникам и материалам, интересующим музей, относятся: предметы исторического характера (знамена, ордена, медали, редкое оружие, костюмы, иконы и т.д.); портреты, картины, рисунки, гравюры, скульптура; реликвии, непосредственно связанные с личностью и памятью выдающихся русских писателей, ученых, художников и артистов, подвизавшихся за рубежом; всякого рода характерные предметы и памятки, связанные с бытом и деятельностью русских в разных странах; фильмы русских режиссеров, проекты и предметы изобретений русских инженеров, театральные макеты, клише, фотографии, литературные альбомы и пр.”⁴⁸.

Формулировка первого пункта “Положения” о передаче в будущем коллекции РКИМ в Россию вызвала определенное сомнение и даже настороженность у части эмигрантов, опасавшихся сдавать туда свои семейные материалы. И это вполне понятно и объяснимо: ведь Советский Союз не был для них той Россией, которую они потеряли, отправляясь в изгнание, а в возможность скорого падения большевистского режима большинство уже не верило. Тем не менее, в РКИМ стало поступать от эмигрантов немало вещей.

По “Плану-программе”, составленному В.Ф. Булгаковым, музей должен был состоять из четырех отделений, библиотеки и архива рукописей.

“I. Отделение художественное: 1. Живопись, рисунки, гравюры и скульптура зарубежных русских художников. 2. Архитектурные проекты и модели. 3. Художественная фотография. 4. Прикладное искусство: керамика, фарфор, металлопластика, выжигание по дереву, игрушки, вышивка. 5. Фотографии и репродукции выдающихся произведений русского искусства, находящихся за границей вне музея. II. Отделение историческое: 1. Мировая война, революция, исход из России. – Предметы, вывезенные русскими за границу: а) костюмы и формы, б) знамена и ордена, в) медали и монеты, г) денежные знаки, д) карты, планы и фотографии, е) плакаты, воззвания, документы и пр. 2. История русской эмиграции: расселение по разным странам, общественная работа и политическая борьба. 3. Быт эмиграции: труд, школа, церковь, театр, спорт, благотворительные учреждения; иностранные друзья русских... III. Отделение культурно-историческое: 1. Творчество русских писателей, ученых, композиторов и артистов, подвизавшихся за рубежом... IV. Отделение русской старины: Предметы, вывезенные эмигрантами из России или найденные за границей: а) старинная живопись и иконы, б) государственные реликвии, в) символы власти, г) предметы богослужебные: кресты, сосуды, “воздухи” и пр., д) старинный русский фарфор, е) древнее оружие, ж) ларцы и табакерки, з) монеты и кредитные билеты, и) домашняя утварь, к) фотографии предметов русской старины, находящиеся вне Музея за границей, л) фотографии памятников древней русской архитектуры, находящихся в приграничных с Россией областях и странах”⁴⁹.

Изложенная в “Положении” и “Плане-программе” концепция будущего музея отличалась продуманностью, научным подходом и комплексностью. Ее осуществление требовало громадных усилий и немалых средств. Но у Русского свободного университета и тем более у самого В.Ф. Булгакова не было даже места для хранения крупного музейного собрания, не говоря уже об экспонировании наиболее интересных реликвий русской культуры. Встал вопрос, что же делать дальше? К счастью, собиратель получил своевременно поддержку от видного политического деятеля Чехословакии, бывшего премьер-министра, депутата парламента, большого друга российских эмигрантов Кареля Крамаржа (1860–1937) и его супруги, Надежды Николаевны, урожденной Хлудовой. По просьбе Крамаржа известный промышленник и меценат Кирилл Бартонь-Добенин предложил для размещения коллекций РКИМ часть помещений своего Збраславского замка на р. Влтава, в 10 километрах к югу от Праги (ныне в черте города). В древности, с XIII в. в Збраславе находилась загородная охотничья усадьба чешских королей, затем цистерцианский монастырь. В перестроенное в замок барочное здание конвента монастыря (XVIII в.) и перевез собранные музейные ценности В.Ф. Булгаков. Какое-то время ушло на их размещение и создание экспозиции. И вот, наконец, наступило волнующее событие в жизни русской эмигрантской колонии в Чехословакии. У нее появился новый культурный очаг, позволяющий соприкоснуться с реликвиями той России, которую они потеряли и о которой так тосковали.

Многие из эмигрантов и представителей чехословацкой общности получили официальное приглашение на открытие музея. На фотографии, запечатлевшей этот торжественный момент, можно увидеть М.М. Новикова, В.Ф. Булгакова, епископа Сергия, проводившего молебен.

Открывшийся музей состоял первоначально из следующих отделений: художественного (картины, рисунки, скульптура); архитектурного (чертежи и проекты зданий русских архитекторов, оказавшихся в Чехословакии, Эстонии, Югославии); истории эмиграции; русской старины (с отделом автографов и фотографий). При музее имелась библиотека с собранием редких книг о России.

В Збраславском замке экспозиция и фонды РКИМ разместились в 14 комнатах. В одном из залов экспонировалось 15 картин Н.К. Рериха (в том числе “Св. Сергий”), поступивших из Индии и из Югославии (из музея принца-регента Павла). Рериховский зал был торжественно открыт в 1938 г.

Булгаков являлся директором и по существу единственным научным сотрудником музея, получая за свой труд всего лишь 500 крон, т.е. половину зарплаты университетского лаборанта, а ведь на нем лежала и забота об обеспечении семьи (жены, дочерей)⁵⁰. В Збраславе в то время проживала небольшая русская колония, состоявшая в основном из представителей интеллигенции. Для

осмотра экспозиция РКИМ открывалась по воскресеньям, когда сюда приезжали посетители из близлежащей Праги и других мест Чехословакии, куда забросила судьба эмигрантов из России.

В 1936 г. в замке была устроена небольшая выставка картин И.Е. Репина, принадлежавших его дочери Вере; немногим позднее в Праге прошла выставка работ Ф.А. Малявина. Их проведение повышало интерес к русской живописи в Чехословакии. Президенты республики Т. Масарик, а затем Э. Бенеш благожелательно относились к деятельности РКИМ, оказывалась помощь и созданной эмигрантами Комиссии по собиранию русской старины⁵¹. 18 января 1937 г. ректор РСУ М.М. Новиков, заведующий музеем В.Ф. Булгаков и секретарь РСУ Д.Н. Иванцов направили на бланке РКИМ с изображением Збраславского замка благодарственное письмо депутату, доктору К.П. Крамаржу с выражением признательности за подаренную фотографию его покойной супруги Надежды Николаевны и надеждой на продолжение поддержки РКИМ.

Бюджет музея, однако, был весьма скромным, и в деле пополнения его собраний приходилось рассчитывать главным образом на дары деятелей русской культуры, оказавшихся в эмиграции. Со многими из них Валентин Федорович был знаком еще в Москве, с другими познакомился уже на чужбине, и это, конечно, помогало ему находить ключ к сердцам. К слову сказать, сам Булгаков, будучи человеком доброжелательным и отзывчивым, нередко оказывал поддержку соотечественникам, о чем свидетельствуют его письма, в том числе и М.И. Цветаевой⁵². От нее он получил в дар для музея несколько рукописей, самодельное серебряное кольцо и простую перьевую ручку, которой Марина Ивановна любила писать стихи⁵³. Кстати, в собраниях РКИМ хранилось еще несколько инструментов для письма не менее известных русских писателей – Нобелевского лауреата И.А. Бунина, М.А. Алданова, З.А. Гиппиус, Б.К. Зайцева, Д.С. Мережковского. В.Ф. Булгаков собирал не только музейные экспонаты, но и архивные, в том числе рукописи и письма писателей. Сам вел переписку с Р. Ролланом, Р. Тагором, М. Цветаевой, с известными русскими художниками Н.К. Рерихом, К.А. Коровиным, Л.О. Пастернаком. Ему присылали интереснейшие материалы из Франции, Германии, Югославии, Китая, США и других стран, куда судьба забросила изгнанников из России.

Многие из соотечественников понимали важность его начинания. В их адрес не раз направлялись обращения и письма от имени РКИМ. В роли бедного просителя во время поездки в Париж в 1937 г. Булгаков не раз обходил квартиры русских художников и в большинстве случаев возвращался домой не с пустыми руками. Так, удалось бесплатно получить для РКИМ ряд произведений А.Н. Бенуа (акварель “Каскады в Фонтенбло”), К.А. Коровина (пейзаж и эскиз декораций к опере “Князь Игорь”), Н.С. Гончаровой (один из натюрмортов), З.Е. Серебряковой (картина “Бретонка”), скульптур-

ные бюсты Л. Бетховена и Л. Пастера работы Н.Л. Аронсона⁵⁴. Причем, их жертвовали на общее благо люди, проживавшие в эмиграции нередко в стесненных материальных условиях.

В деле собирания картин русских художников-эмигрантов В.Ф. Булгакову пришлось столкнуться с соперничеством со стороны Рижского музея Н.К. Рериха и профессора-искусствоведа Н.Л. Окунева, пытавшегося создать галерею при Славянском институте в Праге. И все-таки музей в Збраславском замке был самым полным собранием искусства российской диаспоры 30-х годов.

В 1938 г. в Риге с помощью члена-корреспондента РКИМ, художника А.И. Юпатова Булгакову удалось напечатать вначале краткий каталог, а затем даже альбом художественных собраний Русского культурно-исторического музея, включивший около 400 произведений живописи и скульптуры⁵⁵. Вот что писал в предисловии к альбому “Русское искусство за рубежом” Н.К. Рерих: “Русский культурно-исторический музей в Праге есть явление глубочайшего смысла. Это – первый Русский музей в Европе, маяк русского искусства и науки за рубежом. Русские достижения прежде бывали представлены на международных выставках, а также театральными постановками. Все это было очень нужно для осведомления Запада с русским творчеством. Но выставки и постановки были кратковременными, а пражская сокровищница есть учреждение постоянное, предназначенное запечатлеть разнообразные проявления русского творческого духа”⁵⁶. Сам великий русский художник и гуманист еще до революции неоднократно поднимал вопрос о необходимости создания в Европе “особого русского хранилища или, хотя бы, русских отделов при существующих нерусских музеях”⁵⁷. И вот теперь, благодаря энергии, патриотизму и подвижничеству В.Ф. Булгакова, его добровольных помощников, эта мечта сбылась. Каждый желающий мог в одном месте ознакомиться с творчеством россиян, увидеть реликвии истории и культуры.

Накануне второй мировой войны коллекции РКИМ продолжали пополняться. В Збраславском замке даже появились два новых отдела – Пушкинский и театальный. Первый из них состоял из документов, посвященных празднованию в 1937 г. 100-летней годовщины со дня смерти великого поэта, редких изданий его произведений, художественно-иллюстративных материалов. Театральное отделение, в частности, включало мемориальные вещи Ф.И. Шаляпина, фотографии и письма М. Ермоловой, реквизит танцовщика С. Лифаря. Кроме того, в РКИМ имелись разрозненные коллекции произведений русского прикладного искусства, наград, карт, камей, миниатюр, монет и бумажных ассигнаций. Е.П. Желиховская передала ему вещи генерала А.А. Брусилова: пять альбомов с фотографиями, генеральские погоны, его автограф, воспоминания о нем. Благодаря дару М.Д. Врангель в РКИМ оказались фотографии ее сына, генерала П.Н. Врангеля и семейные мемуары. В музее также находилась

коллекция русских орденов и медалей, в том числе на временном хранении (до 1941 г.) награды военного композитора генерала С.А. Траилина.

Несмотря на то, что с 1923 г. в Праге функционировал Русский заграничный исторический архив (РЗИА) с книжным отделом, а годом позже возникла Русская (с 1927 г. – Славянская) библиотека при Министерстве иностранных дел Чехословацкой республики, создатели РКИМ с самого начала своей деятельности планировали наряду со сбором музейных экспонатов сформировать архивный и библиотечный фонды. В этой связи для нас представляют интерес два пункта из Положения о РКИМ:

“4. При музее основывается библиотека, главной задачей которой является отображение литературного и научного творчества представителей русской культуры, находящихся за рубежом.

5. Музей отнюдь не задается целью собирания книжных и рукописных материалов по истории участия России в мировой войне или по истории революции и гражданской войны в России, а также архивных материалов по истории русских беженческих учреждений, так как эта задача уже выполняется Русским Заграничным Историческим Архивом в Праге. Во всех случаях, когда могут возникнуть сомнения в вопросах компетенции Музея и Архива, эти сомнения разрешаются по взаимному соглашению представителей обоих учреждений”⁵⁸.

В дальнейшем РКИМ в отличие от РЗИА ориентировался на хранение прежде всего литературных материалов, автографов и эпистолярного наследства писателей, других деятелей культуры.

Согласно Плану-программе Русского культурно-исторического музея его архив рукописей должен был включать следующие материалы:

“1. Оригинальные (черновые и законченные) рукописи произведений русских писателей, ученых и композиторов, а также корректуры с собственноручными авторскими поправками.

2. Неизданные художественные и научные произведения эмигрантов, а также дневники, записки, воспоминания.

3. Русские тексты произведений русских писателей и ученых, опубликованные только на иностранных языках.

4. Переписка выдающихся представителей русской культуры, переписка выдающихся иностранцев с русскими корреспондентами; всякого рода характерные письма, относящиеся к истории, жизни и быту русской эмиграции, а также письма, получаемые эмигрантами из Советской России.

5. Старинные русские рукописи, жалованные грамоты, указы и пр.

6. Фотографические снимки с оригинальных писем, документов, автографов, старинных грамот, надписей и т.п., находящихся вне Музея за границей”⁵⁹.

Поскольку помимо произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства музей принимал на хранение документальные материалы, это не могло не осложнить его отношения с руководством Русского заграничного исторического архива. Председатель правления РЗИА А.Н. Фатеев даже вышел из состава Музейной комиссии Русского Свободного университета. Но заведующий РКИМ В.Ф. Булгаков старался не обострять ситуацию и даже сдал в 1934 г. в РЗИА рукопись своих воспоминаний “Толстовцы в 1914–1916 гг.”⁶⁰

Тем не менее архивный фонд РКИМ продолжал постоянно пополняться благодаря дарам эмигрантов, многим из которых направлялись письма с просьбой о присылке личных материалов. В собрании музея, в частности, находились автографы Л.Н. Толстого; рукописи М. Алданова, М. Арцыбашева, И. Бунина, М. Цветаевой, Б. Зайцева, В. Немировича-Данченко; письма Г. Адамовича, М. Осоргина, Н. Тэффи, И. Наживина, А. Ремизова; переписка В.Ф. Булгакова с Н.К. Рерихом, Р. Ролланом, Р. Тагором; материалы о проведении ежегодных Дней русской культуры в день рождения А.С. Пушкина во Франции, Чехословакии, Китае и других странах, где осели изгнанники из России; часть научного архива М.М. Новикова, других ученых; фотографии, иллюстрировавшие жизнь эмигрантов; архитектурные чертежи. Значительный интерес представляли материалы театрального отделения РКИМ, связанные с великой русской актрисой М. Ермоловой. Марина Цветаева подарила РКИМ подборку своих журнальных статей на литературные темы⁶¹. Не менее ценным был дар писателя А.П. Бурова.

В.Ф. Булгаков не мыслил существование своего любимого детища – музея без книжного собрания. Вот из каких отделов предполагалось формировать библиотеку РКИМ в момент его возникновения.

“1. Русская книга, изданная за рубежом, и русские зарубежные журналы.

2. Книги русских писателей и ученых эмигрантов, изданные на иностранных языках, а также иностранные журналы со статьями русских авторов и отдельные оттиски этих статей.

3. Иностранная литература, посвященная русской эмиграции: книги, статьи и газетные вырезки.

4. Библиографический: картотека с указанием всей литературы, в том числе и отсутствующей в библиотеке Музея, по всем трем вышеозначенным отделам”⁶².

Издатель из Норвегии В. Каррик, а также известный библиофил Н.А. Рубакин активно участвовали в комплектовании библиотечного фонда РКИМ, насчитывавшего более 3000 томов книг и периодических изданий, в том числе с автографами авторов.

Музей поддерживал постоянные связи с другими культурно-просветительскими организациями, существовавшими тогда в Чехосло-

вакии, Франции, Югославии, далеком Китае, в том числе с парижским обществом “Икона”, издательством “Петрополис”. В знак признания особых заслуг перед музеем К. Бартонь-Добенин, М.М. Новиков, Н.К. Рерих были избраны почетными членами РКИМ⁶³.

Музейные дела (забота о пополнении коллекций, инвентаризация фондов и др.) требовали от В.Ф. Булгакова немало времени и сил, а он еще успевал заниматься и литературным трудом, работая над составлением “Словаря русских зарубежных писателей” (свыше 1000 имен), который был издан через много лет после его кончины⁶⁴. Но далеко не все замыслы Булгакова были воплощены. Так, из-за немногочисленности материалов не удалось сформировать в музее техническое отделение и Сибирский отдел, с инициативой создания которого выступил председатель Союза сибиряков в Чехословакии И.А. Якушев⁶⁵. В 1938 г. организатор музея в Збраславском замке, объективно оценивая полноту и представительность его материалов, планировал продолжить свою собирательскую деятельность: “Разумеется, собрания Русского Культурно-Исторического Музея в Праге являются лишь небольшой частью общего количества памятников русской культуры, находящихся за рубежом, – писал он. – Сколько их переполняет лавки антикваров во всех частях света, частные коллекции иностранцев, квартиры отдельных эмигрантов. Спасти, что можно, из этого количества для истории, для России и является задачей Музея”⁶⁶. Однако начавшаяся вскоре вторая мировая война сорвала дальнейшие планы. Теперь уже речь шла не о пополнении ценных собраний, а о сохранении их от разграбления и уничтожения.

Членом музейной комиссии РСУ был известный исследователь истории Нижегородской ярмарки Петр Александрович Остроухов (1885–1965), сыгравший значительную роль в сохранении коллекций РКИМ в годы второй мировой войны, после того как В.Ф. Булгаков как советский гражданин 22 июня 1941 г. был арестован оккупационными властями и после пражской тюрьмы Панкрац отправлен в фашистский концлагерь в Баварии. В личном архиве П.А. Остроухова (фонды ГА РФ) сохранились книги протоколов заседаний Музейной комиссии РСУ за 1940–1944 годы⁶⁷. Дальнейшая судьба музея была печальной, в 1944 г. его фактически закрыли. В последние месяцы войны в Збраславском замке хозяйничали фашистские солдаты, выбитые частями наступавшей Советской Армии. Военные действия причинили немалый урон собраниям РКИМ.

Вернувшийся из концлагеря в июне 1945 г. В.Ф. Булгаков, едва успев повидать родных, сразу бросился осматривать любимое детище, в которое вложил так много труда. Повсюду бросались в глаза следы повреждений: разбитые окна и стекла витрин, разбросанные книги, рисунки... В голове у него в те дни была одна мысль: спасти уцелевшее. Часами немолодой уже, седовласый человек копался в горах мусора, пытаясь разыскать утраченные реликвии. И вот сча-

стливый миг удачи. В руках у Валентина Федоровича серебряный перстень и простая перьевая ручка, подаренные Мариной Цветаевой и найденные за дверью в пыли. То были лишь два из многочисленных экспонатов самого крупного и интересного из всех музеев, основанных российскими эмигрантами в межвоенной Европе.

Сохранившиеся коллекции Булгакову пришлось перевезти из Збраславского замка в Прагу, в ограниченные по площади помещения русской эмигрантской гимназии, превращенной вскоре в советскую среднюю школу, где он работал несколько лет учителем и даже пытался проводить экскурсии. Им же в те годы редактировался пражский “Советский бюллетень”. Одновременно велась работа по подготовке музейных ценностей к передаче в СССР.

Вот что отмечено в записной книжке В.Ф. Булгакова: “В 1948 году я выслал в Россию 25 ящиков с книгами, рукописями, предметами русской старины и более 150 работ русских художников: картины Репина, 15 картин Рериха, работы Билибина, Добужинского”⁶⁸. Первоначально собрания РКИМ поступили в Министерство иностранных дел СССР, распределившего их среди крупнейших музеев Москвы и Ленинграда: Государственной Третьяковской Галереи (51 картина); Театрального музея имени А.А. Бахрушина (48 картин, портретов, эскизов и других экспонатов); Государственного Исторического музея (71 единица хранения – народная вышивка, два декоративных блюда, портреты, фотографии, карта Волги, составленная в XVII в. Адамом Олеарием и др.); Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Русского музея⁶⁹.

Фонды библиотеки и рукописного отдела РКИМ (материалы И.А. Бунина, А.И. Куприна, М.И. Цветаевой, Ф.И. Шаляпина и других известных деятелей культуры) были перевезены в Москву еще раньше, в декабре 1945 г., в составе Русского зарубежного исторического архива и затем оказались на хранении в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ныне Государственный архив Российской Федерации) и Центральном государственном архиве литературы и искусства (ныне Российский государственный архив литературы и искусства)⁷⁰. В РГАЛИ наряду с документами попали портреты русских писателей, ученых, артистов работы художника Л.И. Голубева-Багрянородного и рисунки К. Пяковского. Так целостная коллекция РКИМ была, к сожалению, разобщена по музеям и архивам. Кое-что из менее ценных материалов даже предлагалось другим культурным учреждениям – клубам, домам пионеров. Лишь незначительная часть второстепенных по значимости коллекций РКИМ осталась в распоряжении Комитета советских граждан в Чехословакии.

Вернувшись в СССР в 1948 г. во главе первого транспорта эмигрантов из Праги, Булгаков перевез сохраненные им материалы о Л.Н. Толстом в Ясную Поляну, где работал научным сотрудником,

а затем хранителем музея. В последние годы жизни Валентин Федорович писал две книги воспоминаний: “Чтобы спасти от забвенья” и “Как прожита жизнь”.

Еще одно музейное собрание в Праге принадлежало основанному в 1925 г. русскими учеными-эмигрантами Семинару (затем Археологическому институту) имени академика Н.П. Кондакова (1844–1925)⁷¹. Семинар занимался изучением древней и средневековой истории, искусства. Утвержденный 1 июля 1931 г. властями Чехословакии устав Археологического института имени Н.П. Кондакова включал пункт: “собрание библиотеки и археологической коллекции”⁷². Она пополнялась преимущественно путем частных пожертвований, собственных средств из бюджета Института едва хватало на приобретение византийских монет. Институтская библиотека насчитывала около 10 000 книг. Наиболее ценным в его коллекциях было собрание редких русских икон, для экспонирования которых имелась специальная комната. При Институте работали иконописная и эмальерная мастерские, изготовлявшие копии древних икон для продажи с целью пополнения скудного бюджета⁷³. Все это способствовало привлечению внимания к древнерусской иконописи в Чехословакии. 23 апреля 1932 г. в пражской галерее Топича открылась выставка 82 русских икон XV–XIX вв., проводившаяся под покровительством ученого-археолога с мировым именем, профессора Карлова университета Л. Нидерле. На ней были также представлены произведения декоративно-прикладного искусства России – панагии, кресты с эмалью, лакированные шкатулки. Экспонировавшиеся иконы происходили в основном из частных собраний, в том числе проживавшей в Праге княгини Н.Г. Яшвилъ. К открытию выставки приурочили издание хорошо иллюстрированного каталога⁷⁴. С произведениями древнерусской живописи можно было ознакомиться и в помещении Археологического института имени Н.П. Кондакова, располагавшегося в конце 30-х годов в одном из районов Праги, Стшешовице, в доме № 10 по ул. Слунна, а после 1939 г. переехавшего в дом № 6 по ул. Хашталека⁷⁵. Даже в годы второй мировой войны по инициативе его тогдашнего директора Н.Е. Андреева удалось провести выставку русских икон из коллекций Кондаковского института и части собрания известного купца-старообрядца К.Т. Солдатенкова, принадлежавшего видному дипломату, бывшему чехословацкому консулу в Москве И. Гирсе, члену Института. Она имела небывалый успех. Реставратор и художник Е.Е. Климов занимался тогда же расчисткой пятнадцати икон, в том числе иконы Спаса Вседержителя московской школы XV в., переданной впоследствии в 1951 г. вместе с частью коллекции Третьяковской галерее⁷⁶. Но подавляющее большинство экспонатов из собрания ликвидированного тогда Института имени Н.П. Кондакова было оставлено в 1953 г. в распоряжении правительства Чехословакии. Они вошли в состав коллекций Национальной галереи в Праге (80 старинных русских и греческих икон), Институ-

та истории искусства (монеты и печатные изделия), Художественно-промышленного музея (коптские ткани и кованные металлические изделия)⁷⁷.

Чехословакия не относилась к числу самых крупных центров расселения представителей военной части российской эмиграции, не имевшей здесь такой организованной структуры как в Турции, Болгарии, Югославии, куда прибывали из России корпуса, бригады, полки. Осевшие здесь после 1920 г. бывшие солдаты и офицеры белых армий, казаки не проживали компактными группами, что препятствовало их постоянному общению с ностальгическими воспоминаниями о былом. В отличие от Франции и Югославии в Чехословакии не было полковых собраний с картинами, фотографиями, мемориальными вещами, но в эмигрантской среде так же бережно хранились различные воинские реликвии.

Самыми интересными и ценными из коллекций такого рода были материалы Донского архива и Новочеркасского музея, которые попали за границу в сформировавшемся уже виде. Еще в 1884 г. в Новочеркасске – административном центре Области войска Донского – возникло Общество любителей донской старины, сыгравшее большую роль в создании музейного собрания. А в 1899 г. состоялось открытие Донского музея в специально построенном для него здании в центре города. В нем экспонировались многочисленные казачьи знамена и штандарты, регалии атаманской власти (серебряные перначи, насеки, булавы, бунчуки XVIII–XIX вв.), сабля прославленного атамана, героя Отечественной войны 1812 г. М.И. Платова, другое именное и жалованное оружие, российские и иностранные ордена и медали – свидетельства воинской доблести казаков⁷⁸.

Если бы не революции 1917 г. и последовавшая за ними гражданская война, реликвии донского казачества вряд ли покинули бы стены Новочеркасского музея. Но из-за угрозы захвата Новочеркасска Красной Армией в декабре 1919 г. по решению Донского казачьего правительства и атамана Войска Донского А.П. Богаевского Донской архив и основная коллекция музея, оцененная в 8 763 500 рублей, были вывезены из Новочеркасска по железной дороге в Новороссийск⁷⁹.

Стоит уделить чуть больше внимания личности донского атамана, который не пожелал оставить казачьи святыни большевикам, проводившим весьма жесткую политику расказачивания. Это был незаурядный человек, поклонник философского учения А. Шопенгауэра, хорошо знавший литературу, умевший ценить прекрасное, душой болевший за судьбу России.

Африкан Петрович Богаевский (1872–1934) происходил из казаков донской станицы Каменской и получил прекрасное военное образование, окончив в 1892 г. Николаевское кавалерийское училище, а позже с отличием – Академию Генерального штаба, после чего занимал штабные должности в Петербургском военном округе. Уча-

ствовал в первой мировой и гражданской войнах. 19 февраля 1919 г. Большим войсковым кругом генерал-лейтенант Богаевский был выбран войсковым атаманом Войска донского. После разгрома армии генерала П.Н. Врангеля отправился пароходом в Константинополь, откуда вскоре переехал в Болгарию; затем он попал в Югославию и, наконец, во Францию, где и нашел в 1934 г. свое последнее пристанище на известном русском эмигрантском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. С детства он был воспитан в духе уважения к военно-патриотическим традициям русского народа. Оказавшись в 1920 г. в Крыму, живо интересовался реликвиями русской воинской славы Севастополя, в обороне которого в годы Крымской войны участвовал его отец. Вот строки из недавно опубликованного дневника Африкана Петровича, написанные 30 марта 1920 г.: “Здесь, на священной земле Севастополя, обильно политой кровью доблестных его защитников в 1854/5 г., со всех сторон видишь памятники славной старины этого незабвенного года... Какие чудо-богатыри духа были тогда!”⁸⁰. Посетив Музей Севастопольской обороны на знаменитом Малаховом кургане, а также Братское кладбище, Богаевский дал свои личные оценки увиденным памятным сооружениям. К сожалению, в дневнике, начатом 1(14) февраля 1919 г., записи затем прерываются на целый год, и из него нельзя ничего узнать о вывозе из Новочеркасска коллекций Донского архива и музея⁸¹. Нет о них ни слова и в воспоминаниях донского атамана⁸². Кстати говоря, в период его пребывания в Новочеркасске там был организован комитет по устройству памятников борьбы Дона с большевиками⁸³.

Эвакуация из Новороссийска в марте 1920 г. остатков Донской армии, а вместе с ней архивных и музейных ценностей, происходила при весьма драматических обстоятельствах под огнем наступающих красных. Для Донской армии было выделено всего три парохода, которые не могли вместить всех людей. Казакам пришлось даже оставить на берегу тысячи породистых лошадей. Но несмотря на все ужасы Новороссийской катастрофы реликвии Донского архива и Новочеркасского музея были переправлены морем в Константинополь.

Л.К. Шкаренков пишет о расхищении части ценностей во время их переправки из Новороссийска по железной дороге и пароходом, что вполне могло случиться в хаотической обстановке спешной эвакуации⁸⁴. В причастности к разбазариванию музейных раритетов даже обвиняют лиц, близких к А.П. Богаевскому, в том числе его супругу.

В Константинополе вывезенные материалы Донского архива и Новочеркасского музея разместили в летней резиденции Российского посольства в Буюк-Дере, где приступили к их предварительному разбору. Но там архивные и музейные ценности Войска Донского надолго не задержались. В связи с эвакуацией в 1921 г. из Турции ос-

татков армии генерала П.Н. Врангеля, в которую входил Донской казачий корпус, казацкие реликвии переправили через Болгарию в Югославию и хранили в течение четырех лет в Белградской крепости под контролем образовавшейся в 1923 г. Донской исторической комиссии. На этом их зарубежные странствия, однако, не закончились. В 1924 г. в Чехословакию из Парижа приезжал А.П. Богаевский, чтобы договориться с властями о перемещении туда реликвий истории Дона. В феврале 1925 г. под руководством члена Донской исторической комиссии П.А. Скачкова они были перевезены по железной дороге в Прагу на деньги, выделенные Чехословацким правительством⁸⁵.

Ветеринарный врач по профессии, уроженец Ростова-на-Дону, участник первой мировой и гражданской войн, одно время окружной атаман, Павел Автономович Скачков (1878–1936), казалось, был далек по своим интересам от истории⁸⁶. Но судьба распорядилась так, что забота о сбережении реликвий донского казачества стала основной целью последних лет его жизни. Еще в Белграде он принял активное участие в издании “Донской летописи (Сборника материалов по новейшей истории Донского казачества со времени Русской революции 1917 года)”, написав предисловие к нескольким выпускам. В отличие от некоторых других патриотов Дона, Скачков считал казачество частью русского народа и, размышляя о его исторических судьбах, подчеркивал, что “прошлое – дает разгадку настоящему”⁸⁷.

В столице Чехословакии казацкие музейные экспонаты вместе с Донским архивом первое время находились в помещениях Национального музея, благодаря любезному содействию его директора, доктора Теодора Сатурника. А в 1927 г. их перевезли в здание на Вензиговой улице. В Чехословакии в то время существовало несколько группировок и объединений казачьей эмиграции, издававших (чаще всего кустарным способом) свои печатные органы: “Казак. Периодический орган общеказачьей станицы Чехословацкой республики”; “Казаки. Периодический орган общеказачьей станицы Чехословацкой республики”; “Казаки. Беспартийный, литературный и общественно-научный орган общеказачьей станицы в ЧСР”; “Казачий набат. Орган Совета казачьего центра Союза младороссов”; “Казачье знамя. Орган независимой казачьей мысли”; “Казачья мысль. Орган казаков-демократов” и другие. Между ними развернулась борьба за право обладания святынями истории казачества. В частности, их пытались взять под свой контроль Общеказачий сельскохозяйственный союз и Центральное Правление Вольного казачества – казаков-националистов. Но, пользуясь поддержкой донского атамана А.П. Богаевского, Скачков не выпустил ценности из своих рук. Сокровища музея и архива по-прежнему находились в ведении Донской исторической комиссии, в которую входили А.П. Богаевский, Н.М. Мельников, П.А. Скачков, В.А. Харламов. Сам донской атаман проживал в то время в Париже, поэтому по су-

шеству ведущая роль в ней в Праге оставалась за Скачковым. К 1934 г. комиссия фактически распалась, а чехословацкие власти уведомили о прекращении субсидий на содержание коллекций.

Чтобы выйти без потерь из создавшейся тяжелой ситуации, незадолго до своей смерти А.П. Богаевский в начале 1934 г. по предложению П.А. Скачкова санкционировал передачу донских коллекций на хранение в Русский заграничный исторический архив (РЗИА) при Министерстве иностранных дел Чехословакии, которое его и финансировало.

По этому поводу был заключен специальный договор из 14 пунктов, гарантировавший особые условия их хранения и определенную автономию созданного в 1934 г. в составе РЗИА Донского отдела. Его возглавлял П.А. Скачков, а после кончины последнего – его помощник, полковник Михаил Аникеевич Ковалев⁸⁸.

Далеко не сразу о переходе коллекций из Новочеркасска под юрисдикцию РЗИА стало известно широким кругам казачьей эмиграции в Чехословакии. Председатель Центрального Правления Вольного казачества – казаков-националистов, инженер В.Г. Глазков сразу же обратился с письменным протестом против передачи реликвий “в руки русских”, опубликованным в журнале “Казакия” в 1935 г. Представители этой группировки считали казачество особым самостоятельным народом, который нельзя отождествлять с русскими, и сами не шли на сотрудничество с неказачьими организациями российской эмиграции, претендуя на роль наиболее истинных выразителей интересов всех казаков-эмигрантов. Позднее, в годы второй мировой войны, их лидер Глазков возглавил в Праге прогермански настроенное Казачье национально-освободительное движение, приветствовал нападение фашистской Германии на СССР и организовывал казачьи отряды для борьбы с Красной Армией⁸⁹. Скачков же придерживался более умеренных политических взглядов, не разделяя судеб России и донского казачества, о чем свидетельствует опубликованный им в 1922 г. в Софии ответ на открытое письмо генерала П.Н. Краснова к казакам от 17(30) октября 1921 г.⁹⁰. Кстати, П.А. Скачков был прекрасным оратором и популяризатором знаний.

Но вернемся к изложению пражских событий 1934–1935 гг., связанных с судьбой коллекций из Новочеркасска. Вот что писал тогда Глазков в журнале “Казакия”: П.А. Скачков, как только заходит речь о Донском архиве и ценностях, в нем находящихся, начинает нервничать и грозить то судом, то чешскими властями, в случае появления в печати неправильной информации”⁹¹. Но, кажется, напрасно в этой связи оппонент яростно упрекал Скачкова в соблюдении при передаче архивных и музейных материалов в РЗИА прежде всего личных меркантильных целей, заключавшихся якобы в корыстной заинтересованности последнего в получении денежного содержания от чехословацких властей. Для опровержения выдвинуто-

го несправедливого обвинения достаточно привести лишь один красноречивый факт. П.А. Скачков скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг 2 января 1936 г. и был погребен на Ольшанском кладбище. Поскольку у покойного не оказалось в Праге родных и близких, его самые ценные вещи были разыграны в лотерею между эмигрантами, которым достались лишь карманные часы, золотое обручальное кольцо, одна юбилейная серебряная монета достоинством в 10 крон и простые шахматы ручной работы с такой же самодельной доской⁹². Думается, хранитель донских казачьих реликвий был из породы русских подвижников-бессребреников и заботился не о себе лично, а в первую очередь о сбережении вверенных ему сокровищ. Скромную зарплату же он получал не от государственных органов Чехословакии, а от находившегося в Париже Войскового Совета, перед которым был ответственен за коллекции.

Сам факт пребывания в Праге и месте хранения музейного собрания из Новочеркасска Скачков старался держать в тайне или во всяком случае широко не афишировать совсем по иной причине. Прежде чем назвать ее, обратим внимание на то, что в отличие от документальных фондов Донского архива о нем ни слова не упоминается в справочных изданиях, опубликованных российскими эмигрантами в Чехословакии в конце 1920-х–1930-х годах⁹³. Как известно, сам РЗИА располагался тогда в барочном Тосканском дворце на Градчанах, недалеко от резиденции президента Чехословацкой Республики. Но в вышедшем в 1936 г. справочнике-путеводителе по РЗИА далеко не случайно даже не указан точный адрес местонахождения его Донского отдела. Отмечено лишь вскользь, что он получил “приличное помещение” рядом с Тосканским дворцом⁹⁴. Ничего не говорится о донских реликвиях и в воспоминаниях Д.И. Мейснера, работавшего многие годы в РЗИА, знакомого с представителями казачьей эмиграции в Чехословакии и не забывшего рассказать о деятельности В.Ф. Булгакова по созданию и расширению собрания Русского культурно-исторического музея в Збраславе⁹⁵.

Нам не удалось выявить подробную информацию с полным перечнем музейных коллекций из Новочеркасска в составленных в 1934 г. в Праге документах. В рукописном “Проекте условий передачи материалов Донского Казачьего архива в фонды РЗИ Архива при МИД Чехословацкой Республики” говорится только об архивных материалах. В частности, в пункте 2 подчеркивается: “По установлении в России некоммунистической власти все материалы Донского казачьего архива передаются в Россию, в Донской войсковой архив или иное равноценное на Дону учреждение”⁹⁶. Как явствует из машинописного же экземпляра “Проектов основных положений для организации Комиссии по Казачьему отделу при РЗИА”, коллекции из Новочеркасска музея обозначались термином “войсковое имущество”. Пункт 21 документа гласил: “Имущество донского Архива с его описями в полном объеме подлежит возврату его собственни-

ку – Войску Донскому по требованию Войсковой власти, основанному на постановлении Представительного органа – Войскового круга, с ведома и согласия Общегосударственной Российской некоммунистической власти, признанной Правительством Чехословацкой Республики. Если в течение тридцатилетнего срока в России не наступят все указанные выше условия, это войсковое имущество подлежит возвращению в Донской музей в Новочеркасске”⁹⁷. Как видим, предусматривался даже вариант передачи ценностей в Советскую Россию при условии сохранения большевистского режима через 30 лет, т.е. к середине 1960-х годов.

Но в 30-х годах возможность развития событий по такому сценарию не стояла еще на повестке дня. Тогда, на наш взгляд, хранители святынь истории донского казачества стремились не допустить слишком широкой огласки сведений о них из опасений, что, получив официальную информацию о музейных ценностях, вывезенных из Новочеркасска, правительство СССР, заключившее в 1935 г. с Чехословакией договор, предъявит иск чехословацким властям. По этой же причине казацьи знамена, оружие, ордена, медали, атаманские регалии, к сожалению, были недоступны для осмотра широкой публике из числа эмигрантов, не использовались они и в научной работе. А частые перемещения неблагоприятно сказывались на состоянии раритетов, особенно знамен.

В 1942 г. архивные материалы из музейных коллекций Донского отдела РЗИА были переданы по требованию фашистской оккупационной администрации в архив Министерства внутренних дел и Национальный музей, находившиеся под ее строгим контролем. Лишь в 1946 г., наконец, закончились многолетние странствия донских архивных и музейных реликвий. 115 казацких знамен и штандартов, атаманские регалии, ордена, медали перевезли из Праги в Москву, где их вернули через Комитет по делам культурно-просветительных организаций при Совете Министров РСФСР на законное место – в экспозицию и фонды Новочеркасского музея истории донского казачества⁹⁸. В путеводителе по музею упоминается о возвращении 2700 экспонатов, а по описи, хранящейся в Государственном архиве Российской Федерации было передано 1040 единиц хранения⁹⁹. Такое несоответствие в цифрах объясняется, вероятно, применением разных систем учета материалов.

Документы же из Донского архива на долгие годы упрятали в закрытые фонды Центрального государственного архива Октябрьской революции (ныне Государственный архив Российской Федерации), вместе с ними туда передали и явно музейную вещь – прекрасный серебряный массивный ларец весом 30 кг работы московских ювелиров (около 1817 г.), изобразивших батальные сцены, повествующие об участии казаков в Отечественной войне 1812 года¹⁰⁰. Ларец был предназначен для хранения царских грамот, данных Войску Донскому, и место ему, конечно, не в архивных стенах, а

в Новочеркасском музее, где им могли бы любоваться гораздо больше посетителей.

В менее благоприятных условиях оказалась еще одна коллекция русских военно-исторических реликвий, судьбу которой после второй мировой войны нам пока не удалось выяснить. Речь идет о собрании знамен, орденов, икон, принадлежавших генерал-майору Михаилу Николаевичу Скалону, бывшему коменданту Царского Села, скончавшемуся в 1940 г. в небольшом городке Противине на юге Чехии. Они хранились в русской православной часовне, располагавшейся на территории ренессансного замка, где во время войны размещался немецкий лазарет, с 1945 г. – штаб 5-й гвардейской дивизии Советской Армии, а позже учебное заведение органов госбезопасности Чехословацкой Социалистической Республики. В 1952 г. часовню ликвидировали, и остается лишь гадать, как же поступили с коллекцией М.Н. Скалона¹⁰¹.

Еще в дореволюционной России накануне первой мировой войны зародилось Сокольское движение. Его инициатор, чех доктор М. Тырш пропагандировал идеи духовного и физического возрождения славянских народов. В начале 20-х годов в Чехословакии, Франции, Югославии, других странах стали возникать гимнастические общества “Русский сокол” для военно-спортивной подготовки эмигрантской молодежи. В 1923 г. возник Союз русского соколизма за границей, секретариат которого находился в Праге, в Тыршевом доме. При нем постепенно сформировался архив и собирались материалы для Русского сокольского музея¹⁰². В его экспозицию должны были войти хранившиеся в секретариате регалии и призы Союза русского соколизма за границей (знамена, серебряные кубки, хрустальные вазы, значки, пожалованный королем Югославии Александром I знак ордена Св. Саввы)¹⁰³.

Кроме того, в межвоенной Чехословакии возникло несколько крупных частных коллекций произведений русской живописи, принадлежавших эмигрантам. Владельцем одной из них, состоявшей из работ А. Бенуа, Н. Гончаровой, М. Добужинского, К. Коровина, Ф. Малявина, Г. Яковлева, стал искусствовед, профессор Карлова университета, сотрудник Археологического института имени Н.П. Кондакова и Славянской библиотеки Николай Львович Окунев (1886–1949)¹⁰⁴. Занимаясь созданием Славянской галереи при Славянском институте в Праге, Окунев, как и В.Ф. Булгаков, ездил в Париж за картинами русских художников-эмигрантов. К. Коровин даже просил заведующего РКИМ посодействовать возвращению взятых у него Окуневым якобы для выставки бесплатно четырех полотен, но тот не смог помочь живописцу, находившемуся в тяжелом материальном положении¹⁰⁵. Щекотливость ситуации заключалась в следующем: РКИМ был создан на общественных началах эмигрантами с целью передачи его коллекций в будущем в Россию. Славянский же институт относился к числу государственных научных учре-

ждений Чехословацкой республики. Занимаясь близким делом, они как бы соперничали. И хотя положение Н.Л. Окунева как собирателя было предпочтительнее, ему не удалось на основе созданной коллекции организовать архив (галерею) славянского искусства. РЗИА так и остался самым полным музейным собранием произведений художников российского зарубежья.

В Праге с 1931 г. проживал график, известный книжный иллюстратор Николай Васильевич Зарецкий (1876–1959), собравший коллекцию рисунков русских поэтов и писателей, в том числе А.М. Ремизова. Переписка с ним хранится в литературном архиве Памятника народной письменности в Праге, остальная часть личных фондов и коллекций – в архиве Колумбийского университета (США)¹⁰⁶. Собранием редких икон и произведений русского прикладного искусства обладала княгиня Н.Г. Яшвиль (Прага). Значительную ценность представляла коллекция шедевров русской живописи врача Н.А. Келина (1896–1970) в селе Желив, у г. Гумпольца, на юго-западе Чехии. В доме Келина, донского казака по происхождению, участника первой мировой и гражданской войн, хранилось свыше ста картин И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Васнецова, В. Верещагина, И. Левитана, В. Маковского, В. Перова, И. Репина, В. Серова, В. Сурикова и других знаменитых мастеров. Порой, не обладая серьезной искусствоведческой подготовкой, собиратель ошибался, приобретая подозрительные полотна с фальшивыми подписями известных художников, но сам (надо отдать ему должное) никогда не пытался их затем сбыть. Незадолго до смерти этот человек, страстно любивший Россию, закончил работу над объемистой рукописью воспоминаний “Казачья исповедь”¹⁰⁷. Н.А. Келин подарил Музею-квартире А.С. Пушкина в тогдашнем Ленинграде акварельный портрет сестры великого поэта, молодой О.С. Павлицевой-Пушкиной, работы художника Е.А. Плюшара.

Для более полного представления нельзя не упомянуть о музейных собраниях, созданных в Праге украинскими эмигрантами. Первым из них в 1923 г. был основан Национальный музей-архив при Украинском комитете (позднее – Институте) обществоведения. Он состоял из архивного, книжно-журнального и музейного отделов, издавал в 20-е годы “Вестник” и “Бюллетень”. Директором музея-архива первоначально являлся Н. Галаган, затем – Н. Григорьев. Его фонды включали архивные материалы по истории Украины, рукописи, редкие книги, фотографии, карты, старинные серебряные монеты, печати, картины, украинские почтовые марки. Собрание пополнялось с помощью пожертвований эмигрантов. Музей-архив обменивался дублетными изданиями с РЗИА. На 1 января 1929 г. в нем насчитывалось 2500 музейных экспонатов, свыше 27 000 листов документов украинских политических партий, Центральной Рады, Трудового Конгресса, правительства Украинской Народной Республики, повстанческого движения, лагерей для интернированных, ук-

раинской эмиграции, персональных фондов М. Обидного, Н. Шаповала, С. Шелухина и других украинских деятелей. В том году Украинский музей-архив из-за отсутствия условий для дальнейшего функционирования приостановил свою деятельность, и у эмигрантов возникла идея создания при Министерстве иностранных дел Чехословакии Украинского исторического кабинета, реализованная в 1930 г. под руководством Я. Славика и М. Обидного. Двумя годами позднее собрания Украинского музея-архива окончательно вошли в его состав и стали содержаться за счет средств, отпускавшихся чехословацкими властями. Как и РЗИА, Украинский исторический кабинет находился в Тосканском дворце, а в 1942–1945 гг. размещался в семи комнатах дома № 6 по ул. Лоретанской на Градчанах¹⁰⁸. Один из основателей и многолетний хранитель Украинского исторического кабинета Аркадий Петрович Животко изначально не ставил задачу создания при нем специального музейного отдела, поэтому у него не было каких-либо трений с организаторами Музея освободительной борьбы Украины. В августе 1945 г. документальные материалы Украинского исторического кабинета были переданы чехословацкими властями Украине, где их сдали на хранение в закрытые фонды Центрального государственного архива Октябрьской революции УССР¹⁰⁹.

Параллельно с Украинским музеем-архивом, а затем с Украинским историческим кабинетом в Праге функционировал общественный Музей освободительной борьбы Украины (МОБУ), основанный в 1925 г. по инициативе профессора Украинского свободного университета Дмитрия Владимировича Антоновича (1877–1945). Его владельцем считалось Общество музея, куда помимо Антоновича входили И. Горбачевский, С. Смаль-Стоцкий, А. Яковлев, а последним председателем его был Д.И. Дорошенко. Антонович на протяжении 20 лет являлся его бессменным директором и первоначально собирал материалы в своей собственной квартире. Затем первые экспонаты нашли временное пристанище в одном из залов Фалкенштейнского дворца, после чего несколько лет пребывали в трех комнатах дома № 12 по ул. Кармелитской, благодаря поддержке Министерства иностранных дел Чехословакии. Позднее, с 1929 г. при финансовой помощи К. Лисюка из США и других представителей украинской диаспоры удалось снять дом № 14 по ул. Карловой (район Прага – Жижков), а затем и приобрести для музея более подходящее помещение в районе Прага – Нусле. Он состоял из трех частей: архивной, музейной и библиотеки. Архивные собрания включали четыре отделения: дипломатическое, военное, эмигрантское и отделение остальных материалов. Они содержали архивы дипломатических миссий Украинской народной республики, Украинского государства и Западноукраинской народной республики; частей сечевых стрельцов – украинских национальных воинских формирований; лагерей для интернированных и военнопленных украинского происхо-

ждения в Германии, Польше, Чехословакии; эмигрантских студенческих организаций; материалы и фотографии, характеризующие повседневную жизнь украинской эмиграции в странах Европы и Америки. В библиотеке музея была собрана уникальная коллекция книг об Украине на разных языках¹¹⁰.

Кропотливо собранные музейные экспонаты представляли работы украинских художников, графиков (В. Кричевского, Г. Мазепы, Т. Мазепы, С. Мако, Н. Геркен-Русовой и др.); образцы декоративно-прикладного искусства (вышивку, поливную керамику работы К. Стаховского, резьбу по дереву и др.); мелкую пластику; мемориальные вещи; репродукции; альбомы; фотографии, печати; материалы о театральной деятельности украинцев за рубежом. Из специальных отделов МОБУ самым богатым и интересным был отдел Шевченкианы, фонды которого ярко характеризовали культ Т.Г. Шевченко на чужбине¹¹¹. Украинский Научный институт в Берлине передал музею ряд произведений живописи, графики, прикладного искусства, документы и личные вещи деятелей культуры. Все эти материалы значительно расширяли круг источников для ученых, изучавших Украину и украинскую эмиграцию.

Деятельность МОБУ как общественного научно-исторического учреждения велась на основе Статута Украинского музейного общества, утвержденного чехословацкими властями 4 сентября 1934 г., и способствовала привлечению внимания общественности к украинской культуре. С его экспонатами с интересом знакомились не только украинцы, оказавшиеся за границей и тосковавшие по родным местам. Музей был открыт для посетителей три дня в неделю (в понедельник, среду, пятницу). С 1930 г. у Д.В. Антоновича появился надежный помощник, уроженец Полтавщины, доктор, а затем профессор Украинского университета С. Нарижный, с именем которого связаны последние трагические страницы в истории МОБУ.

Для музея всегда острой была проблема нехватки средств, ведь он, в отличие от других эмигрантских организаций, не получал никаких денежных субсидий от чехословацких властей. Сам директор МОБУ работал фактически бесплатно, и ему не раз приходилось обращаться с просьбой о финансовой помощи к украинцам, проживавшим в Чехословакии, США, Канаде, других странах. Вот информация, помещенная в одном из номеров издававшихся музеем "Известий": в кассе Общества МОБУ собраны пожертвования в сумме 200 000 крон на строительство Украинского Дома-музея в Праге, но не хватает еще 60 000 крон (около 2000 американских долларов)¹¹². Наконец, в 1938 г. решили приобрести уже готовое здание и приспособить его для нужд музея, переехавшего туда, в дом № 6 на ул. Горимировой (ныне Штеткова), в следующем году.

Вскоре началась вторая мировая война, Д.В. Антонович арестовывался гестапо, но деятельность МОБУ продолжалась. Во время налета американской авиации 14 февраля 1945 г. его здание было

разрушено. Уцелевшие от бомбежки экспонаты с большими трудностями перевезли в подвальные помещения Клементинума – комплекса зданий Народной библиотеки, где находился лекторий Украинского свободного университета. На протяжении трех месяцев С. Нарижный буквально ночевал у музейных коллекций. Тем временем Прагу освободили части Советской Армии, и музей оказался под угрозой ликвидации. С огромным трудом С. Нарижному, ставшему после смерти Д.В. Антоновича директором, удалось отстоять его любимое детище, которое с изменившимся названием “Украинский музей” до 1948 г. сохраняло свой статус общественного научного и культурно-просветительного общества. 30 марта 1948 г., через месяц после памятных февральских событий, когда коммунисты установили единоличную власть в Чехословакии, музей в нарушение устава был закрыт и опечатан представителями государственных органов¹¹³.

Последний его директор С. Нарижный сразу же начал неравную борьбу с властями. Куда только он ни обращался с заявлениями протеста, даже в ЮНЕСКО. Чтобы еще больше привлечь внимание международной украинской общественности, он в 1949 г. издал в Канаде под псевдонимом “Я. Бирич” брошюру, посвященную судьбе музея и его значению¹¹⁴. Но все усилия оказались бесполезными, и в следующем году ему пришлось выехать из Чехословакии на Запад, где часть украинской эмиграции (в том числе К. Лисюк) выдвинула против него чудовищное обвинение в сговоре с чехословацкими властями, которым он якобы продал национально-культурное достояние. Не получив поддержки от украинцев в Западной Европе и Северной Америке, С. Нарижный вынужден был отправиться в далекую Австралию и до конца жизни (умер он в 1983 г.) оправдываться перед соотечественниками. Не имея денег и не получая финансовой помощи, ему удалось напечатать в 1959 г. в Цюрихе (Швейцария) на гектографе крайне незначительным тиражом рукопись своей книги “Как спасали Музей освободительной борьбы Украины” (на украинском языке)¹¹⁵.

Такой же печальной оказалась и судьба коллекций МОБУ. Уже в 1948 г. первая партия его экспонатов была вывезена на шести грузовиках из Клементинума, ровно через десять лет сотрудники Центрального государственного исторического архива Украины в Киеве принимали на временное хранение материалы из МОБУ, которые в 1970 г. переехали на постоянное место в новое здание Центрального государственного архива Октябрьской революции УССР. Туда же в декабре 1983 г. переправили из Центрального архивного управления Министерства внутренних дел Чехословакии еще 27 ящиков с документами. Некоторые из них из Киева передали в архивы Львова и Ровно¹¹⁶. Местонахождение же музейных экспонатов остается неизвестным, и сегодня представители украинской общественности в Чехии пытаются отыскать их следы¹¹⁷. В годы Великой Отечест-

венной войны на территории самой Украины погибло либо было вывезено фашистами немало архивных и музейных ценностей¹¹⁸. Печально, что из-за политики властей уже после окончания войны так поступили с уцелевшей частью собрания Украинского музея в Праге.

А ведь в предвоенные 1931–1939 гг. в Чехословакии даже существовало Общество охраны украинских исторических памятников за рубежом, находившееся в Праге в доме № 13 у Райске заграды (ныне Пршемыслова ул.). Сегодня же свои музейные центры имеют лишь украинцы-русины в Словакии. Свыше 20 тысяч экспонатов освещают их историю и культуру в Музее украинской культуры в Свиднике. Не столь крупные – музеи в Тополях и Старий Любовни, в последнем представлены церковные памятники. Объекты украинской архитектуры (разные типы сельских построек) перенесли в заповедник в Бардейеве¹¹⁹.

СУДЬБА МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ ЭМИГРАНТОВ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Более редким явлением в межвоенный период были эмигрантские музеи в других странах Европы, Азии, Африки, Северной Америки. Общество “Музей и архив русской зарубежной жизни” создали в 1927 г. в Варне (Болгария) эмигранты из России. Оно поставило перед собой задачу собирать, хранить и изучать документы, фотографии и другие материалы, характеризующие жизнь российского зарубежья. В 30-х годах его коллекции находились в ведении Варненского археологического общества, их дальнейшая судьба нам пока неизвестна¹²⁰.

Поселившийся в 1924 г. в Лондоне художник Евгений (Эжен) Семенович Молло (1904–1980-е годы) положил начало своей коллекции предметов русской воинской славы, превратившейся со временем в крупнейший домашний музей такого рода за рубежом. Он целенаправленно собирал все, что имело отношение к данной теме: картины и гравюры с изображениями сражений; автографы и портреты известных военачальников, наградные грамоты, образцы обмундирования, ордена и медали и прочие знаки отличия; фарфор; бронзовое литье. Перу коллекционера принадлежит небольшая работа “Русские офицерские знаки”, изданная в Париже в серии “Военно-историческая библиотека” журнала “Военная быль”¹²¹.

Значительный интерес представляло собрание Евгения Васильевича Саблина (1875–1949), бывшего российского поверенного в делах в Лондоне. Его Русский Дом до 1949 г. играл роль культурного центра эмигрантской колонии и вмещал немало вещей из российского посольства. Попав туда, посетители окунались в атмосферу покинутой ими Родины, обозревая старинную мебель екатерининской эпохи из карельской березы, посольский флаг, портреты Екатери-

ны II, императоров Александра II и Николая II, картины и старинные гравюры, редкие книги и предметы старины. После смерти Саблина, так много сделавшего для русских эмигрантов в Великобритании, часть его коллекции перешла американским наследникам, а документы оказались в Русском архиве университета в английском г. Лидсе¹²².

Музей истории древней русской архитектуры был создан в Риме при Ватикане в 30-х годах XX в. художником-эмигрантом Леонидом Михайловичем Браиловским (1868–1937), членом Петербургской Академии художеств, театральным декоратором, педагогом, и его женой Риммой Никитичной (1877–1959) на основе семейного собрания картин, рисунков и эскизов архитектурных памятников России, в том числе и собственных произведений. Супруги-художники написали, находясь в эмиграции, цикл картин “Видения Старой России” (в том числе: “Храм Василия Блаженного”, “Кремль ночью”, “Св. Сергей благославляет Дмитрия Донского” и др.). Переданные коллекции сохраняются при Конгрегации восточных церквей Ватикана. Одну из своих работ, “Ново-Девичий монастырь в Москве” (1934 г.), Браиловский успел передать в дар Русскому культурно-историческому музею в Праге. Его живописные произведения выставались в Амстердаме, Будапеште, Праге, Лондоне, Нью-Йорке, Милане, Париже, Риме¹²³.

Музей “Кружка ревнителей русской старины” основали в Риге в 1927 г. представители старообрядческой общины Латвии во главе с И.Н. Заволоко. В результате ряда экспедиций члены кружка собрали для музея старинные предметы крестьянского быта, образцы одежды, произведения народного искусства, иконы старинного письма, коллекцию редких книг, подборку фотографий наиболее интересных вещей, которые не удалось приобрести. Ими издавался иллюстрированный журнал “Родная старина” (1928–1933 гг.). Кружок имел свои отделы в Даугавпилсе и Резекне, а также в Эстонии (Таллин, Тарту). В музее по предварительному запросу проводились экскурсии. В 1928–1929 гг. были организованы выставки русского народного искусства, а в 1931 г. – славянская выставка рукописных книг и икон с белорусским, болгарским, русским и украинским отделами¹²⁴. После 1940 г. деятельность музея и кружка была свернута.

Переехавший из Петрограда в Латвию барон В. Каульбарс коллекционировал произведения русской живописи и иконописи. В Риге также возник Музей Н.К. Рериха, в котором к концу 30-х годов находилось уже 40 полотен великого художника – “Брамапутра”, “Твердыня Тибета”, “Кулута”, “Часовня св. Сергия”, гималайские и монгольские пейзажи. Директором музея был Ф.Д. Лукин. В своем письме от 24 августа 1938 г. членам правления Рижского музея Н.К. Рерих даже просил сообщить ему о возможности пересылки из Индии в Ригу всех своих архивных собраний и размещении их на хранение в музее¹²⁵. Он вел переписку и с председателем Латвийского

общества имени Рериха Р.Я. Рудзитисом. При музее сформировался отдел произведений прибалтийских художников, работали культурно-просветительные секции, велась издательская деятельность.

В результате таких тесных и плодотворных связей в Латвии довольно широко пропагандировали идеи Н.К. Рериха и его произведения живописи¹²⁶. Самого художника, ученого и мыслителя Прибалтика привлекала в значительной степени своей территориальной близостью к России.

В Вильно (совр. Вильнюс), входившем до 1939 г. в состав Польши, в межвоенный период существовал Белорусский музей имени И.И. Луцкевича, образовавшийся на основе личного собрания, формировавшегося с 1905 г. В музее, которым ведало Белорусское научное общество, хранились археологические находки (начиная с каменных орудий), коллекции древних монет, свинцовых печатей и пломб, тканей, произведений искусства, рукописей и прочих архивных материалов, белорусских старопечатных изданий. Большинство из них было приобретено на личные средства белорусского археолога, этнографа и общественного деятеля Ивана Ивановича Луцкевича (1881–1919)¹²⁷.

Зарубежный Морской музей формировался с 1933 г. в замке небольшого города Альтенбурга в окрестностях Лейпцига по инициативе проживавшей там княгини Веры Константиновны Романовой, внучки генерал-адмирала, великого князя Константина Николаевича, выехавшей из России после 1917 г. в Швецию, затем в Бельгию и осевшей в Германии. Ей удалось собрать среди русских эмигрантов целый ряд интересных материалов по истории флота: кормовой флаг с подводной лодки “Св. Георгий”; вещи с канонерки “Бобр”; ленты со многих кораблей Балтийского и Черноморского флотов; части морского обмундирования; офицерское холодное оружие; картины; гравюры; фотографии; открытки; памятные медали; карты; документы, характеризующие жизнь российских моряков-эмигрантов в Бизерте и Морского корпуса в Джебель Кебире (Тунис). Собираательница ставила цель впоследствии передать их в Морской музей императора Петра Великого (Санкт-Петербург)¹²⁸. В 1945 г., спасаясь от большевиков, Вера Константиновна пешком добралась из Лейпцига в Западную Германию, в Гамбург, откуда в 1951 г. переехала в США. Вряд ли у нее была возможность захватить с собой какие-либо из собранных военно-морских реликвий. Во всяком случае о них ничего не упоминают ни шведский славист и писатель С. Скотт, автор книги “Романовы. Царская династия”, ни профессор Ю. Хечинов, встречавшиеся и беседовавшие с престарелой Верой Константиновной в Толстовском центре под Нью-Йорком¹²⁹.

Своеобразный домашний Морской музей в Бизерте (Тунис), куда эвакуировался Добровольческий флот, был создан русским эмигрантом, известным подводником, капитаном 2-го ранга Н.А. Мона-

стыревым, автором ряда книг и воспоминаний по истории российского военно-морского флота, редактором “Морского сборника”. Его личное собрание включало модели кораблей, участвовавших в первой мировой войне (главным образом подлодок “Кашалот”, “Краб”, “Скат”, “Утка” и др.), в дальних географических экспедициях, в том числе в Арктике; русские ордена и погоны; холодное оружие; книги; фотографии; военно-морские флаги и другие экспонаты¹³⁰. Сведения о существовании музея относятся к 1934 г., а дальнейшая его судьба нам, к сожалению, пока неизвестна.

Еще одно примечательное музейное учреждение возникло в далеком Китае. Музей Общества изучения Маньчжурского края, основанный российскими эмигрантами в Харбине в 1923 г., неоднократно менял название и статус: после закрытия китайскими властями Общества изучения Маньчжурского края с 1929 по 1937 г. – музей Общества (Института) изучения культурного развития Особого района восточных провинций, с 1937 г. – музей Харбинского отделения Научно-исследовательского института Да-лу. Размещался он в здании бывших Московских торговых рядов и состоял из археологического, естественно-исторического, экономического и этнографического отделов с подотделами. Сотрудники музея из числа эмигрантов активно занимались экспедиционной и научно-исследовательской работой. После 1945 г. часть коллекций была утрачена, но основная масса материалов по сей день находится в фондах и экспозиции Музея истории провинции Хэйлунцзян (КНР), расположенного в том же здании¹³¹.

Единственное музейное заведение, связанное с российским зарубежьем, появилось в межвоенный период в Северной Америке. Это был Музей имени Н.К. Рериха в Нью-Йорке, открытый 17 ноября 1923 г. друзьями и единомышленниками художника уже после его отъезда из США на Восток. В число учредителей музея входили созданные Н.К. Рерихом общественные учреждения – Институт для поощрения деятельности молодых художников и Интернациональный центр искусств. Музей первоначально находился на берегу Гудзона, на Риверсайд Драйв (№ 310), а в 1929 г. переехал в специально построенное здание 29-ти этажного небоскреба на 107-й улице. Н.К. Рерих передал ему свыше 1000 своих полотен (“Тибетский лама”, “Святыни и твердыни”, “Лао Цзе” и др.), доступных для бесплатного осмотра. В работе совета музея, функционировавшего как общественное учреждение, в 20–40-х годах активно участвовали эмигранты из России¹³². Но с февраля 1935 г. Н.К. и Е.И. Рерихи были исключены из числа пайщиков музея путем махинаций со стороны одного из членов его директората – Л. Хорша, сменившего замки в музейных помещениях, присвоившего картины и уничтожившего документы о паевом вкладе Рерихов, вложенном в здание. Их паевые взносы были переоформлены Хоршем на имя своей жены, хотя Н.К. Рерих поручал организовать безвозмездную передачу музея

государству. Несмотря на сильное потрясение, которое вызвала вся эта пренеприятнейшая история, у великого художника, проживавшего в Индии, он решил создать в Нью-Йорке новый музей, куда переехал еще 300 своих работ. Музей, которым с 1949 по 1983 г. руководила З.Г. Лихтман-Фосдик, доверенное лицо и последовательница Рериха, продолжает работать до сих пор, внося заметный вклад в пропаганду творческого наследия Н.К. Рериха и поддерживая связь с возникшими в последние годы в Москве Музеем и Обществом Н.К. Рериха¹³³.

* * *

Каждая из берегавшихся эмигрантами коллекций имела свою неповторимую, а порой и драматическую историю, свою судьбу, отличалась определенным своеобразием. Но наряду с этим можно выделить немало общих черт, характерных для эмигрантских музейных собраний 20–30-х годов как общественных, так и частных. Возникнув по инициативе самих эмигрантов, они за редчайшим исключением (Русский культурно-исторический музей в Чехословакии, Музей Общества изучения Маньчжурского края), содержались за счет их же добровольных пожертвований и не включались в государственный реестр музеев страны пребывания. В большинстве случаев их основателям не приходилось рассчитывать на финансовую поддержку правительственных органов. Весьма скудный бюджет эмигрантских музеев, как правило, не позволял им нанимать штатных сотрудников и закупать ценные раритеты. Их коллекции пополнялись главным образом с помощью добровольных даров соотечественников, оказавшихся за рубежом. В большинстве случаев не использовались научные критерии отбора материалов и создания экспозиции. Лишь РКИМ сумел с большим трудом издать каталоги своих собраний. Несколько номеров бюллетеней выпустили Украинский Национальный музей-архив и Музей освободительной борьбы Украины в Праге, а также Музей Общества по изучению Маньчжурского края и юбилейной выставки КВЖД в Харбине.

Значительную проблему для них представляли поиск, наем и тем более приобретение по доступным ценам помещений для создания экспозиции и хранения фондов, вследствие чего экспозиционная площадь была небольшой, включая обычно один–два зала (а иногда лишь угол комнаты), тесно заставленные шкафами, витринами, стендами и увешанные картинами и фотографиями. У эмигрантов не хватало средств для консервации и реставрации берегавшихся раритетов, возможностей и знаний для научной обработки и систематизации материалов.

Многие лишь чисто номинально назывались музеями, будучи по существу несистематизированными собраниями экспонатов при каком-либо из эмигрантских обществ, объединений, союзов, и не были приспособлены для ежедневного свободного доступа посетите-

лей, не являвшихся их членами. Так, подавляющее большинство коллекций воинского характера создавалось при полковых офицерских собраниях с помощью и для однополчан.

Часто активная собирательская деятельность эмигрантских музеев велась настоящими подвижниками, после ухода из жизни которых она порой сворачивалась, а коллекции расходились по рукам. Среди русских интеллигентов, чей высокий нравственный уровень сформировался еще в дореволюционную эпоху, нужно упомянуть имена В.Ф. Булгакова, П.А. Скачкова, поэта Н.Н. Тuroверова и других.

Порой у организаторов, за редчайшим исключением, не занимавшихся ранее музейной работой, складывались довольно непростые отношения с государственными органами тех стран, в которых они находились. И чтобы сохранить все это в целостном виде, им иногда приходилось лавировать, идти на компромиссы, уступки. Благородная, подвижническая деятельность таких энтузиастов временами наталкивалась на непонимание и среди той части соотечественников, которая стремилась как можно быстрее интегрироваться в местную среду, потеряв надежду на возвращение в Россию.

Кроме, пожалуй, Музея Общества по изучению Маньчжурского края и юбилейной выставки КВЖД, материалы остальных эмигрантских музейных собраний характеризовали историю и культуру России, жизнь и быт российского зарубежья. Но в большинстве случаев их создатели и хранители не могли, да и не ставили такой задачи, представить всестороннюю картину покинутой ими Родины. В условиях поспешной эвакуации, отсутствия прочных и постоянных контактов с Россией подбор экспонатов носил нередко случайный характер. Похожими по составу, как правило, были полковые музейные собрания. На складывание внутреннего облика эмигрантских музеев (обычно однотипного и одностороннего по своей сути) влияли их идеологические разногласия с большевиками, неприятие новой власти. События гражданской войны в них, конечно, показывались с позиции Белого движения, и это вполне объяснимо. Небольшие музейные интерьеры с соответствующими экспонатами будили у эмигрантов воспоминания о недавнем прошлом, о предреволюционной жизни, о первой мировой войне и походах периода гражданской войны. В эмигрантской среде была сильна тяга к родным российским корням. Музейные вещи играли роль своеобразных духовных символов, связывавших эмигрантов с покинутой для большинства из них навсегда Россией. Они постоянно напоминали о ней, помогали перенести тяжесть разлуки с Родиной, сохранить чувство национальной гордости и патриотизма. Вглядываясь в фотографии однополчан времен первой мировой и гражданской войн, в свои наградные знаки, изгнанники свято верили, что когда-нибудь вернуться в родные места.

Нередко наряду с мемориальными вещами эмигрантские музеи включали архивные документы, библиотеки и играли роль своеобраз-

разных культурных очагов русских колоний. В них устраивались встречи однополчан, сослуживцев, земляков, празднования Дня русской культуры, отмечались юбилеи. Значительный резонанс в эмигрантской среде имели выставки, организовывавшиеся некоторыми музеями и владельцами частных эмигрантских собраний. Они проводились в Бельгии, Франции, Германии, Чехословакии, Югославии, других странах и сыграли большую роль в ознакомлении европейских народов с культурным достоянием русских эмигрантов, способствовали расширению знаний в целом о культуре и истории России. Например, русские иконы и серебряная утварь XVI–XVIII вв. из личных собраний Я. Золотницкого, Е. Любовича, А. Попова (Париж) с успехом выставлялись в 1931 г. в Брюсселе и Генте (Бельгия)¹³⁴.

Некоторые из эмигрантских коллекций поступили в 30-х годах на хранение в государственные музеи ряда европейских стран. Таким образом, сформировался довольно представительный Русский отдел Королевского Военного музея в Брюсселе (основан в 1936 г.) с витринами лейб-гвардии Казачьего и Конногвардейского полков, Российского императорского флота, русских военных изданий. В нем экспонируются исторические формы полков, полковые штандарты, военно-морские флаги, ордена, медали, восковые фигуры морских офицеров и матроса, различные документы по истории армии и флота¹³⁵. Хранившиеся в 1921 г. в Белградской крепости казачьи реликвии Кубанского войска перед второй мировой войной передали на 25 лет в Военный музей Югославии, что вызвало тогда обеспокоенность части эмигрантов за их судьбу. Позднее, в 1953 г. при содействии эмигрантов был торжественно открыт русский отдел музея Инвалидов в Париже.

И давно уже пора воздать должное подвижнической деятельности создателей и хранителей эмигрантских музейных коллекций, настоящих патриотов России. Оказавшиеся на чужбине представители российской интеллигенции внимательно следили за культурными событиями в СССР. Литератором С.Р. Минцовым был опубликован в 1925 г. список архивов, библиотек и музейных коллекций, погибших в России в годы революции и гражданской войны¹³⁶. Идеолог евразийства П.Н. Савицкий в изданной в 1936 г. брошюре выступил с протестом против сноса памятников зодчества, скульптуры, разбазаривания и распродажи властями СССР ценнейших коллекций из Эрмитажа и других музеев страны¹³⁷. В то же время, будучи человеком объективным, Савицкий положительно оценивал получивший широкое распространение в Советском Союзе хронологическо-формационный принцип построения музейной экспозиции по историческим эпохам, что в отличие от размещения по категориям (зал живописи, зал нумизматики и т.д.) позволяло посетителям создать целостное представление о прошлом своей страны, родного города, края¹³⁸. Но он, как и другие представители интеллигенции российского зарубежья, не мог не возмущаться по поводу многочислен-

ных фактов забвения и разрушения властями национального историко-культурного наследия, о чем в последние годы опубликовано немало вопиющих, ранее закрытых для широкого пользования архивных материалов¹³⁹. Так, одни уничтожали или продавали за рубеж историко-культурные ценности – национальное достояние России, а другие буквально по крохам собирали и спасали их от забвения в эмиграции. Уже в первые годы Советской власти большевики ликвидировали некоторые музеи (в основном церковно-исторические, полковые), в 20-х – начале 30-х годов за рубежом продали за валюту немало историко-культурных реликвий из музейных и монастырских хранилищ. Огромный и невосполнимый ущерб музеям был нанесен в годы Великой Отечественной войны на оккупированной фашистами территории СССР.

Тем не менее, их численность в советский период возросла в несколько раз. На начало 1990-х годов в стране насчитывалось более 2200 музеев, из них около 1350 – исторических и краеведческих (в последних также, как правило, преобладали отделы истории), под охраной государства находилось свыше 52 млн предметов, входивших в состав Музейного фонда СССР. Положительную роль сыграло основание историко-архитектурных и историко-художественных музеев-заповедников (Владимир, Новгород, Псков и др.), историко-этнографических заповедников под открытым небом (в Суздале, под Архангельском и других местах), музеев истории промышленности (Барнаул, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Соликамск)¹⁴⁰. К числу важнейших достижений отечественного музееведения относится соблюдение хронологического принципа построения экспозиции по историческим периодам, а к негативным чертам – чрезмерная идеологизация музейного дела. Последнее особенно выразилось в появлении значительного числа историко-революционных музеев, музеев В.И. Ленина, других политических деятелей, в одностороннем показе ряда эпох истории России, наличии закрытых фондов, вещи из которых никогда не выставлялись.

Но и за рубежом прежде всего из-за отсутствия средств эмигрантам не удалось удержать в своих руках ряд интересных и ценных коллекций музейного характера. Коллекция произведений иконописи А. Попова после отказа властей СССР приобрести ее была распродана и частично передана в музей г. Реклинхаузена (Германия). С аукциона в Лондоне было распродано интереснейшее собрание русских памятных медалей, принадлежавшее великому князю Георгию Михайловичу. Для Бруклинского музея в Нью-Йорке еще в 1931 г. была приобретена русская художественная коллекция Шабельской. Сценические костюмы и другие личные вещи знаменитой русской балерины Анны Павловой (1881–1931) после ее кончины муж покойной В. Дандре передал в Музей Лондона. Распродана была и ценнейшая коллекция С. Дягилева, перешедшая затем к С. Лифарю¹⁴¹.

Вторая мировая война и последовавшие за ней события отрицательно сказались на положении эмигрантских музеев и судьбе их коллекций. Основная масса общественных музейных собраний эмигрантов, возникших в 20–30-е годы, до нашего времени, к сожалению, не сохранилась. Печальная участь ждала эмигрантские музейные собрания в Югославии после освобождения ее территории от немецко-фашистских войск. Ни одно из них в целостном виде не сохранилось.

Неизвестна судьба большинства реликвий российской истории и культуры, сберегавшихся до войны эмигрантами во Франции. К настоящему времени сохранились в целостном виде только Музей лейб-гвардии Казачьего полка в Курбева под Парижем и Музей русской колонии в Ницце.

В Хельсинки до сих пор существует домашний художественный музей Синябрюховых – потомков известных дореволюционных российских пивоваров, обосновавшихся в Финляндии задолго до революции, еще в первой половине XIX в. и невольно оказавшихся после 1917 г. в положении эмигрантов¹⁴².

Эвакуировавшийся в 1920 г. из Новороссийска полковник Я.М. Лисовой организовал в Константинополе выставку “Борьба против большевизма в России”, которая переросла вскоре в Музей современных событий в России, насчитывавший на 1924 г. 10 000 экспонатов. В 1925 г. он перевез свою интересную коллекцию в США, откуда в 1943–1947 гг. частично переслал в дар Государственной исторической библиотеке РСФСР ценные книги, брошюры, листовки, плакаты, газеты, журналы, альбомы, атласы, фотографии и негативы. В 1960 г. по указанию свыше документальная часть материалов собрания Я.М. Лисового была передана в Центральный государственный архив Октябрьской революции (ныне Государственный архив Российской Федерации), Центральный военно-исторический архив, Особый архив и Центральный государственный архив кинофотодокументов, а печатные издания остались в закрытом фонде библиотеки¹⁴³.

Более благоприятной кажется ситуация с эмигрантскими музейными собраниями в Чехословакии. Почти все коллекции Русского культурно-исторического музея и Донского музея после 1945 г. были перевезены из Праги в СССР. Собрание же ликвидированного Кондаковского института было передано в начале 50-х годов Национальной галерее и другим учреждениям Чехословакии.

Многое разошлось по рукам, попало в антикварные магазины, перекочевало из Европы за океан, в США.

Часть своеобразного музея-архива-библиотеки (нелегальные издания, рисунки, фотографии, печати, портреты и др.) имени князя Д.И. Бебутова, возникшего в Берлине еще до революции, была в 1924 г. продана Б.И. Николаевским в Советский Союз для Института Маркса-Энгельса-Ленина в Москве, а остальные материалы по-

пали первоначально в Международный институт социальной истории в Амстердаме, откуда их позже переправили в США, где они хранятся в Гуверовском институте войны, революции и мира Стэнфордского университета¹⁴⁴. Там же оказалось собрание матери генерала П.Н. Врангеля баронессы М.Д. Врангель.

В США после второй мировой войны сформировались Музей русской культуры и Музей Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско¹⁴⁵. Представляет значительную ценность интереснейшее собрание реликвий Свято-Троицкого монастыря Русской православной церкви за границей в Джорданвилле (штат Нью-Йорк)¹⁴⁶. Коллекции Музея русской конницы (Бриджпорт, штат Коннектикут), Русского морского музея, материалы ряда других эмигрантских военных объединений постепенно оказались под крышей музея Общества “Родина” в г. Лейквуд (Хауэлл, штат Нью-Джерси), откуда часть ценных экспонатов (оружие, ордена, историческая форма) в последние годы подарили Музею Вооруженных сил в Москве¹⁴⁷. Тем самым они стали доступны для обозрения гораздо большему числу наших соотечественников. Ведь сами создатели эмигрантских музейных собраний давно уже ушли из жизни, а среди потомков российских эмигрантов первой волны, частично растворившихся в местной среде, нет такого интереса к реликвиям, для сбережения которых было затрачено столько сил и душевной энергии.

В послевоенные годы гораздо большее распространение музейная деятельность получила среди украинской эмиграции.

Центр общественной жизни зарубежных украинцев также переместился в США и Канаду, где возникли украинские музеи с интересными экспозициями и фондами в основном историко-этнографического и культурного характера. В Украинском музее в Нью-Йорке представлены коллекции по истории Украины и украинцев в США, в том числе произведения живописи, этнографические материалы (вышивка, керамика, ткачество и др.), макеты и фотографии деревянных храмов. Украинский католический музей с библиотекой функционирует с 1964 г. в Стемфорде (штат Коннектикут); Музей украинского наследия – в Нью Хейвене (штат Коннектикут); Украинский музей, архив и центр культуры – в Баунд-Бруке (штат Нью-Джерси); Украинский архив-музей – в Кливленде; Украинский музей народного искусства – в Мейнар-колледже (штат Филадельфия); Украинский музей-архив – в Детройте (основан в 1957 г.). Архив-музей Украинской академии искусств и наук, учрежденный в 1945 г. в Аугсбурге (Западная Германия), в 1976 г. переехал в Нью-Йорк. Все эти музеи, как правило, были общественными.

А вот открытый с 1971 г. в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) музей под открытым небом “Село украинского культурного наследия” был через четыре года приобретен властями и превратился в государственное учреждение. Десятки тысяч посетителей

знакомятся в нем с железнодорожной станцией, куда прибывали украинские рабочие-эмигранты, кузницей, почтой, народным домом, школой. Его бюджет в 1988–1989 гг. достигал 1,6 млн долларов. Украинский музей Канады в Саскатуне расположен в новом современном здании, хорошо приспособленном для проведения выставок и хранения художественных произведений. Он издает бюллетень “Новости музея” и имеет филиалы в Виннипеге, Торонто и Эдмонтоне, где работают энтузиасты на добровольных началах. В Торонто, например, хорошо представлена украинская народная одежда. Виннипегский центр украинской культуры и образования состоит из библиотеки, архива, музея, картинной галереи. Парк украинской писанки – своеобразный этнографический музей под открытым небом создан в Вегревилле.

Даже в далекой Австралии после второй мировой войны эмигрантам удалось создать Музей украинской культуры в Мельбурне. В нем на постоянной основе действуют выставки “Жизнь и творчество Т.Г. Шевченко”, “Карты Украины”, “Украинская книга”. Среди трех тысяч музейных экспонатов – произведения народного искусства, национальная одежда. При музее находится архив украинской эмиграции в Австралии.

Справедливости ради с сожалением приходится констатировать, что оказавшиеся в СССР после 1945 г. произведения искусства, рукописи, мемориальные вещи, архивные документы и другие исторические реликвии, хранившиеся эмигрантами, за исключением Новочеркасского музея, долгие годы практически не экспонировались и почти не использовались в исследовательской работе. И мы были искусственно оторваны от части российского историко-культурного наследия.

Но сейчас, наконец-то, положение изменилось, и множество россиян получили возможность приобщиться к духовным ценностям эмиграции, ознакомиться с сохраненными ею на чужбине историческими и культурными реликвиями.

Изучение всех этих эмигрантских музейных коллекций представляется весьма перспективным и целесообразным. Помимо вовлечения в научный оборот новых интересных материалов оно позволит полнее охарактеризовать подвижническую, бескорыстную деятельность интеллигенции российского зарубежья. Проживая далеко от Родины, она всегда помнила о своих корнях и предках. И создание музейных собраний помогало ей перенести тяжесть разлуки с Россией.

¹ До сих пор, к сожалению, не созданы обобщающие исследования, посвященные музейным коллекциям российских эмигрантов. Они обойдены вниманием даже в специальных работах по истории эмиграции. См., например: *Афанасьев А.Л.* Поляны в чужих полях. М., 1987; *Шкаренков Л.К.* Агония белой эмиграции. 3-е изд. М., 1987; *Костиков В.В.* Не будем проклинать изгнание...

- (Пути и судьбы русской эмиграции). М., 1990; *Назаров М.В.* Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992. Т. 1; *Раев М.* Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919–1939. М., 1994; Культура Российского зарубежья. М., 1995.
- ² См.: *Брежго Б.* Русские музеи и архивы вне России. Б.м. Б. г. С. 2–7; *Ковалевский П.Е.* Зарубежная Россия: История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека (1920–1970). Париж, 1973. Доп. вып. С. 72–74, 82–85; *Башикирова Г.Б., Васильев Г.В.* Путешествие в Русскую Америку: Рассказы о судьбах эмиграции. М., 1990. С. 307–333; *Пацито В.Т.* Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. С. 32–34; 196–197, 202; *Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н.* Красные конкистадоры. М., 1994. С. 222; *Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л.* Художники русской эмиграции (1917–1941): Биографический словарь. СПб., 1994. С. 104–105, 337–338; *Старостин Е.В.* История России в зарубежных архивах. М., 1994. С. 59–60.
 - ³ *Бирич Я.* Сторінка з чесько-українських взаємин (Український музей у Празі). Вінніпег, 1949; *Докашева Е.С.* Русский культурно-исторический музей в Праге. М., 1993.
 - ⁴ До сих пор, к сожалению, нет специальных исследований, посвященных музейным собраниям российской эмиграции во Франции, о которых ничего нельзя узнать из многих изданий справочного и обобщающего характера. См., например: Русский альманах: Адресная и справочная книга для русских, живущих за границей. Париж, 1930; *Костилов В.В.* Указ. соч.; *Носик Б.* Привет эмигранта, свободный Париж. М., 1992; Русская эмиграция во Франции (Вторая половина XIX – середина XX в.): Тез. докл. и сообщ. республиканской научной конференции. СПб., 1995; *Raeff M.* Russia Abroad. New York; Oxford, 1990.
 - ⁵ *Любина Г.И.* Формирование российской научной диаспоры в Париже // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. М., 1994. Кн. 1. С. 302.
 - ⁶ *Баскаков В.Н.* Пушкинский Дом. 2-е изд. Л., 1988. С. 32–34, 55–56; *Он же.* Рукописные собрания и коллекции Пушкинского Дома. Л., 1989. С. 24.
 - ⁷ В литературе можно встретить лишь самые краткие и общие сведения о некоторых из музеев, созданных русскими эмигрантами во Франции в период между двумя мировыми войнами. (См.: *Брежго Б.* Указ. соч. С. 3–7; Русские во Франции: Справочник. Париж, 1937. С. 66; *Ковалевский П.Е.* Указ. соч. С. 72–74, 82–85; *Ponfilly R. de.* Guide des Russes en France. Paris, 1990. P. 260, 304, 392–394; *Fouchard E.* Les fonds iconographiques russes et soviétiques en France // *Gahier du Monde russe et soviétique*, 1992. XXXIII (2–3), avril-september. P. 325, 330, 339). Поэтому материалы о них приходится по крупницам выявлять путем сплошного просмотра эмигрантских газет и журналов.
 - ⁸ См.: Возрождение. Париж, 1931. 25 апреля, № 2153; Часовой. Париж, 1930. № 23. С. 28; 1930. № 24. С. 29; 1930. № 28. С. 7; 1939. № 230. С. 16; Информационный бюллетень Объединения лейб-казаков. Париж, 1961. № 1–2; 1963. № 4; *Кузнецов А.А.* О Белой армии и ее наградах 1917–1922 гг. М., 1991. С. 17–18; *Ponfilly R. de.* Op. cit. P. 260; *Fouchard E.* Op. cit. P. 325.
 - ⁹ Часовой. 1931. № 47. С. 8–9; 1932. № 78. С. 28; Писатели русского зарубежья (1918–1940): Справочник. М., 1995. Ч. III. С. 23–27; *Туровец Н.Н.* Стихи / Сост. В.В. Леонидов. М., 1995.
 - ¹⁰ Часовой. 1934. № 133–134. С. 33–34.
 - ¹¹ Часовой. 1929. № 11–12. С. 17–18, 31; 1929. № 15–16. С. 18; 1934. № 121. С. 30–31.
 - ¹² Часовой. 1932. № 72. С. 27.
 - ¹³ *Брежго Б.* Указ. соч. С. 3–4.
 - ¹⁴ Последние новости. Париж. 1931. 9 марта, № 3638.

- ¹⁵ Беликов П.Ф., Князева В.П. Рерих. М., 1972. С. 155–156, 218–219.
- ¹⁶ Возрождение. Париж, 1929. 21 февраля; Русские во Франции. С. 49; *Вздорнов Г.Н., Залесская З.Е., Лелекова О.В.* Общество “Икона” в Париже. М.; Париж, 2002. Т. 1.
- ¹⁷ *Fonchard E.* Op. cit. P. 339; *Ponfilly R. de.* Op. cit. P. 304.
- ¹⁸ *Ponfilly R. de.* Op. cit. P. 394–395.
- ¹⁹ Брежго Б. Указ. соч. С. 6; *Паиков П.В.* Ордена и знаки отличия гражданской войны: 1917–1922. Париж, 1961. С. 6–9; *Леонидов В.В.* Новое собрание по литературе русского зарубежья // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. М., 1994. Кн. 2. С. 432–433; *Бурков В.Г.* Отечественные фалероники в парижских трудах российской эмиграции // Русская эмиграция во Франции. СПб., 1995. С. 83–84.
- ²⁰ Часовой. 1934. № 128. С. 21; *Лифарь С.М.* Моя зарубежная пушкиниана // Наше наследие. 1989. № 3. С. 29–34; Литература русского зарубежья: Антология. М., 1990. Т. 1, кн. 1. С. 26.
- ²¹ Сборник 25-ти летнего юбилея культурно-просветительского и благотворительного общества “Родина”: 1954–1979. Нью-Йорк, 1979. С. 45.
- ²² *Fouchard E.* Op. cit. P. 330.
- ²³ *Ponfilly R. de.* Op. cit. P. 75.
- ²⁴ Русская мысль. Париж, 1996. 15–21 февраля.
- ²⁵ Там же. 1995. 8–14 июня.
- ²⁶ Литературная газета. 1993. № 7; Московские новости. 1993. 19 сент., № 38; Московская правда. 1994. 7 окт.; 1995. 28 апр.; Они унесли с собой Россию... Русские художники-эмигранты во Франции: 1920-е – 1970-е: Из собрания Ренэ Герра: Каталог выставки. М., 1995.
- ²⁷ См.: *Пио-Ульский Г.Н.* Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград, 1939. С. 38–42, 52, 60; *Тесемников В.А.* Российская эмиграция в Югославии (1919–1945 гг.) // Вопр. истории, 1988. № 10. С. 128–136; Он же. Белград как один из научных центров российского зарубежья // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. Кн. 1. С. 325–331; *Маевский В.А.* Русские в Югославии. Нью-Йорк, 1966; *Дурић О.* Руска литературна Србија: 1920–1941. Београд, 1990; *Козлитин В.Д.* Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1919–1923) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 7–19; *Косик В.И.* Русская Югославия: фрагменты истории: 1919–1944 // Славяноведение. 1992. № 4. С. 20–32; Руска емиграција у српској култури XX века: Зборник радова. Београд, 1994. Т. I–II.
- ²⁸ Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов (гражданские беженцы, армия, учебные заведения): Учебное пособие для студентов. М.; Göttingen, 1994. С. 69–75.
- ²⁹ См.: Россия и славянство. Париж, 1930. 26 апреля, № 74; 7 июня, № 80; 1932. 24 сентября, № 200. Часовой, 1929. № 15–16. С. 5; 1930. № 32. С. 23, 27; 1930. № 34. С. 19; 1932. № 89. С. 21; 1935. № 146–147. С. 21; 1936. № 165–166. С. 13; 1936. № 167–168. С. 14; 1936. № 169. С. 31. 1936. № 170. С. 31; Русское дело. Белград, 1943. 12 декабря, № 28.
- ³⁰ Материалы о Василии Егоровиче Флуге находятся в ГА РФ (Ф. Р-6683). См. также: Часовой. 1939. № 236–237. С. 10; *Джурич О.* Шестьдесят лет Русскому дому имени императора Николая II в Белграде (1933–1993) // Культурное наследие российской эмиграции. Кн. 1. С. 60; *Дурић О.* Шездесет година Руског дома императора Николаја у Београду (1933–1993) // Руска емиграција у српској култури XX века: Зборник радова. Београд, 1994. Т. I. С. 126.
- ³¹ Документы о деятельности музея хранятся в ГАРФ (Ф. Р-6800). См. также: Часовой. 1932. № 74. С. 21; 1935. № 148–149. С. 32; 1936. № 165–166. С. 36;

1937. № 184. С. 22; 1938. № 204. С. 24; 1939. № 231. С. 24; 1939. № 236–237. С. 36–37; Русское дело. 1943. 12 декабря, № 28.
- 32 ГАРФ. Ф. 5826. Оп. 1. Д. 4(2). Л. 87; Часовой. 1939. № 236–237. С. 22; Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе. С. 73.
- 33 Часовой. 1931. № 52. С. 14.
- 34 Брежнево Б. Указ. соч. С. 5; Богословский А.В. Русские памятники и музеи в Югославии // Часовой. 1939. № 236–237. С. 30–32.
- 35 Часовой. 1937. № 184. С. 22.
- 36 Русская эмиграция 1920–1930 гг.: Альманах. Белград, 1931. Вып. 1. С. 57, 60–61, 64; Часовой. 1939. № 234. С. 13; 1939. № 236–237. С. 24–25; 1941. № 258. С. 14.
- 37 Новое русское слово. 1978. 3 января.
- 38 Часовой. 1929. № 5–6. С. 28–29.
- 39 Часовой. 1931. № 70. С. 26.
- 40 Даватиц В. Годы. Очерки пятилетней борьбы. С приложением полного списка знамен и регалий русской армии, хранящихся в Русской церкви в Белграде. Белград, 1926; Часовой. 1929. № 7–8. С. 16; 1931. № 62. С. 13, 27; 1932. № 71. С. 10–11; Кузнецов А.А. Указ. соч. С. 17; Никифоров К.В. Русский Белград (К вопросу о деятельности русских архитекторов-эмигрантов) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 33–36; Баширова Г.Б., Васильев Г.В. Указ. соч. С. 307–309.
- 41 Писарев Ю.А. Российская эмиграция в Югославии // Новая и новейшая история. 1991. № 1. С. 151–161. См. также: Муромцева Л.П., Перхавко В.Б. Музейные собрания российской эмиграции во Франции и Югославии // Вестн. МГУ. Сер. 8, История. 1998. № 2. С. 33–40.
- 42 См.: Перхавко В.Б. Находки энколпионов на территории Югославии // Сов. археология. 1987. № 4. С. 206–219; Он же. Истоки связей восточных славян с южнославянскими народами // VI Международный конгресс славянской археологии: Тез. докл., подготовленных советскими исследователями. М., 1990. С. 136–137; Марјановић-Вујовић Г. Крстови од VI до XII века из збирке Народног музеја. Београд, 1987. С. 16, 49–51.
- 43 Музейна збирка Руски Керестур 1976. Нови Сад; Руски Керестур, 1976.
- 44 В последние годы появилось несколько публикаций, посвященных пражским музейным собраниям российской эмиграции. См.: Докашева Е.С. Указ. соч.; Муромцева Л.П., Перхавко В.Б. Из истории культурно-просветительской деятельности российской эмиграции в Чехословакии в 20–30-е годы // Вестн. МГУ. Сер. 8, История. 1994. № 3. С. 17–26; Они же. Музейные собрания российских эмигрантов в Чехословакии // Культурное наследие российской эмиграции. Кн. 1. С. 63–70. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность А. Копрживовой-Вуколовой (дочери профессора С.В. Маракучева) и инженеру В. Гавриневу (Прага), любезно сообщившим нам интересную дополнительную информацию об эмигрантских коллекциях в Чехословакии.
- 45 О жизни и деятельности В.Ф. Булгакова см. подробнее: Булгаков В.Ф. Встречи с художниками. Л., 1969; Лазарев В.Я. Хождение за три моря. Тула, 1969. С. 33–43; Розанова С. Хроника одного года жизни // Булгаков В.Ф. Л.Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н. Толстого. М., 1991. С. 5–24; Отчизна. 1991. № 10–12. С. 44–45; Писатели русского зарубежья (1918–1940): Справочник. М., 1994. Ч. 2. С. 200. Документальные материалы о нем хранятся в РГАЛИ (ф. 2226) и Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве.
- 46 Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительская работа Русского зарубежья за полвека (1920–1970). Париж, 1971. С. 101;

- Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка: Моя жизнь в науке и политике. Нью-Йорк, 1952. С. 356; Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе... С. 112–113; Докашева Е.С. Указ. соч. С. 24–27; Teichmanova S. Rusko v Československu (Bila emigrace v ČSR). Jihočany, 1993. S. 42–43; Vacek J. Knihy a knihovny, archivy a muzea ruske emigrace v Praze // Slovansky přehled. Praha, 1993. T. 79, № 1. S. 71–72.
- 47 Материалы о деятельности РКИМ хранятся в ГА РФ (Ф. Р-6784), РГАЛИ (Ф. 1355), а также в составе фонда Русского Свободного университета в Архиве главного города Праги.
- 48 РГАЛИ. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 4. Л. 1; Докашева Е.С. Указ. соч. С. 76.
- 49 РГАЛИ. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 13. Л. 10; Докашева Е.С. Указ. соч. С. 80–82.
- 50 Новиков М.М. Указ. соч. С. 360.
- 51 Teichmanova S. Op. cit. S. 42–43.
- 52 Цветаева Марина. Письма Валентину Булгакову: 1925–1927. Прага, 1992. С. 3–65.
- 53 См.: Лосская В. Марина Цветаева в жизни: Неизданные воспоминания современников. М., 1992. С. 257–258.
- 54 Булгаков В.Ф. Встречи с художниками. С. 170–184, 208–213 и др.
- 55 Каталог художественных собраний Русского культурно-исторического музея при Русском свободном университете в Праге. [Рига], 1938.
- 56 Булгаков В.Ф., Юпатов А.И. Русское искусство за рубежом. Прага; Рига, 1938. С. 11, 16–17 (Книга вышла сравнительно небольшим тиражом в 350 экземпляров и давно уже, как и прочие эмигрантские издания, стала библиографической редкостью).
- 57 Докашева Е.С. Указ. соч. С. 57.
- 58 РГАЛИ. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
- 59 Там же. Д. 13. Л. 10.
- 60 ГА РФ. Ф. 7030. Оп. 1. Д. 21. Л. 12.
- 61 Марина Ивановна Цветаева (из неопубликованных воспоминаний В.Ф. Булгакова “Как прожита жизнь”) // Отчизна. 1991, № 10–12. С. 45.
- 62 РГАЛИ. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 13. Л. 10.
- 63 Докашева Е.С. Указ. соч. С. 62, 78.
- 64 Булгаков В. Словарь русских зарубежных писателей. New York, 1993.
- 65 Докашева Е.С. Указ. соч. С. 61.
- 66 Булгаков В.Ф., Юпатов А.И. Указ. соч. С. 16–17.
- 67 Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 196–197.
- 68 Цит. по: Лазарев В.Я. Указ. соч. С. 38.
- 69 Докашева Е.С. Указ. соч. С. 65–66.
- 70 Цаплин В.В. Возвращение в Советский Союз документов государственного архивного фонда, 1945–1946 гг. // Музейное дело в СССР. М., 1976. С. 190–191.
- 71 Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 197.
- 72 Там же. С. 32–44; Устав археологического института (Kondakov Institute) в Праге. Прага, 1931. С. 1–2; Rhinenlander L.H. Exiled Russian Scholars in Prague: The Kondakov Seminar and Institute // Canadian Slavonic Papers. 1974. Vol. XVI. № 3. P. 336–341, 348–350.
- 73 Архив Археологического института имени Н.П. Кондакова хранится в фондах Института истории искусств Чешской Академии наук в Праге. Информация о пополнении его музейной коллекции публиковалась в ежегодных отчетах, рассылавшихся членам Института.
- 74 См.: Россия и славянство. 1932. 30 апреля. № 179.
- 75 Ruská, ukrajinská a beloruská emigrace v Praze. Adresár. Sest. A. Kopřivova. Praha, 1995. S. 17.

- ⁷⁶ См.: Антонова В.И., Мнева Н.Е. Государственная Третьяковская галерея: Каталог древнерусской живописи XI – начала XVIII в. В 2 т. М., 1963. Т. I. С. 301, № 241. Кроме того, П.А. Хмыров, ведавший хозяйством Кондаковско-го института, подарил Третьяковской галерее копию на доске иконы Владимирской богородицы (Умиление), выполненную в 1926 г. художником-эмигрантом Г.О. Чириковым (См.: Папуто В.Т. Указ. соч. С. 202). Е.Е. Климов, впоследствии переехавший в Канаду, уже в недавние годы, незадолго до своей трагической гибели в автокатастрофе, успел передать в дар Советскому фонду культуры ряд произведений изобразительного искусства: эскизы декораций М.В. Добужинского к постановке “Бесов” по роману Ф.М. Достоевского в театре М. Чехова, к опере “Пиковая дама”, к инсценировке рассказа А.П.Чехова “Забытое”, несколько собственных рисунков (“Интерьер”, портрет Е.И. Замятиной и др.). Ныне они хранятся в Российском фонде культуры.
- ⁷⁷ Ruská a ukrajinská emigrace v Československé Republice. 1918–1938: Materiály k dějinám. Praha, 1995. S. 15–16; Аксенова Е.П. Институт им. Н.П. Кондакова: попытка реанимации (по материалам архива А.В. Флоровского) // Славяноведение. 1993. № 4. С. 73; Архив РАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 479. Л. 21–22. Вероятно, из собрания Кондаковского института в Национальную галерею в Праге поступил бронзовый древнерусский крест-энколпион XI в. с литыми изображениями Распятия, Богородицы и святых. См. о нем: Пуцко В. Киевская сюжетная пластика малых форм (XI–XIII вв.) // Сборник посвящен на Бошко Бабиќ. Прилеп, 1986. С. 170. Рис. 2. Возможно, с эмигрантами-коллекционерами попали в XX в. из России в другие страны Европы и некоторые другие другие беспаспортные экземпляры древнерусских крестов-складней, хранящихся ныне в музеях Болгарии, Великобритании, Франции, Югославии. См.: Перхавко В.Б. Древнерусские бронзовые кресты-энколпионы в сопредельных с Русью странах Европы // Церковная археология: Материалы Первой Всероссийской конференции. Псков, 20–24 ноября 1995 г. СПб.; Псков, 1995. Ч. 2: Христианство и древнерусская культура. С. 66–69.
- ⁷⁸ Новочеркасский музей истории донского казачества: Путеводитель. Ростов-на-Дону, 1978. С. 7.
- ⁷⁹ Там же. С. 8.
- ⁸⁰ “Наше великое дело близко к полной гибели”: Дневник последнего донского атамана А.П. Богаевского // Источник. 1993. № 3. С. 13, 16–17.
- ⁸¹ Источник. 1993. № 2. С. 23–26.
- ⁸² См.: Воспоминания генерала А.П. Богаевского: 1918 год “Ледяной поход” / Изд. Музея белого движения и Союза первопоходников. Нью-Йорк, 1963.
- ⁸³ Материалы о комитете по подготовке выставки находятся на хранении в ГА РФ (Ф. Р-6053).
- ⁸⁴ Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции. 3-е изд. М., 1987. С. 35.
- ⁸⁵ Русский заграничный исторический архив в 1936 г. Прага, 1936. С. 42–44.
- ⁸⁶ Материалы о нем хранятся в ГА РФ (Ф. Р-7055).
- ⁸⁷ Донская летопись. Белград, 1923. № 1. С. 4.
- ⁸⁸ Материалы о М.А. Ковалеве находятся в ГА РФ (Ф. Р-7441).
- ⁸⁹ Казачий вестник. Прага, 1941. 22 августа, № 1.
- ⁹⁰ Скачков П.А. Среди казаков: Ответ на открытое письмо ген. П.Н. Краснова к казакам. София, 1922.
- ⁹¹ Глазков В.Г. Как и почему Донской музей-архив был передан в руки русских // Казакия. 1935. № 6. С. 51.
- ⁹² Акт о проведении лотереи хранится в ГА РФ (Ф. 7055).
- ⁹³ Русские в Праге. Прага, 1928. С. 52–54.
- ⁹⁴ Русский заграничный исторический архив. С. 43.

- ⁹⁵ *Мейснер Д.И.* Миражи и действительность: Записки эмигранта. М., 1966. С. 183, 236–237.
- ⁹⁶ ГА РФ. Ф. 7030. Оп. 1. Д. 11. Л. 4.
- ⁹⁷ Там же. Л. 9.
- ⁹⁸ *Павлова Т.Ф.* Русский заграничный исторический архив в Праге // *Вопр. истории.* 1990. № 11. С. 26, 28.
- ⁹⁹ Новочеркасский музей истории донского казачества. С. 9; ГА РФ. Ф. 5142. Оп. 10. Д. 2221. Л. 30.
- ¹⁰⁰ *Перегудова З.Н.* Неожиданный ЦГАОР // *Советский музей.* 1992. № 37. С. 58.
- ¹⁰¹ Информацией о собрании М.Н. Скалона мы обязаны А. Копрживовой-Вуколовой и В. Гавринеу (Прага). Документальные материалы о М.Н. Скалоне хранятся в ГА РФ (Ф. Р-5794).
- ¹⁰² *Русский сокольский вестник.* Прага. 1930. № 2 (24). С. 13.
- ¹⁰³ Там же. 1937. № 3 (38). С. 11.
- ¹⁰⁴ На начало 1990-х годов картины хранились в Чехословакии у дочери Н.Л. Окунева, В.Н. Окуневой-Покорны. См.: *Докашева Е.С.* Указ. соч. С. 29, 70–71; *Русская живопись в собраниях Чехословакии* / Составитель и автор текста В. Фиала. Л., 1974. С. 14; *Советская культура.* 1991. 23 марта.
- ¹⁰⁵ *Булгаков В.Ф.* Встречи с художниками. С. 195–196, 201–203.
- ¹⁰⁶ *Ruská a ukrajinská emigrace v Československe Republice.* S. 77.
- ¹⁰⁷ *Русская живопись в собраниях Чехословакии.* С. 5, 13, 147; *Неделя.* 1967. 19–25 нояб.; *Советская культура.* 1991. 23 марта; *Лейберова В.Ф., Лейберов И.П.* Сокровища казачьей семьи (из истории частной картинной галереи русской живописи Н.А. Келина в Чехословакии) // *Из истории российской эмиграции.* СПб., 1992. С. 62–67. В настоящее время картины разделены между наследниками Н.А. Келина.
- ¹⁰⁸ См.: *Нова Україна.* Прага, 1926. № 1/2. С. 180; *Бюлетень Українського Національного музею-архіву.* Прага, 1926; *Вістник Українського Національного музею-архіву.* Прага, 1928; *Животко А.* Десять років Українського історичного кабінету (1930–1940) // *Inventori Archivu Ministerstva vnútorných sprav.* Praha, 1940. Seria C. T. 1. С. 3–50; *Сладек З.* Русская и украинская эмиграция в Чехословакии // *Сов. славяноведение.* 1991. № 6. С. 28; *Брежго Б.* Указ. соч. С. 15; *Pešák V.* Zpráva o činnosti Ruského historického archivu; *Ukrajinského historického a Beloruského archivu v letech 1939–1946* // *Ročenke Slovanského ústavu v Praze.* Sv. XII. Za leta 1939–1946. Praha, 1947. S. 218–220; *Vacek J.* Institucionální základna ukrajinské émigration v Československu v letech 1919–1945 // *Ruská a ukrajinská emigrace v CSR v letech 1918–1945.* Praha, 1993. S. 38–39. (Sborník studií. I).
- ¹⁰⁹ *Яковлева Л.* Празькі фонди в Києві // *Пороги: (Часопис для українців в Чеській республіці).* Прага, 1995. № 2. С. 6–7.
- ¹¹⁰ *Наріжний С.* Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між світовими війнами. Прага, 1942. С. 219, 305; *Бирич Я.* Сторінка з чесько-українських взаємин (Український музей у Празі). Вінніпег, 1949. С. 5–15; *Ruská a ukrajinská emigrace v Československe Republice...* S. 43–46.
- ¹¹¹ *Наріжний С.* Шевченкиана в Музеї Визвольної Боротьби України. Praha, 1941.
- ¹¹² *Вісти Музею Визвольної Боротьби України.* Прага, 1937. Ч. 17. Жовтень. С. 1.
- ¹¹³ *Žilunský J.* Ukrajinci v Čechách a na Moravě: 1917–1945. Praha, 1995. S. 66–67.
- ¹¹⁴ *Бирич Я.* Указ. соч.
- ¹¹⁵ Интересная информация о судьбе МОБУ прозвучала в докладе профессора М. Мушинки (Словакия) на международной научной конференции “Русская,

украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами” (Прага, 14–15 августа 1995 г.). Документы о деятельности музея хранятся в Государственном центральном архиве и Архиве главного города Праги.

¹¹⁶ Яковлева Л. Указ. соч. С. 7.

¹¹⁷ Пороги. 1993. № 3. С. 45.

¹¹⁸ См.: *Кеннеді Грімстед П., Боряк Г.* Доля українських культурних цінностей під час другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. Київ, 1991.

¹¹⁹ Зарубіжні українці: Довідник. Київ, 1991. С. 207.

¹²⁰ Брежго Б. Указ. соч. С. 6; Устав общества “Музей и Архив Русской Зарубежной Жизни”. Варна, 1928.

¹²¹ *Зильберштейн И.С.* Дело жизни // *Огонек*. 1986. № 36. С. 9; *Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л.* Художники русской эмиграции (1917–1941): Биографический словарь. СПб., 1994. С. 337–338.

¹²² Часовой. 1939. № 235. С. 13, 20–21; *Кудрякова Е.Б.* Е.В. Саблин и Русский Дом в Лондоне // Международная конференция “Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940-е годы”: Сб. материалов. М., 1993. С. 36–38.

¹²³ *Буллаков В.Ф., Юпатов А.И.* Указ. соч. С. 24; *Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л.* Указ. соч. С. 103–105.

¹²⁴ *Брежго Б.* Указ. соч. С. 5–6; Русские в Латвии: Сб. “Дня русской культуры”. Рига, 1934. Ч. II. С. 67–68; Русский ежегодник на 1940 г. Рига, 1939. С. 111; Сегодня. Рига, 1931. № 16, 71, 150, 158, 361; Родная старина. Рига, 1927. № 1, 5, 6; 1929. № 8.

¹²⁵ *Беликов П.Ф., Князева В.П.* Рерих. М., 1972. С. 222, 230–231. (Жизнь замечательных людей).

¹²⁶ См.: Рерих / Текст Р. Рудзитиса, Е. Москова, В. Шибаева. Рига, 1935; *Рерих Н.К.* Нерушимое. Рига, 1936.

¹²⁷ *Брежго Б.* Указ. соч. С. 16; Наперад. Вільня, 1929. № 2; Археологія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск, 1993. С. 377.

¹²⁸ Часовой. 1934. № 116–117. С. 39; 1935. № 146–147. С. 15.

¹²⁹ См.: *Скотт С.* Романовы: Царская династия: Кто они были? Что с ними стало? Екатеринбург, 1993. С. 296–306; *Дворянский вестник*. М., 1995. № 4/5 (14–15). С. 13.

¹³⁰ Часовой. 1934. № 131–132. С. 18.

¹³¹ Бюллетень Музея Общества изучения Маньчжурского края и юбилейной выставки КВЖД. Харбин, 1923. № 1. С. 1–5, 26, 38–41; Известия Общества изучения Маньчжурского края. Харбин. 1923. № 3. С. 1–3; Великая Маньчжурская империя: К десятилетнему юбилею 1932–1942. Харбин, 1942. С. 337–341; *Таскина Е.* Неизвестный Харбин. М., 1994. С. 149–152. Благодарим Г.В. Мелихова за консультации по данному вопросу.

¹³² *Бурлюк Д.* Русские художники в Америке: Материалы по истории русского искусства: 1927–1928. New York, 1928. С. 9–10; *Беликов П.Ф., Князева В.П.* Указ. соч. С. 155–156, 198, 224–227. *Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л.* Указ. соч. С. 390.

¹³³ См.: *Рерих Н.К.* Письма в Америку (1923–1947). М., 1998. С. 58–62, 223–330, 551–552. The Official Museum Directory. 1988. Washington, 1987. P. 558.

¹³⁴ *Брежго Б.* Указ. соч. С. 4, 6–7.

¹³⁵ Часовой. 1934. № 128. С. 27; 1939. № 228–229. С. 35; № 238–239. С. 38.

¹³⁶ *Минцлов С.Р.* Синодик библиотек, архивов и коллекций, погибших во время Великой войны и революции. Берлин, 1925. С. 43–51.

- ¹³⁷ *Савицкий П.Н.* Разрушающие свою родину (снос памятников искусства и распродажа музеев СССР). Берлин, 1936. С. 21–37; *Степанов Н.Ю.* Евразиец П.Н. Савицкий о разрушении памятников архитектуры и распродаже музейных ценностей в СССР в 1930-е гг. // Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры: Научн. конф.: Тез. докл. М., 1993. С. 77–81.
- ¹³⁸ Савицкий П.Н. Указ. соч. С. 35–36.
- ¹³⁹ См.: *Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н.* Указ. соч.; *Жуков Ю.Н.* Операция “Эрмитаж”: Опыт историко-архивного расследования. М., 1993.
- ¹⁴⁰ См.: Советская историческая энциклопедия. М., 1966. Т. 9. С. 761–795; Музееведение: Музеи исторического профиля. М., 1988.
- ¹⁴¹ *Брежго Б.* Указ. соч. С. 6; *Шлеев В.В.* О некоторых малоизвестных вопросах истории культуры российского зарубежья // Проблемы изучения истории российского зарубежья. Сб. статей. М., 1993. С. 96; The Museum of London. London, 1988. P. 61.
- ¹⁴² Советский музей. 1992. № 4.
- ¹⁴³ *Кириллова Н.Г., Крутинин А.С.* Коллекция историка-эмигранта Я.М. Лисового в фондах Государственной публичной исторической библиотеки // Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940. Кн. 2. С. 412–415.
- ¹⁴⁴ *Старцев В.И.* Музей-архив-библиотека имени князя Д.И. Бебутова в Берлине // Из истории российской эмиграции: Сб. научн. ст. СПб., 1992. С. 29–34.
- ¹⁴⁵ См. об эмигрантских музейных собраниях Сан-Франциско: *Башкирова Г.Б., Васильев Г.В.* Путешествие в Русскую Америку: Рассказы о судьбах эмиграции. М., 1990. С. 314–331; *Литвинова Г.А.* Русские американцы. М., 1993. С. 60–62; Известия. 1993. 15 апреля; *Старостин Е.В.* История России в зарубежных архивах. М., 1994. С. 59; *Попов А.В.* Фонд Н.А. Троицкого в Государственном архиве Российской Федерации: Опыт архивного обзора. М., 1994. С. 42.
- ¹⁴⁶ См.: *Бортневский В.Г.* Кубань и Добровольческая армия в 1918–1919 гг.: из архивных собраний Свято-Троицкого монастыря Русской Православной Церкви за границей (США) // Русское прошлое. СПб., 1994. Кн. 5. С. 77–112. Jordanville: A portrait of Holy Trinity Monastery. New York, 1994.
- ¹⁴⁷ *Старостин Е.В.* Указ. соч. С. 60; Часовой. 1961. № 426 (11). С. 17; Сборник 10-летнего юбилея культурно-просветительского и благотворительного общества “Родина”. Нью-Йорк, 1964. С. 8–9; Новое русское слово. 1974. 20 декабря; Сборник 25-летнего юбилея культурно-просветительского и благотворительного общества “Родина”: 1954–1979. Нью-Йорк, 1979. С. 16–17, 28–29, 45–46; *Воропанов В.* Русские традиции Нью Джерси // Русская Америка. 1995. Вып. V. С. 18–20.
- ¹⁴⁸ Зарубіжні українці: Довідник. С. 114–117.
- ¹⁴⁹ Там же. С. 227.

ИСТОРИКИ И ИХ ТРУДЫ



К.Б. Умбрашко

Б.-Г. НИБУР В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. ПОЛЕВОГО И “СКЕПТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ”

Имена историков, публицистов, писателей в общественном сознании часто ассоциируются с некоторыми стереотипами, штампами, клише. “Кто скажет, например, – писал Т.Н. Грановский, – почему при имени Нибура неизбежно приходит в голову мысль о сухой, разрушительной критике, отвергающей поэтические предания древнего Рима?”¹. Отношение к немецкому историку, как стороннику скептического направления в западной историографии, идеи которого частично были восприняты некоторыми русскими историками, было господствующим и в общественном сознании, и в отечественной исторической науке первой половины XIX в. Но в какой мере подходы Нибура к исследовательской практике понимались, а главное, разделялись в России? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо остановиться не только на сути исследовательского метода этого незаурядного историка, но и на некоторых биографических моментах.

Бартольд Георг Нибур (1776–1831) родился в Копенгагене в семье ориенталиста Карстена Нибура, который сам учил сына наукам. Автор “Римской истории” “родился художником, хотя мало оказал успехов в рисовании и в музыке, понимая только простые мелодии народных песен”, с юношеских лет отличался феноменальной памятью и филологическими способностями. Позднее, в научной работе, ссылки на источники он делал по памяти, не заглядывая в тексты, и эти ссылки всегда были предельно точными. К 23 годам молодой человек знал свыше 20 древних и новых языков, в том числе и русский, увлекался нумизматикой, геральдикой. В одном из писем 1807 г. он писал: “Историк должен допросить каждый народ, по возможности, на его родном языке. Языки и характеры народов происходят из одного и того же необъяснимого начала: тот не знает вполне народа, кто не понимает его языка. (...) Славянский язык привел меня к очень важным историческим открытиям, относительно общего происхождения народов”. Окончив университет в Киле, он составил себе высший идеал жизни – “соединение глубокого теоретического образования со способностью практических приложений”² и поэто-

му много лет отдал государственной службе в Пруссии (директор Ост-Индского Банка, член Госсовета, историограф, посланник при Ватикане). С 1810 г., после отставки, начинается научный этап биографии Нибура. Лишь 1812 год отвлёк его от науки и ненадолго вернул к политике. Он основал политическую газету, направленную против французов, и подал королю прошение вступить рядовым в один из полков, но ему была поручена дипломатическая миссия в Англии. Но главным занятием Нибура становится чтение лекций в недавно основанном Берлинском (1810–1816), затем в Боннском университетах (1824–1831). Таким образом, биография Нибура не похожа на биографии кабинетных историков XIX в. В этом отношении он скорее напоминает энциклопедистов-практиков XVIII в., сочетавших научные занятия с административной, прикладной деятельностью.

Следует учитывать, что ученый скептицизм возник в европейской исторической науке ещё в XVIII в. на основе рационалистического понимания исторического процесса и новых подходов в источниковедческой критике античных источников. Это было научное направление, противоположное догматической философии и отрицающее либо возможность всякого познания (абсолютный скептицизм), либо возможность адекватной действительности познания (относительный скептицизм). Возникнув в Древней Греции (софисты), в новой философии скептицизм возродился в философских трудах Монтеня, Бейля, Юма, Канта в относительной составляющей и постепенно воспринимался исторической наукой.

В полной мере скептическое отношение к историческим источникам вообще и к древнеримской традиции в частности впервые обосновал Луи де Бюфур, которого можно считать настоящим основоположником “скептицизма” в европейской исторической науке.

Что нового привнес Нибур в изучение истории Рима? Ответив на этот вопрос, можно лучше понять степень влияния его концепции на отечественных историков. Учебные курсы Нибура по истории античности впервые носили самостоятельный характер, тогда как в большинстве старых университетов Западной Европы они были частями философского и богословского курсов. Наибольшую славу ему принес ранний курс “Римская история”, который в переработанном виде впервые был издан в 1811–1812 гг. и затем переиздан в 1830–1831 гг. События римской истории здесь изложены с древнейших времен и доведены до II Пунической войны, т.е. касаются периода римской истории, хуже всего освещённого в источниках, который сторонникам скептического направления, например Луи де Бюфору, казался совершенно недостоверным, или передавался ими без всякой критики источников как пересказ римской традиции.

Большая часть изданных текстов Нибура – это не авторские варианты публикаций, а обработанные издателями тексты студенческих записей его лекций, следовательно, знакомство русских читате-

лей с нибуровскими идеями происходило по его лекциям. Представляется, что их можно использовать, не опасаясь исказить историческую концепцию Нибура. В предисловии к лекциям “О Римской истории” 1846 г. редактор подробно и обстоятельно объяснил, как готовилась публикация. Лекции 1826/27 и 1828/29 учебных годов были прочитаны Нибуром в Боннском университете и изданы на основе записей студентов. Эти “академические тетради”, сохранившие дословные рассуждения лектора, многократно сопоставлялись и выверялись составителями, поэтому весь текст передается от первого лица. Редактор подчеркнул, что его работа заключалась только в лингвистической правке. Оговорки и неточности приписываются живой устной речи лектора и сопровождаются лишь мини-комментариями. Таким образом, “в этом собрании, которого сам Нибур непосредственно не касался, все же нет ни одной мысли и почти ни одного слова, которое бы он не говорил в действительности. В случае недоразумений ответственность несет редактор: он полагал, что это необходимо для достоверности, и при изложении материала старался относиться к этому достоянию как можно более бережно и почтительно; сравнение значительного количества конспектов студентов и весь представленный материал точно проверен и просмотрен с тем, чтобы вся ценность данного произведения была неоспоримой”³.

Проанализировав имеющиеся источники, Нибур пришел к выводу, что в любом из них так или иначе отразилась *подлинная* историческая действительность и поздние источники, передающие фольклорную традицию, основываются в какой-то мере на существовавших свидетельствах и несут частицы достоверной информации. Задача историка состоит в отделении легенд от подлинных свидетельств. Главную идею Нибура можно свести к тезису, что основные сведения о древней истории Рима заимствованы из фольклора, из народной поэзии, значит, относиться к этим сведениям следует иначе, чем к письменным источникам. В то же время “сила превосходного ума, подкрепляемая познаниями в такой степени, какую редко можно встретить, показана была автором вполне, и многие из римских постановлений и учреждений, особенно законы о разделении полей, были представлены с новой и убедительно-достоверной точки зрения”⁴. Изучив римскую легендарную традицию (героический эпос, фрагменты пиршественных, погребальных песен и т.п.), ученый обнаружил в ней ряд аутентичных данных о древнейшей эпохе.

Творческая сила таланта Нибура заключалась во внимании к какому-нибудь мелкому, ускользнувшему от внимания других историков факту в сочетании с историко-критическим методом. В вводном разделе “Важность римской истории” он отметил, что этот тезис “принадлежит к тем пунктам, которые никогда не будут оспорены”. Даже если кто-то подвергает сомнению значение древней истории в частности, то и он не сможет отказать римской истории во влиянии

на национальные европейские истории, в которых она выступает как предпосылка национальных историй. До тех пор, пока Римское право сохраняет свое значение, точное знание римских древностей будет необходимо. Точно так же, как для ученого богослова, для которого история церкви неотъемлема от светской истории, многое будет непонятным при отсутствии знаний о римской истории и римских древностях. “Хотим ли мы, — указывал Нибур, — бросить общий взгляд на науку, рассматриваем ли мы историю как науку, существующую саму по себе, то и здесь Римская история — важнейшая из всех. Все древнейшие истории исходят из древнеримской, все новейшие — от римской”. Этот маленький народ развивается, господствует сначала над тысячами, потом над сотнями тысяч, потом покоряет мир; от расцвета до распада, весь Запад перенимает его язык и жизненные приспособления; его законы и по сегодняшний день являются действующими; такая величина единственная в истории. Сюда же относится величие отдельных личностей, театр; “все государства бледнеют перед этой звездой; чрезвычайная важность институтов, которая частично ведет к подобным, все это придает Римской истории продолжительность и важность”⁵.

При реконструкции древнейшего римского периода, по мнению Нибура, историк должен решить две задачи: аналитическую или критическую (выявление реальной информации из имеющихся источников) и синтетическую (восстановление исторической действительности на основе этих материалов). Поэтому нельзя считать, что книга Нибура направлена против римской истории. Первый этап работы Нибура, не самый важный, но самый известный, — разрушительный; второй этап, положительный, не столь известен читателям, в его рамках автор, воссоздавая храм истории, старался “заменить поэтические или аллегорические лжи истинными событиями, извлекая из басен, по своему разумению, некоторую существенность”⁶. Но суть исследовательского кредо Нибура заключается именно во втором этапе.

Из-за недостатка данных в скудной римской традиции и, учитывая всемирно-историческую концепцию (разные народы проходят в своем развитии одни и те же этапы), он широко использовал историко-сравнительный метод, сопоставляя, например, гомеровский период у греков и царский период в Риме, объясняя данными гомеровского эпоса эволюцию царского Рима. Кроме того, Нибур считал возможным опираться на собственную интуицию историка, внутреннюю убежденность. Выдающиеся филологические способности, огромная эрудиция, тонкое историческое чутье позволили ему воссоздать основные линии развития древнейшей римской истории (самого темного периода) с такой полнотой, что вся последующая историография лишь достраивала здание, в основном построенное Нибуром. Историк создал родовую теорию, по которой основной исходной единицей исторического развития римлян, как и других наро-

дов, была не патриархальная семья, а род. На смену родовому устройству идет государственная организация, которая в отличие от родового принципа основана на территориальном делении. Нибур определял царскую власть в Риме аналогично власти греческих басилеев и внутренние пружины развития римского общества видел в словесной борьбе патрициев и плебеев⁷.

Одной из основных задач Нибура стало, таким образом, выявление общей закономерности исторического процесса. “Распределение и развитие событий, – писал Нибур в одном из писем 1811 г., – не доставляет такого наслаждения, как открытие нового закона, или общей, плодотворной истины. Мне было бы полезнее и приятнее кончить эти лекции и перейти к другому предмету разысканий”⁸. В предисловии к “Римской истории” Нибур отмечал: “Вместе с настоящим столетием совершенно новая эпоха открылась для нашей нации. Поверхностное ни в чем более не удовлетворяло; полупонятные, пустые фразы потеряли всякое значение; но никто не довольствовался уже и одним отрицанием, которое было особенно во вкусе предшествовавшего поколения: мы стремились к определенности, мы хотели положительного знания, только чтоб оно было истинное, а не мечтательное”⁹. Нибур не дробил историю на отдельные части, т.е. воспринимал ее органически, но для него характерен некоторый антиисторизм, поскольку в древность он мог вносить впечатления, принятые от новой истории, а в его отзывах о современных событиях проскальзывают отголоски античных воззрений на государство.

“Скептицизм” Б.-Г. Нибура правильнее было бы назвать критицизмом, который основывается на том, что любое событие может пониматься как *факт исторического процесса* и как *факт исторической науки*. Первое – данность, второе – интерпретация, осмысление, отношение, анализ, оценка. Эти понятия соотносятся так же, как первичное и вторичное. Нибур, не отрицая первое как некоторую данность, сомневался во втором, т.е. в основаниях исторических оценок. Отсюда – его безмерная щепетильность в источниковедческой работе. (Отметим, что в немецком языке оба понятия разводятся: *Geschichte* – история в смысле того, что произошло, что было, случилось; *Historie/historisch* – история в смысле исследования, исторической науки).

Раздел “Источники римской истории” исследователь начал с ответа на вопрос: “Достоверны ли источники древнеримской истории до того, как в Риме появилась историческая литература?”, т.е. в фольклорный период. “Для нас сейчас непостижимо, – писал Нибур, – как некие остроумные ученые мужи, которые широко обозревают историю, некритически воспринимают отдельные события, описанные Ливием”. Наивное верование в несомненность и непогрешимость истории Рима, сочиненную и изложенную Титом Ливием, ученый называл состоянием “литературной невинности”, длившимся

ся до тех пор, пока образование было исключительно филологическим. Но в XVII в. в Англии, Франции и Германии многие писатели стали наталкиваться на противоречия в источниках, которые замечались и ранее, но замалчивались и вводили в заблуждение. В XVIII в. было уже невозможно с той же доверчивостью относиться к традиционной истории Рима, как в XVI в., поскольку сфера человеческого знания расширилась, людям хотелось понять “что произошло и как все образовалось; в римскую историю, как она представлялась, нельзя было больше верить”. Это было время внешнего скепсиса, когда Бофорт, у которого не было потребности в научной основательности, “сделал большую эпоху” и значительно повлиял на последующую историческую науку. Странно, однако, что страницы, которых Бофорт не касался, никого не смущали. Историки обращались к фольклорным семи королям, неверной хронологии и т.п. и пренебрегали тем, что имело хорошую историческую основу¹⁰. Нибур вполне резонно полагал, что древнеримские источники были искажены риторическими вставками позднейших римских писателей и необходимо, разложив их на простейшие части, восстановить первоначальный смысл. Вместо искусственного древнеримского государства он видел естественный рост племени, создавшего героический эпос, отражающий коллективные представления и переложенный затем в ораторскую прозу.

Задачей летописей было обозначить события, сохранить их для потомков. “Анналы, – указывал Нибур, – некоторые из которых сохранились в дальнейшем, образуют источник истории, о котором нельзя сказать когда они могли быть начаты: это только скелет истории”. Но рядом с этими источниками существует устная история, состоящая из рассказов, передаваемых из поколения в поколение. Эти сюжеты могли сохраниться лишь в устной традиции, либо частично зафиксированы письменно, но в том и другом случае это поэтические предания, которые нельзя однозначно толковать. “Я убежден, – писал Нибур, – что большая часть древней римской истории запечатлена в песнях”. Но “совершенно безразлично в каком виде были древние источники представлены, когда историки писали свои произведения: существовали ли они в поэтической форме или нет, были ли они описаны в прозе или нет”¹¹.

Тит Ливий знал многие обстоятельства древних времен, но был склонен к “невероятным преувеличениям, преимущественно в отношении чисел”, имеющим совершенно иной характер, чем показания его предшественников. Древние авторы указывают большие числа не для того, чтобы указать точное количество или кого-либо обмануть, а для обозначения неопределенно большого множества. Эта поэтическая смесь неопределенности с кажущейся определенностью господствует во всех римских сказаниях. Странно, что сам Ливий, неоднократно признавая ненадежность своих источников, в первых томах смело оперирует сомнительными цифрами¹².

Раздел “Возникновение древнейшей истории Рима” начинается сравнительным анализом текстов Ливия и Дионисия. Нибур при этом указывал, что их рассказы о древнейших временах существенно отличаются друг от друга. На первый взгляд, Ливий написал свою первую книгу без указания хронологии, с чрезвычайной непосредственностью. Дионисий, напротив, вроде бы искал возможность извлечь из своих источников настоящую историю, исходя из предпосылки, что общую римскую историю следовало бы составить из частных. Но историческую основу он восстановил по сказочным рассказам и “при этом выглядит в своих прагматических речах о мифическом времени поистине смешно”. Ливий же писал о характере исторических сообщений, которые он нашел в древних книгах, показавшихся ему наилучшими, и “дал древнее представление об истории Рима до того, как оно было художественно приукрашено”. Поэтому его рассказ для этого времени – самый чистый источник. Лишь история о чудесном создании Ромула, рассказы о похищении сабинянок, об изгнании Ромула во время солнечного затмения, о многолетнем правлении Нумы Помпилия в непрекращающемся мире с установлением законов, сооружением храмов, введением религиозных обрядов, разделением граждан на сословия, его женитьбе на нимфе источника Эгерии, ставшей его советчицей в государственных делах, – историческая невероятность, “историзированная” последующей историографией¹³.

Многие хронологические частности в римской истории, по мнению Нибура, “обременены характером бессмысленности и исторической невозможностью”, из чего можно сделать уверенный вывод, что историк обязан прибегать к критическому изучению источников. Для Нибура источники делятся на хронологические (датируемые) и нехронологические (недатируемые, в основном – фольклорные). Во втором случае часто встречается цифра “360” – нечто среднее между количеством дней в солнечном и лунном году, которое удобно делить. “Время королей, – указывал Нибур, – по древнему исчислению 240 лет и Республики – 120 лет (в сумме – 360!), вероятно, имеет столь же математический характер, как индийский возраст Вселенной, вавилонские и другие восточные хронологические выкладки. 120 лет, приходящиеся на время республики, в действительности занимает отрезок времени в 365 лет. Насколько реальны эти 120 лет зависит от того, что будет принято за точку отсчета”. Один из возможных вариантов – освящение Капитолия. Между тем, солнечное затмение 350 года – первое действительно наблюдаемое событие, отображенное в Анналах, тогда как более ранние события были рассчитаны позднее несовершенными средствами тогдашней науки, а потому – недостоверны. Для первых 240 лет 7 королей правили невероятно долго. Уже Ньютон высказывался о том, сколь это неправдоподобно, и предложил некое среднее число 17 для каждого правителя. Наиболее вероятной параллелью римским королям Ни-

бур считал венецианских дождей, власть которых также была выборной. За пять веков (800–1300) было 40 дождей, “так что на столетие приходилось по 8”. Если внимательнее рассмотреть хронологию правления римских королей, то мы увидим игру с числами, как на Востоке, т.е. иносказательность, недоговоренность, склонность к поэтическим преувеличениям, метафорам. Вместе с тем, у всех народов, имеющих собственную древнюю литературу, мы видим большие или малые стихотворные формы эпического жанра, поэтому фольклор каждый исследователь “должен рассматривать как достоверные свидетельства”¹⁴.

Нибур не просто формулирует тезис: “римская история, дошедшая из песен, не вызывает сомнения”, но аргументирует его на семи страницах текста. Причем не допускает никаких деклараций, приводя только факты в сравнительно-сопоставительном анализе по формам и размерам стихотворного фольклора разных времен и народов, хоть как-то взаимосвязанных. Для того, чтобы сделать положительные выводы, он сравнивал римские строфы и размеры с персидскими, арабскими, древнегерманскими, древнесаксонскими фольклорными памятниками, где встречается аллитерация (повтор согласного или группы согласных, отчетливо выявляющий звуковой облик слов). Эта фанатическая профессиональная скрупулезность стала основой исторической концепции Нибура.

В лице Б.-Г. Нибура мы сталкиваемся с личностью Историка (с большой буквы). Поскольку историю творят историки, то ее качество зависит напрямую от того, кто и как пишет. О Нибуре в научных кругах закрепилось устойчивое мнение как о критике, положившем начало особому направлению. Скорее всего, это не столько его научное кредо, сколько единственная возможность сохранить профессиональную и гражданскую честь. Причем, следует особо отметить, что у него напрочь отсутствовало тщеславие: при жизни он не писал трактатов, а лишь скрупулезно изучал то, что написали до него: перечитывал и сопоставлял массу источников, анализировал их достоверность с тем, чтобы донести это до своих студентов и привить им любовь к историческому факту как явлению и ответственность за его интерпретацию. Он взял на себя великую миссию – восстановить историческую справедливость в представлении о римской истории как о феномене и процессе, динамично развивающемся и имеющем колоссальное значение для мировой истории даже спустя столетия после распада Римской империи. Достойно восхищения и то, как трепетно он искал исторические свидетельства не только в традиционных письменных исторических источниках (анналах, хрониках, летописях), но и в семейных хрониках, устных рассказах, сказаниях, легендах, фольклоре различных этносов, проецирующих отголоски реальных событий. Он придавал значение даже самым скромным знакам о наличии того или иного факта в таких источниках, вплоть до влияния ритмов стиха на песни и баллады других народов.

Вклад Нибура в подготовку именно историков очень велик: он поистине состоялся не только как *Историк*, но и как *Учитель* истории для историков. Его труд по истории Рима был опубликован под его именем, тогда как сам он этих текстов не писал. Ученики сохранили все размышления Учителя, свидетельствующие о его потрясающей эрудиции. Ученый свободно обобщал выводы различных авторов, апеллировал к их мнению, излагал разные точки зрения, переплавляя их в собственное видение. Ученики передали его понимание и трактовку истории, вплоть до тончайших нюансов устной речи – огромный труд написан ими от первого лица. Немногие способны нести личную ответственность за все содеянное и сказанное. Для Нибура характерны научная щепетильность, фантастическая работоспособность, удивительная образованность (история, языки, литература, искусство), требовательность, мягкая или жесткая ироничность.

* * *

В отечественной историографической традиции первой половины XIX в. нибуровский сравнительно-исторический метод сопоставления аналогичных явлений в истории разных народов был воспринят Н.А. Полевым и “скептической школой” во главе с М.Т. Каченовским, стремившимися изучать отечественную историю “в связи со всеобщей”.

Н.А. Полевой провозгласил своими научными ориентирами не только Нибура, но и других европейских и отечественных историков (Вико, Гердер, Геерен, Мишле, Барант, Тьерри, Гизо, Калайдович, Востоков, Строев, Евгений, Шлецер, Миллер, Лерберг, Френ, Круг). Поэтому Н.И. Надеждин писал, что “История русского народа” стала “новым ярким метеором, который, по произведенному впечатлению, заслуживает неоспоримое внимание”, поскольку это произведение явилось “с предзнаменованиями грозными и вместе блистательными, возвещая конец старой и начало новой эпохи в нашей истории”¹⁵. Но Нибур в ряду этих историков стоит особняком. Свой главный исторический труд Полевой посвятил именно этому ученому. Высшей наградой Полевой считал причастность к знаменитому современнику: “Довольно для меня, если скажут, что историк русского народа знал величие гения Нибурова, и Нибур не почел недостойным своего имени почтительное приношение русского историка”. И продолжал далее: “Люди, подобные Вам, принадлежат векам и народам, и каждый – предмет для наблюдательных умов их”¹⁶.

Большинство исследователей для подтверждения интереса Полевого к Нибуру указывают на переводную статью из английского журнала “The Foreign Quarterly Review” о втором издании первого тома “Римской истории” и о критических статьях Шлегеля и Вахсмута¹⁷. С этим вполне можно согласиться, поскольку публикация “Мо-

сковского Телеграфа” являлась одной из лучших публикаций о Нибуре в русской периодике первой половины XIX в. Используя подходы Нибура, Полевой оценивал “Историю государства Российского” Н.М. Карамзина и пришел к выводу, что теоретическая позиция историографа принадлежит XVIII в. (“складно написанная летопись времен минувших”).

Целью историка должен стать, по мнению Полевого, поиск причин исторических событий, т.е. исторических закономерностей и взаимосвязей всеобщей истории и истории отдельных народов, государств, земель. Свое исследовательское и методологическое кредо Полевой в одной из рецензий сформулировал так: “Не пренебрегать ничем, всем пользоваться, избегать исключительности самим, но постигать ее и прощать в других; все принимать и соединять; стремиться ко всеобщему, к полному, и стремиться посредством самых исключительных точек зрения наших предшественников и наших учителей, соединенных и соглашенных – такова должна быть цель и метода в истории, в философии, во всем”¹⁸. Интерес к новейшим философским идеям Полевого вовсе не был риторическим. И.М. Снегирев в дневнике (11 января 1825 г.) отмечал: “Пришел Н. Полевой, которому я отдал Волтерово письмо к Миллеру и его разговор для помещения в Телеграфе (...). Слово было о новейшей философии, которая сводит с ума молодежь”¹⁹.

По мнению А.З. Зиновьева, в первой половине XIX в. в исторической науке прослеживалось два направления “относительно первых времен”: первое – “несторианское”, начинающееся с Байера, карамзинское, “положительное”, ролленовское; второе, идущее от Каченовского – “скептическое”, “отрицательное”, нибуровское²⁰. В.С. Иконников дополнил два направления третьим – “хаотическое смешение взглядов этих двух направлений” и заслужой Полевого назвал то, что он не примкнул к третьему направлению, а “пошел более по следам Нибура”²¹, а следовательно – по следам Каченовского.

Однако, в отличие от “скептиков”, Полевой не столь критически относился к древнейшим источникам русской истории. Русская летописная традиция, по его мнению, берет свое начало с X в., но первым известным летописцем являлся Нестор, летопись которого “не дошла до нас отдельно”. “Великое множество списков с нее находится в России, – писал Полевой, – и все летописи русские начинаются одинаково; следовательно, все летописцы списывали сначала Несторов временник, и он был единственным памятником древнейших времен. Но ни в одном списке сказания Нестора не отделены от продолжателей, и все, сливаясь вместе, будучи писано почти одинаковым образом, представляет непрерывную цепь записок исторических, коих списатели нам неизвестны”²². Признавая наличие в летописи большого количества фольклорных сюжетов (преданий) и более поздних интерполяций, не имеющих исторической достоверности,

Полевой полагал, что их можно использовать только для описания нравов древнейших эпох, а не для конкретной истории. (Такого рода сюжеты: два сказания о легендарном основателе Киева, известия о походах Олега и Святослава, делах Ольги и Владимира, которые “явно показывают, что тут вмешались поэтические рассказы скандинавских и славянских бардов”²³). В этом заключается существенное отличие позиции Полевого от подходов Нибура. Договоры Олега и Игоря с греками, Русская Правда, Поучение Владимира Мономаха, “Слово о полку Игореве”, жития святых (Полевой объединил все эти источники в одну группу “памятники палеографические”) достаточно достоверны.

Ранняя история славян “бледна и недостаточна”, но верна и справедлива. “Оставим вымыслы поэзии, – писал Полевой, – и удовольствуемся вероятной истиной. Взор наблюдателя может отыскивать темные следы ее в самих сказках”. Поход князя Олега на Константинополь вполне вероятен, но его результаты приукрашены поздней традицией (“число флота Олега и исчисление народов с ним бывших явно выдуманы и увеличены”). Что касается договора Олега, то “сей достопамятный договор, первый, драгоценный письменный памятник русской истории, сохранился для потомства и вполне вписан в наши летописи”²⁴. Описание похода Игоря на Византию Полевой называл невероятной сказкой, но его договор с греками – любопытный памятник, который вполне сохранился в наших летописях. Мщение княгини Ольги древлянам – басня, созданная преданием, украшавшим “вымыслами поэзии брани и победы первобытных руссов”²⁵, поэтому этот сюжет не попал в “Историю русского народа”. К таким же известиям он относил сообщения летописи об испытании вер князем Владимиром, о посещении Киевской земли Андреем Первозванным и т.д. Уже современники отмечали непосредственность и поверхностность восприятия Полевым идей Нибура. Самоуверенность автора стала причиной враждебного отношения, очень ярко выраженного в злой эпиграмме:

Увы! Российский наш Леклерк
Упал, смутился и померк
За то, что посвятил Нибуру
Двенадцать книг. Чего? – Сумбуру²⁶.

Рецензент 1-го тома “Истории русского народа” Н.И. Надеждин заметил, что автор упомянул имена модных историков, но история Полевого “не отличается даже – *новостью* систематического фасона!”. Посвящение же истории Нибуру и вовсе нелепо, поскольку здесь “все басни, обвивающие первый период нашей отечественной истории, рассказываются – уже не с детскою простотой, но – с буйным велеречием несомнительной уверенности!”²⁷. На М.Т. Каченовского нет ссылки, хотя современники увидели прямое использование идей “великого скептика” в новом историческом сочинении. “Не

цитируется имя Каченовского, – писал Надеждин, – коего новая и оригинальная гипотеза о *Русской Правде*, засекуствованная уже критиками в *первом* томе *Истории Русского Народа*, является опять во *втором*, вставленная в *картину Руси*”²⁸. С такой оценкой согласился П.А. Вяземский: “История Русского народа, принадлежащая к числу весьма худых сочинений, принадлежит именно к разряду тех, которые критика не должна пропускать забвением”, причем критика должна быть не “сердитой и крикливой”, а умеренной, твердой, хладнокровной и регулярной. Публикация “Истории” Полевого была подготовлена критическими статьями против “Истории” Карамзина, “в этом отношении новый историк поступил неблагодарно: следовало ему посвятить творение свое не Нибуру, а Каченовскому и Арцыбашеву”²⁹.

Столь же поверхностным было влияние Нибура и на историческую позицию “скептиков”. М.Т. Каченовского – главу “школы” – привлекли в идеях Нибура естественность и дух критики. “С этой точки зрения, – писал В.С. Иконников, – критика Шлецера должна была показаться ему уже *низшею*, а многое, принимаемое им, невероятным”. Каченовский, принимавший ранее оригинальность летописи Нестора, вышел из-под влияния Шлецера и, считая теперь Нестора лишь составителем летописных записей, ставших основой для создания летописных сводов более поздних времен, подверг его критике. Нестор, “под рукой Каченовского” испытал участь нибуровского Тита Ливия, и Каченовский стал решительным противником Шлецера, “отвергая принятого им Нестора и окончательно рассекая узел недоумений – крайним сомнением в возможности подобного памятника”³⁰. Подобные оценки, на наш взгляд, несколько преувеличивают степень влияния Нибура на “скептическую школу”, авторы которой зачастую лишь риторически провозглашали работы этого историка своим методологическим ориентиром, на деле не применяя его принципов в конкретном историческом исследовании.

Так, С.М. Строев, разбирая сочинение О.И. Сенковского о сагах, писал: «Далее г. Сочинитель, сказав, что прошедшее столетие между многими (?) ложными теориями, создало также теорию исторической критики, которой впрочем он не называет ложною; сказав, что все стали тогда доискиваться в истории истины, достоверности, чистоты фактов (стр. 7), заключает: “Недоверчивость Нибура опоздала целою четвертью столетия: в наше время она уже была вопиющим анахронизмом”. Можно ли взвалить такую напраслину на современников! из каких источников почерпнул г. Сенковский, что вкус к чистым фактам кончился? мне кажется, что вкус к таковым фактам кончится тогда, когда человек более не будет иметь здравого смысла. За что же включать нас в число бессмысленных?»³¹. В библиографическом очерке С.М. Строев восхищенно писал: “Достаточно указать на Нибура, дабы напомнить все, что имеет замысловатого, блестящего, и вместе *догадочного*, метод, прославлен-

ный им чрез приложение его, часто с редким счастьем, к истории первых времен Рима”³². Однако этот философический метод исследования Нибура легко можно обратить во зло, произвольно толкуя, без глубокого знания, источники. Отсюда Строевым выводятся две исторические школы. Одну он назвал инстинктивной, т.е. использующей философский метод познания, гипотезы и догадки; другую – положительной, основывающейся только на строго-несомненных источниках и доказательствах.

Н. Стрекалов в сочинении, посвященном русской словесности XVIII в., казалось бы, не имеющем отношения к римским древностям, апеллировал к Нибуру, как высшему авторитету: “Неужели можно из древних сказаний нашей летописи воссоздать народную нашу эпопею, – как Нибур воссоздал эпопею римлян из первых страниц Тита Ливия? Как обогатилась бы наша поэзия! И, вместе, как очистилась бы история! Двойная выгода! Осталось бы лишь одно сомнение – к какому времени отнести эти песнопения”³³. Высказанная Нибуром косвенным образом идея о баснословном, бесписьменном периоде, предшествующем исторической эпохе, “скептической школой” была интерпретирована особым образом. Фантазии народа отражают обобщенные, символические образы, история народа – индивидуальные, реальные события. Но и в фантазиях народа, т.е. в фольклоре есть намеки, по мнению Нибура, на реальные исторические события, которые трудно, но необходимо разглядеть. От этого положения “скептическая школа” отказалась, доказывая, что фольклор лишен реальной исторической основы и “баснословный период” – доисторический. Как видим, восприятие идей Нибура и в данном случае носит непоследовательный характер.

Почему так происходило? Сочинения немецкого историка, не переведенные на русский язык, в XIX в. были известны ограниченному кругу русских читателей по оригинальным изданиям, по французскому переводу или по вторичным цитатам в исследовательской литературе. В письме М.П. Погодину И.Е. Бецкий проговаривался: “Лунин приготовил к изданию обширный труд Всеобщей Истории, в кот. мы познакоимся с исследованиями Готлиб Müllher’ов, Нибуров и прочей ученой Германской братьи”³⁴. Здесь, как видим, подчеркивается вторичность знакомства с текстами немецких историков. Большая часть отечественных читателей, зная о новых идеях лишь понаслышке, восприняла внешнюю сторону “упорного скептицизма”.

В примечании к переводной рецензии “Московского Телеграфа” (1829) на “Римскую историю” (скорее всего написанном самим редактором, т.е. Н.А. Полевым) отмечалось: “О творении Нибура мы уже упоминали в Телеграфе (1828 г. XXII, 81), но равнодушие русских литераторов и ученых людей непостижимо. Творение Нибура как будто и не существует для них. Ни в одной русской книге не увидите и следа, что автору или переводчику знаком Нибур. У нас пере-

водят немецкую дрянь прошлого века, под именем *историй, географий, юридических книг*, и в голову не придут переводчикам ни Нибура, ни Риттер, ни Савиньи”³⁵. Здесь же сообщалось, что один из молодых сотрудников журнала переводит “Историю” Нибура со второго издания. “Прочтет ли хоть тогда *старое* поколение наших литераторов сие великое творение? – вопрошал редактор. – Освободят ли наконец хоть тогда русские авторы и переводчики Римскую историю от волчицы Ромуловой и прыжков Рема через Римские стены?”³⁶. Но обещанного перевода так и не появилось, и даже к 1850 г. сумма сведений о Нибуре едва ли увеличилась, немногие из его выводов были восприняты отечественной исторической наукой. Главное – метод исследования – остался не востребованным.

Большая часть творческого наследия Нибура публиковалась уже после работ Н.А. Полевого и “скептической школы”. К примеру, исторические и филологические лекции, читанные ученым в Боннском университете, были напечатаны его сыном лишь в 1847–1851 гг. Поэтому широкое знакомство отечественного читателя с нибуровским творчеством началось только в 1850-х годах, в связи с публикацией работ Т.Н. Грановского и П.Н. Кудрявцева. В статье “Чтения Нибура о древней истории” (впервые напечатана в “Прописях” 1853, 1856 гг.) Грановский проанализировал идеи Нибура и увлекательно изложил римскую историю, соединив ее с критическими указаниями³⁷. Грановский попытался представить “верный отчет” о заслугах Нибура в науке, снять с него странное обвинение в “скептицизме” и показать, сколько было положительного в его выводах и сколько поэзии в его воззрении на историю³⁸. Но Нибура не всегда “оставался верен собственному требованию осторожной критики”, увлекаясь творческим воображением. “Чтения”, посвященные начальному этапу греческой истории, содержат “много остроумных, обличающих глубокого знатока, замечаний и намеков, но в целом не представляют особенной занимательности”. Однако, если и не все суждения Нибура справедливы, “горячие, дышащие чувством современника”³⁹ страницы оказали влияние на изучение древней и всеобщей истории, в том числе в России (П.М. Леонтьев). Но на изучение отечественной истории, по нашему мнению, влияние Нибура было скорее косвенным и опосредованным.

П.Н. Кудрявцев полемизировал с С.С. Уваровым, высказавшим критические оценки по отношению к Нибуру. “Ум человеческий, столько наклонный к синтезу, – писал Уваров, – одарен природным инстинктом стремиться к положительному в области приобретенных знаний и подчиняться охотно только установившемуся авторитету, будь он, впрочем, и условный. К чему повели огромные труды Нибура, который вне всякой возможности возражения разрушил все основы истории Рима? Они заняли собой трудолюбивые досуги небольшого числа критиков и заслужили их одобрение – вот и все. Что было результатом критических изысканий Ф.А. Вольфа о Гомере, –

изысканий, удивительных во всех отношениях, – изысканий, где остроумнейший из гомеровых издателей победоносно подвергает ученому анализу сомнительную личность поэта, сначала вполне очистив его текст? Ни один филолог не дерзнет на борьбу с Вольфом; но после столь многих ученых трудов, оставшихся без ответа, вопрос ни шагу не двинулся вперед: ни Ромул, ни Гомер не исключены из списка живших; они существуют в воображении большинства по-прежнему, как будто два великие критика ровно ничего не писали”⁴⁰. “На Нибура, – возражал Кудрявцев, – хотели мы указать как на самый блистательный образец того, как, при необходимом условии ума и таланта, может быть сильна историческая критика, даже приложенная к весьма отдаленной древности, и как благотворны могут быть в науке результаты критического анализа. Частью сюда бы могла идти и критика Вольфа, приложенная к древнему греческому эпосу. Нам указывают, напротив, на Нибура и Вольфа как на пример совершенной бесплодности критического анализа в приложении к древности. Трудно согласиться при такой противоположности мнений! (...) Мы привыкли дорожить не одним только именем Нибура – мы дорожим еще более теми великими заслугами науке, которые обозначаются этим именем, и уступим их не даром, но разве только ценою противоположного убеждения, от которого, признаемся, в настоящее время мы весьма далеки”⁴¹. Вольф и Нибур – закономерные явления общего научного движения. Их деятельность означала триумф классической филологии. В лице Нибура филология встретила лицом к лицу с историей, и “куда бы ни повели следующие разыскания в той же самой области, нельзя более обойти Нибура при занятиях римской историей”.

Сам Нибур в письме одному из друзей писал: “Если б ты мог взглянуть на мою работу, ты увидел бы в ней пробу того историко-критического таланта, в котором, конечно, состоит мое главное преимущество – таланта распознавать по частям то целое, к которому они принадлежат, и по целому угадывать части, которые оно должно было содержать в себе; в этом я могу поспорить с кем угодно и отсюда же произвожу мою способность по некоторым мелким обстоятельствам угадывать целую потерянную историю народа или отдельного лица, в полном очерке и даже с обозначением пределов времени”⁴². Нибур владел глубоким анализом и расчищал историческую почву от недостоверных выводов и готовил ее для новых, более доказательных предположений.

Положительное знание, основанное на полноценной исторической критике, на строгом анализе, на понимании предмета – вот идеал знания, к которому стремился Нибур в своих научных занятиях. Его делом было отделение исторического зерна от мифического “нараста”, освободить историческую почву от разного “постороннего хлама”, который накопился на ней с течением времени от недостатка критики, и таким образом открыть путь к положительному

знанию, в котором историк видел венец всей своей деятельности. Анализ предшествует историческому синтезу. А.-В. Шлегель, разбирая два первых тома “Римской истории”, писал (1816): “Мысль, что все, что мы читаем и должны еще заучивать из Ливия, Дионисия и Плутарха об известном периоде римской истории, неверно, по крайней мере совершилось не так, как они рассказывают, сама по себе была бы еще довольно бесплодна. Спрашивается, можно ли заменить отвергнутое чем-нибудь лучшим? Есть ли возможность наполнить остающийся пробел удовлетворительным образом? В этом-то и состоит главное достоинство сочинения Нибура. На то обращено все его внимание, чтоб посредством исследования определить настоящий характер учреждений и всего государственного устройства в Риме в эпоху республики, на что так часто потом переносили уже готовые понятия, которые были выработаны гораздо позже”⁴³. Не все вопросы удалось решить Нибуру – вопросы, большею частью им же самим поставленные, “пока еще не было ему никакого противодействия, иногда он и в самом деле мог слишком далеко увлечься духом сомнения; наконец, нет никакого спора и в том, что многие его же вопросы уяснены в наше время гораздо более и решаются в духе более умеренном, но несравненно удовлетворительнее”. Но “Римская история”, естественно, не была последним, заключительным словом науки, ведь наука не стоит на месте, она постоянно развивается. “По нашему искреннему убеждению, – указывает Кудрявцев, – появление таких критиков-филологов и критиков-историков, как Вольф и Нибур, доказывает прежде всего успех науки. В лице их наука узнала некоторые существенные свои недостатки и сделала решительный шаг, чтоб освободиться от них и заменить прежние ценности весьма сомнительного достоинства более верным капиталом. Заметить свои слабые стороны и победить их в себе, или даже совершенно уничтожить, было в ней особенно одним и тем же актом”⁴⁴.

Следует указать, что сам Нибур нигде не оговаривал и не расшифровывал свои методологические принципы. Он последовательно приводит неточности, несуразности авторского домысла и дает контраргументы. Этот нибуровский комментарий и выказывает его методику и методологию: сравнительный, сопоставительный анализ, очень многомерный, многогранный, многофакторный (исторический, литературный, этнографический, лингвистический, этимологический). Критика Нибура – это не самоцель, а своеобразное предупреждение, сигнал об опасности заблуждения. Ошибка не должна путешествовать из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Он призывал повышать научную бдительность и формировать обоснованное доверие/недоверие к историческим источникам.

Немецкая историография, таким образом, продолжала развивать традиции Просвещения второй половины XVIII в. с его глубоким интересом к культурным и историко-философским проблемам всемирной и античной истории, в ней видны черты романтической

историографии с ее идеями органического развития и народного духа. Дискуссия вокруг существа историко-критического метода Нибура и его конкретного приложения к частным исследованиям стала полезной для развития историографии, совершенствуя методику исторического исследования в целом.

Труды Нибура произвели, несомненно, большое впечатление, но лишь на небольшой кружок отечественных ученых. Впервые на новую критику Нибура указал польский историк Й. Лелевель, который, в связи с разбором “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина (Северный Архив. 1822–1824), показывал баснословность некоторых представлений историографа о древнем периоде русской истории и отстаивал необходимость более глубокой и последовательной критики источников. Редакторы “Вестника Европы” – М.Т. Каченовский и “Московского Телеграфа” – Н.А. Полевой полемизировали с “Историей” Н.М. Карамзина под влиянием Шлецера, Нибура, Гизо и Тьерри. Но это влияние, как мы пытались показать, было поверхностным и непоследовательным.

¹ Грановский Т.Н. Бартольд Георг Нибур // Соч. М., 1856. Т. 2. С. 9. Биографический очерк был составлен Грановским по переписке Нибура, изданной в 1838–1839 гг., и впервые напечатан в “Современнике” в 1850 г. Как на наиболее важную публикацию о творчестве Нибура Грановский указывает на переводную рецензию из английского журнала “The Foreign Quarterly Review” о втором издании первого тома Римской истории Нибура в “Московском Телеграфе”. Римская история, исследованная Нибуром // Московский Телеграф. 1829. Ч. 26, № 8. Апрель. С. 437–478; Ч. 27, № 9. Май. С. 82–118. Однако, по мнению Грановского, даже эта статья была “направлена против частных” и не давала “никакого понятия о целом”.

² Грановский Т.Н. Указ. соч. С. 13, 27.

³ Niebuhr B.G. Historische und philologische Vorträge an der Universität zu Bonn gehalten von Niebuhr B.G.: Römische Geschichte bis zum Untergang des abendländischen Reichs / Herausgegeben von M. Isler, Dr. Berlin. Druck und Verlag von G. Reimer. 1846. S. VI–VII.

⁴ Римская история, исследованная Нибуром // Московский Телеграф. 1829. Ч. 26. № 8. С. 447.

⁵ Niebuhr B.G. Historische und philologische Vorträge... S. 78–79.

⁶ О Римской Истории Нибура. Отделение первое. Histoire romaine de B.G. Niebuhr, traduite de l'allemand par M. de Golbery; première livraison; 2 vol, in 8 // Вестник Европы. 1830. № 17–18. С. 75, 77, 91.

⁷ См. подробнее: Историография античной истории. М., 1980. С. 56–61.

⁸ Там же. С. 45.

⁹ Niebuhr B.G. Römische Geschichte. 4 unveränd. Auflage. Berlin, 1833. Bd. 1. S. IX (Vorrede).

¹⁰ Niebuhr B.G. Historische und philologische Vorträge... S. 2, 4.

¹¹ Ibid. S. 11–12.

¹² Ibid. S. 32.

¹³ Ibid. S. 81–82.

¹⁴ Ibid. S. 83–85, 90.

¹⁵ Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. 1837. Т. XX, № 2. Отд. III. С. 111.

- ¹⁶ Полевой Н.А. История русского народа. М., 1997. Т. 1. С. 16. (1-е изд.: М., 1829).
- ¹⁷ Римская история, исследованная Нибуrom // Московский Телеграф. 1829. Ч. 26, № 8. С. 437–478; Ч. 27, № 9. С. 82–118.
- ¹⁸ [Полевой Н.А. Рецензия на “Рассуждение о всеобщей истории” Боссюэта. Париж, 1825] // Московский Телеграф. 1830. № 1. Январь. С. 49–50.
- ¹⁹ Снегирев И.М. Дневник Ивана Михайловича Снегирева. М., 1904. Т. I: 1822–1852. С. 131. В известной сатире первой половины XIX в. “О царе Горохе” подмечена та же черта. Прямая речь Н.А. Полевого передается следующим образом: “Теория новейших мыслителей есть здание великого объема. Шеллинг, Кузен, Лерминье, Гегель, Бюше, Вико, Нибур, Мишле... Вот мои наставники, друзья, однокорытники и товарищи!.. Но я не признаю их ига, я не безусловно принимал их учение. (...) В некотором смысле они отстали от нашего века. Новое поколение!...”. См.: [Закревский А.Д.] Подарок ученым на 1834 год. О царе Горохе; когда царствовал государь царь Горох, где он царствовал, и как царь Горох перешел, в преданиях народов, до отдаленного потомства // Русская Старина. 1878. № 6. С. 359–360.
- ²⁰ [Зиновьев] А.З. Взгляд на русскую историю // Телескоп. 1833. Ч. 17, № 20. С. 495.
- ²¹ Иконников В.С. Скептическая школа в русской историографии и ее противники. Киев, 1887. С. 66.
- ²² Полевой Н.А. История русского народа. Т. 1. С. 42.
- ²³ Там же. С. 46.
- ²⁴ Там же. С. 114, 118.
- ²⁵ Там же. С. 127, 131.
- ²⁶ Цит. по: Иконников В.С. Скептическая школа в русской историографии... С. 91.
- ²⁷ Н[адеждин] Н. История Русского Народа: Сочинение Николая Полевого. Том первый // Вестник Европы. 1830. № 1. Январь. С. 45, 67, 68.
- ²⁸ [Надеждин Н.И.] Письмо П.С. Правдина к Н.А. Надоумку. (О втором томе Истории Русского Народа) // Вестник Европы. 1830. № 15–16. Август. С. 300–301. Издатель, т.е. М.Т. Каченовский, счел нужным сделать в этом месте примечание: “Для других гипотеза; для меня же она превратилась в историческую достоверность. Печатание моего рассуждения о Русской Правде замедлилось от обстоятельств. Хорошо трудиться над разысканиями тем ученым, у которых все нужные книги под руками! Надеюсь однако же в нынешнем году и свои *Опыты* представить на суд просвещенных любителей истины”. (Там же).
- ²⁹ РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед.хр. 1102^a. Л. 5об., 6, 7.
- ³⁰ Иконников В.С. Скептическая школа в русской историографии... С. 27, 30, 33–34.
- ³¹ Строев С.М. Критический взгляд на статью под заглавием: Скандинавские саги, помещенную в первом томе Библиотеки для чтения. М., 1834. С. 21.
- ³² Строев С.М. История древних итальянских народов, Иосифа Микали: Рецензия Ламенне из *Revue des deux mondes*. Сообщено от профессора Погодина // Учен. зап. Московского университета. 1834. № 10. С. 186.
- ³³ Стрекалов Н. Очерк русской словесности XVIII столетия. М., 1837. С. 22.
- ³⁴ НИОР РГБ. Ф. 231. Разд. II. Карт. 4. Ед.хр. 44. Л. 29об.
- ³⁵ Римская история, исследованная Нибуrom // Московский Телеграф. 1829. Ч. 26, № 8. С. 438–439.
- ³⁶ Там же. Ч. 27, № 9. С. 118.
- ³⁷ П.Б. Сочинения Т.Н. Грановского. Том второй. Москва. В тип. В.Готье. 1856 г. // Отечественные записки. 1857. № 2. С. 62.

- ³⁸ Грановский Т.Н. Бартольд Георг Нибур. С. 3, 4.
- ³⁹ Грановский Т.Н. Чтения Нибура о древней истории. B.G. Niebuhr Vorträge über alte Geschichte an der Universität zu Bonn gehalten. 3 Bde. Berlin, 1847–1851 // Соч. М., 1856. Т. 2. С. 62–63, 97.
- ⁴⁰ [Уваров С.С.] Подвигается ли вперед историческая достоверность? Записка, предложенная Императорской Академии наук президентом ее, графом С.С. Уваровым, и читанная 25 октября 1850 года // Современник. 1851. Т. XXV, № 1. С. 122. Эта же “записка” опубликована вторично в другом переводе с фр.: Достовернее ли становится история? // Москвитянин. 1851. № 1. С. 98–99.
- ⁴¹ Кудрявцев П.Н. О достоверности истории. Достовернее ли становится история? Записка, представленная в Академию Наук президентом ее гр. С.С. Уваровым // Лекции. Сочинения: Избранное. М., 1991. С. 156–157.
- ⁴² Lebensnachrichten über B.G. Niebuhr aus Briefen desselben und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde: In 3 Bd. Hamburg, 1838. Bd. 2. S. 164.
- ⁴³ Schlegel A.-W. (Recension). Römische Geschichte von B.G. Niebuhr. Berlin, in der Realschulbuchhandlung. Erster Theil. 1811. 455 S. Zweiter Theil. 1812. 565 S. 8. Mit zwei Charten // Heidelbergische Jahrbücher der Literatur. Heidelberg, 1816. Zweite Hälfte. № 53. S. 835. Фрагменты русского перевода см.: Римская история, исследованная Нибуром // Московский телеграф. 1829. Ч. 26, № 8. С. 437–478; Ч. 27, № 9. С. 82–118.
- ⁴⁴ Кудрявцев П.Н. О достоверности истории. С. 166.

Дмитриева И.А.

С.К. БОГОЯВЛЕНСКИЙ – УЧЕНЫЙ МОСКВОВЕД

Труды члена-корреспондента АН СССР С.К. Богоявленского по истории Москвы хорошо известны. Написанные на основе архивного материала, они не потеряли своего значения и нередко используются специалистами в качестве источника, как, например, в “Истории Москвы с древнейших времен до наших дней”, изданной к 850-летию города¹.

Однако С.К. Богоявленский как ученый-москвовед изучен недостаточно. Долгие годы общественная и историографическая ситуация не благоприятствовала даже самой постановке такой проблемы. Науки типа “ведения” утверждались лишь по мере развития кризиса системы профессионально-логического гуманитарного знания, в тесной связи с появлением новых методик преподавания. Термин “москвоведение” сравнительно недавно вошел в язык науки.

Генетически “москвоведение” родственно такому понятию как “краеведение”. Нередко термины “москвоведение” и “краеведение Москвы” не только в просторечии, но и в науке употребляются как идентичные. Хотя необходимо сразу оговориться, что “москвоведение” на всем протяжении своей истории было тесно связано с “большой” академической наукой. И успехи “москвоведения” были обу-

словлены высокопрофессиональным составом участников краеведческого движения в Москве.

Разгром общественных краеведческих организаций в начале 1930-х годов привел к тому, что не только общественное краеведческое движение, но и научное краеведение, в том числе московведение, потерпело “поражение в правах”. В отношении профессиональных историков, которые работали в государственных научно-исследовательских учреждениях под идеологическим руководством партии, термин “московвед” перестал употребляться. Московведческий компонент в их творческом наследии специально не выделялся. К тому же С.К. Богоявленский занимался историей Москвы XV–XVII вв. – периодом, когда Россию называли Московией, а русских москвитями. В этот период история Москвы неотделима от истории и культуры русского государства. Работы, посвященные осмыслению вклада С.К. Богоявленского в изучение истории Москвы в отечественной историографии немногочисленны. В записке-представлении на избрание С.К. Богоявленского членом-корреспондентом АН СССР в 1929 г. указывалось на его приоритет в разработке проблем административной системы управления Московского государства в XVII в.² Вариативно эта же мысль была выделена в статьях-некрологах³ и впоследствии повторена во всех справочных советских изданиях⁴.

Наиболее полновесное исследование творческого наследия С.К. Богоявленского принадлежит Л.В. Черепнину. В очерке “С.К. Богоявленский как историк (1872–1947)”⁵ он раскрыл значение С.К. Богоявленского как публикатора ценных комплексов архивных документов по истории Московского государства XVI–XVII вв. и блестяще проанализировал многогранность его источниковедческих подходов. Причем, в подтексте Л.В. Черепнин провел идею о реализации в творчестве С.К. Богоявленского советского периода методологии дореволюционной московской исторической школой. Скорее всего, впоследствии эта идея должна была получить развитие в запланированной им монографии “Школа В.О. Ключевского в русской историографии”⁶.

Кроме того, на основе своих личных воспоминаний и отзывов людей, хорошо знавших С.К. Богоявленского, Л.В. Черепнин сумел воссоздать образ человека, который был не только выдающимся ученым, но и настоящим русским интеллигентом, сумевшим с честью и достоинством пройти свой нелегкий жизненный путь.

Оценить в должной мере московведческий фактор в творчестве С.К. Богоявленского оказалось затруднительно и вследствие того, что часть его работ по социально-политической и топографической истории Москвы оставалась долгое время не опубликованной. Лишь в 1974 г. исследователям стал доступен фонд С.К. Богоявленского (фонд № 553) в Архиве РАН, образованный из материалов, сохраненных и переданных туда в 1957 и 1971 гг. его младшим сыном –

Михаилом Сергеевичем Богоявленским⁷. В 1980 г. впервые было опубликовано монографическое исследование о Мещанской слободе XVII в., статьи и доклады разных лет⁸.

Впервые суммировал все работы С.К. Богоявленского, написанные на основе московских материалов, М.К. Функ в очерке “Знарок московской старины”⁹. Ему удалось показать, что комплекс работ по истории московских слобод, включая фундаментальное исследование Мещанской слободы, позволяют говорить о приоритете С.К. Богоявленского не только в постановке, но и разработке проблем столичной административной структуры и управления. Однако итоговый вывод: “настоящий москвич, большой знаток московской старины С.К. Богоявленский был беззаветно предан своему родному городу и посвятил служению ему всю свою жизнь”¹⁰ остался необоснованным. Москововедческий компонент в творчестве С.К. Богоявленского был сведен к аннотированию его работ по истории Москвы.

Между тем, думается, что при выявлении москововедческого компонента методологически необходимо анализировать фактор среды в становлении и развитии творческого сознания ученого – особенностей “московского менталитета”, поскольку, перефразируя В.О. Ключевского, жизнь и творчество ученого – это не только написанные им книги.

На сегодняшний день в научный оборот введен новый материал, позволяющий реконструировать жизненный путь ученого. Л.И. Шохин – знаток истории российских архивов, осветил его работу в РГАДА (Российский государственный архив древних актов)¹¹. М.О. Акишин ввел в научный оборот данные, уточняющие некоторые подробности работы С.К. Богоявленского в Новосибирске¹². И.А. Дмитриева, используя архив С.К. Богоявленского, осветила революционный период жизни ученого¹³.

Наиболее перспективным представляется осмысление жизни и творчества С.К. Богоявленского как ученого – москововеда в контексте истории становления москововедения.

* * *

Как свидетельствует сохранившаяся в семейном архиве метрика о крещении, С.К. Богоявленский родился 17 февраля (3 марта) 1872 г. в Москве и был крещен 22 марта в церкви Успения Богородицы в Печатниках.

В роду Богоявленских самой замечательной личностью был дядя отца – Владыка Московский Филарет – человек исключительный и властный, пользовавшийся большим уважением в церковной и в светской среде, канонизированный русской православной церковью. А.С. Пушкин посвятил ему стихи с выражением искреннего чувства благоговения и изумления перед силой праведника¹⁴.

Отец – Константин Иванович (1839–1913) – человек добрый и непритязательный, глубоко благочестивый служил протоиреем Покровского собора (храм Василия Блаженного). Мать – Варвара Сергеевна (1849–1922) – была старшей дочерью Сергея Константиновича Смирнова, профессора и ректора Московской Духовной академии. Он был известен и популярен среди московской исторической элиты. Автор книг по истории академий – Славяно-Греко-Латинской и Троице-Сергиевской, человек просвещенный, друг В.О. Ключевского. В дружной патриархальной семье детям жилось мирно и спокойно. В единственном сохранившемся в архиве письме, гимназист-первоклассник Сережа пишет бабушке в Сергиев Посад: “Я читаю постоянно книги...”¹⁵

Интересные подробности быта московского духовенства последней четверти XIX в. имеются в воспоминаниях Н.П. Розанова (1857–1941) – московского краеведа, происходившего из духовной среды и знавшего вопрос “изнутри”. Московское духовенство большей частью жило в небольших деревянных домах. “При каждом почти доме имелся садик... с различными фруктовыми деревьями (груши, сливы, вишни, яблони) и ягодными кустарниками, а также грядками для клубники и огурцов. В саду часто строились беседки ..., где в летнее время можно было отдохнуть и попить чайку”¹⁶. Внутренняя обстановка “была обыкновенно хорошая, можно сказать, барская”. В зале “чинно устанавливались по стенам стулья – в прежние времена – красного дерева с плетеными сиденьями, а потом – венские”, ломберные столы, большое простеночное зеркало и фортепиано, а иногда и рояль...¹⁷ За женами было “первенство в управлении домом”, и в воспитании детей голос матушки имел решающее значение¹⁸.

Интерес к истории возник у Сергея Богоявленского очень рано. Он с детства знал, что будет историком – как дедушка, его полный тезка – Сергей Константинович. Семья состояла в ближнем и дальнем родстве чуть ли не со всеми московскими историками. Одна из сестер Варвары Сергеевны была замужем за Н.Ф. Каптеровым, другая – за П.Н. Милюковым, третья – за А.П. Голубцовым. Возможно, сказала и “магия Ключевского”, которого он слушал “по-домашнему” в доме деда¹⁹. Не случайно впоследствии в своих воспоминаниях он назовет великого историка и педагога “артистом слова”.

“Московские предания” окружали Сергея Богоявленского с детства. Дом, в котором жила семья Богоявленских, стоял на Пятницкой улице и принадлежал Покровскому собору²⁰. Старомосковская жизнь здесь, в Замоскворечьи, сохранялась еще во всей своей архаичной простоте. Учился он в 3-й Мужской гимназии на Б. Лубянке. По преданию, на этом месте в XVII в. стоял двор освободителя Москвы от поляков князя Д.М. Пожарского. Материальных свидетельств о жизни здесь спасителя Москвы к тому времени не сохранилось. Однако, как это часто бывает, предание и воображение не

смущались отсутствием самого архитектурно-мемориального памятника. Рассказывали также, что против церкви Введения на Лубянке был небольшой острог, в котором доблестно сражались москвичи против поляков. А в самой церкви находится икона Спасителя на убрусе с изображениями святителей Петра и Алексея, считая одной из дочерей князя Дмитрия Михайловича²¹.

Вопросы, касавшиеся истории Москвы, находились в центре внимания членов семьи Богоявленских. Отец выписывал журнал "Чтения в Обществе любителей духовного просвещения" (ЧОЛДП), распространявшийся по добровольно-принудительной подписке среди московских батюшек, в котором помещались статьи и исследования по истории православных храмов и монастырей Москвы²².

В последнюю четверть XIX в. в домах московской и петербургской интеллигенции шел спор о сути и преимуществах двух столиц – Москвы и Петербурга. Как подметил П.В. Анненков в своих воспоминаниях, "спор этот был тогда повсеместный, общий и происходил, так или иначе, в каждом доме, где только собирались люди, не чуждые литературе и вопросам культуры"²³.

Постепенно антитеза Москва–Петербург претерпела существенную трансформацию. Сопоставления перешли в этическую сферу, появился подтекст нравственных оценок – "что такое хорошо, что такое плохо". Выборы в 1882 г. в Москве нового градоначальника, дали повод поговорить о фундаментальных свойствах Москвы.

В первом номере газеты "Русь" впервые была опубликована записка К.С. Аксакова, написанная им еще в 1856 г., и звучавшая теперь как манифест москвичей. К.С. Аксаков писал, что идеальной столицей является та, которая, "будучи серединою страны в отношении нравственных и материальных сил и деятельности, есть в то же время середина страны и в географическом отношении". Столица государства только тогда достигает своего полного назначения, когда она является одновременно центром народным и правительственным... Народным центром город может стать только в силу "естественного хода истории" и "подвигов народной жизни", народный центр "произвольно сочинен и выдуман быть не может". Москва стала столицей в тот момент истории России, когда было достигнуто как государственное, так и народное единство, а потому она является "истинной" столицей. Именно в Москве встретились "земля" (народ) и "государство". "Земля" признала за государством "неограниченную" политическую власть, а государство признало за "землей" "полную свободу духа и жизни"²⁴.

Избранный городским головой Б.Н. Чичерин, философ, историк и правовед, в своей речи подчеркнул, что Москва – "более чем город", это "все, что думает и чувствует в России и за Россию. Москве принадлежит всякий, в ком бьется русское сердце..."²⁵. Как видим, чувства естественные: "любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу" развились к этому времени до уровня мировоз-

зрения. Вряд ли юный Сергей Богоявленский вникал в те историософские идеи, которые родились в ходе сравнения двух столиц. Но подъем московского патриотизма, не мог не оказать влияния на его сознание.

В 1891–1896 гг. С.К. Богоявленский учился в Московском университете на историко-филологическом факультете, выбрав специализацией русскую историю.

Академическое историческое образование основывалось на изучении первоисточников. Для С.К. Богоявленского анализ всех внешних и внутренних особенностей источника представлял огромный интерес. Его конспект для семинаров 1894–1895 гг. свидетельствует, что он проштудировал все основные источники, известные в то время по русской истории VIII–XVII вв.²⁶ Он прослушал все специальные лекции по источниковедению, историографии и терминологии русской истории. В семинаре профессора П.Г. Виноградова, специалиста по истории средневековой Европы, С.К. Богоявленский настойчиво овладевал археографической методикой. И впоследствии с благодарностью вспоминал: “На семинарских занятиях, которые надо назвать образцовыми, он учил, как надо работать над источниками, критически анализировать их, сопоставлять одни с другими, извлекать обоснованные выводы и формулировать их”²⁷.

В университете, как писал Л.В. Черепнин, “...С.К. Богоявленский воспринял концепцию русского исторического процесса в той трактовке, которая была принята тогда в буржуазной историографии”²⁸.

К новейшим теориям – к марксизму и к позитивизму, распространявшимся на ниве исторической науки в 1890-е годы, С.К. Богоявленский остался равнодушен. Причем, не только потому, что в той среде, в которой он вырос и вращался, эти теории не пользовались популярностью. В нем рано развился скепсис в отношении к общим схемам исторического процесса. Для него была характерна профессиональная осторожность в выводах и обобщениях. “Заниматься философией истории” имело для него скорее презрительный и укоризненный оттенок и являлось синонимом фантастической и искусственной, даже, пожалуй, тенденциозной истории.

С.К. Богоявленский прослушал лекционный курс В.О. Ключевского “Методология русской истории”. Ему, несомненно, импонировало, как достойно и сдержанно отвечал В.О. Ключевский новоявленным историософам: “Что такое историческая закономерность? – Законы возможны только в науках физических, естественных. Основа их – причинность, категория необходимости. Явления человеческого общежития регулируются законом достаточного основания, допускающим ход дела и так и эдак, и по третьему, т.е. случайно...”, “...история – процесс не логический, а народнопсихологический... в нем основной предмет научного изучения – проявление сил и свойств человеческого духа, развиваемых общежитием...”²⁹.

В работах С.К. Богоявленского реконструкция “народнопсихологического духа” и “народного общежития” будет присутствовать всегда как сверхзадача, как основа для понимания существа исследуемой проблемы, что дает право называть его учеником Ключевского не по формальному признаку, а по существу.

Как исследователь “школы Ключевского” С.К. Богоявленский усвоит непротиворечивое понимание местной и общероссийской истории. Обращение к местному материалу для изучения общего и наоборот не будет составлять для него методологической проблемы. Изучение русской истории XIII–XVII вв. естественно основывается на московских источниках и материалах. При этом, будь то проблемы административного управления, социального развития или культурно-бытовые – все они рассматривались в масштабе государственного-исторического.

Получив диплом первой степени³⁰, С.К. Богоявленский с октября 1897 г. начал работать учителем истории и географии в лучшем из частных московских реальных училищ – училище К.Ф. Воскресенского. Располагалось оно на Мясницкой, в “доме Липгарта” – старом барском особняке, помнившем войну 1812 г. и уцелевшем, по преданию, благодаря тому, что в нем остановился один из наполеоновских маршалов. Работа в школе вплоть до 1917 г. явилась немаловажным фактором для формирования его интереса к истории Москвы. По воспоминаниям учеников, в преподавании истории он активно использовал “историю вокруг нас” и далеко выходил за рамки учебной программы³¹. И хотя славы Ключевского ему снискать не удалось, но уважением и авторитетом он пользовался высоким.

Почти в то же время, с 1898 г., С.К. Богоявленский начал работать в Московском главном архиве Министерства иностранных дел (МГАМИД), сначала сотрудником сверх штата, а с 1902 г. – в штате, получив место делопроизводителя VIII класса. Служба здесь была престижной. Молодые люди из аристократических семейств – “архивны юноши” – здесь начинали свое восхождение к дипломатической или другой государственной карьере.

Для С.К. Богоявленского архив был интересен с иной точки зрения. Здесь он нашел свое призвание и сформировался как историк-архивист. Свое отношение к работе в архиве он впоследствии высказывает в некрологе, посвященном С.А. Белокурову – управляющему МГАМИД. При нем Архив “сделался приютом для тех, кто интересовался наукой и видел в чтении и изучении архивных документов не скучную, безжизненную работу, а смысл и содержание своей жизни”³². В МГАМИД С.К. Богоявленский проработает более 30 лет, дослужившись до должности управляющего архивом.

Среди архивистов в начале XX в. было много исследователей, которые не просто были тесно связаны с наукой, но по своему уровню не уступали маститым ученым и ставили во главу своей деятельности научные интересы. Н.Н. Ардашев, А.Х. Востоков,

Н.П. Лихачев, С.А. Белокуров, С.Б. Веселовский, В.В. Шереметевский – полиглоты, умевшие “мыслить шифрами”, обладали обширными знаниями в области палеографии, сфрагистики, дипломатики, нумизматики, глубоким пониманием исторических явлений, что позволяло им осуществлять комплексное исследование источника. Их кредо наиболее точно сформулировал С.Б. Веселовский, который писал: “Мне всегда казалось, что тщательно собранные и подобранные документы составляют для науки более прочное приобретение, чем само исследование, написанное по ним. Можно, пожалуй, назвать это роскошью, но в таком случае и вся наша наука есть роскошь”³³.

С.К. Богоявленский был также убежден, что история как наука развивается в зависимости от количества и содержания источников и что открытие новых источников – наиболее перспективное направление в науке.

Воспитание, образование и работа естественным образом определили внимание С.К. Богоявленского к москвоведению, которое с конца XIX в. интенсивно развивалось и как научное направление, и как общественное движение.

Научно-методическим и научно-организационным центром москвоведов являлись научные общества – Церковно-археологический отдел Общества любителей духовного просвещения (ЦАО ОЛДПР) и Императорское Московское археологическое общество (ИМАО).

Увлечение археологией – новой тогда наукой, искавшей достоверные источники для исторической реконструкции жизни и быта населения, привело С.К. Богоявленского к сотрудничеству с ИМАО.

Археология как объективированная форма исторической памяти переживала в конце XIX – начале XX в. настоящий триумф. В раскопках участвовали и любители – коллекционеры древностей, и профессионалы.

Изучение Московского края методами археологии было начато еще З.Я. Ходаковским и К.Ф. Калайдовичем во второй четверти XIX в. Процесс накопления материала шел чрезвычайно интенсивно, но, тем не менее, занял почти столетие. С.К. Богоявленский работал как полевой археолог с 1896 г. 10 лет и сумел внести значительный вклад в изучение курганов – захоронений, имеющих специфическую форму за счет земляной насыпи.

С.К. Богоявленским на территории Московской губернии лично были раскопаны курганные группы у озера Бисеровского и на реке Вьюнка в Богородском уезде. У с. Бисерово из 8 найденных курганов были раскопаны 5; близ с. Вишняково по дороге в Полтево из 36 найденных курганов – 2; около с. Блошино из 30 курганов – 4; около с. Милет из 45 курганов вскрыты 3, на р. Чернавке у д. Дятловка обнаружены 50 курганов, раскопаны 2; в с. Савино были найдены 2 курганные группы в 40 курганов. В первой группе были

вскрыты 3, во второй – 2 кургана. Каждый из курганов был им тщательно описан.

Летом 1900 г. Богоявленский совместно со своим другом и однокашником Ю.В. Готье раскопал Елизаровский могильник в Волоколамском уезде (из 140 обнаруженных курганов за полевой сезон вскрыты были 28). Отчет о проведенных раскопках был заслушан на заседании ИМАО и опубликован сначала в Древностях³⁴, а в 1901 г. – специальным изданием, ввиду важности тех выводов, которые в нем содержались. Скромное название “Отчет” не вполне верно отражает содержание работы. На деле – это полноценное исследование с применением комплексного подхода к анализу находок.

Ламский Волок, где были проведены раскопки – пограничье между землями Господина Великого Новгорода и Владимирских князей. Один из известных в древней Руси естественных торговых путей. Важное звено водного пути из верхней Волги в Оку. В археологической литературе о существовании Елизаровского могильника впервые упомянул М.А. Саблин в 1879 г., который указал на 3 кургана³⁵.

Богоявленский и Готье установили, что в окрестностях деревень Княжие Горы и Жилые Горы находятся обширные курганные кладбища. Из существования нескольких могильников на сравнительно небольшом пространстве, они заключили, что Волок уже в отдаленную эпоху имел сравнительно густое население³⁶.

Им необыкновенно повезло, так как Елизаровский могильник – редкий случай, когда довольно точно можно было датировать время существования племени, производившего курганные захоронения. В одном из курганов была найдена монета города Эмдена в Саксонии с изображением графа Германа, брата Саксонского герцога Ордульфа, умершего в 1086 г. Находка монеты позволила установить, что в конце XI столетия могильник еще служил кладбищем. Следовательно, племя, создавшее курганное кладбище, продолжало жить здесь и в то время, когда существовало Великое Киевское княжество.

В исторических письменных источниках нет упоминаний о Ламском Волоке и этнографической принадлежности его населения в XI в. Однако летописи сообщают о ближайших соседях – финских племенах мере и веси, кривичах и словенах.

Вопрос об этнической принадлежности племени решался С.К. Богоявленским на основе анализа предметов, найденных при раскопках. В раскопанных курганах не было обнаружено ни одной семилопастной височной привески, зато были найдены тонкие височные кольца с перевитыми концами, расположенные по 2–4 с каждой стороны головы, сравнительно малое количество оружия.

Сравнения с находками, сделанными при раскопках Мерянских курганов гр. А. Уваровым, наблюдения В.И. Сизова и П.Н. Милюкова, описания предметов, добытых при раскопках в северной части

Новгородской области Н.Е. Бранденбург³⁷, позволили прийти к заключению, что Волок Ламский был заселен в XI в. славянами новгородского происхождения. Отсутствие в курганах предметов христианского культа несомненно указывало на язычество племен. Археологические исследования С.К. Богоявленского позволили уточнить ход славянской колонизации Московского края – одной из сложнейших проблем древнейшего этапа русской истории.

В начале XX в. на территории Московского края уже было раскопано более тысячи курганов, но этот огромный материал не был классифицирован. Для использования археологических данных как исторического источника необходимо было проделать трудоемкую работу по их разбору, сопоставлению, описанию коллекций, приведению их в систему.

С.К. Богоявленский одним из первых предпринял попытку составления археологической карты Московского края по данным, накопленным к тому времени в науке. Им были нанесены на карту раскопки и указания Ю.Г. Гендуни, Н.А. Смирнова, С.А. Гатцука, Н.И. Ильина, А.П. Федченко, А.П. Богданова, Н.Ю. Зографа, В.А. Городцова, М. Сергеева, А.Д. Черткова, А.А. Смирнова, И.К. Линдемана, Керцелли, Ю.В. Готье, А.М. Анастасьева, А.Я. Кожевникова, В.И. Сизова, А.И. Черепнина, В.Д. Соколова, Н.Н. Дурново.

По их результатам в 1906 г. на заседании Императорского Московского археологического общества С.К. Богоявленский сделал сообщение о составленной им археологической карте Московской губернии³⁸. Материалы к этой карте увидели свет только в 1947 г.³⁹ К этому времени сведения об археологических памятниках Московского края значительно пополнились. Но материалы С.К. Богоявленского не потеряли значения и интереса и с точки зрения историографической, и у практикующих археологов. Его данные привязаны к географической основе, что делает их своеобразным компасом, так как в советское время неоднократно производилось новое районирование, и шел процесс порчи и исчезновения древнейших памятников.

Не меньшее значение для развития исторических знаний о Московской Руси имели “раскопки” С.К. Богоявленского в архивах. Хорошо изучив организацию делопроизводства в Московском государстве, С.К. Богоявленский умел использовать общеисторические сведения в поиске местонахождения источника, а как исследователь выявлял, систематизировал и использовал огромный массив архивных источников.

Обширные знания, помноженные на поразительную научную интуицию привели к тому, что он стал первооткрывателем ценных источников. Каждая из его находок, по-своему уникальна. Публиковал он их в большинстве своем на страницах “Чтений Общества истории и древностей российских при Московском университете” в последнем разделе, который назывался “Смесь”.

Одной из самых значительных публикаций С.К. Богоявленского стал Судебник царя Федора Ивановича 1589 г. из собрания Ф.Ф. Мазурина. Текст памятника был воспроизведен в 1900 г. так, как был написан, без каких-либо обновлений в правописании и слого. Для наглядного представления о почерке рукописи были приложены четыре фототипические таблицы, на которых помещены 8 листов рукописи, причем, в величину оригинала. Предпосланный тексту подробный источниковедческий анализ находки и помещенный в предисловии доклад В.О. Ключевского, в котором высказывалось альтернативное мнение о происхождении памятника, – все это свидетельствовало о высокой культуре публикатора.

С.К. Богоявленский скрупулезно сравнил правовые нормы Судебников 1550 г. и 1589 г. и Уложения Алексея Михайловича. Прделанная им работа обнаружила, что так называемый “Судебник царя Федора” сравнительно со старым царским Судебником имеет “не мало новых статей, которые довольно резко и смело решают различные вопросы русского права. Но новый Судебник не делает большого шага к Уложению...”⁴⁰. Из этого, по мнению Богоявленского, следовало, что Судебник 1589 г. не был введен в судебную практику и “составители Уложения царя Алексея Михайловича, по видимому, не были знакомы с Судебником царя Федора. Те перемены, которые введены этим Судебником, не вошли в Уложение...”⁴¹.

В.О. Ключевский, не согласившись с выводом о том, что найденный текст свидетельствует о намерении правительства кодифицировать все наличное московское законодательство, накопившееся со времен издания Судебника 1550 г., очертил основную тенденцию в развитии административного законодательства в России на пороге Нового времени. “В проекте 1589 г. – писал В.О. Ключевский, – видим первый шаг московской кодификации на том пути, который привел ее к Уложению 1649 г.”⁴².

Изданный С.К. Богоявленским памятник подтвердил, что “обычное право различными путями, между прочим, посредством отдельных судебных решений, нередко с доклада государю, становившихся обязательными прецедентами, проникало в практику московских судов, постепенно накапливая запас юридических норм, образовавших судебный обычай”⁴³. Позже С.К. Богоявленский эту идею подкрепил документально, издав в 1915 г. совместно с И.С. Рябинным “Акты времени междоцарствия”, обнаруживающие единую тенденцию в развитии правовых норм с Судебником 1589 г. Повторное издание Судебника 1589 г. было осуществлено лишь в 1952 г.

В С.К. Богоявленском археолог, архивист и историк органически переплетались, и результаты работы в одной области являлись следствием занятий в другой. Как исследователь Богоявленский всегда следовал за своими находками. Путь искания новых источников и выбора тем в зависимости от количества и содержания сохранившихся источников являлся принципом его творчества. И поскольку

среди его находок преобладали материалы по истории Московского государства XVII в., то это определило хронологические рамки и направление его исследований. Однако в научном москововедении С.К. Богоявленский представлял не историко-краеведческое, а историко-государственное направление.

В 1894 г., будучи еще студентом, С.К. Богоявленский по результатам своих архивных изысканий написал статью “К вопросу о столах Разрядного приказа”, опубликованную в Журнале Министерства народного просвещения, которую впоследствии всегда указывал как свой первый научный труд⁴⁴. В статье было дано описание столов Разрядного приказа в XVII в. – государственной канцелярии по общим вопросам. Работа чрезвычайно ценная хотя бы потому, что материалы Разрядного приказа не были к тому времени описаны. Лишь значительно позже “Обозрение материалов по истории Разряда” начнет составлять И.М. Катаев и продолжит В.В. Шереметевский, который “...с религиозным самоотвержением, удовлетворяясь только сознанием, что делает невиданное, но великое и патриотическое дело” посвятит этому все свои зрелые годы⁴⁵.

В 1899 г. выходит работа Богоявленского “Некоторые статистические данные по истории русского города XVII столетия”. Городское население XVII в. было мало исследовано, особенно та часть посада, которая жила в тяглых дворах. Он первым указал на писцовые и переписные книги как наиболее удобный материал для реконструкции посада. По платежным книгам он вычислил общее число дворов, занимаемых посадским населением к 1630 г. – 18 369 дворов или в среднем 144 двора на город⁴⁶. Численность посадского населения он определил в 292 500 – 2,37% населения России⁴⁷.

Сравнение размеров городов, расположенных по речным бассейнам, дало следующую интересную картину: в бассейнах северных рек (Двины, Камы и др.) городов очень мало, но они очень крупны; в верхнем течении Волги города довольно мелкие, но несколько ниже располагаются самые крупные из провинциальных городов России; в междуречии Оки и Волги на западе от Москвы города мелкие, а на востоке, напротив, крупнее среднего; верхнее течение Оки сплошь покрыто мелкими и средними городами, по нижней Оке – крупнее среднего размера, а южные города не отличаются значительным числом посадских дворов⁴⁸.

В научный оборот впервые были введены данные, позволяющие проследить движение населения в русских городах и сопоставить их с аналогичными данными по городам Западной Европы. Однако общеградоведческий подход не имел продолжения в творчестве С.К. Богоявленского. Обобщением собранных им фактов занялись другие исследователи. Для С.К. Богоявленского тема русского города конкретизировалась в изучении Москвы XVII в.

За 1902–1908 гг. С.К. Богоявленский проделал большую и кропотливую работу по собиранию и изучению источников, которые

бы позволили реконструировать топографию Москвы. Об этом свидетельствуют черновые наброски 1902–1908 гг.: “Москва. Урочища, слободы, улицы, переулки”, составляющие 157 страниц и напоминающие дневник раскопок⁴⁹.

В 1909 г. С.К. Богоявленский становится одним из соучредителей Комиссии по изучению старой Москвы при Императорском Московском археологическом обществе, которую стали называть “Старая Москва”⁵⁰ и которая возглавила общественную работу по изучению и охране историко-культурного наследия столицы.

В отношении задач, стоящих перед “Старой Москвой” С.К. Богоявленский имел мнение, отличное от мнения руководителей ИМАО. Для П.С. Уваровой – Председателя ИМАО, главная задача комиссии “Старая Москва” заключалась в том, чтобы объединить “возможно большее число лиц, изучающих московскую старину, в одну общую дружную семью”, которая обязана собирать все сведения по Москве, следить за всеми уничтожаемыми и ново воздвигаемыми постройками, собирать и снимать фотографии, старые издания, предания по Москве, разыскивать сведения в Архивах, в библиотеках и пр.... В виду столь разнообразной деятельности, требуемой от членов Комиссии, Общество отступило от обычного способа образования Комиссий и открыло доступ в нее не только лицам, обладающим научной подготовкой, как то требуется для членов Археологического Общества, но также и любителям и вообще всем интересующимся родной стариной⁵¹. С.К. Богоявленский особого смысла в этом не видел и с недоверием относился к “любительству” в науке⁵².

А в 1910 г. С.К. Богоявленский принял участие в издании сборника статей “Москва в ее прошлом и настоящем”. Сборник имел единую концептуальную основу. Роскошное, богато иллюстрированное 12-томное издание было посвящено памяти И.Е. Забелина и выдержано в его духе. С.К. Богоявленский написал для него 4 статьи: “Управление Москвой в XVI–XVII вв.”, “Войско в Москве в XVI–XVII вв.”, “Московские смуты XVII в.”, “Театр в Москве при царе Алексее Михайловиче”⁵³.

В очерке “Московские смуты XVII в.” С.К. Богоявленский рассматривает Соляной бунт 1648 г., Медный бунт 1662 г. и стрелецкие бунты 80-х годов. Концепцией, на основе которой он объединяет эти разнородные социальные движения, являлся их антиправительственный характер. Вставая на позицию восставших, он прямо говорит, что главными виновниками волнений являлись неумелые, своекорыстные и недобросовестные администраторы, которых он обрисовывает как типичных представителей правящей элиты. Так, реконструируя события “соляного бунта” 1648 г., Богоявленский подчеркивает вину Б.И. Морозова – воспитателя царя Алексея Михайловича и правителя страны в годы его юности. За бунт 1662 г., по его мнению, прямо ответственен тесть царя – боярин Милославский.

“Стрелецкий бунт” 1682 г. также направлен против фаворитов, бесцеремонно эксплуатировавших свое влияние на царя и свои родственные с ним связи. Ученый не сводил причины волнений к простой “площадной случайности”. Более того, он усматривал определенную преемственность с Великой Смутой и писал, что “с избранием Михаила Федоровича смута не окончилась, а только приняла новое направление”⁵⁴. Проследившая нарастание недовольства системой государственного управления в разных слоях общества, он считал, что исподволь это недовольство подготавливало петровскую модернизацию. То, что взбунтовались стрельцы, означало, что “правительство лишилось последней опоры” – далее “обойтись без коренных реформ было невозможно”⁵⁵.

На страницах очерков Богоявленского народ предстает не безмолвной пассивной жертвой, а силою, которая осознает свои права и открыто их отстаивает. “Народ в течение смутного времени получил новое политическое воспитание: он выбирал и свергал государей, привык следить за деятельностью правительства и протестовать против неправды, знал, что обладает огромной силой и что правительство должно считаться с его настроением”⁵⁶.

С.К. Богоявленский первым затронул сложный вопрос о мировоззрении участников московских смут. Он подметил, что законность своих требований и действий восставшие обосновывали тем, что они действовали “всем миром”, т.е. сообща. Привлек он внимание и к тому, что “измена” в понимании людей XVII в. – злоупотребление властью в корыстных личных целях. “Слух” о том, что Морозов “готов уморить голодом бедных людей”, был воспринят как доказательство его измены, поднял посад против “изменников”.

Своей статьей о театре в Москве при царе Алексее Михайловиче С.К. Богоявленский открыл новую страницу в изучении истории русской культуры. Впервые был описан репертуар, процесс подготовки спектаклей, приготовление костюмов и декораций. Подробно освещены вопросы финансового обеспечения, постройка театральных зданий. Чуть позже в дополнение и в продолжение темы он издал сборник “Московский театр при царях Алексее и Петре”⁵⁷, в который вошли документы с 1672 по 1708 г., указана литература, касающаяся этого вопроса. Сам историк неоднократно обращался к материалам своей публикации⁵⁸. И, пожалуй, до сих пор эти работы являются наиболее полным освещением истории возникновения первого московского театра.

В очерках С.К. Богоявленский продемонстрировал свое мастерство психологического анализа, сумев дать живые портреты на фоне эпохи, и свой писательский дар, нарисовав яркие картины жизни допетровской Москвы. Для реконструкции системы управления Москвой в XVII в. С.К. Богоявленский буквально по крупицам собрал материал, разбросанный по разным актам. На его основе он дал исчерпывающее описание, какие слободы Москвы, в подчинении ка-

кого приказа находились, какие приказы какими функциями обладали, какими отраслями управления ведали. Он обоснованно полагал, что в XVII в. Кремль, Китай-город, Белый город, Земляной город, слободы и сотни (черные, дворцовые, стрелецкие и др.) не являлись административными единицами, “это скорее топографические обозначения”.

Ему удалось установить интересный факт, что начальником Разрядного приказа всегда был думный дьяк, что дает основание для важного вывода о характере военного управления в Московском государстве: “Таким образом, устройтелем войска было лицо гражданской службы, имевшее мало отношения к военной практике”⁵⁹. В отличие от других военных приказов, главный штаб всех вооруженных сил страны являлся в XVII в. гражданским учреждением.

С.К. Богоявленский умел видеть в конкретных, иногда даже ординарных событиях общеисторические тенденции. Так, подробно анализируя различные виды войск – дворянское ополчение, стрелецкие войска, полки “нового строя”, артиллерийские части, он доказывает, что техническая сторона дела (в недостатках которой до сих пор упрекают допетровскую армию) была как раз поставлена удовлетворительно. Правительство не жалело материальных средств, чтобы ввести с помощью иностранных инструкторов новый строй, снабдив войско хорошим оружием. Все дело было, как, наверное, сейчас бы сказали, в человеческом факторе.

Стержневую мысль о необходимости изменения во всей системе воспитания и образования в стране, С.К. Богоявленский подкрепил словами Г. Котошихина: “Российского государства люди порокою своею спесивы и необычайны ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго не имеют и не приемлют”⁶⁰.

Уже при подготовке очерков С.К. Богоявленский нащупал новую методику изучения истории, суть которой заключалась в реконструкции административных органов и жизни людей, с ними связанных, на основе делопроизводства.

Замечательно, что на первый взгляд это казалось невозможным, так как собственные архивы учреждений не сохранились, уцелели лишь фрагменты, рассеянные по казенным и частным архивам. С.К. Богоявленский действовал как следователь, сумев установить местонахождение многих отрывков, привлек делопроизводство других приказов. Для реконструкции Пушкарского приказа – делопроизводство Разрядного и Четвертных, которые имели сношения с Московским Артиллерийским Депо, опись дел приказа от 1633 по 1646 год, найденную им в МГАМИД. Для реконструкции Расправной Палаты – более 30 иных делопроизводств.

Время и характер деятельности Расправной Палаты установил В.О. Ключевский в своем классическом труде “Боярская Дума древней Руси”, сделав вывод, что это была особая Думская комиссия для разбора тяжб и управления Москвы на случай отлучки царя.

С.К. Богоявленскому удалось уточнить период работы Расправной Палаты: с 1681 г. (с перерывами) до 1694 г., состав ее членов, смену председателей. По внутреннему устройству и по отношению к Думе Расправная палата приближалась к приказу, но им не являлась, так как была поставлена над приказами⁶¹. Просмотрев около 150 дел, поступивших в Расправную Палату, он пришел к выводу, что это была высшая инстанция по гражданским делам, так как большая часть дел касалась споров о деревнях, пустошах, пожнях, а также неисполнении кабальных, поручных, закладных и порядных записей, о беглых крестьянах. Уголовные дела встречались редко, но и они рассматривались с точки зрения гражданского иска, ущерб переводился в определенную сумму⁶².

Дела в Расправную палату вносились или по инициативе приказа, искавшего компетентного указания по спорному делу, или по челобитью одной из тяжущихся сторон в том случае, если приказ задерживал решение или вынес, по мнению челобитчика, неправильное решение. Жалобы на нарушение процессуальных форм влекли за собой пересмотр дела по существу. Приговор Расправной Палаты не нуждался ни в чьем утверждении, но мог быть обжалован в Думе. Как высшая судебная инстанция Расправная палата своими решениями создавала прецеденты, на которые ориентировались и ссылались судьи и тяжущиеся⁶³.

Если при реконструкции Расправной палаты С.К. Богоявленский отталкивался от уже имевшихся в историографии исследований, то реконструкция истории Пушкарского приказа была осуществлена им почти на пустом месте. Он установил наиболее старое упоминание Пушкарского, или как он сначала назывался, Пушечного приказа – 1577 год. Впервые выявил поименно руководителей приказа и динамику числа служилых людей пушкарского приказа по городам⁶⁴ и указал на тот факт, что во главе приказа всегда стоял родовитый боярин, редко окольничий, управлявшие своим ведомством по многу лет.

С.К. Богоявленский подробно описал деятельность Пушкарского приказа вплоть до 1700 г., когда он прекратил свое существование и был заменен Артиллерийским приказом. Ему удалось показать, что обязанности приказа были чрезвычайно разнообразны и сложны. Для выполнения работ требовались специальные и обширные знания. Среди мастеров было много иностранцев, которые выполняли сложные работы, за что и получали очень большое жалованье. Но и начальники приказа и мастера различных производств были достаточно образованны, чтобы применить к делу западноевропейскую науку. В приказе была своя библиотека книг технического содержания⁶⁵.

Воссоздание истории Расправной палаты при Боярской Думе и Пушкарского приказа стало важным шагом в области изучения системы управления Московского государства XVII в. Богоявленским

были выделены проблемы, являющиеся ключевыми для изучения истории Москвы в XVII в. В научный оборот он ввел множество новых, ранее не известных фактов, которые впоследствии вошли в фундаментальные исследования, посвященные русской истории XVII в.

После революции 1917 г. жизнь того круга людей, к которому принадлежал С.К. Богоявленский, резко изменилась. Налаженный обеспеченный быт рухнул. Заслуженные чины и награды отменены, и даже вспоминать о них стало опасно. Пришлось осваивать методы борьбы за элементарное выживание.

Семья Богоявленских вынуждена была поселиться в Лефортово – в доме Шестакова по улице Радио, 22. Комната 4^а когда-то была “барской опочивальней” и в ней сохранилась как элемент интерьера допотопная печка, которая не использовалась до революции, а теперь, когда в Москве перестало работать центральное отопление, пришла как нельзя кстати.

В Москве не было, пожалуй, ни одной интеллигентной семьи, которая в 20-е годы не понесла бы трагические и невозполнимые утраты. У Богоявленских в 1919 г. от дизентерии умер их старший сын Юрочка – одаренный необыкновенными математическими способностями мальчик. Младший – Михаил, в 1924 г. как бывший член организации скаутов был арестован и сослан в Ачинск. С большим трудом отцу удалось помочь сыну перебраться в Тулу и устроиться там на работу.

Для научной гуманитарной интеллигенции возможности применения своих сил по специальности резко сократились. Вряд ли преувеличением будет охарактеризовать это состояние как “культурный шок”. Московская интеллигенция, безусловно, обладала приемлемым уровнем повседневной культурно-бытовой компетенции, но была не настолько пластична, чтобы культурно переродиться, что вело к образованию невидимого гетто – дистанцированию от инаковокультурной среды в кругу “сокультурников”.

К счастью для С.К. Богоявленского, профессия архивиста оказалась востребованной и в условиях революционных потрясений. Он не стремился к активной общественной и политической деятельности, но ясно осознавал и неуклонно выполнял задачу, поставленную самой историей перед “хранителями памяти”. Умение смотреть на современность сквозь призму прошлого помогало достаточно быстро ориентироваться в сложной обстановке. В апреле 1917 г. он предложил МОИДР взять на себя инициативу выработки декрета об охране древностей⁶⁶.

С.К. Богоявленский не заразился психозом гражданской войны. И поскольку на первом месте для него всегда стояли не идеологические, а профессиональные интересы, это облегчало для него сотрудничество с любой властью. Политическая лояльность и высокий профессионализм уберегли его во время так называемых “чисток”

1921–1922 гг. в Главархиве. Как высококвалифицированный специалист он дает консультации сотрудникам НКВД в 1922–1926 гг., участвует в проведении архивной реформы. Работа в ЦАУ РСФСР позволила С.К. Богоявленскому по-настоящему влиять на становление советского архивоведения. Он пишет статьи о критериях и практике отбора документов на государственное хранение⁶⁷, стремясь уберечь документы от уничтожения. В 1922–1924 гг. он возобновляет свою педагогическую работу, но теперь уже в высшей школе, принимая участие в подготовке кадров архивистов как профессор кафедры археографии Московского государственного университета им. М.Н. Покровского⁶⁸.

В 1923 г. в условиях послереволюционной смуты научная общественность отметила юбилей его 25-летней архивной службы. Торжественное заседание проходило в зале Исторического музея⁶⁹. Лейтмотивом присланных адресов являлись слова: “Вы сумели сухую архивную службу превратить в живое общественное служение”⁷⁰.

В москововедении 20-х годов на первый план выходит культурно-просветительное и краеведческое направление. I краеведческая конференция РСФСР была созвана по инициативе Академического Центра Наркомпроса 12–20 декабря 1921 г. Начиная с 1921 г. важнейшие вопросы развития краеведения решались на всероссийских и всесоюзных краеведческих конференциях. Опубликованные материалы и тем более решения конференций носили характер директив, обязательных для выполнения и тем самым во многом предопределяли направленность, формы и методы деятельности краеведческих обществ, кружков и музеев. В 1922 г. было создано Центральное бюро краеведения (ЦБК) – руководящий орган российских краеведов, сначала находившийся в ведомственном подчинении у Российской академии наук, а с 1925 г. – при Главнауке Наркомпроса РСФСР.

Цель была провозглашена открыто и однозначно: “привести к согласованию и планомерной работе сеть краеведных обществ и учреждений и тем начать новую реальную организацию изучения России”⁷¹. В соответствии с основной тенденцией управления “согласование” и “планомерность” были заявлены как действенные средства улучшения исследовательской работы.

Руководство краеведческим движением возглавил выдающийся ученый и организатор науки академик Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934). Должность председателя ЦБК он занимал в 1922–1927 гг. по совместительству как секретарь АН СССР⁷². Назначение ученого “большой науки” на пост председателя ЦБК распространяло престиж высокой науки на те формы научной деятельности, которые слыли демократичными, и “уравнивало” их. В этом проявилось и стремление привлечь “больших ученых” к сотрудничеству в формах, наиболее для них приемлемых.

В первое десятилетие после революции в стране еще продолжали действовать научные общества. На заседаниях в обществе “Старая Москва” С.К. Богоявленский сделал доклады: “О Мещанской слободе в XVII в.” (1921 г.), “О санитарном состоянии Москвы в XVII в.” (1923 г.), “Дворовые деревянные постройки в Москве в XVII в. (1924 г.), “О Голицынском доме в Охотном ряду” (1926 г.), “Казенная слобода и торговые ряды XVII в. в графическом изображении” (1929 г.)⁷³.

Доклад “Новый Английский денежный двор” был прочитан С.К. Богоявленским в 1928 г. в Государственном историческом музее. Тезисы своего доклада и выписки из документов он передал К.В. Базилевичу, который использовал эти материалы в работе “Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г.”⁷⁴ В 1929 г., практически перед самым закрытием “Старой Москвы”, он выступил с докладом “Московские слободы и сотни в XVII в.”, в котором были обобщены основные результаты его исследований по слободскому устройству Москвы.

К сожалению, после революции 1917 г. возможностей для публикации своих исследований С.К. Богоявленский по существу не имел. За 1917–1930 гг. свет увидели лишь несколько его небольших статей. Одной из них был очерк “200-летие бывшего Московского главного архива Министерства иностранных дел”⁷⁵, который к тому времени был передан в ГА РФ и лишился собственного имени. Напоминание об истории комплектования МГАМИД было как нельзя кстати, так как в том же году прошла очередная реорганизация и фонды бывшего МГАМИД в их дореволюционной части поглотило Древлехранилище.

В книге “Московский край в его прошлом” была опубликована работа “Московские слободы и сотни в XVII в.”⁷⁶ В ней он дал краткий обзор 150 московских слобод. По архивным данным ему удалось выявить границы слобод и количество дворов. На основе анализа слободского населения ученый пришел к выводу, что их населяли преимущественно стрельцы. Но “это обстоятельство нисколько не умаляло значения Москвы как торгового и промышленного центра, так как большинство военных людей в то время занимались торговлей и ремеслами и иногда вели эти занятия в широких размерах”⁷⁷. Касаясь внутреннего устройства слобод, историк указывал на существование развитой системы самоуправления, причем подчеркивал, что “власть старалась иметь дело не с одним лицом, а со слободской организацией”⁷⁸. В более благоприятных условиях это могло бы стать заявкой на создание фундаментального труда по истории Москвы XVII в.

В 1929 г. С.К. Богоявленский, не имевший докторской степени, был избран членом-корреспондентом АН СССР. В записке об ученых трудах С.К. Богоявленского подчеркивался его вклад в источниковедение и приоритет в разработке проблемы административной системы управления XVII в.⁷⁹

“Чистка” кадров Академии привела к аресту. 10 августа 1930 г. С.К. Богоявленский был арестован и препровожден в Ленинград – в Кресты. Известно, что на первом допросе он все отрицал, а на втором – отказался говорить и подписал обвинение. Постановлением тройки 10 февраля 1931 г. было вынесено решение об осуждении С.К. Богоявленского по статье 58² Уголовного Кодекса с конфискацией имущества и заключением в концентрационный лагерь.

В Соловки он по каким-то причинам увезен не был, а прямо из тюрьмы был отправлен в ссылку в Западную Сибирь. В Новосибирске он работал в Западно-Сибирском краевом архивном бюро (вскоре переименованном в управление) в должности архивиста-консультанта⁸⁰. В 1933 г. он получил досрочное освобождение, вернулся в Москву. 11 августа 1934 г. было принято постановление Комиссии Советского контроля СНК о снятии с него взыскания, наложенного при чистке советского аппарата и освобождении от ссылки со свободным проживанием в СССР. Полная реабилитация последовала лишь 30 июля 1989 г.

Стойкость и спаянность семьи помогли отразить еще один жестокий удар: в страшном 1937 г. снова был арестован Михаил Сергеевич. По счастью, родным удалось добиться пересмотра дела. Абсурдное обвинение и не менее абсурдное признание, выколоченное побоями и издевательствами, разоблачало надуманность обвинения. Михаил Сергеевич Богоявленский был освобожден и даже получил разрешение на проживание в Москве.

“Академическая катастрофа” закончилась для С.К. Богоявленского сравнительно благополучно и в карьерном плане. Правда, на прежнюю работу в архив, в котором С.К. Богоявленский занимал должность управляющего, его не взяли. Хотя трудно сказать, стоило ли об этом жалеть – архивисты к тому времени превратились в “сторожей бумажных кладбищ”. В 1933–1935 гг. он устраивается по договору внештатным сотрудником Комиссии транскрипции при Главном Картографическом управлении г. Москвы.

В эти годы он завершает и подготавливает к печати ряд ранее начатых исследований. При аресте часть архива и переписка были изъяты и без следа пропали. Но выписки, черновики рукописей и библиотеку жене ученого удалось сохранить. И хотя, как пишет М.В. Нечкина, С.К. Богоявленский по-прежнему, оставался “на подозрении” как чуждый марксизму специалист⁸¹, он в 1935 г. начал работать по договору с Академией наук, и работы его регулярно публиковались.

Советская историческая наука развивалась не однолинейно. Жесткость и конъюнктурность в методологических оценках сочеталась в ней с профессионализмом. В 1937 г. директором Института истории был назначен Б.Д. Греков – человек широко образованный, создавший квалифицированный штат сотрудников, способных решать сложные научные задачи. Радикальный поворот происходит и на

идеологическом фронте. В связи с угрозой войны в идейный багаж ВКП(б) вводятся элементы государственного патриотизма. Во второй половине 30-х годов началась работа по созданию фундаментальных исторических трудов, начинается изучение ранних периодов отечественной истории. Востребованы были исторические концепции государственников. Со второй половины 30-х годов история Москвы обретает статус одного из ведущих направлений историографии.

В 1937 г. была опубликована работа С.К. Богоявленского “Приказные дьяки XVII в.”⁸² – о высшем слое московской администрации. Представления историков о составе и общественном положении дьяков были расплывчаты. Используя документы Разрядного и Посольского приказов, фонд “Боярские и городовые книги” и фонд “Секретные дела” РГАДА, С.К. Богоявленский установил, что в составе дьяческого чина преобладали выходцы из нетитулованного дворянства. Представляет интерес его характеристика, данная дьячеству: “Дьяки... обладали всеми данными, чтобы упрочить свое положение в качестве высшего бюрократического слоя, но они связали свои интересы с интересами дворянства и растворились в нем. Из судей и правителей дьяки сделались простыми исполнителями начальственных распоряжений”⁸³.

В 1938 г. вышла работа, ставшая к тому времени уже классической – “Вооружение русских войск в XVI–XVII вв.”⁸⁴. В 1939 г. свет увидели “Материалы по истории калмыков в первой половине XVII в.”⁸⁵ – работа, написанная по источникам, которые он собрал в архивах Сибири во время ссылки. Долгое время это был единственный в исторической литературе труд по истории калмыков в XVII в.

В октябре 1940 г. С.К. Богоявленский был зачислен старшим научным сотрудником в штат института Истории АН СССР, в сектор феодализма⁸⁶. А уже в 1941 г. в серии Исторические записки вышла из печати работа С.К. Богоявленского “Хованщина”, посвященная анализу стрелецкого движения 1682 г. в Москве. Партийная установка, сформулированная А.А. Ждановым, доверенным лицом Сталина в вопросах идеологии, требовала считать восстание реакционным, поскольку стрельцы “требовали возвращения к старому”⁸⁷.

С.К. Богоявленский использовал это почти анекдотическое примитивное суждение для создания научно безупречного исследования. Он скрупулезно на основе первоисточников и используя материал своего собственного очерка 1910 г. “Московские смуты XVII в.” восстановил фактическую историю Московского восстания 1682 г.

Антиправительственный и классовый характер движения не ставился им под сомнение. Но при этом он полагал, что движение стрельцов неверно воспринимать как революционное и представлять Хованского как народного вождя. Анализируя сложные взаимоотношения стрельцов и властей, он доказал, что не Милославские инспи-

пировали выступление стрельцов, но царевна Софья воспользовалась стрельцами в своих интересах. Оценивая стрелецкие бунты через призму понятия “смута”, историк подчеркивал, что “интересы стрельцов не шли дальше приобретения материальных благ” и претензии стрельцов “вызывали раздражение во всех слоях общества”⁸⁸.

В годы Великой Отечественной войны произошло восшествие С.К. Богоявленского на советский научный Олимп: в 1941 г. он стал членом Ученого совета Института истории АН СССР, ему было доверено участвовать в создании обобщающих трудов. Высшая аттестационная комиссия утвердила С.К. Богоявленского доктором исторических наук⁸⁹. В 1944 г. ученый был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 г. – орденом Знак Почета. 1 мая 1945 г. ему была назначена персональная пенсия.

В 1946 г. был опубликован его труд “Приказные судьи XVII в.”⁹⁰, материал для которого накапливался ученым в течение многих десятилетий. Первые шаги по составлению списков служащих в московских приказах сделал еще Г.Ф. Миллер. Список судей Посольского приказа составил С.А. Белокуров. Личный состав сыскных приказов установил Е.Д. Сташевский. С.А. Шумаков и Н.Н. Ардашев начали составление списка судей Поместного приказа. Но все эти сведения находились в папках архивистов. Теперь, основательно дополненный и выверенный на основе документов материал был систематизирован, прокомментирован и издан. Этой работой С.К. Богоявленский завершил труд ученых-архивистов нескольких поколений.

Как и другие историки-архивисты дореволюционной школы, С.К. Богоявленский большое внимание уделял почеркам и другим пометам. Применяя методику комплексного исследования, он создал справочное издание, которое до сих пор является настольным пособием для каждого историка, так как помогает установить происхождение документов, относящихся к XVII в. На работу С.К. Богоявленского ссылаются комментаторы Соборного уложения 1649 г.⁹¹

В связи с подготовкой к 800-летию юбилею Москвы, у С.К. Богоявленского появляется надежда опубликовать свои исследования по истории Москвы. В 1947 г., при жизни ученого, увидел свет очерк “Московская Немецкая слобода”⁹². Он отражал мнение С.К. Богоявленского по одному из самых острых вопросов русской истории – о европейском влиянии на развитие русской культуры в XVII в. С.К. Богоявленский считал, что значение Немецкой слободы излишне преувеличивалось, что контакты Руси с Западной Европой были довольно широкими и до Петра I. При этом он, как всегда, аргументировал свое мнение фактами – вводя в научный оборот данные о численности, занятиях, морально-нравственных чертах, образовательном уровне проживавших в Москве иностранцев. Его статья ни в коем случае не являлась “заказной”, но в то же время она оказалась в русле разворачивавшейся тогда идеологической кампанией по борьбе за русские приоритеты.

Как плановую тему в рамках подготовки к 800-летию Москвы ученый завершает монографию “Московская Мещанская слобода в XVII в.”⁹³. Для реконструкции истории Мещанской слободы, созданной в 1671 г. и ликвидированной в конце XVII в., С.К. Богоявленский использовал фонды Посольского приказа. Обширное введение источниковедческого характера предваряет исследование, которое раскрывает административное устройство, состав и занятия жителей.

Объект исследования был ограничен временем – 30 лет – и территорией. Но по глубине подхода эта работа значительно превосходила рамки частного краеведческого исследования. В ней подробно, разносторонне и достоверно изложена жизнь слободы, вскрыт социально-экономический и политический механизм, управлявший этой жизнью. История Мещанской слободы отражала историю всего московского посада. К сожалению, работа была опубликована лишь спустя много лет, в 1980 г. Но даже несмотря на такое опоздание, работа стала не раритетом, а образцом для исследователей, занимающихся воссозданием жизни городского населения XVII в.

С.К. Богоявленский значительное внимание уделял изучению топографии средневековой Москвы. О процессе его работы над планами и картами дают представления статьи-очерки: “Казенная слобода в 1678–1680 гг.”⁹⁴, “Топография Торговых рядов на Красной площади”⁹⁵ и “Источники для восстановления топографии Москвы XVII в.”⁹⁶. Используя показания писцовой книги Казенной слободы 1678–1680 гг., хранящиеся в РГАДА, в которой даны подробные сведения о величине дворовых участков, о соседних дворах с трех сторон, он составил план слободы с нанесением на него всех дворовых участков, снабдив его подробным комментарием, раскрывающим процесс застройки территории слободы.

На основании актового материала им был составлен план рядов на Красной площади. По сравнению с переписью рядов, составленной И.Е. Забелиным, список, составленный С.К. Богоявленским, существенно дополнен (109 названий). Ему удалось установить расположение торговых рядов и даже воссоздать их внешний вид.

В качестве источников для восстановления топографии Москвы он использовал графические изображения Москвы и ее частей. Сопоставление планов заставило его предположить, что существовал единый прототип, с которого более или менее точно копировали планы Москвы, в том числе те, которые он считал наиболее достоверными – Сигизмундов план, Годуновский чертеж, Петров чертеж из атласа Блавиана 1663 г.

Именно С.К. Богоявленский указал на альбом рисунков Пальмквиста, в котором дается план Москвы в пределах Белого города. В отличие от предшествующих планов, он дает изображение не в виде панорамы, а геометрическими линиями. Использовал он и ряд рукописных планов небольших частей Москвы, которые сохранились в

делах Приказа тайных дел за 1660–1670 гг., вычерчены геометрическими линиями без соблюдения масштаба, но с указанием в цифрах длины линий. Эти планы интересны еще и тем, что в них указаны имена владельцев дворов и изображаются некоторые постройки.

Привлекает С.К. Богоявленский и мало использованные до него документы – две переписные книги частей Белого города, 1629 и 1631 гг. Топографию между современной Тверской и Маросейкой он дополняет данными из писцовой книги 1620 г.; топографию Китай-города определяет, следуя за описанием, данным в писцовых книгах 1626 и 1696 гг. На основе всех этих планов (панорамных и геометрических), расшифровывая и дополняя графические изображения сведениями, почерпнутыми из актового материала, он составляет сводный план Москвы XVII в.

Не менее важным оказался вклад С.К. Богоявленского в изучение московского городского жилья XVII в. В этой области не было ничего заслуживающего внимания, кроме весьма ценных, но рассыпанных на страницах первого тома “Быта царей” наблюдений И.Е. Забелина. Деревянных построек XVII в. сохранилось в Москве очень мало. В письменных памятниках они изображаются довольно редко. Архивный материал, как писал сам Богоявленский, “не так легко дается в руки” – для его анализа требуется сотрудничество историка-архивиста с архитектором-археологом⁹⁷. Старые русские постройки отличались своеобразной красотой по неожиданности и асимметричности своих очертаний.

Ученый сумел найти комплекс источников, способный раскрыть ряд загадок старинного зодчества – это бытовые термины, обозначающие элементы жилого дома. В статье “Дворовые деревянные постройки в Москве в XVII в.” С.К. Богоявленский анализирует такие привычные слова, как “изба”, “горница”, “светлица”, “клеть”, “сени”, “чердак” и др. Для него был понятным и значимым каждый предмет средневекового городского жилища. Простая форма сруба свидетельствовала, по его мнению, не о примитивности, а секционным методе строительства, позволявшем создавать многообразные и сложные строения.

Богоявленский блестяще решает задачу исторической реконструкции домов знати. В статье “Двор князей Голицыных в Охотном ряду в Москве”⁹⁸ изложен материал, позволяющий определить, какие пристройки и перестройки осуществил В.В. Голицын в родовом владении; каков был внешний вид Голицынского дома; как были расположены комнаты. В приложении к статье дан точный перечень помещений, кропотливо воссоздан их внешний и внутренний вид.

Большая часть московедческих наработок С.К. Богоявленского была использована при написании первого тома обобщающего коллективного труда “История Москвы”, изданного в 1952 г., уже после его смерти. Вторая часть первого тома была целиком посвя-

щена XVII в. С.К. Богоявленским написаны тексты: “Рост территории и общее количество населения”, “Состав Московского населения”, “Внешний вид и благоустройство Москвы”, “Отголоски крестьянской войны 1670–1671 г. в Москве”, “Театр”⁹⁹. В соавторстве с С.В. Бахрушиным написаны главы “Торговля Москвы” и “Подмосковные усадьбы XVII в.”. В соавторстве с С.В. Бахрушиным и Н.В. Устюговым – “Просвещение”, “Научная и техническая мысль”, “Литература”.

Значителен вклад С.К. Богоявленского в создание и другого фундаментального обобщающего труда – “Очерков истории СССР. Период феодализма, XVII век”, также вышедшего уже после его кончины. В соавторстве с Н.В. Устюговым им был написан параграф “Стрелецкое восстание 1682 г.”¹⁰⁰, в соавторстве с К.В. Базилевичем и Н.С. Чаевым – “Царская власть и Боярская Дума”¹⁰¹, совместно с С.Б. Веселовским – “Местное управление”¹⁰², совместно с М.Н. Пушкиревым – “Театр”¹⁰³.

В основе текста “Стрелецкое восстание 1682 г.” лежали материалы, введенные С.К. Богоявленским в научный оборот в статье “Хованщина”. Однако в тексте “Очерков...” более последовательно была проведена мысль об узкоклассовом и объективно реакционном характере стрелецкого выступления. Такая трактовка свидетельствовала о том, что в советской историографии возобладал государственный подход к историческому процессу. Но в какой степени это отражало эволюцию взглядов самого С.К. Богоявленского – сказать сложно.

Попытка пересмотреть трактовку московских восстаний конца XVII в. была предпринята В.И. Бугановым лишь три десятилетия спустя. К тому времени в историческом сознании оказались несколько поколеблены те критерии, на основе которых стрельцы как служилые люди противопоставлялись народу. В своем монографическом исследовании В.И. Буганов характеризовал выступления стрельцов 1682 и 1698 гг. как крупнейшие народные выступления феодально-крепостнической России XVII в.¹⁰⁴

В главах “Царская власть и Боярская Дума”, “Местное управление” использовались тексты ранних работ С.К. Богоявленского о Расправочной палате при Боярской Думе, о Пушкирском приказе, а также очерки из сборника “Москва в ее прошлом и настоящем”.

Короткий послевоенный период – последние два года, которые ему были отпущены в этой жизни, был насыщен множеством событий. Под влиянием знакомства со Зденеком Неедлой в годы войны во время эвакуации в Ташкенте, у него возник интерес к истории славянства. Результатом стала подготовка монографии по истории русско-сербских отношений в XVII в., главы из которой были написаны еще в годы войны и частично опубликованы¹⁰⁵.

С.К. Богоявленский прожил долгую и плодотворную жизнь. Он был человеком, которого отличали глубокая убежденность в обще-

ственной значимости своего дела, сознание ответственности перед будущим. Вклад С.К. Богоявленского в изучение истории Москвы гораздо полнее и намного значимее, чем о нем судили ранее. Анализ его публикаций показывает, что Москва XVII в. являлась константой в творчестве С.К. Богоявленского. В верности московской тематике проявилась особенность методологии исследований С.К. Богоявленского, стремившегося раскрыть общеисторический подтекст в конкретных, иногда даже ординарных событиях. Для него характерно то, что Марк Блок и ученые французской “школы анналов” называют “тотальной историей”. С.К. Богоявленский воспринимал Москву как источник, позволяющий раскрыть органичность и самобытность русской культуры допетровской Руси.

С.К. Богоявленский не придерживался марксистского формационного подхода в понимании исторического процесса. Он остался верен концепции В.О. Ключевского и рассматривал исторические события как взаимодействие экономических, социальных, политических сил, каждая из которых в разные моменты истории в силу конкретных обстоятельств может приобрести определяющее значение. Но в отличие от своего учителя, он стремился не к разрешению исторических проблем, а к реконструкции исторической ткани на основе первоисточников. В этом он, как никто, близок другому классику отечественной историографии – И.Е. Забелину.

С великим москвоведом С.К. Богоявленского роднит тип исторического сознания, при котором история воспринимается как осязаемая жизнь, находящаяся в том же пространстве, но в ином времени. Историк вступает с прошлым в общение и в результате создает диалог культур, при котором и становится возможным их взаимоузнавание. Единство тематики и методов исследования позволяют считать С.К. Богоявленского продолжателем историографической традиции, заложенной Забелиным.

Долгая и плодотворная работа в московских архивах определила его методику подготовки научных трудов. В ее основе – кропотливый подбор документов. Стремясь к объективным выводам на научной основе, он сопоставлял печатные материалы с архивными данными, очищал факт от измышлений и подвергал его анализу, тщательно аргументируя каждое заключение. Но при этом он оставлял первенство за источником перед теорией и следовал за логикой документа при его анализе. С.В. Бахрушин, лично хорошо знавший и высоко ценивший С.К. Богоявленского, писал: “он избегал обобщений, не любил гипотез. Но там, где нужно было установить факт и произвести углубленное его изучение, разъяснить явление, устранить необоснованную, мнимую научную легенду, он не имел себе равного”¹⁰⁶.

Методологию С.К. Богоявленского отличают: 1) не поиск темы, а поиск нового источника; 2) восприятие и трактовка объекта как цельности; 3) методологический плюрализм и комплексность исследовательских подходов; 4) приоритет эрудиции перед логикой.

Наследие С.К. Богоявленского заслуживает внимательного прочтения в свете современного историко-культурологического направления. Воссоздавая быт и систему административно-хозяйственного управления торгово-ремесленного посада в XVII в., С.К. Богоявленский существенно расширил и углубил изучение быта допетровской Руси – того исторического направления, у истоков которого стоял И.Е. Забелин. Он стал изучать архетип москвича XVII в., выйдя из дворцов и палат на улицы Москвы, сосредоточив особо пристальное внимание на земцах-кормильцах, приказных и служилых людях. Но чтобы получить осязаемые результаты в этом направлении, историкам еще предстояло осознать и поставить в центр всего сущего проблему человека как субъекта и творца исторического процесса.

Разрабатываемые в трудах С.К. Богоявленского темы были актуальны и в научном, и в общественно-политическом отношении. Своим творчеством он обеспечил сохранение преемственности в развитии отечественной исторической науки. Работы С.К. Богоявленского расширили научно-исследовательский горизонт исторической науки, предварили многое в развитии научной мысли последующих десятилетий и нашего времени.

- ¹ История Москвы с древнейших времен до наших дней: В 3 т. М., 1997. Т. 1: XII–XVIII века. Глава 7: Столица “Московского царства” – последний век (XVII столетие). С. 220, 237, 247, 248, 254, 273.
- ² См.: Записки об ученых трудах членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, избранных 31 января 1929 г. Л., 1930. С. 9–12.
- ³ С.К. Богоявленский – историк и архивовед: Некролог // Известия. 1947 г. 3 сентября; С.К. Богоявленский: Некролог // Славяне. 1947. № 9. С. 63. Бахрушин С.В. С.К. Богоявленский как историк // Вопросы истории. 1948. № 8. С. 87–88.
- ⁴ СИЭ. М., 1962. Т. 2. С. 510–511; БСЭ. 2-е изд. М., 1951. Т. 5. С. 360–361. 3-е изд. М., 1970. Т. 3. С. 451; МСЭ. 3-е изд. М., 1958. Т. 1. Стб. 1086; ЭС. М., 1953. Т. 1. С. 198; М., 1963. С. 130.
- ⁵ Черепнин Л.В. С.К. Богоявленский как историк (1872–1947) // АЕ за 1972 г. М., 1974. С. 206–217.
- ⁶ Румянцева В.С. Л.В. Черепнин // Историческая наука в России в XX в. М., 1997. С. 525.
- ⁷ Опись фонда (162 ед. хр.) была составлена А.Л. Станиславским в 1973 г.
- ⁸ С.К. Богоявленский. Научное наследие. О Москве XVII в. М., 1980.
- ⁹ Функ М.К. Знаток московской старины // Краеведы Москвы. М., 1995. С. 151–152.
- ¹⁰ Функ М.К. Указ. соч. С. 149.
- ¹¹ Шохин Л.И. С.К. Богоявленский в РГАДА // АЕ за 1995 г. М., 1997. С. 365–371.
- ¹² Акишин М.О. К истории сибирской ссылки С.К. Богоявленского // Отечественные архивы. 1997. № 6. С. 36–39.
- ¹³ Дмитриева И.А. С.К. Богоявленский: Биографический очерк // Исторический архив. 2000. № 4. С. 186–204.

- ¹⁴ Пушкин А.С. В часы забав или праздной скуки... // ПСС. Л., 1977. Т. 3. С. 157.
- ¹⁵ Архив РАН. Ф. 553. Оп. 1. Д. 125. Л. 1.
- ¹⁶ ОР РГБ. Ф. 250. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 6.
- ¹⁷ Там же. Л. 9.
- ¹⁸ Там же. Л. 53.
- ¹⁹ См.: *Богоявленский С.К.* Воспоминания о В.О. Ключевском // АЕ за 1980 г. М., 1981. С. 308–314.
- ²⁰ Как указывает М.К. Функ, ныне это дом № 18 на Пятницкой улице. *Функ М.К.* Указ. соч. С. 149.
- ²¹ *Беляев И.С.* О доме кн. Д.М. Пожарского на Лубянке во владении 3-й Гимназии // Старая Москва. М., 1912. С. 44, 46.
- ²² *Извеков Н.Д.* Указатель статей, содержащихся в журнале “ЧОЛДП” с 1880–1894 и с 1910–1912 гг. М., 1913.
- ²³ *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 260–262.
- ²⁴ *Аксаков К.С.* О значении столицы // Русь. 1882. № 1.
- ²⁵ Речь Б.Н. Чичерина от 16 мая 1883 г. была напечатана на русском языке в Берлине; выдержки из нее перепечатаны газ. “Русь” (1883. № 5).
- ²⁶ Архив РАН. Ф. 553. Оп. 1. Д. 81.
- ²⁷ *Богоявленский С.К.* Академик Юрий Владимирович Готье // Изв. АН СССР. Сер. ист. и филол. 1944. Т. 1. № 3. С. 109.
- ²⁸ *Черепнин Л.В.* Указ. соч. С. 207.
- ²⁹ *Ключевский В.О.* // Соч. в 9 т. М., 1989. Т. IX. С. 324, 325–326.
- ³⁰ Архив РАН. Ф. 553. Оп. 1. Д. 103. Л. 1.
- ³¹ *Бахрушин Ю.А.* Воспоминания. М., 1994. С. 301.
- ³² *Богоявленский С.К.* С.А. Белокуров (1862–1918 гг.): Некролог // Исторический архив. Пг. 1919. Кн. 1. С. 435.
- ³³ Письмо С.Б. Веселовского С.Ф. Платонову. 1909 г. // ОР РГБ. Ф. 585. Оп. 2. Д. 406. Л. 13.
- ³⁴ Древности. Т. XIX, вып. 2. С. 57–70.
- ³⁵ Изв. Общества любителей естествознания. 1879. Т. XXXV, ч. 1. С. 16.
- ³⁶ Отчет о раскопках Елизаровского могильника Волоколамского уезда Московской губернии. М., 1901. С. 2.
- ³⁷ См.: *Сизов В.И.* О происхождении и характере курганных и височных колец так называемого Московского типа // Археологические известия и заметки 1895 г. № 6; *Милюков П.Н.* Отчет о раскопках Рязанских курганов летом 1896 г. // Тр. X Археологического съезда в Риге в 1896 г. М., 1900. Т. 3. С. 182. *Бранденбург Н.Е.* О признаках курганных могил языческих славян в северной полосе России // Труды VII Археологического съезда в Ярославле. М., 1890. Т. 1.
- ³⁸ См.: *Богоявленский С.К.* Изложение сообщения о составлении археологической карты Московской губернии // Древности: Тр. Московского археологического общества. М., 1906. Пг. 21, вып. 1. С. 40.
- ³⁹ *Богоявленский С.К.* Материалы к археологической карте Московского края // Материалы и исследование по истории Москвы. М.; Л., 1947. Т. 1. С. 168–178.
- ⁴⁰ Судебник царя Федора Иоанновича 1589 г. По списку собрания Ф.Ф.-Мазурина. М., 1900. С. XXI.
- ⁴¹ Там же. С. 22 (Предисл. С.К. Богоявленского).
- ⁴² Там же. С. 25 (Предисл. В.О. Ключевского).
- ⁴³ Там же. С. XXXVIII.
- ⁴⁴ *Богоявленский С.К.* К вопросу о столах Разрядного приказа // Журнал Министерства народного просвещения. 1894. № 6. С. 401–413.

- 45 *Шохин Л.И.* Московский архив Министерства Юстиции и русская историческая наука: Архивисты и историки во второй половине XIX – начале XX века. М., 1999. С. 435.
- 46 *Богоявленский С.К.* Некоторые статистические данные по истории русского города XVII столетия. М., 1898. С. 5.
- 47 Там же. С. 6.
- 48 Там же. С. 7.
- 49 Архив АН РАН. Ф. 553. Оп. 1. Ед. хр. 3.
- 50 ОР РГБ. Ф. 177. К. 1. Ед. хр. 3. Л. 1: Протокол 1 от 14 декабря 1909 г.
- 51 ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 4. С. 53.
- 52 ОПИ ГИМ. Ф. 402. Ед. хр. 4. Л. 182.
- 53 Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1910. Ч. I, вып. 3. С. 81–96; ч. II, вып. 4/5. С. 62–84; Вып. 6. С. 97–104; Ч. III, вып. 6. С. 123–140.
- 54 *Богоявленский С.К.* Московские смуты XVII в. // Москва в ее прошлом и настоящем. Ч. III, вып. 6. С. 123.
- 55 Там же. С. 140.
- 56 Там же.
- 57 *Богоявленский С.К.* Московский театр при царях Алексее и Петре: Материалы, собранные С.К. Богоявленским // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1914. Кн. 2. С. 1–192.
- 58 *Богоявленский С.К.* Театр // История Москвы. М. 1952. Т. 1. Глава 6. С. 677–684.
- 59 *Богоявленский С.К.* Войско в Москве в XVI–XVII вв. // Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1910. Вып. 4. С. 62.
- 60 Там же. С. 84.
- 61 *Богоявленский С.К.* Расправная палата при Боярской Думе // Сборник статей, посвященный В.О. Ключевскому. М., 1909. С. 426.
- 62 Там же. С. 416.
- 63 Там же. С. 417, 423, 424.
- 64 *Богоявленский С.К.* О Пушкинском приказе // Сборник статей в честь М.К. Любавского. Пг., 1917. С. 363.
- 65 Там же. С. 384–385.
- 66 *Шохин Л.И.* Московский архив Министерства Юстиции и русская историческая наука. С. 415.
- 67 *Богоявленский С.К.* Работа поверочной и разборочной комиссий // Архивное дело. 1926. Вып V–VI; Он же. О разборке фондов окружных судов по гражданскому отделению // Архивное дело. 1928. Вып 1 (14).
- 68 В 1924 г. кафедра была закрыта, и С.К. Богоявленский уволен из Университета по сокращению штатов. (Архив РАН. Ф. 553. Оп. 1. Д. 108.)
- 69 Архив РАН. Ф. 553. Оп. 1. Д. 84, 85.
- 70 Там же. Л. 14.
- 71 См.: Вопросы краеведения: Сборник докладов, сделанных на Всероссийской конференции научных обществ по изучению местного края в Москве в дек. 1921 г., созданной Акад. Центром / Под ред. В.В. Богданова. Н. Новгород, 1923. С. 3.
- 72 Этот факт не упомянут в сборнике памяти С.Ф. Ольденбурга (М., 1986). С. 120–121. Вряд ли это было незнание подробностей биографии знаменитого ученого, скорее, перед нами косвенное свидетельство мнения о краеведении, которое было распространено вплоть до конца 80-х годов, как области второстепенной. Составители сборника просто посчитали факт не заслуживающим внимания.
- 73 См.: *Филлимонов С.Б.* Историко-краеведческие материалы архива обществ по изучению Москвы и Московского края. М., 1989. С. 114.

- ⁷⁵ *Станиславский А.Л.* Личный фонд С.К. Богоявленского в Архиве АН СССР // АЕ за 1972 г. М., 1974. С. 284.
- ⁷⁵ См.: Архивное дело. 1925. Вып 2. С. 72–77.
- ⁷⁶ *Богоявленский С.К.* Московские слободы и сотни в XVII в. // Московский край в его прошлом. М., 1930. Ч. 2. С. 115–131 (Тр. Общества изучения Московской области. Вып. 6).
- ⁷⁷ Там же. С. 127.
- ⁷⁸ Там же.
- ⁷⁹ См.: Записки об ученых трудах членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, избранных 31 января 1929 г. С. 9–12.
- ⁸⁰ См.: *Акиншин М.О.* К истории сибирской ссылки С.К. Богоявленского // Отечественные архивы. 1997. № 6. С. 36–41.
- ⁸¹ *Нечкина М.В.* О причинах отставания России // Исторический архив. 1993. № 3. С. 203.
- ⁸² Исторические записки. М., 1937. Т. 1. С. 220–239.
- ⁸³ *Богоявленский С.К.* Приказные дьяки XVII в. // Исторические записки. М., 1937. Т. 1. С. 225.
- ⁸⁴ *Богоявленский С.К.* Вооружение русских войск в XVI–XVII вв. // Исторические записки. М., 1938. Т. 4. С. 258–283.
- ⁸⁵ *Богоявленский С.К.* Материалы по истории калмыков в первой половине XVII в. // Исторические записки. М., 1939. Т. 5. С. 48–101.
- ⁸⁶ Выписка из протокола Заседания Президиума АН СССР от 10 октября 1940 г. // Архив РАН. Ф. 441. Оп. 4а. Д. 43. Л. 17.
- ⁸⁷ *Константинов С.В.* Дореволюционная история России в идеологии ВКП(б) 30-х гг. // Историческая наука в России в XX в. М., 1997. С. 231.
- ⁸⁸ *Богоявленский С.К.* Хованщина // Исторические записки. М., 1941. Т. 10. С. 207.
- ⁸⁹ Архив РАН. Ф. 553. Оп. 1. Д. 117.
- ⁹⁰ *Богоявленский С.К.* Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946.
- ⁹¹ Законодательные памятники русского централизованного государства XV–XVII веков. Л. 1987. С. 241, 244, 245.
- ⁹² *Богоявленский С.К.* Московская немецкая слобода // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1947. Т. 4, № 3. С. 220–232.
- ⁹³ *Он же.* Московская Мещанская слобода в XVII в. // Научное наследие: О Москве XVII в. М., 1980.
- ⁹⁴ *Он же.* Казенная слобода в 1678–1680 гг. // Там же. С. 171–173.
- ⁹⁵ *Он же.* Топография Торговых рядов на Красной площади // Там же. С. 174–181.
- ⁹⁶ *Он же.* Источники для восстановления топографии Москвы XVII в. // Там же. С. 181–192.
- ⁹⁷ *Он же.* Дворовые деревянные постройки в Москве в XVII в. // Там же. С. 194.
- ⁹⁸ *Он же.* Двор князей Голицыных в Охотном ряду в Москве // Там же. С. 221–233.
- ⁹⁹ История Москвы. М., 1952. Т. 1: Период феодализма, XII–XVII вв. С. 423–533, 595–597, 603–637, 677–684.
- ¹⁰⁰ Очерки истории СССР: Период феодализма, XVII век. М., 1955. С. 325–336.
- ¹⁰¹ Там же. С. 344–360.
- ¹⁰² Там же. С. 384–394.
- ¹⁰³ Там же. С. 658–662.
- ¹⁰⁴ *Буганов В.И.* Московские восстания конца XVII в. М., 1969. С. 5.

- ¹⁰⁵ Богоявленский С.К. Из русско-сербских отношений при Петре I // Вопр. истории. 1946. № 8/9. С. 19–41; Он же. Связи между русскими и сербами в XVII–XVIII вв. // Славянский сборник. М., 1947. С. 241–261.
- ¹⁰⁶ Бахрушин С.В. С.К. Богоявленский как историк // С. 88.

Е.А. Бондарева

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ МОШИН (1894–1987)

“Как-то всю жизнь – для кого бы и на каких языках я ни писал – всегда у меня было чувство, что я тружусь для русской науки теми знаниями, которые мне дала русская культура, и всегда, всегда чувствовал себя русским ученым.”

В.А. Мошин. (Из письма Н.А. Дворецкой 5 мая 1967 г.)

Владимир Алексеевич Мошин прожил долгую и очень плодотворную жизнь, им создано более 250 исследований по проблемам русской истории, русско-византийских и русско-южнославянских политических и культурных связей в средние века. Многие работы посвящены научному описанию коллекций древних славянских рукописных книг, их художественному оформлению, водяным знакам – филиграням. Профессор Мошин сформировал направление в южнославянской палеографии и археографии, и в то же время его творческое наследие принадлежит русской исторической науке.

В.А. Мошин родился 9 октября (26 сентября) 1894 г. в семье писателя А.Н. Мошина. В детстве он часто жил в Москве в доме деда по матери – П.П. Панова. Как пишет сам Мошин в сохранившихся рукописных воспоминаниях, дед его “был из дворян и служил на Главном почтамте”. Семья деда была многочисленной, шумной, веселой и при этом глубоко православной: “строго соблюдала посты, радостно встречала праздники, гордилась успехами молодежи в школе...”¹.

Отец, по воспоминаниям В.А. Мошина, “был по убеждениям социал-революционером. Его политические единомышленники беседовали у нас о разных моментах борьбы с правительством, покушениях, карательных экспедициях, созыве Первой Думы” (180). В 1913 г. В. Мошин поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. Всю жизнь впоследствии ученый с благодарностью вспоминал не долгое, но очень плодотворное для него время учения. “Состав профессоров был в то время, в буквальном смысле, блестящим. Я с увлечением слушал лекции у С.Ф. Платонова, Н.И. Кареева, А.А. Васильева, А.Е. Преснякова, А.И. Введенского, Н.О. Лосского, Д.В. Айналова, работал в семинарах и просеминарах...” (181).

Успешные занятия, однако, прервала Первая мировая война. Мошин с группой товарищей записался добровольцем и уже осенью 1914 г. участвовал в боях Брусиловской армии, за что был награжден георгиевской медалью и произведен в прапорщики. За героическое участие в операции под Эрзерумом Мошин получил Орден Святого Владимира с мечами, был представлен к ордену Святого Георгия, но в штабной неразберихе – не получил его.

В.А. Мошину выпало на долю испытать все превратности и мытарства русской армии, разлагаемой революционными агитаторами, теснимой противником и преданной союзниками. Только осенью 1917 г. в Тифлисе он решился “перейти на гражданское положение” и тотчас же записался на Историко-филологический факультет, где прослушал два семестра. Летом 1918 г. он перебирается в Киев и продолжает учебу. “На историко-филологическом факультете в Киеве нашли приют многие петроградские ученые, между ними... Д.В. Айналов.” В Киевском Археологическом институте (куда Мошин записался параллельно) работали В.М. Довнар-Запольский, С.И. Маслов, Ю.А. Яворский, Н.Д. Полонская, с которой Мошин особенно подружился. Здесь он принял участие в работе археографической секции, руководил которой С.И. Маслов. “Каждому члену этой секции поручалось обследовать в течение недели рукописные и книжные фонды определенных монастырей и церквей и представить доклад с общим обзором коллекций и перечислением редких и ценных рукописей и старопечатных книг. Комиссия работала в течение всей весны и собрала интересные материалы, о которых сообщил в печати С.И. Маслов. Для меня, – вспоминал впоследствии Мошин, – эта работа была ценнейшей школой – практикой, как археографии и палеографии, так и методики каталогизации рукописей и старопечатных книг” (188). Опыт, полученный ученым в Археографической секции, стал основой его высочайшего профессионализма в этой области исторической науки. В Киеве произошла встреча с будущей женой – спутницей всей беспокойной и многотрудной жизни – Ольгой Кирияновой. В августе 1920 г. Мошин присоединяется к добровольческому движению в составе сводного кирасирского полка. После взятия Перекопа, вместе с женой, которая выполняла обязанности полкового врача, с одним чемоданчиком в руках В. Мошин эвакуировался из Крыма на стареньком угольщике “Аскольд”.

В декабре 1920 г. семья Мошиных оказалась в Югославии в небольшом хорватском городке Копривница, в составе группы русских из 50 человек. В воспоминаниях Владимир Алексеевич довольно подробно описывает свои первые впечатления от страны, в которой ему суждено будет прожить 61 год. “Благодаря гостеприимному отношению всего местного общества, и в особенности местных домов, оказавших приют как русским семьям, так и беженцам-одиночкам, очень быстро все мы живо вошли в местную среду, где культурное хорватское общество, семьи тамошних сербов и богатые еврей-

ские дома соперничали между собой в размерах внимания к нам и посильной помощи особо нуждающимся беженцам” (190). Ольга Яковлевна сразу стала давать уроки французского и музыки, а уже в августе 1921 г. оба получили места преподавателей в местной гимназии: Ольга – французского языка, Владимир Алексеевич – истории и географии. В коллективе гимназии царил “дух славянофильства, отражая общее настроение хорватской интеллигенции... в служебной обстановке преподаватели жили дружно, не перенося в школу настроения улиц, в связи с политической борьбой хорватской националистической партии Степана Радича...” (194).

С первых дней эмиграции Мошин налаживает связи с русскими научными обществами, восстанавливает личные контакты, переписку. Уже в 1922 г. он сдает в Белграде государственные экзамены за университетский курс по исторической группе Историко-филологического факультета перед комиссией, которую составляли профессора Е.В. Спекторский – председатель, А.П. Доброклонский – история средних веков, М.А. Георгиевский – древняя история, П.Ф. Афанасьев – история нового времени, Ф.В. Тарановский и А.В. Соловьев – русская история, А.Л. Погодин – история славян, В.В. Зеньковский – история новой философии. Комиссия более чем представительная!

Мошин вспоминал: “Все эти ученые при личном знакомстве произвели на меня глубокое впечатление как глубиной и энциклопедической широкой своих знаний, так и личной обаятельностью, которая при дальнейшем нашем знакомстве с некоторыми из них превратила первоначальную симпатию в искреннюю дружбу...” (194).

Занимаясь преподавательской работой, Мошин продолжал свои научные исследования. В годы, проведенные в Копривнице, им были “написаны три большие сочинения: “Древнейшая этнология Восточной Европы” (осталась неопубликованной), “Варяжский вопрос” и “Черноморская Русь”. Написание этих работ стало возможным в результате изучения историком фондов хорватских библиотек и архивов, сотрудничеству с профессором Степаном Ившичем из Загреба и профессором Райко Нахтигалем из Любляны, сделавшими доступными для Мошина “сокровища югославской Академии наук и люблянского славистического семинария”. Весной 1928 г. Мошин защитил в Загребском университете докторскую диссертацию о норманнской колонизации на Черном море.

С середины 20-х годов ученый устанавливает постоянные и плодотворные контакты с белградским и пражским научными кругами, ведет активную переписку, по материалам которой мы можем восстановить ход его научной работы².

Одним из первых, кто вовлек Мошина в работу белградского круга историков, был А.Л. Погодин. О нем Мошин писал как о “выдающемся представителе русского славяноведения...” и вспоминал: “Вскоре после наших бесед о моих научных занятиях в России по его предложению я стал членом Археологического общества... и наши

дружеские отношения неизменно продолжались до его смерти 16 мая 1947 года...”

Свою работу, посвященную варяжскому вопросу, Мошин послал в рукописи Погодину и получил “очень лестный отзыв”. Как становится ясным из переписки Мошина с А.В. Флоровским, работа Мошина состояла из пяти глав: первая освещала историю вопроса, вторая давала систематизированное доказательство норманнского происхождения Руси, третья – обзор процесса норманнской колонизации в Восточной Европе, четвертая – о культурном влиянии норманов на Русь, пятая – филологический разбор имен “Русь” и “Варяги”³.

Несмотря на то, что велись переговоры об издании работы с Русским научным институтом в Белграде, в цельном виде книга Мошина свет не увидела. Основные положения его изысканий получили отражение в статьях этих лет: “Руски оток” (Русский остров)⁴, “Тмуторокань, К-рх и Сам-крц”⁵, “Руси и Варјази”⁶, «“Треће” руско племе» (Третье русское племя)⁷. “Еще о новооткрытом хазарском документе”⁸, “Варяго-русский вопрос”⁹, “Начало Руси. Норманны в Восточной Европе”¹⁰ и др.

К этой теме Мошин возвращался и впоследствии. Его “норманизм” был близок позициям А.Л. Погодина, А.В. Соловьева. Здесь уместным представляется отметить, что трактовка Мошиным истории Черноморской Руси и ее взаимоотношений с хазарами получила развитие и подтверждение ряда положений в работах советских исследователей. Крупнейший знаток этой проблемы – М.И. Артамонов в книге “История Хазар” широко использует работы Мошина, солидаризируясь с ним по ряду вопросов, считая его “серьезным, знающим ученым, впервые серьезно интерпретировавшим данные еврейско-хазарской переписки, в особенности кембриджского анонима”¹¹.

Проблемы, которыми интересовался Мошин, – взаимоотношения Древней Руси, Византии и Хазарии – относились к тому кругу исследований, которые понесли сильнейший урон в результате кризисных процессов в русской исторической науке XX в., расколовшейся на две части – советскую и зарубежную и вынужденной преодолевать объективные и субъективные трудности. Мошин поддерживал связи, насколько это было возможно, с коллегами в СССР, а его работы не оставались ими не замеченными. Интереснейший материал в этом смысле дает переписка 20–30-х годов корифея византистики В.Н. Бенешевича.

В его фонде в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН есть письма от А.В. Соловьева, Г.В. Вернадского, Г.А. Острогорского и др. Часть материалов использована в статье И.П. Медведева “Порекомендуйте меня Мошину!”¹²

Бенешевич откровенно писал о состоянии науки, протестуя против развала блестящей научной школы: “Византиноведение во-

обще находится под каким-то запретом!”. В письме к Бонч-Бруевичу он писал: “Стремятся уничтожить ту область науки, в которой русские ученые по праву заняли почетное положение и этого положения имели бы силы не сдавать и теперь, сидя у первоклассных сокровищ и обладая еще такими средствами работы и мыслями, что даже младшее поколение – ученики, эмигрировавшие за границу и потому лишенные многого, как Вернадский, Острогорский и др., выдаются среди византинистов Европы”¹³. Интересен для нас публикуемый Медведевым фрагмент письма Бенешевича в Прагу в Семинар Кондакова с просьбой: “Порекомендуйте меня Мошину с тем, чтобы он прислал мне оттиски своих работ, названия которых мне известны, а сами оне (sic!) не доступны мне совсем, впрочем, если бы даже и стали доступны, иметь их оттиски мне крайне важно”¹⁴. Не менее заинтересованы были в продолжении контактов и белградские ученые, о чем свидетельствуют письма Мошина Бенешевичу. В 1934 г. он пишет: “Пожалуйста, как будет возможность, посылайте нам Ваши работы – каждое получение для нас здесь является большим праздником. По случайным цитатам, по заметкам знаем о том, как много интересного делается у Вас, и нет возможности прочесть это. Я, например, не смог прочесть еще книгу Коковцева о хазарских письмах, которая меня очень интересует, не читал также статей Рыдзевской, которая пишет об интереснейших вопросах”¹⁵.

В этом же письме Мошин делится с Бенешевичем творческими поисками. “К сожалению, в последнее время мне пришлось почти оставить и хазар, и варягов, и русские древности вообще, о которых собрано много материала и много наблюдений. Приходится писать о чистой Византии и о южных славянах”¹⁶.

Мошин обращается к студенческим годам в России: “Вы меня, конечно, не помните, когда я в 1913 г. был студентом в Петербургском Университете. Хотя я в то время уже интересовался Византией, но больше всего работал по русской истории и не думал, что придется стать византологом. Материала для работы здесь много. Надеюсь, что может быть, и мне удастся написать что-нибудь небесполезное...”¹⁷ Эти письма Мошина к В.Н. Бенешевичу для нас крайне важны. Они лишний раз подтверждают, что русское научное сообщество было трагически и искусственно разорвано и это нанесло непоправимый урон науке и судьбам самих ученых. Русские молодые историки, о чем пишет Бенешевич, и в условиях эмиграции оказались полностью профессионально и творчески самостоятельными. Более того, они смогли применить знания и методы к новым источниковым фондам и ввести в научный оборот огромный пласт памятников по истории Византии, Руси, южных славян из архивов Восточной и Южной Европы. Нельзя не сказать о трагической судьбе выдающегося историка Бенешевича, заплатившего за дружбу с эмигрантами и научную честность страшную цену – по ложному обвине-

нию в шпионаже он был подвергнут травле, а в январе 1938 г. расстрелян.

Оказавшись в новой научной среде, русские историки-эмигранты особенно дорожили контактами друг с другом. Пожалуй, наиболее тесные связи Мошин поддерживал с Прагой, с Семинаром им. Н.П. Кондакова, его постоянным корреспондентом многие годы был А.В. Флоровский. Переписка последнего с русскими учеными счастливым образом и благодаря усилиям В.Т. Пашуто сохранилась и находится в Архиве РАН, ее материалы освещены в цикле статей Е.П. Аксеновой¹⁸. Поэтому подробно характеризовать содержательную переписку ученых, длившуюся более 20 лет, уже нет необходимости, остановимся лишь на наиболее интересных моментах, способных полнее и ярче осветить личность В.А. Мошина.

В письме от 18 апреля 1926 г. Мошин рассуждает о полезности обобщающего труда по варяжскому вопросу, каким он и хотел бы видеть свою так и не увидевшую свет книгу: "...Обзор не будет бесполезным, т.к. уже многое забылось, беспрестанно люди ломаются в открытую дверь, доказывая то, что уже давно доказано, или, наоборот, старыми средствами стараются доказать уже давно опровергнутые теории. Люди, занимающиеся вопросом, часто не только не знакомы с противными суждениями, но часто не знают и представителей своей теории". Основной задачей такого обобщения Мошин считал демонстрацию того, что "нельзя уже теперь спорить против "норманизма"»¹⁹.

В 20–30-е годы В.А. Мошин был тесно связан с работой *Seminarium Kondakovianum*. В Анналах были опубликованы его статьи и рецензии: "Бруцкус. Письма хазарского еврея от X века: Новые материалы по истории Южной Руси времен Игоря" (SK. 1929. Т. III. С. 324–327), "Николай епископ Тмутороканский" (SK. Т. V. С. 46–62), "Русь и Хазария при Святославе" (SK. 1933. Т. VI. С. 187–208). Он написал обзорную статью о деятельности Института к десятилетию его работы²⁰.

Мошин надеялся увидеться с Флоровским в то время, когда тот приезжал с лекциями в Белград в 1929 г. И самому Мошину на этот же период Научный институт предоставил "для научных занятий стипендию на два семестра", однако в гимназии его непустили, и белградская встреча не состоялась.

В жизни ученого должны были произойти перемены. К началу тридцатых годов он "перерос" место преподавателя в гимназии, да и научные интересы уже не удавалось реализовать в хорватской провинции – отрыв от научного сообщества все сильнее давал себя знать. "Мы истосковались по интересному человеку, здесь (в Копривнице) почти совсем нет русских..." – писал он Флоровскому.

В своих "Воспоминаниях" Мошин пишет об этих годах: "Наиболее близкая связь прочно установилась с русскими учеными в

Белграде и с русскими обществами в соседнем Панчево, где тамошние соотечественники группировались около панчевского госпиталя... в котором русские больные из всей Югославии находили уют и помощь талантливых ученых докторов...” В этом же городе жил и брат В.А. Мошина, также медик. Впервые Мошин заговорил о возможности научной и преподавательской работы для себя с А.Л. Погодиным, спрашивая у него о месте ассистента в Белградском университете. Однако Погодин, переговорив с Драгутином Анастасиевичем, профессором византоведения, сообщил Мошину о возможности получить место доцента византоведения на философском факультете в Скопье. Это известие было встречено с радостью, так как в это время там работали русские коллеги: В.А. Розов, Е.В. Аничков, сербские ученые: Душан Неделькович, Радослав Груич, Мита Костич и др. Подготовка к преподавательской деятельности была очень серьезной. В письме к Флоровскому Мошин писал: «Здесь нужно сдавать (кроме нашего государственного, и независимо от доктората) особый, т.н. “профессорский экзамен” для обеспечения себе штатной службы: пришлось всю зиму посвятить логике, психологии, педагогике, методике, администрации средней школы, сербскому языку и литературе сербов, хорватов и словенцев»²¹. Он был выбран на эту должность и уже приступил в 1930 г. к чтению лекций по истории Византии и Римского царства, однако процесс “утверждения” в должности затянулся, и Мошину в 30-е годы так и не довелось стать сотрудником Университета в Скопье. Однако уже в 1932 г. он переезжает, наконец, поближе к очагам русской культуры – в Панчево, где прошли “семь лет панчевско-белградской жизни – вероятно, наиболее спокойные и устоявшиеся в жизни нашей семьи” (196–197). С 1932 г. Мошин теснейшим образом связан с работой Русского научного института и Белградского университета, где он получил место приват-доцента по византоведению.

Ученый стремился принимать активное участие в международной научной жизни. В 1929 г. он присутствовал на I Международном съезде славистов в Праге, где русские историки-эмигранты находились в центре научного внимания, а в 1930 г. принял участие в III Международном конгрессе византологов в Афинах в качестве докладчика о Кембриджском хазарском документе. Здесь он познакомился с крупнейшими учеными – Шарлем Дилем, Анри Греггаром, А. Гейзенбергом, Фр. Делгерой и др. Участников из СССР не было²².

Годы работы в Белградском университете были необычайно плодотворны. И именно в эти годы укрепляется дружба Владимира Алексеевича с русскими коллегами по университету и по научным интересам – А.В. Соловьевым и Г.А. Острогорским, приехавшим в Белград из Гейдельберга. В эти годы в центре внимания Мошина – изучение памятников по истории Руси, южных славян и Византии. совме-

стно с А.В. Соловьевым он много работает над изданием греческих грамот сербских государей. Вскоре к ним присоединяется словенец Антон Совре. Обращается Мошин и к проблемам внутреннего устройства Византии – финансам, податной системе, социальной структуре. Не упускает из виду и историю Руси и ее связи с южными славянами. В эти годы В. Мошин публикуется как в русских периодических изданиях и сборниках: “Записки Русского научного института в Белграде”, “Сборники Русского Археологического общества”, “Владимирском сборнике”, в пражских изданиях “Филологические пражские сборники” (на чешском языке), “Slavia”, “Byzantinoslavica”, в европейских изданиях, таких как “Byzantion” (Брюссель), в югославских научных и популярных органах: “Югославский исторический журнал” (ЈИЧ), “Христианское дело” и пр. Была предпринята попытка и самому стать главным редактором вновь созданного совместного русско-сербского издания “Руско-Југословенски алманах”, издававшегося в Панчево. Однако дальше первого номера дело не пошло, а жаль, так как содержание его представляет несомненный интерес публикациями статей исторического, литературоведческого характера, а также художественными текстами. В альманахе наряду со статьями Мошина “Третий Рим и южные славяне”, помещена статья А.В. Соловьева о сербах на русской воинской службе.

В центре внимания ученого в 30-е годы находится изучение письменных памятников Афона. С 1935 г. он каждое лето проводил на Афоне, изучая в архивах монастырей важнейшие сербские и греческие источники. В этих экспедициях Мошин следовал по стопам А.В. Соловьева, совместно с которым они издают книгу “Греческие грамоты сербских государей”²³. Уже в первое лето Мошин и Соловьев обследовали 15 афонских монастырей, изучая и копируя греческие грамоты. В 1936 г. работа была продолжена в монастыре Ватопед и Великой Лавре. Дольше всего Мошин пробыл на Афоне в 1938 г., сначала с Георгием Острогорским, а потом один, работая с грамотами деспота Углеша и царя Душана. В последний раз ему довелось побывать на Афоне летом 1939 г.²⁴ Как пишет исследователь этой стороны деятельности Мошина М. Живоинович, работы по результатам афонских экспедиций могут быть поделены на две группы: “публикации документов и работы, посвященные проблемам их подлинности и датировки, а также дипломатической ценности, работы, посвященные истории русского монашества на Афоне, выдающимся представителям хиландарской братии”. Подводя итог афонским исследованиям и публикациям Мошина, современная сербская исследовательница пишет: “Сравнительный анализ грамот с точки зрения дипломатики, сопоставляющий соответствующие места сербских и византийских хрисовулов, по сей день является у нас наряду с работой Станое Станоевича основным пособием по дипломатике”²⁵. Основные выводы Мошина нашли подтверждение в дальнейших исследованиях.

В огромной библиографии трудов Мошина особое место занимают его работы об игуменах Хиландара (сербского монастыря на Афоне), написанные в соавторстве с М. Пурковичем и исследования “Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII веке” и “Житие старца Исая, игумена русского монастыря на Афоне”²⁶.

В 1939 г. Владимир Алексеевич был вновь приглашен на кафедру византоведения в Скопье. Там его застала немецкая оккупация. Вот как он сам описывает начало войны: “6 апреля рано утром, около шести часов... мы услышали торжественно-истерическую речь Гитлера, в которой объявлялась война Югославии. Весть моментально распространилась по Скопье, и воцарилось томительное ожидание наступающей катастрофы. Немецкое наступление с болгарской границы было стремительно. Вероятно, уже в 10 часов в город влетела колонна легковых автомобилей, в каждой по два солдата, и понеслась на юг, на Пелопоннес. Сразу установилась немецкая комендатура, в разных пунктах города... были поставлены часовые... Немецкие патрули по дороге подбирали всех прохожих и длинной колонной гнали их за провололочную ограду. В эту колонну неожиданно попал и я. Мое счастье было, что колонна проходила мимо здания университета, в которое мне удалось ускользнуть... В мертво опустевшем здании я пробрался в свой византологический факультет, захватил 3–4 редких книги – историю Ф.И. Успенского, византийскую историю Гельцера, свою коллекцию фотографий сербско-греческих грамот... И с ними подмышкой по задворкам добрался до дому...”²⁷ После перехода Македонии под власть Болгарии профессорский состав был причислен к философскому факультету Белградского университета. Болгарские коллеги-историки в этот момент предложили Мошину перейти на службу в Болгарию и возглавить музей в оккупированном греческом городе Кавалле. Мошин предложения не принял, однако о самом факте такого предложения сведения попали в газету. Его семья “с небольшими остатками обстановки, книгами, картинами и носильными вещами” в товарном вагоне переехала в Белград. В Скопье шла ускоренная болгаризация – “начиная от школы и церкви”. Мошин пишет в воспоминаниях, что большинство русских преподавателей оставались на своих рабочих местах, однако для них это было испытанием. “Алексей Кириллович Елачич (коллега еще по Петербургскому университету), ненавидевший немцев славянофил, идеалист, от душевного потрясения заболел психически. По пути в Белград он попал в Ниш в психиатрическую больницу, где и умер”²⁸.

В Белграде Мошин был включен в состав профессуры университета и одновременно преподавал историю в русской мужской гимназии. Но основным центром притяжения в эти годы “глубокой подавленности под гнетом оккупации, в мыслях о страданиях Родины”

стала Церковь. Мошин пишет, что для них с женой “русская церковь стала главным духовным прибежищем”. Они бывали там ежедневно. Иногда и утром, и вечером. Мошин руководил хором, Ольга Яковлевна, обладая прекрасным голосом, пела.

Об этом времени ученый вспоминает: “В связи с тяготением русского общества к Церкви при благословении митрополита Анастасия (Грибановского) были организованы богословские курсы для популяризации знаний догматического богословия, истории русской церкви, канонического права и церковного устава. В занятиях принимали участие видные профессора: С.В. Троицкий, А.В. Соловьев, сам В. Мошин и др. Параллельно у митрополита Анастасия проходили закрытые собрания кружка видных ученых и общественных деятелей, на которых обсуждались острейшие проблемы: нацистские теории Розенберга, фашизм и церковь и др. После прослушанных курсов в оккупированном Белграде ряд русских интеллигентов – выдающихся деятелей РПЦ, приняли церковный сан: Н.В. Рклицкий – архиепископ Никон (США), Федор Раевский – епископ Савва (Австралия), братья Антоний и Леонтий Бартошевичи (занимавшие кафедру в Женеве) и др. 26 сентября 1942 г. был рукоположен в дьяконы и В.А. Мошин, а 14 октября того же года стал иереем. Служил о. Владимир в русской церкви Св. Троицы. Летом 1944 г. началась спешная эвакуация немецких учреждений, тогда же уехала большая часть русского духовенства во главе с митрополитом Анастасием. Те, кто твердо решил остаться, совершенно не знали, что их ждет в будущем. Красная армия и партизаны приблизились к Белграду. В храме осталось 4 священника: настоятель – о. Иоанн Сокаль, о. Владислав Неклюдов, о. Виталий Тарасьев и о. Владимир Мошин.

В тексте “Воспоминаний” находим взволнованный рассказ о первых встречах Мошина с соотечественниками, об аресте, о первых шагах в новую жизнь, осложненную для русских эмигрантов их “контрреволюционным происхождением”, а для некоторых и прямым сотрудничеством “с оккупантами”. “Советские воины – и встречные одиночки и размещенные по разным центрам города отряды – не проявляли никакого недружелюбия к моей священнической рясе... В первый же вечер... во время обхода арестовывали всех подозреваемых в сотрудничестве с немцами, к их числу относили и русских эмигрантов... Арестовали и меня... в подвале были профессора университета, политические деятели периода оккупации, соседи-эмигранты... На утро меня вызвали на допрос к молодому советскому офицеру... Это был культурный, очень симпатичный боевой офицер, который подробно расспросил меня о положении русских в Белграде, о русской церкви... После окончания допроса сразу передал меня в местный орган управления для немедленного освобождения и сам вывел меня на улицу, чтобы предохранить от возможных неприятных столкновений...” Такой была первая встреча Мошина с

соотечественниками, и это во многом определило его дальнейшую судьбу. В 1947 г. церковь Святой Троицы в Белграде стала подворьем Московской Патриархии, а семья Мошиных, как и семьи других иереев, приняла советское гражданство.

В этом же году возобновляется научная жизнь в Белграде, создаются научные институты Академии наук, одним из первых – Исторический, куда Мошина пригласили на должность научного сотрудника, однако он уже вел переговоры с Загребом. К этому же периоду относятся первые контакты с советской наукой. Одной из первых была группа ученых в составе А.В. Арциховского, Б.А. Рыбакова, В.И. Равдоникаса, П.Н. Третьякова, Т.Г. Богатырева. В архиве РАН в фонде П.Г. Богатырева сохранился очень содержательный “Отчет о поездке по Балканским странам” 1946 г.²⁹ С этого времени установилась переписка Богатырева и Мошина. Во время пребывания в Белграде советские историки интересовались судьбой русских коллег-эмигрантов и были поражены их трудной и далеко не столь благополучной, как они предполагали, жизнью. В этот период Мошин всерьез размышляет о переезде и продолжении научной работы в СССР, но было одно серьезное обстоятельство, которое исключало такую перемену – это невозможность совмещать в СССР научную работу и обязанности священнослужителя.

Летом 1947 г. семья Мошиных вновь переезжает, на этот раз в Загреб, где Владимир Алексеевич получил место директора Архива Академии наук по предложению Степана Ившича – академика и крупного слависта. Мошин получил отпуск из Белградской русской церкви и был причислен к клиру Загребской православной сербской церкви Св. Преображения, где бывал ежевечерне, после работы в Академии. Годы работы в Архиве в Загребе были наполнены научным описанием, изучением и каталогизацией собрания славянских рукописей – кириллических, глаголических и латинских, а также подготовкой и воспитанием научных кадров. Для этого Владимир Алексеевич организовал при Архиве практические курсы по архивистике и палеографии. Была налажена консервация и реставрация ветхих рукописей. В это время в центре внимания В. Мошина – филигранология. Мошин завершил описание кириллических рукописей собрания Академии наук Югославии, и это “описание до сих пор остается образцом для археографов”³⁰.

Эта сторона деятельности русского ученого подробно и квалифицированно освещена в часто привлекаемой нами статье Р.В. Булатовой, лично хорошо знавшей Владимира Алексеевича, поэтому мы обратим внимание на содержание исторических работ Мошина этих лет. В центре внимания ученого по-прежнему находятся связи Руси – России с южными славянами: “Переписка русского самозванца Ивана Тимошки Акундинова с Дубровником, год 1648”³¹, “К истории взаимоотношений русской и южнославянской письменности

сти”³², “Из истории сношений Римской курии, России и южных славян в середине XVII века”³³, “К вопросу о периодизации русско-южнославянских литературных связей в X–XV вв.”³⁴

Как видим, работы В.А. Мошина часто печатались в СССР, и его имя было хорошо известно специалистам, хотя не все его утверждения принимались научным сообществом. В эти годы ученый больше внимания уделяет средневековой культуре и проблемам взаимовлияния: “Всякий раз, обращаясь к нашей средневековой истории – изучая государственное устройство, исследуя фрески или грамоты, читая апокрифы и агиографическую литературу, сталкиваясь с влиянием Византии на наши народы...”³⁵ Это общее византийское наследство было основным сближающим фактором во взаимоотношениях России и южных славян.

Участвуя в 1958 г. в работе IV Международного съезда славистов в Москве, где проблема межславянских литературных связей была одной из ключевых и ей были посвящены два больших доклада – Н.К. Гудзия и Д.С. Лихачева, Мошин оказался одним из активных участников обсуждения. Для позиции Мошина характерно стремление “увязать основные моменты смены литературных направлений не только с взаимным влиянием, но и с конкретными условиями исторической действительности в определенные хронологические периоды”³⁶.

В.А. Мошин, прекрасно зная южнославянские источники, европейскую литературу, стремился избежать в исторических исследованиях скоропалительных обобщений, навеянных современностью. Так, он предостерегал от преувеличения влияния болгарской литературной традиции на Русь, изучения явлений культуры вне общеисторического контекста. Он пишет, что представление о Болгарии в XIV в. как об “огромном центре, через который проходило византийское влияние в Сербию и Россию, центре, в котором это византийское влияние получило свою славянскую окраску...”, высказанное Д.С. Лихачевым в ряде работ этих лет, “кажется нам в значительной мере односторонним”. Далее Мошин приводит серьезные аргументы в пользу своей позиции: “Прежде всего потому, что именно для XIII и XIV вв. наиболее характерной чертой в области южнославянской письменности является чрезвычайно близкая связь между сербской и болгарской культурной жизнью”. Более того, Мошин напоминает, что в рассматриваемый период посредническая роль Болгарии для связей Сербии с Византией была совершенно не нужна, так как “политически и династически сербы были более связаны с Византией, чем болгары”. Следует говорить о “живой культурной связи всех славянских Балкан”³⁷. Далее историк приводит убедительные факты культурного взаимодействия сербских земель и Руси.

Особенно ценным нам представляется развитие Мошиным на материале изучения письменных памятников размышлений

Н.Л. Окунева о культуре славян XIII–XIV вв., сделанных на основе изучения памятников архитектуры и живописи. “Здесь в то время из романских, византийских и восточнохристианских элементов формируется свой оригинальный стиль, аналогии которому можно найти только в стиле итальянского искусства преддзоттовского периода”³⁸. Мошин продолжает мысль коллеги: “Тогда, а не во второй половине XIV в., создается и новый литературный стиль на славянских Балканах. Этот стиль рождается в условиях общего духовного брожения в эпоху возрождения политической и культурной независимости южных славян после 200-летнего византийского ига в естественной связи с рождением новых условий в общественной, экономической, политической и церковной жизни, формируется на базе восстановления православно-славянской письменности Кирилло-Мефодиевского, Преславско-Охридского и Киевского периодов, под сильным воздействием переводной византийской аскетической литературы и под рядом других влияний, которые ввела на Балканы международная политика Неманичей и Асеней”³⁹. Знания и опыт В.А. Мошина позволяли ему существенным образом расширить представления коллег о процессах, происходивших в средние века на Балканах.

К рубежу 50–60-х годов относятся сохранившиеся в фонде Богатырева письма к нему Мошина, которые свидетельствуют о его включенности в контекст советской исторической науки этих лет⁴⁰. 26 февраля 1957 г. Мошин благодарит в письме Петра Григорьевича за книгу “Русское народное поэтическое творчество” и за “Палеографию” Черепнина. Связь с Москвой осуществляется через Институт славяноведения и через Москаленко. Мошин посылает отклик своей статьи “Филигранология” и сообщает о работе над альбомом водяных знаков, который им готовится к печати.

В письме от 10 января 1960 г. Мошин пишет: “У нас пока благополучно. Работы много – принял на себя большую задачу систематического описания южнославянских рукописей для Археографической комиссии Министерства в Белграде... мало времени для самостоятельной научной работы... Институт истории вновь обратился ко мне с просьбой принять на себя курс кирилловской палеографии на ежегодных курсах... и я согласился... Мне эта работа приятна, а я все раздумываю о составлении южнославянской кирилловской палеографии, о чем многие просят, м.б. возьмусь...”

В письме от 25 августа 1960 г. Мошин благодарит за “прекрасную книгу “Эпос славянских народов”. Хорошо переведены сербские народные песни – с одной стороны вполне по-русски, с другой – сохранен дух сербской эпики...” В этом письме к Богатыреву В. Мошин сообщает важные сведения о себе, что “после ухода на пенсию” он иначе располагает своим временем и ему удалось хорошо поработать “два месяца в Дубровнике, где занимался водяными знаками XVI–XVII вв., в Черногории и на Косово”, где он описывал рукопи-

си в Савине, Никольце и Грачанице. Осенью Мошин собирался быть в Москве и Ленинграде и выступить с докладом о периодизации русско-южнославянских связей, который будет ответом “на доклады В. Виноградова, Гудзия, Лихачева на московском съезде”.

В 60-е годы Мошины довольно часто бывают в СССР. В Ленинграде проживала сестра Владимира Алексеевича, появилось у него и много новых молодых друзей. Благодарная память Н.А. Дворецкой сохранила для нас как письма Владимира Алексеевича этих лет, так и его облик. “Я дежурила в читальном зале (Отдела рукописей ГПБ), когда вошел небольшого роста немолодой уже человек, во всей фигуре которого обращала на себя внимание энергия, собранность, решительность и деловитость, и был он как-то по особому предупредителен и вежлив. Мне показалось, что во всем его облике чувствовалась какая-то сдерживаемая радостная взволнованность и в то же время некоторая настороженность... Наш новый читатель приехал из Югославии, это был очень крупный деятель архивной работы там и ученый-славист с мировым именем”⁴¹.

Из переписки с Н.А. Дворецкой становится ясно, что несмотря на внешне благополучную научную жизнь в Югославии Владимир Алексеевич тосковал по родине, считал себя частью русского научного сообщества и, в силу сложности своего положения и постоянно преследовавших его и воздействовавших на его личную судьбу изменений во взаимоотношениях СССР и Югославии, часто был лишен возможности активного участия в международной научной жизни. В письме от 7 апреля 1967 г. Мошин пишет: “Спасибо Вам за сердечное и милое письмо с приветами из дорогого, родного города, от его морского воздуха, чарующей набережной, весеннего жасмина... Много у Вас пишут ценного и интересного, и временами жалеешь, что как-то далеко от Вашего научного потока и что нет времени всем интересоваться. Я на себя много-много заданий набрал, а сколько лежит начатого и ненаписанного. Да так и останется... Хотелось южнославянскую палеографию написать – давно от меня ее ждут, и о хронологии южнославянской массы материала собрано, о сфрагистике много набросков сделано, да и отдельных тем так много было, которые не довел до конца. Но я не жалею... Давно уже не был на Родине – зовут меня снова в гости родные, но как-то на ближайшее будущее не могу строить планов. От многого приходится отказываться. В прошлом году не смог поехать в Оксфорд на византологический съезд, ни в Софию, ни в Италию. И этой осенью нужно будет в Оксфорд ехать, а снова не уверен, смогу ли...”⁴²

К этому времени В.А. Мошин, проработав в загребском архиве 12 лет, вынужден был оставить свой пост и вернуться в Белград. Биограф Мошина, Р.В. Булатова справедливо отмечает в связи с этой переменной: “Думается, что такой поворот в судьбе обернулся для науки большой удачей, потому что именно в Бел-

граде Владимиру Алексеевичу удалось создать свою археографическую школу, коллектив учеников и последователей, которые с успехом продолжают развивать идеи и дело своего учителя и по сей день”⁴³.

Именно в этот период совместно с единомышленниками В.А. Мошин разворачивает “гигантскую работу по выявлению и изучению древнего кириллического рукописного наследия... В процессе огромного поискового, описательного и издательского труда Мошин разработал целый ряд теоретических и методических посылок, открывших новые, более четкие принципы датировки, локализации и атрибуции рукописных памятников”⁴⁴. Сами его ученики рассматривали “школу Мошина” как “разработку и применение методологических основ великих русских палеографов – Щепкина, Карского и Кульбакина...”

В жизнь Владимира Алексеевича, после шести лет плодотворнейшей работы в Отделе рукописей Народной библиотеки, снова вмешивается политика – в результате партийных интриг и политических спекуляций он был вынужден покинуть Белград. В третий раз уже после 1945 г. ему приходится разворачивать работу по созданию нового центра археографических исследований – на сей раз в Скопье. С 1967 г. в течение последующих 20 лет Мошин работал в Македонии. Условия, в которых ему пришлось начинать, были в прямом смысле “полевые”. После страшного землетрясения Архив ютился в бараках, а у Владимира Алексеевича был один стол и единственная сотрудница. Но его научный энтузиазм и человеческая воля и обаятельность вновь привлекают к нему молодежь, он вновь читает курсы по палеографии, готовит описания собраний рукописей. Неоценимым подарком македонскому народу стало издание Мошиным “Дипломатического корпуса” материалов по истории македонского народа. Это было тем более сложно, что этот народ всю свою историю находился под суверенитетом соседних мощных государств – Византии, Болгарии, Турции и Сербии. В подходе Мошина к подготовке этого фундаментального издания сказались весь его научный опыт и человеческая умудренность. В своих воспоминаниях он писал: “Основная проблема самой возможности существования такого собрания актов государственного значения для истории народа, находившегося на протяжении веков под чужеземной государственной властью, находит свое оправдание в современном понимании исторического процесса человеческих обществ, изучаемого не со средневековой точки зрения владычествующих династий... территория и народ остаются константными, сохраняя свою исконную историческую самобытность при переменчивости третьего фактора – власти”⁴⁵. Думается, что перед мысленным взором ученого вставал не только опыт Македонии, но и собственной Родины, народ которой “сохранял историческую самобытность”, несмотря на переменчивость власти.

В конце 60-х – 70-х годах в переписку с В.А. Мошиным вступил В.Т. Пашуто, в эти годы приступивший к сбору материалов о русских историках-эмигрантах. Материалы этой переписки были опубликованы в уже посмертном издании незаконченного труда В.Т. Пашуто. Владимир Алексеевич высоко ценил усилия Пашуто по собиранию архивов эмигрантов и возвращению их научного наследия на родину. Встретив в работах Пашуто ссылки на свои статьи, он пишет: “Приятно, что они вошли в оборот родной науки на Родине”⁴⁶. Пашуто придавал большое значение сведениям, полученным от своих корреспондентов, обращаясь к ним с просьбой рассказать о научной работе. “Простите, что донимаю Вас такими вопросами, но Прага, Белград, Париж – главные центры, оказавшие наибольшее влияние на международную историографию”⁴⁷.

Материалы писем позволяют лучше представить себе последние годы жизни В.А. Мошина. Живя в Скопье, он не разрывал научных связей с Загребом и Белградом, часто читал там лекции, вел археографическую работу. Просто поражаешься энергии и работоспособности 80-летнего ученого.

«Очень я в разгоне с работой, издательством, лекциями, с постоянной кочевкой между Загребом–Белградом–Скопье, а тут еще и здоровье подгадило – пришлось полежать в больнице из-за желчного пузыря с сердцем. Но сейчас – благополучно... Весь июнь будем с женой в Скопье, где у нас будет гостить одна ученая дама из Голландии... в июле и августе, вероятно, мы один месяц проведем на Охридском озере, на отдыхе, а вместе с тем и на организации музея славянской письменности и эпиграфики, а другой месяц – я в Дубровнике на подготовке второго тома Дипломатария, а Ольга Яковлевна в Загребе... В сентябре мы предполагаем быть в Москве и Ленинграде, а в октябре мне нужно побывать в Тырново на симпозиуме...

Что касается здешних воспоминаний о наших историках, то возможности собирания этого материала с каждым днем уменьшаются, поскольку мои современники каждую неделю умирают один за другим, а остающиеся понемногу впадаем в детство. Более молодое поколение – ученики приехавших сюда русских ученых (Унбегаун и др.) почти все уехали на Запад. Если приедете, то кое-кого м.б. еще найдем для разговора, а “на архивы” у меня большой надежды нет...»

Все, что хотел рассказать современникам и потомкам В.А. Мошин, он доверил своим “Воспоминаниям”. Скончался В.А. Мошин в 1987 г., похоронен рядом с супругой в Македонии, в Скопье.

Неоценимым представляется материал переписки Мошина с Пашуто, до сих пор полностью не опубликованной. Письма 70-х годов передают атмосферу, в которой жил и напряженно трудился Владимир Алексеевич, очерчивают круг его научных интересов, столь близких В.Т. Пашуто.

- ¹ “Воспоминания Академика, протонерея Владимира Мошина” цит. по изд.: *Косик В.И.* Русская церковь в Югославии (20–40-е гг. XX века. М., 2000. С. 178–179 (Прил.). Далее в скобках даются ссылки на страницы данного издания.
- ² Материалы переписки В.А. Мошина с А.В. Флоровским подробно освещены в ст.: *Аксенова Е.П.* Русские ученые-эмигранты первой волны в Югославии (по материалам архива А.В. Флоровского) // *Русская эмиграция в Югославии.* М., 1996. С. 148–166.
- ³ Там же. С. 151.
- ⁴ *Југославенска Њива.* Загреб, 1925. Кн. 11.
- ⁵ Сборник в честь на Васил Златарски. София, 1925. С. 157–162.
- ⁶ Профессорски гласник. Београд, 1926. С. 379–380.
- ⁷ *Slavia.* 1927. С. 763–781.
- ⁸ Сборник Русского Археологического Общества в Белграде. 1927. Т. 1. С. 41–60.
- ⁹ *Slavia.* 1931. R. X. С. 109–136, 343–379, 501–537.
- ¹⁰ *Byzantinoslavica.* 1931. Т. III. С. 37–58, 285–307.
- ¹¹ *Артамонов М.И.* История Хазар. 2-е изд. СПб., 2001. С. 53.
- ¹² *Медведев И.П.* “Порекомендуйте меня Мошину”: (Из переписки В.А. Мошина и В.Н. Бенешевича) // *Русь и южные славяне: Сборник статей к 100-летию со дня рождения В.А. Мошина (1894–1987).* СПб., 1998. С. 144–149.
- ¹³ Там же. С. 145.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Речь идет о кн.: *Коковцев П.К.* Еврейско-хазарская переписка X века. М.; Л., 1932; и о статьях Е.А. Рыздзевской по проблемам Древней Руси и Скандинавии и историографии этих вопросов.
- ¹⁶ *Медведев И.П.* Указ. соч. С. 147.
- ¹⁷ Там же. С. 147.
- ¹⁸ *Аксенова Е.П.* Русские ученые-эмигранты первой волны в Югославии. С. 148–166; *Она же:* Из переписки В.А. Мошина с А.В. Флоровским // *Русь и южные славяне.* СПб., 1998. С. 134–143.
- ¹⁹ Цит. по: *Аксенова Е.П.* Из переписки В.А. Мошина с А.В. Флоровским. С. 135–136.
- ²⁰ *Мошин В.А.* Кондаков и Кондаковски институт: Поводом десетогодишнице смрти Н. Кондакова и постојанн а Института // *Југословенски исторични часопис.* 1935. № 1. С. 755–757.
- ²¹ Цит. по: *Русь и южные славяне.* С. 137.
- ²² *Булатова Р.В.* Основатель югославской палеографической науки В.А. Мошин // *Русская эмиграция в Югославии.* С. 184–185.
- ²³ *Соловьев А., Мошин В.* Грчке повел е српских владара. Београд, 1936. С. 537.
- ²⁴ См. об этом: *Живоинович М.* Владимир Алексеевич Мошин как историк Афона // *Русская эмиграция в Югославии.* С. 74–182.
- ²⁵ Там же. С. 177.
- ²⁶ См.: *Byzantinoslavica.* 1947. Т. IX. С. 55–85; 1950. Т. XI. С. 32–60; Сб. РАО в Королевстве Югославия. Белград, 1940. Т. III. С. 125–167.
- ²⁷ *Мошин В.* Воспоминания... С. 197–198.
- ²⁸ Там же. С. 199.
- ²⁹ Архив РАН. Ф. 1631 Богатырева П.Г. 1893–1971. Оп. 1. Ед. хр. 13.
- ³⁰ *Булатова Р.В.* Основатель югославской палеографической науки В.А. Мошин // *Русская эмиграция в Югославии.* С. 188.
- ³¹ *Историјски зборник.* Загреб, 1952. Т. IV. С. 71–84.
- ³² *Славяне.* М., 1958. № 1.
- ³³ *Международные связи России до XVII века.* М., 1961. С. 491–511.

- ³⁴ ТОДРЛ. 1965. Т. 19. С. 28–106.
- ³⁵ Цит. по: *Живоинович М.* Владимир Мошин как историк Афона. С. 174.
- ³⁶ *Мошин В.А.* О периодизации русско-южнославянских литературных связей // *Русь и южные славяне.* М., 1998. С. 9–10.
- ³⁷ Там же. С. 95–97.
- ³⁸ *Окунев Н.Л.* Некоторые черты восточных влияний в средневековом искусстве южных славян // Сб. в чест на Васил Н. Златарски. София, 1925. С. 229–251. Цит. по: *Русь и южные славяне...* С. 94.
- ³⁹ Там же. С. 94.
- ⁴⁰ Архив РАН. Ф. 1651. Оп. 1. № 361: Письма В.А. Мошина к П.Г. Богатыреву. Письма публикуются впервые.
- ⁴¹ *Дворецкая Н.А.* “Всего, всего доброго. Ваш В. Мошин” (Публикация писем) // *Русь и южные славяне.* С. 126–127.
- ⁴² Там же. С. 130.
- ⁴³ *Булатова Р.В.* Указ. соч. С. 189.
- ⁴⁴ Там же. С. 191–192.
- ⁴⁵ Там же. С. 195.
- ⁴⁶ *Паиуто В.Т.* Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. С. 301.
- ⁴⁷ Там же.

ПУБЛИКАЦИИ

*

ПИСЬМА С.Ф. ПЛАТОНОВА П.Н. МИЛЮКОВУ*

№ 22

5 января 1891 г.

Получил Ваше письмо 5-го вечером, Павел Николаевич, и поэтому в Архив попаду не ранее 7-го. О Зоенбом'е справляется в Академии Наук Форстен¹, к[ото]рый, если найдет, может по всей любезности учинить и справку, ибо знает по-шведски.

Прилагаю семьдесят пять (75) р. и жду доверенности на январский гонорар, к[ото]рый – 69 р. За письмо и за сведения о Зерцалове благодарю: учить его я буду, конечно, без грубости, но без возражений оставить его выходки не могу.

Кланяюсь супруге Вашей. Вам жму руку.

Ваш С. Платонов

Письмо это написал вчера, думая сегодня, 6-го, отправить его с деньгами, но сегодня, оказывается, почта закрыта: вышлю завтра, 7-го.

ГАРФ Ф. 579. Оп. 1. Ед. хр. 5388. Л. 34.

№ 23

9 января 91 г.

Сегодня, 9-го, послал Вам первый документ, к[ото]рый писан наспех и поэтому неказисто. Два листа не разобрано: одно в конце, в § 5, я читал второй, переписчик (студ[ент] Адрианов²) – которой. А велел затем первое слово § 6 сота^ены^х мы вдвоем прочли с отставных, но можно с натяжкой читать с остальных. Остальное у Адрианова сомнений не возбудило; это знающий и дельный студент, весьма бедный. Живет он подобными работами и рецензиями в “Ист[орическом] Вестн[ике]” и ЖМНПр.

Допустили меня в Архив без малейших формальностей, даже без прошения, вероятно, благодаря вице мундиру.

* Окончание. Начало см.: История и историки, 2002: Исторический вестник. М., 2002. С. 167–193. Публикация подготовлена В.П. Корзун и М.А. Мамонтовой.

Табели представляют собою сложные таблицы; их Адрианов хочет копировать на больших листах, точь в точь.

Как сделаться с его гонораром?

Жму Вашу руку

С. Платонов

Там же. Л. 35.

№ 24

21 января 91 г.

Посылаю Вам письмо Форстена и Типографский счет. Последний сначала был составлен на 362 р., но после некоторых дипломатических ходов принял настоящий вид. Счет Ваш, по-моему, такой: гонорар = $(158.20 + 83.20 + 117.70 + 68.20) = 427$ р. 30 к.; израсходовано: 75 р. и 1 р. 20 на почтовые издержки; осталось = 351 р. 10 к. Если покрыть типографский счет, останется 13 р. 35 к.; их достаточно будет для переписчика. Видя его быстроту, сметку и трудности почерков, я за себя дал бы ему 15 р. Здесь в Археографич[еской] Комиссии платят за 100 строк 40 к., при разгонистом письме. Всем этим руководитесь при своих соображениях и скорее пишите решение и по счету и о переписке.

Обстоятельное письмо – потом.

Ваши две главы (листов 6 с лишком, и большим лишком) Васильевский согласился пустить в марте с тем, чтобы последнюю, седьмую главу печатать в мае. Апрель занят статьями, которые тоже стремились в марте, но уступили Вам. Согласны ли Вы на это? Сколько еще будет “приложений”?

Поклон супруге Вашей

Ваш С. Платонов

P.S. Не ошибаюсь ли я, считая 7-ю главу последней?

Там же. Л. 36.

№ 25

24 января 1891 г.

Если Вы, Павел Николаевич, санкционировали счет, то верните типографский счет “для учинения на оном росписки” в уплате, и я его оставлю с Вашего позволения у себя для того, чтобы и будущие счета контролировать с его помощью. Не написали Вы ничего о том, не много ли 15-ти рбл. переписчику. Согласие на эту цифру еще не свидетельствует об удовольствии Вашем: если Вы думаете, что это много, то можно предложить ему и меньше.

Поздравляю Вас: Академия сегодня поручила Вам отзыв о книге Лаппо-Данилевского, поданной на Уваровскую премию. До 1-го мая авось успеете написать печатный лист и поэтому не отказывайтесь. Это, по общему мнению, почетно и поэтому я радуюсь за Вас.

Как видите, в С[анкт-]П[етер]бурге Вы котируетесь хорошо и, конечно, догадаетесь, кто назвал Вас в Академии.

На днях снова станет вопрос о Лицее, и я уже опять успел убедиться, что вряд ли мне удастся отстоять там Евг. Францевича, за к[ото]рого я подавал свой голос в августе. Искренно скажу: с удивлением вижу, что ему не везет, и не знаю, почему. Вы знаете, что я до него не охотник, но оказывается, что я думаю о его ученых достоинствах лучше, чем большинство. А если его не возьмут в Лицей, я, за Вашим отказом, не назову никого. Это все не разглашайте: и в Лицее не все знают, что я на отлете, что и подал повод там заговорить о моем “повышении” в члены совета.

У меня и жены к вам просьба. Сестра жены, Софья Николаевна, в данную минуту не пристроена. Не услышите ли о каких-нибудь уроках в Москве или провинции? Если услышите и назовете ее, делаете доброе дело. Она — человек хороший и уже раз успела ужиться и довести до результата дело в одном доме. Думаю поэтому, что назвать ее, как кандидатку, не составит риска. Адрес Шамониных известен в гимназии Фишера.

На днях Чечулин читал вступительную лекцию в курс мемуаров XVIII века. Лекция очень похожа на него самого и на все, что он писал, встречена была аудиторией с сочувствием, но без энтузиазма. Лаппо-Д[анилевский] очень занят и наше знакомство существует лишь в воспоминании: кроме ближайших знакомых, он нигде не показывается. На лекции Чечулина я его видел мельком и не успел узнать его мнение о лекции: их *jalousie de metier*³ просто комична, и поэтому мое любопытство простительно.

Знаете ли Вы, что и у нас начался “женский университет” в Соляном городке на подобии Вашего, но силы разные: Трачевский и М. Семевский⁴ сходят за историков и связи с университетом у этого женского университета мало, а порядка, системы там и вовсе нет.

Письмо прерывается вследствие нашествия гостей. Возобновится с 1-го, не раньше: близок выход книжки.

Жму Вашу руку. Супруге низкий поклон.

Ваш С. Платонов

P.S. Возобновив интерес к мятежу 1648 г.⁵, я кое-что подобрал для рецензии на Зерцалова и могу поднести ему еще один памятник, ему не известный. Возня с этим отвлекала от Иловайского и поэтому не в феврале, а в марте я буду иметь честь напечатать ему комплименты.

Ждем университетского совета и ректорского дебюта. Никитин прекрасный человек, но не имеет ни малейших средств для успеха в ректорской шкуре, а встретят его, конечно, не радушно; но, произойдет ли конфликт, сказать трудно.

На днях конфликтован II том Екатерины Бильбасова⁶ и предприятие это оставлено. Бильбасов, говорят, объяснял дело в письме Го-

сударю. Цена I тома дошла здесь до 50 р. Вы, конечно, знаете, что дело решалось в Комитете министров.

Еще раз жму Вашу руку.

С. Платонов

P.S. Сообщу Вам по секрету: А.И. Маркевич сообщал мне, что он не усомнился бы сделать попытку признать Вашу работу докторской, если бы она была подана в Одессу. То, что VII гл[ава] не последняя, меня трогает мало, но очень интересует вопрос, когда Вы кончите. После апреля что будет: июнь или вообще лето, или же осень? Вот хорошо бы было, если бы Вы, хотя и гадательно сообщили Ваши сроки. Я хотел бы “удалиться от дел” на первую половину лета и поэтому хорошо бы было не помещать Вас в июле. Если и при мне попадают опечатки, то без меня их у Вас будет вдвое.

На всякий случай адрес Шамониных: у Храма Спасителя меблированные комнаты бояр.

Это письмо написано в три приема; поэтому оно – из рук вон... не взыщите!

Там же. Л. 37–40.

№ 26

31 января 1891 г.

Я никак не думал, чтобы Вы не угадали Вашего друга – академика. Это, Павел Николаевич, – не Бестужев, который рекомендует только тех, кого он “любит”, а не тех, кому он “отдает справедливость”, каковы и мы с Вами. Ваш академик Васильевский, и он будет смущен, если Вы будете его благодарить. Однако, если чувствуете потребность, напишите ему. Бестужев никуда не выходит и в заседании Уваровской комиссии не был.

Ваш счет пришел ко мне в то время, когда я только что вернулся из Типографии. Туда мне теперь незачем ехать недели полторы. Ничего, если я до первого дела оставлю счет без движения? Думаю, что это все равно и для типографии.

Сегодня Вам посланы 12 гранок.

Брикнер⁷ выслуживает пенсию. Что Вы думаете на счет этого? Или Вы отрекаетесь от всего, что не Москва? (позволю себе пошутить). Моего мнения пока здесь нельзя высказывать, а то я бы указал на Вас.

Ваш С. Платонов

P.S. Переписчику уплачено 15 р. Я действительно заподозрил Ваше удовольствие по этому поводу, но не обобщайте факта. О Шахматове⁸ дошли слухи. Васильевский был с ним очень мил, но отклонил статью, как сплошную гипотезу. Так, по крайней мере, я понял.

Там же. Л. 41–42.

17 февраля 1891 г.

Ну-с, и я вступил в всероссийский скандал с книгою новейшего историографа от старого Пимена! Возня с ней моя прогремела и в “Русских Ведомостях”⁹, где не нашли ничего лучшего, как неумело сократить дурацкий отчет “Новостей”. Если после этого отчета “Новостей”¹⁰ Иловайский прочтет рецензию Кизеветтера и с ним сделается удар, я не буду удивлен...

Занятый рецензией, я не писал Вам давно. Деньги в Типографию уплачены, 7 оттисков Вам высланы, а дальше по ошибке Типографии не сделано, и это мне очень досадно. Здесь я никому, кроме Дьяконова, оттиска не оставил и не знаю, хватит ли Вам семи штук. Оправдание Типографии – в ужасной февральской книжке, которая всем пришлось очень солоно, многое запутала.

Высылаю Вам корректуру Приложений. Это и конец их? Будьте добры, напишите на отдельном листке, чего Вы не получили от Типографии и что желаете получить. Теперь вышлетсЯ без замедления.

Раскройте мне один секрет: кто в 1886 г. в “Русской Мысли”¹¹ писал рецензию на полемическую книжку Иловайского о начале Руси? Ключевский ли? Я уже давно хочу просить у Вас этой откровенности.

Узнал я новость: на пространстве года откроются вакансии Брикнера, Антоновича^{11а} и Перетятковича¹², и все три будут, вероятно, замещены северянами, т.е. нами и москвичами, если оные соблазняются. Здесь недавно был, а может быть, и есть молодой Фирсов¹³, казанский магистрант: любопытный человек. Когда он будет у Вас в Москве, присмотритесь к нему, к тому отпечатку безшколия, к[ото]рый на нем лежит.

Я решаюсь оставить при ун[иверсите]те одного юношу и даже сам страшусь такой храбрости, утешая себя тем, что юноша подает несомненные надежды. Вопрос о нем в настоящее время ужасно меня занимает, именно с точки зрения “школы”, которой у нас по русской истории собственно не было. А раз за собою не чувствуешь силы вышколить человека, страшно толкать его на науку, будить надежды и плодить работников “без руля и без ветрила”.

Жму Вашу руку и низко кланяюсь жене Вашей.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 43–44.

[между 17 февраля и 1 марта 1891 г.]

Пишу Вам, Павел Николаевич, под сильнейшим впечатлением сегодняшних разговоров и под неперменным условием сохранения

строжайшего секрета. Только при этом условии я и получил согласие немедленно написать Вам.

Я (да и все здесь) смотрю на Вас, как на законного преемника Ключевского, и желаю Вам от души не потерять московской кафедры. Поэтому я предоставляю Вам полную свободу в обсуждении нижеследующего: Вам самому виднее.

На днях я категорически заявил в Лицее о своем уходе и рекомендовал с особым ударением – Шмурло. Меня удерживали, жалели, но Шмурло взять не хотят, как и Лаппо. У них на это свои причины, к[ото]рые вряд ли мне откровенно сказаны. Как бы то ни было, но сегодня речь зашла о Вас. Вас хотят и обещают дать 800 р. за 3 лекции в неделю (а когда будете доктором, то 1.200) и за 10 уроков 1.250 р.; всего же на первый раз 2050 р. Лекции – с Петра В[еликого], уроки в объеме гимназического курса. Служба в VII кл[ассе]. Если бы Вы взяли это, я немедленно – с осени – передаю Вам 4 лекции на Курсах по 200 р. – Итого, стало быть, 2850 р. за 17 часов в неделю.

Ваше дело рассудить, стоит ли менять университет на Лицей, носящий и в высших классах характер среднего учебного заведения, и утешаться прелестной обстановкой лекций на Курсах, или же ждать кафедры в Москве, или же принять приглашение в один из южных университетов, где скоро будут вакансии. Само собою, здесь Вы можете читать в университете.

Подумайте, если в принципе согласитесь, не худо на Пасхе приехать сюда (конечно, в мою квартиру), повидаться, поговорить и решить окончательно. Я грустил бы за Вас, если бы Вы безвозвратно потеряли московскую кафедру, но радовался бы возможности видеть Вас с собою на курсах, куда не могу провести Шмурло, не хочу – Лаппо и не сумею кого-либо другого при здешних.

Ваш С. Платонов

P.S. Кедров хлопочет об оставлении при Ун[иверсите]те и просил Вам кланяться и сказать, что “Кедров сбился было с пути, но одумался”.

Там же. Л. 91–92.

№ 29

1 марта 1891 г.

В этом письме я буду совсем откровенен. Я не считал себя в праве за Вас решать, годится или нет для Вас предложение выйти в Лицей. Я передал Вам то, что мне говорили, и с своей стороны готовностью рекомендовать Вас на Курсы желал заявить, что, если Вы перейдете в П[ете]б[ург], то во мне найдете не врага, а друга. Теперь же, когда Вы требуете сведений, я вместе с ними скажу Вам и мнение.

Лицей управляется Директором (Гартман) и двумя Инспекторами: воспитанников (Врангель) и классов (Коркунов). Около них есть олигархический Совет из немногих “профессоров” (Янсон, Сергиевский, Бершадский). Вы будете иметь дело только с Коркуновым; это – порядочный человек. Гартман и Врангель для Вас будут декорацией (второй – неприятною), а “Совета” Вы в глаза не увидите. Ваше дело будет – придти, прочесть лекции, дать уроки и уйти. При этом условии можно держаться поодаль и независимо (я за 5 лет не всех там знаю по фамилиям). Беда – не в учительской, а в классах. Бывают классы хорошие: один я вспоминаю даже с удовольствием; но большинство – дрянь. От преподавателя зависит держать их в руках, но университетской аудитории и там не будет. Мне за лекцией раз пришлось одного выгнать вон, а с чтением в аудитории книг приходится мириться, раз читают “потихоньку”, “прилично”. Вот почему я Лицей оставляю с удовольствием, хотя, говорят, я и умел держать аудиторию в должном решпекте. У других же класс превращается в “кабак”: делают что хотят. Если на Вас имеет влияние настроение аудитории, если Вы смотрите на лица во время лекции, – взвесьте изложенное серьезно. Я счел нужным упомянуть в первом письме о том, что Лицей “среднее” уч[ебное] заведение; разумно, что Вас там будет ждать забота не только о науке, но и о дисциплине. Закончу тем, что – преподаватели ничем, кроме ссудосберегательной кассы, не объединены и не связаны между собою; отношения определяются по случайным встречам в учительской.

Зато Курсы буду только хвалить.

Это сведения. А мнение мое вот каково. В душе я ждал Вашего отказа и был бы ему рад за Вас. К чему Вам рвать с факультетом и с Москвой, если есть возможность жить дома и надеяться на промоцию? Уж если изменять Москве, то для университета. В Одессе и Киеве будут кафедры, и я знаю, что Вас не обойдут здесь сильными рекомендациями, особенно в Киеве, люди, благорасположенные к Вам, “академики”. Здесь же в университете мудрено будет Вам устроить экстраординатуру раньше Форстена и даже идиота Шукарева¹⁴. А сладко ли будет Вам (и мне, поклоннику Москов[ского] ун[иверсите]та), если после Ключевского посадят, например, Лихачева или иного чужака в силу того, что Вы сами уехали из Москвы?

Не знаю, на сколько все это подействует на Вас; но я очень много думал над Вашим делом и говорил с Васильевским, с которым удивительно сошелся в том, что встретить Вас здесь следует радушно, но не следует радоваться встрече, памятуя Ваши интересы.

Кстати: Шмурло знает все это дело, как его заглазный участник, и не считает себя кандидатом в Лицей, ибо имеет сильную надежду к осени уехать из П[етер]б[урга] на кафедру in partibus infidelium¹⁵. Но пусть сам сообщает Вам свои секреты.

А все таки – когда ждать конца Вашего Левиофана и на какой месяц записать начало этого конца. Высылайте доверенность на гонорар и пишите, какую его часть выслать Вам (или хотите весь?).

Жму Вашу руку. Пишите.

Ваш С. Платонов

P.S. Выслал Вам листы из Марта. Оставьте у себя.

Сторожеву¹⁶ послал корректуру рецензии на Иловайского в день выхода ее в свет, т.е. сегодня.

Там же. Л. 45–46, 97.

№ 30

10 марта 1891 г.

Не знаю, Павел Николаевич, как Вы посмотрели на выход мой из нейтралитета; но я и теперь совершенно искренно и без всякой задней мысли думаю, что если есть возможность держаться и работать в Москве, не следует оттуда ехать. Если же надумаете ехать в П[етер]б[ург], во мне найдете полного доброжелателя. Повторив этот свой тезис, приступлю к ответу. Шмурло едет в Дерпт, а в Киев вакансии закрыта назначением Антоновича на 5 лет; откроет ли ее Иконников и когда, не знаю: он кажется, тоже начал 5-летие. Остается для Вас Одесса, где, говорят, Перетенкович не останется после 25 лет, – или П[етер]бург. Из П[етер]б[урга] в Москву будет труднее перебраться, чем из Одессы, ибо, если Вы не станете приват-доцентом здесь, Вы выйдете из М[инистерства] Нар[одного] Пр[освещения] в другое ведомство. Хотя Лицей дает “великолепные” награды (тайного советника!) и хорошую пенсию, но он отдалит Вас от университетов, если Вы предадитесь исключительно ему, и затруднит переход в университет. В этом отношении из Одессы переход в Москву, простой переход с кафедры на кафедру, будет естественнее, законнее, легче. Если же в П[етер]б[урге] Вы будете читать в университете и надеяться на экстраординатуру, то этим не мешаете Лаппе: (у него профессура в Филологич[еском] Институте с осени), но будете бороться со всеобщими историками, достигнете не скоро; зато ближе станете к Москве фактом приват-доцентства. Вывод: Одесса лучше П[етер]бурга с одним Лицеem, но равна П[етер]бургу с Лицеem и университетом.

Это – сфера служебная; а нравственная обстановка дела, мне кажется, такова: насколько возможно, я бы цеплялся за свой университет и отстал бы от него только в том случае, если бы мне предстоял переход на университетскую же кафедру. Так, кажется, думаете и Вы; я дополнил эту мысль только тем соображением, что на Вас здесь все смотрят, как на заместителя Ключевского; и в Москве, кажется, есть этот взгляд (о Якушкине в этом смысле я от Москвичей

не слышал). Поэтому Вам с особенным вниманием следует присмотреться к делу, прежде чем решаться на “измену”.

Ваш гонорар 173 р. 20 к. получен. Присылайте, если можно, поскорее дальнейшие приложения: почти целый лист ждет в Типографии конца и потому не печатается.

Кажется, Сторожев не доволен моею рецензией на Иловайского. Он прислал мне длинейшее письмо – даже с упреками. Статья Кизеветтера очень уж безжалостна и бьет даже незаслуженно по некоторым сторонам книги. Что-то с ним сделает Иловайский?

Жму Вашу руку

С. Платонов

P.S. Не откажите сообщить, в каком направлении выскажется Виноградов¹⁷; м[ожет] б[ыть], это и нескромность, но, мне кажется простибельная.

Там же. Л. 47–48.

№ 31

[между 10 марта и 11 апреля 1891 г.]

Отзыв Виноградова меня весьма удивил: неужели Ваши шансы в факультете представляются ему столь малыми?! Так как Васильевский знает все это дело, я ему сообщил направление Виноградовского мнения: хотите знать его мнение? Вот оно дословно: “Относительно Милюкова удивляюсь теперь не только ему, но и Виноградову и, право, не понимаю московских порядков и воззрений. Ужели кафедрой Р[усской] истории там распоряжается и будет распоряжаться самодержавно один Ключевский? Ужели Ключ[евский] будет руководиться личными отношениями? и т.д. Наконец, если Милюков не получит кафедры в Москве, то он мог бы рассчитывать на Киев или Одессу; конечно, ему нужно быть в Университете, но только не в Петербургском, в котором уже достаточно своих вполне достойных людей. Без мысли об Университете Лицей для Милюкова мало имеет смысла, а наш университет, кажется, в нем не нуждается”.

В виду того, что Васильевский не уполномочил меня передавать Вам его слова, я делаю нескромность и прошу Вас не употребить ее во зло. Делаю нескромность потому, что она поставит Вас в известность, что влиятельные лица нашего факультета не будут за Вашу натурализацию у нас. Это новость и для меня самого. Васильевский Ваш полный благодетель и за Ваши интересы станет, ручаюсь, – но, оказывается, не здесь. Примите это в расчет для будущего, когда Вам полезно будет иметь его за себя для московской или иной кафедры. Я теперь настаиваю на старом: Одесса лучше С[анкт-]П[етер]б[урга] без университета, а С[анкт-]П[етер]б[ург] с университетом вряд ли, как видно теперь, устроится.

Перепечатка Вашей странички (53-й) отложена: если делать теперь, потеряют до брошюровки оттиски. Страничка цела, у меня.

Пишите; что надумаете?

Ваш С. Платонов

Книга Ламанского издана нашим факультетом. Постараюсь добыть и вышлю – ему. Денежные поручения исполню.

Там же. Л. 81–82.

№ 32

14 апреля 1891 г.

Виноват я перед Вами тем, что давно не прилаживался писать Вам. Думал прежде исполнить Ваши поручения, но в этом осекся. О рукописях П[убличной] библиотеки узнать не удалось: я видел Бычкова только в ту минуту, когда Археолог[ическое] Общ[ество] подносило ему медаль; в это время нельзя было с ним говорить. Надеюсь узнать послезавтра, тогда и напишу хоть две строки. Что касается до поступления на Курсы, то нужно подать прошение с документами, как укажут, в Канцелярию Курсов, а главное – рекомендацию чиновного лица, т.е., лица “первых четырех классов” (точнее это трудно определить). Эта рекомендация может даже изъять кандидатуру из очереди и баллотировки, – если желающих будет больше, чем вакансий. Вообще же дело надо делать скорее, и если хотите, чтобы я помог, сообщите, кто она, где она и какой у нее чиновный знакомый имеется. Тогда я позондирую директора.

Ваш отказ меня порадовал тем обстоятельством, что вызван был объяснениями в Москве. Жесткого в тоне отзыва Васильевского не было ничего, не задумывайтесь над формой фразы. Что будут делать в Лицее, не знаю, но кажется, меня будут ублажать еще раз. Я не останусь, конечно. На Курсах я все взял себе (в лекции), чем произвел сенсацию. Лаппо выбран в Институте (Филол[огическом]) экстраорд[инарным] профессором, а Кедров причислен к нашему университету по его прошению, после моего отзыва, что он работает, но цели всего этого – довольно не ясны: он утверждает, будто ему надобно оставить уроки без потери служебн[ых] прав и уехать для работ за границу. Знаете ли Вы, что он составил было в Министерстве себе репутацию “головы”, был привлечен туда на службу, после чего, однако, обе стороны разочаровались?

Где Вы летом? Около 1 июня я на Волгу, около 15–20-го оттуда дня на три в Москву. Прежде думал было понюхать в архивах, но теперь на это не надеюсь. Работать для диссертации придется иначе в первое время досуга, т.е. во 2-й половине этого года: думаю читать публичные лекции и написать их как первую редакцию общей части будущей книги.

Ну-с, желаю Вам успеха в рецензии. Благодарим Вас за хлопоты о Софье Н. Шамониной, о чем до нас дошли вести. Поклон супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 49–50.

№ 33

16 апреля 1891 г.

Павел Николаевич! Вместо красного яичка позволено предложить Вам фотографию с подлинника Белозерской губной грамоты. Подарок идет от меня и В.Гр. Дружинина: я зацапал подлинную грамоту на время в свои руки, а В[асилий] Гр[игорьевич] ее снял.

Сегодня Бычков¹⁸ ускользнул из Библиотеки за минуту до моего прихода, так и не удалось ничего узнать.

Ваш С. Платонов

P.S. Когда будет готова, – грамоту, м[ожет] б[ыть], вышлю в гораздо большем масштабе.

Там же. Л. 51.

№ 34

[между 16 апреля и 13 мая 1891 г.]

Если, Павел Николаевич, Публ[ичная] Библ[иотека] не откажет Вам в рукописях, то может выслать их Вам только так поздно, что Вы их к середине мая безусловно не дождетесь. Поэтому на них Вам рассчитывать нет оснований: это не мнение, а положительный отзыв администрации библиотечной (с самим же Аф. Бычковым мне отсоветовали говорить).

Секрет наш о Лицейской кафедре в Москве разгласился и Кареев забил тревогу: как де он, член Совета в Лицее, не знает о переговорах моих с Вами. Он, конечно, не прав, даже юридически, и смешон. В Лицее, вероятно, будет Середонин, хотя Кареев и ставит своего кандидата против.

Ваш С. Платонов

Получили фотографию?

Там же. Л. 83.

№ 35

13 мая 1891 г.

Два слова, Павел Николаевич! Когда пришлете рукопись на июльскую книгу и пришлете ли? Нужны ли Вам Ваши деньги на лето? Если нет, я обращаю их в бумагу и спрячу на лето, уезжая из Пи-

тера; если нужны, я Вам вышлю их, только пишите до 22–23 мая. Об июльской же книге решайте немедленно.

Ваш С. Платонов

P.S. Около 20-го июня я буду в Москве. Увидимся? Напишите, будьте добры, мне адрес Ключевского.

Там же. Л. 52.

№ 36

7 июня 1891 г.

Кинешма на Волге

Вот откуда вещаю я Вам, Павел Николаевич, о времени своего приезда в Москву! Я наведуясь к Вам на Плющиху между 12 и 4 часами дня 21 июня (или – с гораздо меньшею вероятностью – 22-го). И сам не знаю, попрошу ли Вашего гостеприимства на одну–две ночи; первые часы во всяком случае придется с чемоданом провести у родных, чтобы свидетельствовать о родственных чувствах. Вероятно, у них, т.е. у родных, придется остаться все время.

Если увидимся, расскажу про Лицей, куда избран или “предъизбран” Мякотин¹⁹, человек, два года назад кончивший курс. После Вас отвечали на предложение Лицея отказом Лаппо, Шмурло, а условным отказом (от конкурса) Середонин. Последний был моим кандидатом, Мякотин – кандидатом Кареева. Кареев к этой весне стал (извините) совсем дураком.

Поклон мой супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

А хороша Волга!

Там же. Л. 53.

№ 37

26 июня 1891 г.

Благодарю Вас за Ваше одолжение, к[ото]рое здесь возвращаю.

Конец Вашей главы будьте добры выслать заказным прямо в Типографию по адресу: СПб. Екатерининск. канал, д. № 80, Типографии В.С. Балашева, Михаилу Александровичу Александрову. Меня же о высылке уведомьте (на станцию Никол[аевской] ж[елезной] дороги Бабино, мыза Мартыанова).

Жму Вашу руку и кланяюсь супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 54.

3 июля 1891 г.

Прошу извинить меня, Павел Николаевич, что задержал архивную выписку. Я был в архиве 28-го, но в этот же день получил кое-что и для себя интересное, приехал на дачу и занялся наспех последним, пока сегодня не опомнился. Вот Вам выписки:

(Лист 239) “Всего в Ψ í в Ψ í годах серебряных í медных денег зделано миллион $\text{X}\epsilon\text{H}\Psi\theta$ рублей и $\text{a}^$ тех $\text{г}^{\text{де}}$.” (т.е. 3 деньги).

“В том числе учинено прибыли $\text{T}\text{H}\text{Г}\text{W}\text{ПГ}$ rubли KГ $\text{a}^$ $\text{т}^{\text{на}}$ ”.

“А что в тех годах приделных денег было, не ведомо потому, что придельные (лист 239 об.) означающа по счету бурмистров с товаращи, а тех годов от бурмистров к отчету книг еще не додано”

Затем в этой же рукописи идет отчет за 11^й год с января по 15 мая и показано, что в этом $\Psi\text{A}^$ году серебра прибыль “ $\text{H}\epsilon\text{T}\text{ПS}$ рублей 6 алт. ϵ ден.”, ^{меди} прибыль K rubл. (лист 271:) “Итого у серебряных и у медных денег учинено прибыли $\text{I}\epsilon\theta\epsilon\text{T}\text{ПS}$ рублей H алтына ϵ де”.

Жду сообщений о конце главы.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 55.

4 августа 1891 г.

Бабино.

Павел Николаевич! С.Л. Степанов²⁰ очень Вас благодарит за Ваше живое и деятельное сочувствие к его трудному положению, трудному – ибо не готовиться нельзя: времени мало, а готовиться тоже нельзя: формального приглашения еще нет, а есть только “обещание пригласить”. Я лично убежден, что это обещание равно приглашению и что препятствие может явиться только в последней инстанции – у Деянова, а это мало вероятно. Еще раз – наше Вам искреннее спасибо.

В сентябрьскую книжку Вы не попадаете, хотя это и может быть Вам не приятно. В нынешнем году нас давит *vis magis*²¹ – казенный материал, к[ото]рый обязательно угнетает отдел наук и листом и средствами. Никогда эта *vis* не была так жестока, как в этом году.

Новостей решительно нет. В рецензии Ключевского довольно безосновательно считается ранним одно сказание о смерти цар[евича] Дмитрия (из Чтений 1864 г.) вопреки моим соображениям, которые (же) просто замолчаны, а не опровергнуты. Замолчано и то, что у меня служит до некоторой степени ответом на главные требования рецензента, – оценка политического мировоззрения авторов. В[асилию] О[сиповичу]чу легко было, прочтя мою книгу, мечтать об изложении моего материала, как “моменте в ис-

ториографии”. И я сам в моих лекциях излагаю этот материал, как “момент в и[сториограф]ии”, весьма давно. Но и теперь думаю, что распределение материала по идеям, политическим или иным, авторов только запутало бы изложение и ни к чему бы не привело лучшему; это был бы второй шаг раньше первого. А всего мне досаднее, что Ключевск[ий] не заметил моего послесловия: со мною, как автором, следовало бы считаться именно по послесловию: там мой синтез. Отвечать ему я, помнится, не думал, а говорил лишь о возможности ответить.

Однако заболтался. Будьте здоровы. Адрес мой: Ямская, 29 или Ивановская, 18, – как угодно. За рецензию что взять, право не знаю: она выдрана из тома Записок, оплатить который вовсе, быть может, не придется. Последнее обстоятельство мешает признать ее и за мой подарок. Считите за “случайное поступление” в Вашу библиотеку.

Жму Вашу руку и низко кланяюсь супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

P.S. В Соляном городке новый директор (Макаров) таков, что “университету” там, вероятно, не быть. Дьяконов, страдавший года два какими-то “камнями”, выздоровел без операции в это лето. Я ужасно рад за него.

Там же. Л. 56–57.

№ 40

18 августа 1891 г.

Павел Николаевич! У нас такой “затор” материала, что в октябре пойдет одна Ваша глава. Остальные три давайте так: сразу две, а то и сразу все. Дело в том, что “мы” уже с нетерпением ждем, “когда конец Милюкову”, и три приема нам неприятнее, чем два. Отлично было бы, если бы все у Вас не превысило 6-ти листов и упало бы на нас сразу.

И. Тимофеев²² давно напечатан и осенью, надеюсь, увидит свет. Что он Вас интересует?

После 20-го тотчас наведу справки и о сошных книгах. Его Выс[очест]во еще погуливает и ближе к Вам, чем к нам, т.е. в Ярославской губ[ернии]

Жму Вашу руку. Низкий поклон супруге.

Ваш С. Платонов

18/VIII. Бабино.

[Приписка вверх ногами вверху листа] P.S. 20-го я переезжаю в город (туда и пишите), а семья остается здесь до 1-го.

Там же. Л. 99.

[между 18 августа и 16 октября 1891 г.]

Я, Павел Николаевич, в некотором смущении: Редактор по своим (весьма веским и к Вам лично не имеющим отношений) соображениям желает “отложить Вас” до января. Может быть, удастся в декабрьскую сунуть 9-ю главу, но не наверно. При таких обстоятельствах Васильевский, однако, не желает Вас ставить в затруднение и предлагает, если Вы спешите, напечатать отдельные оттиски последних листов раньше, чем они будут сверстаны в Журнал. Если хотите этим воспользоваться, сообщите срок присылки остального текста и хотя приблизительно его размер: я начну переговоры с типографией. Только не вините Васильевского в дурном отношении к Вашим интересам; это было бы несправедливо.

Из разговора с ним я понял, что полемическую Вашу статью против Середонина он примет; и критическую предпочтет получить от меня или кого-либо иного – стороннего. В этом есть основание, мне кажется, и поэтому я не откажусь напечатать свой факультетский отчет о Середонине, если Вы не будете настаивать на желании рецензировать его непременно у нас. Пишу Вам совершенно откровенно, ибо совершенно не заинтересован в деле. Вам же советую по душе: пишите к нам о Середонине, но не в виде рецензии или полемики прямо по адресу, а в виде статьи “К вопросу etc.” и без я на первой странице. И статья пойдет с полным успехом.

Проф[ессор] Горчаков²³ усердно просит меня пустить в ход все средства; чтобы достать ему в собственность 2-ю книгу (или весь год) Чтений за 1867 г. со статьею Ундольского о Патриаршей библ[иотеке]. Не поможете ли в этом? Если возможно, книгу вышлите на мой адрес. К Вам на январь–март собирается Дьяконов, а в декабре – я.

Пишу Вам без памяти наспех: кончил издание (текст) и пишу предисловие – двумя руками – к ближайшему заседанию Комиссии.

Низкий поклон мой супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

P.S. Мои публичные лекции – не о Петре, а о Русском обществе пред реформой, – может быть, и не состоятся в Соляном городке, но часть их состоится в Университете в пользу голодающих.

Там же. Л. 87–88.

16 октября 1891 г.

Обращаюсь к Вам, Павел Николаевич, с большой просьбой, суть которой, главным образом, в скорости. Был здесь для моего издания Сборник библиотеки Ундольского²⁴ № 643, 4°, XVII в., 652 лл., в к[ото]ром на 226–231–236 лл. есть Житие ц. Дмитрия.

Сборник был описан, из него выбраны варианты, его отправили обратно в Рум[янцевский] музей, – и теперь обнаружилось, что описание его потеряли, может быть, даже сам я потерял. А для Предисловия мне нужно описание безусловно. Нельзя ли приспособить когонибудь, чтобы 1. списать заглавия всех статей сборника, с означением листов, и 2. на листах 226–231 найти и отметить, на каком именно листе начинается собственно Житие словами “В лето 3571. родися сей...”

Я обратился бы с этим делом непосредственно к С.О. Долгову²⁵, но просто стыжусь: на одну такого рода просьбу он однажды прислал мне целый трактат, убив на него пропасть времени. Но, если бы Вы сами затруднились найти человека для этого дела (конечно, не стесняясь тратами), то не сообщите ли о нем Семену Осиповичу вместе с моим поклоном?

А затем и Вы, и я успели забыть, что в октябре была Ваша глава, а стало быть и гонорар: я получил Заявление о желании “иметь Ваш автограф”, т.е. доверенность.

Живу я вне места и времени – одним Предисловием к тому, а будущую неделю буду жить Указателем.

Жму Вашу руку и заранее благодарю за хлопоты. Кланяюсь супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 58–59.

№ 43

28 октября 1891 г.

Прошу простить меня, Павел Николаевич, за мое молчание и за неблагодарность, мною обнаруженную. Вы прислали мне такое обстоятельное описание сборника Ундольского, что я “наслаждался” им, и все-таки я во-время не поблагодарил Вас за него. Причина – предисловие к моему тому, возня с рукописями, и обилие рефератов от студентов и курсисток. Все это нарушало нормальный ход жизни, заставляло спешить и быть неисправным. Еще раз извините меня, еще раз – спасибо!

Из Академии корректуру авторам посылают, но не мешает, говорят, написать секретарю Штрауху просьбу об этом в виде простого письма.

Истории Брикнера я хорошо не знаю, но, кажется, его считали балтом и не хотели держать в Дерпте, а в то же время считали хорошим человеком и, не желая уменьшать пенсии, послали дослуживать в Казань. Будилович²⁶, напротив, выслужил 3000 пенсии и потому уходит жить в Москву, будет работать в Моск[осковских] Ведом[остях]²⁷ и приватно читать в ун[иверсите]те. Однако, поступить снова на службу ему неудобно: по Варшавскому порядку он тогда лишится пенсии, и посему деканом он не будет. А впрочем ...

Диспут Середонина в декабре или январе. Кто другой оппонент, я не знаю еще. Середонин теперь с блеском держит экзамены.

Знаете ли Вы “пропозиции” Федора Салтыкова²⁸, изданные Общ[еством] Люб[ителей] Др[евней] Письм[енности]? Оне совпадают совершенно с тем, что Вы читали в гос. арх. кн. № 88. Если Вас интересует это издание, напишите о нем секретарю Общ[ества] Люб[ителей] Др[евней] Письм[енности] Хрисанфу Мефодьевичу Лопареву (Фонтанка, д. № 34, Общество) и он Вам вышлет эту вещь.

Как идет Ваша книга? С чувством неудовольствия послал я Вам обратно рукопись: если бы она оставалась здесь, я бы пустил ее в набор в первую минуту, когда Типография была бы свободна. Если Вам возможно в настоящую минуту определить сроки: присылки материала и желательного окончания дела. Я все не могу взять в ум этих сроков в применении к моим обязанностям, т.е. не могу представить себе, когда начать и к какому сроку пригонять мои работы по Вашей книге.

Типография, по моей просьбе, прислала Вам счет за 1891 г. на 299 рублей. Я Вам не послал потому, что сам понял возможность скинуть со счета 23 рубля; когда скинут и перепишут счет, я пришлю его Вам в законном виде. Денег Ваших у меня 216 рублей. Их, и только их, можно будет внести по счету до окончательной расплаты в 1892 г.

Нового у нас как-то нет. С отъездом Шмурло, Бубнова²⁹, русские историки стали менее общительны. Мои среды потеряли профессиональный характер, у Дружинина меньше шума. Середонин очень занят экзаменами, а отсутствие его и двух поименованных лиц вполнину сократило число завсегдатаев кружка.

Я успел передумать и в декабре в Москву не покажусь. Зато здесь кто-то пустил слух, что на Святках в Питер собирается Ключевский. Я бы хотел, чтобы и Вы решились отдохнуть в С[анкт-]П[етербурге] на Рождество. Если Вы предлагали мне Вашу гостиную, то я считаю себя в праве доставить себе удовольствие и предложить Вам свой кабинет. Брат жены нашел Вас усталым, а Дружинин (или кто-то другой?) говорил мне, что Вы совсем истомлены. Приезжайте-ка!

А пока жму Вашу руку и низко кланяюсь супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 60–62.

№ 44

15 ноября 1891 г.

Здоровы ли Вы, Павел Николаевич, и семья Ваша? Что значит, что от Вас нет вестей. Или Вы не получили моего письма?

Было бы очень жаль, если бы Вы в такое горячее для Вас время вздумали еще захворать!

Волею судьбы кончаю указатель к своему тому и 25-го начинаю лекции в Соляном городке.

Жму Вашу руку.
Ваш С. Платонов

P.S. Поклон мой супруге Вашей.

Там же. Л. 63.

№ 45

19 ноября 1891 г.

Позвольте от души поздравить вас с окончанием книги, Павел Николаевич! Позвольте пожелать, чтобы, отдохнув от этих хлопот, Вы снова принялись за науку с такою же ретивостию и с таким же успехом. Ждем Вас в Питере, чтобы лично поздравить.

Но ... вот Вам и ложка дегтя. Мы в ссоре с Типографией: требуем новый шрифт, она не дает, и мы, может быть, перекочуем. Если это случится, к 1-му числу не поспеем; если же останемся, то к 1-му наберем и пошлем Вам. С нами обращаются столь нелепо, что не уйти нельзя, а уйти, – значит, поплатиться своими деньгами и Вашим (а также Успенского³⁰) удобством – допечатать Вашу книгу Середонинским шрифтом. Авань справимся и не вырвем Ваших укоров!

Кареев (кто же, если не он?) телеграфировал в Русск[ие] Вед[омости] о диспуте Гилярова³¹ возмутительные вещи. Вопрос, возбужденный Кареевым, вызвал дружнеее осуждение факультета и шиканье публики: до того он был нелеп. Положительным бесстыдством следует считать заботу в телеграмме представить глупость подвигом. Кареев спрашивал: можно ли теперь писать о Платоне, если мы (и диспутант) не знаем, что в диалогах Платона достоверно ему принадлежит. Вопрос этот, по его мнению, должен был разрешаться в закрытом заседании фак[ульте]та!

Хороши Ваши новости о Курсах: кто инициатор? Герье? Кто директор?

Горчаков просит Чтения 1867. II (или весь год) ему нужно Ундольского описание Кормчих, и очень нужно.

Жму Вашу руку. Мое почтение супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 64–65.

№ 46

10 декабря 1891 г.

Очень прошу Вас, Павел Николаевич, поскорее прислать первую часть Вашей корректуры (гранок 25–30) для нашей январской книжки, в к[ото]рую Редактор помещает Вас в количестве 4 листов.

Хорошо бы, если бы Вы обозначили сами, на чем остановиться Вам в январе.

Благодарю за присылку Чтений 1867 г. Нужно ли за них платить и сколько? Дружинин надеется, что Вы для него устроите дело с подписанием на Чтения.

Наконец-то мой том кончен! Буду поэтому скоро писать Вам по-человечески.

Жму Вашу руку. С. Платонов

[*Приписка вверх ногами сверху листа в начале письма*] Полтора месяца я возился от Вашего имени с Типографией по поводу Вашего счета и сладил: добился всей уступки. Подробно – потом.

Там же. Л. 66.

№ 47

[между 10 и 20 декабря 1891 г.]

Вы уже держите в руках всю сверстанную книгу! Если Вы вернете листы, Вам посланные, до 1-го января, то около 1–5 января они будут готовы. Если Вы позволите немедленно набрать оглавление с печатных листов, а не с Вашей рукописи (к[ото]рую еще надо готовить), то и оно будет готово к тому же времени. Если теперь же вышлите предисловие, то и всю книгу Вашу можно будет (говорю гадательно) послать в цензуру около 5-го января. Вам следует приехать сюда именно для этих числах 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 7-го января и дирижировать самому финалом. Жалко, что Вы не приедете к нам, и надеюсь, что Вы будете не за рекою, а в нашей части города. Очень желаю, чтобы Вы приезжали поскорее и отдохнули здесь подольше. Я Вам не пошлю пока своего тома (он вышел), если Вы не пожелаете, чтобы я его выслал до Вашего сюда приезда. Сторожеву и Ключевскому пошлю на днях. Если Вы думаете приехать много после 1-го, то вышлю и Вам. Как хотите?

Сегодня внес Ваши 215 р. в Типографию; осталось за Вами по счету около 83 рбл. Остальной расчет можно произвести когда угодно (не ранее февраля) и, вероятно, приплачивать Вам не придется ни одной копейки (разве десяток – другой рублей возьмут за обложку, брошюровку, etc. etc.).

Тиханов – человек со странностями, без образования и учености; это требует некоторой осторожности в обращении с ним.

Оттиски, с 33-го листа, вышлют не сразу: пока-то их доставят “из кладовой”. Это – вечная история! Разрешите оглавление набрать здесь с листов к главам, а к Приложениям, напишите.

Приезжайте-ка так, чтобы пробыть здесь и до и после Нового года.

Жму Вашу руку. Увидим ли Вашу супругу, которой – низкие поклоны.

Ваш С. Платонов

20/XII.

По крайней мере, известите меня о себе тотчас по приезде, если уже не остановитесь у нас!

Там же. Л. 84–85.

№ 48

[между 10 и 20 декабря 1891 г.]

Вечер 2-го января отдайте мне, Павел Николаевич, в этот день годовщина “русских историков”³², они соберутся у Дружинина: или сами приезжайте туда, или заезжайте ко мне и мы отправимся вместе.

Буду поджидать Вас.

Ваш С. Платонов

P.S. Прибавка отвечает на мои мысли о благодарности редакции вполне. Книжку Вашу обещают отправить в цензуру между 3 и 7 января.

Там же. Л. 74–75.

№ 49

22 января 1892 г.

Пишу Вам вкратце. Благодарю за оттиски Ключевского и внесу за них в Ваш фонд. Я уже продал 7 Ваших экземпляров и продажей покрою весь дефицит Ваш: не ищите денег.

Оглоблину пошлю. Министру пошлите из Москвы (Графу И.Д.Д.³³ Невский пр., д. Армянской церкви), или укажите, что надписать на пакете: “из редакции” или от Вас. Барбашеву³⁴ Вы дали. В Общество можно годить почти год.

Когда же диспут?

Мы всем факультетом провалили Новосадского “Каверы”. А Гиляров написал декану “примирительное послание”.

Поклон супруге Вашей. Ваш С. Платонов

[*Приписка вверх ногами сверху листа в начале письма*] Оттиски посланы.

Там же. Л. 67.

№ 50

8 февраля 1892 г.

Могу уведомить Вас, что с Типографией счет покончен. За уплатой туда 241 р. 41 к. осталось у меня Ваших денег 12 р. 71 коп. Остаток этот образовался потому, что я продал 14 [исправлена цифра 13] экз[емпляров] Вашей книги и приложил еще 2 р. 50 к. за брошюрки Ключевского. Что делать с остатком? Когда приблизительно Ваш диспут? На эти два вопроса жду ответа.

Жму Вашу руку и свидетельствую почтение супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

Да! За февраль гонорар Ваш по 2 рубля = 171 р. 20 к.

P.S. Оглоблин³⁵ купил несколько экземпляров “у Нового Времени” и потом, от меня не взял на комиссию.

Письмо было уже написано, когда я надумал прописать этот счет:

Приход		Расход	
Гонорар за январь	88.50	За развоз книги	3.00
за февраль	171.20	За труды "пану" ³⁶	
Остаток старого счета	1.04	Переплетчику	35.50
14 экз. книги	35.00	Отправка бандеролей	5.62
За Речь Ключевского	2.50	В Типографию	241.41
	298.24		285.53
Остаток 12.71			

Там же. Л. 68–69.

№ 51

[между 8 февраля и 11 мая 1892 г.]

Вот Вам еще один протее из Питера: многоуважаемый Павел Николаевич! Надеюсь, что он не стиснет Вас своим появлением. Я же не могу не рекомендовать Вам его: Александр Евгеньевич Пресняков³⁷, один из лучших наших студентов.

Ради Бога, пишите заранее о дне Вашего диспута. Ведь 17-го? К 17-му мая я могу приехать.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 79.

№ 52

[между 2 и 17 мая 1892 г.]

Прошу Вас, Павел Николаевич, возьмите под свое покровительство в сфере архивной и ученой Сергея Васильевича Рождественского³⁸. С января 1890 года я знаю, что Вы умеете хорошо руководить петербуржцами, попадающими в Москву, и не отказываетесь от такой обузы.

Жму Вашу руку. Скоро пришлю Вам оттиски моей статейки, направленной против Вас... И тем не менее – жму Вашу руку.

Ваш С. Платонов

P.S. Поклон мой супруге Вашей.

Там же. Л. 86.

7 июня 1892 г.
Сиверская.

Прошу пощады, что долго не отвечал Вам, Павел Николаевич: замучил Ваш же Корш своею комиссией, которая надоела-таки порядком всем, кажется и самому Коршу.

Благодарю Вас от души: за дружеский прием, за последнее письмо, за признание доброго характера наших отношений. Поездку в Москву в мае я буду очень долго помнить: я впервые видел Ваш университет, Ваш круг, Вас самих на фоне, в оправе Вашего круга. Вечер “Вашего дня” особенно мне вспоминается и всего ярче неожиданные слова Виноградова против университетского “провинциализма”, к[ото]рым я горячо сочувствую. Не думайте, однако, что я себе противоречу, если признаюсь, что в будущее приезды, вероятно, не поеду к Вашим университетским светилам и не явлюсь в Москву докторскою работою. В этом я довольно прочно утвердился, глядя на Ваше “торжество”. Без церемоний и искренно могу Вам сказать, что все преимущество такта и терпимости было на Вашей стороне и утром, и вечером. В полной мере того и другого не было у всех прочих (*[сноска в конце страницы]* Исключение – для Чупрова³⁹). Я, например, не убежден даже, что за свои “бредни” не подвергся отлучению от общения с важными и неважными правоверными и правомерными Вашими. А разве я не прав, различая 40-е и 50-е годы не по людям, а по теоретическим основаниям воззрений и деятельности; разве в 40-х получила уже полную отставку “метафизика”? Повторяю, что 17 число было Вашим “торжеством” на самом деле: ни в одном слове и жесте не упрекнуть Вас ни другим, ни Вам самим. С этим можно поздравить человека!

Здесь многим пришлось повествовать о Вашем диспуте: интересовался им очень живо А.Ф. Бычков. Горчаков и Ламанский высказались за мою идею о Вашем докторстве. Держать идею “между нами” я просил лишь для того, чтобы не придавать ей характера официальности; а в секрете ее где же удержать! Печатайте что и когда хотите: важна, по-моему, совокупность: рецензий, историографий и разрядов. Но и при ней, разумеется, проект может “прогореть”; вот, фиаско (“чего Боже сохрани”) будем держать в секрете.

Еще раз сердечное спасибо Вам за Ваш прием. Низкий поклон и сердечная благодарность супруге Вашей; наилучшие пожелания сыну Вашему.

Жму Вашу руку.

Ваш С. Платонов

P.S. Если будут для меня любопытные суждения о Вашем и Корелинском диспуте и о роли нас, петербуржцев, на Вашем празднике, напишите.

Лето мое проходит так: понедельник и вторник в городе, прочие дни на даче. В городе адрес: Редакция, Троицкая ул., д. 11, на даче:

С[анкт-]П[етер]б[ург] – Варшавской ж.д. ст. Сиверская, дача барона Фредерикса № 8. На Сиверскую письма попадают сутками позже, чем в С[анкт-]П[етер]б[ург].

Виноградова в С[анкт-]П[етер]б[урге] не видал.

Наудачу изображаю на конверте Плющиху и пишу М.А. Дьяконову о Вашем адресе.

Жена кланяется Вам.

Там же. Л. 76–78.

№ 54

[между 7 июля и 31 августа 1892 г.]

Благодарю Вас, Павел Николаевич, за Ваше августовское письмо. Оно доказательство весьма добрых чувств Ваших ко мне и этим мне очень приятно. “Майские события” (не 1682, а 1892 года), разумеется, содействовали упрочению наших отношений, и я очень дорожу тем, что нахожу некоторое признание за пределами узкого кружка своего, а тем более – в Москве. От души желаю не раз еще поднять с Вами бокал на торжестве, подобном майскому!

Летом прочитал Вашу рецензию на Лаппо и прошу Вашего позволения ввести ее в употребление в аудитории в листах теперь же – при наших практических работах. Для XVI в. она дает много и жалко, что ей суждено быть только рецензией, а не монографией *für sich und an sich*⁴⁰: менее будет распространяться. – История Фирсова мне начинает надоедать: я не виноват, что министерство пишет резолюции без мотивов (!), а на меня сыплются обвинения одно другого глупее и несправедливее. Я готов сейчас напечатать свой доклад: до такой степени я убежден в его корректности; но ведь не могу же я его послать в Казань, если он туда не сообщен официально. Меня обвиняют в том, что я стал на сторону профессоров против приват-доцентов, что я “дал пощечину совету”, не поверив 38-ми, против 3-х или 2-х; а я кончаю свой доклад заявлением, что коллизия не разрешилась в Казани потому, что совет стал на охрану закона, обеспечивающего свободу частного преподавания в факультетах. Любопытны мне визиты ко мне молодого Фирсова в июне (он не застал меня), в то время, когда ему было известно, кто докладчик по его делу. Раньше он не бывал у меня и не за сведениями ли теперь являлся? Другая Казанская знаменитость Лихачев у нас еще не являлся. – Я не мог узнать, кто писал о Вас в Вестн[ике] Европы⁴¹; не Семеvский ли? А в Истор[ическом] Вестн[ике] отделяет Вас Зотов⁴² (Вы видели № 9-й?)⁴³.

У Дьяконова умерла младшая дочь в Дерпте. Очень их жаль. Свалил девочку коклюш, смертельный при пороке сердца. Посылают ли ему из Москвы просимые рукописи? – Как Вы нашли работы Преснякова? его можно поздравить с успехом, не всегда венчающим первые шаги. Знаете ли Вы Михайлова, питомца Тихонравова⁴⁴: что

сей за человек? Он летом мелькал у нас и удостоился похвалы Л. Майкова – Я собирался Вам писать еще на даче, но расхворался: случилось воспаление надкостницы с лихорадкой и т.д. И кроме того, что я оторвался от дела, – я потерял все, что приобрел летом, похудел и устал. Меня это ужасно раздосадовало. Вообще лето у меня было не из удачных и совершенно бесплодно. [*Письмо обрывается.*]

Там же. Л. 89–90.

№ 55

12 октября 1892 г.

Так называемых “новостей” как будто нет. Известный Вам Хрущов сам говорил о своем назначении попечителем на юг, но назначение это не состоялось. Министр речь Вирхову⁴⁵ по латыни составил сам своими силами ...Вот такого рода новостей можно понабрать сколько угодно; но ведь их лучше рассказывать, чем письменно излагать. Поэтому – передайте мой низкий поклон Вашей супруге и примите мои наилучшие пожелания.

Ваш С. Платонов.

P.S. Что же делать с Вашими книгами и деньгами? На новой квартире книгам нашлось хорошее место, а пакет с деньгами (около 20 р.) и квитанциями завалялся при переезде на новую квартиру в одном из портфелей, еще не разобранных. Но они скоро будут разобраны и ждут Ваших распоряжений.

Наш новый адрес:

Николаевская ул., д. 61, кв. 6.

Будьте здоровы!

Там же. Л. 70.

№ 56

21 октября 1892 г.

Папки с Вашими деньгами и документами касательно продажи книги я до сих пор не разыскал: вероятно, в качестве “книги” он и кроется на одной из полок, до к[ото]рых и доберусь при первом досуге. А теперь – дождался 20-го числа и посылаю Вам 20 р[у]бл[ей] из жалованья: это меня нисколько не стесняет. Твердо помню, что Ваших у меня было не менее 20 р., поэтому можете тратить прилагаемое без остатка.

Если бы, Павел Николаевич, Вы от себя послали в Академическую типографию поручение переслать мне 2–3 оттиска статьи Вашей, а то личные сношения с этими... не особенно приятные. За то предлагаю Вам сделать у меня склад и этой брошюры в доказательство, что я не бегаю от московских хлопот.

Последняя страница Вашего письма задела меня за живое, и я очень скоро (после речей о Сергие) примусь за письмо Вам несколько интимного, может быть, свойства – о моем отдыхе.

Низкий поклон супруге Вашей.

Ваш С. Платонов

Там же. Л. 71.

№ 57

4 октября 1892 г.

О Вашей ученице⁴⁶, Павел Николаевич, жду Ваших точных сообщений поскорее: фамилию, где живет (в С[анкт-]П[етер]б[урге] или нет), какой у нее диплом? Если она в С[анкт-]П[етер]б[урге], пошлите ее, проще всего, ко мне немедля; ко времени ее визита я узнаю все обстоятельства дела и сразу сообщу ей точные сведения. Я каждый день дома в 6 часов.

Адрес Лаппо-Дан[илевского]: В[асильевский] О[стров] 10 линия, д. 17, кв. 8. Замечания Ваши о просто Лаппе (И.И.)⁴⁷ весьма сошлись с моей официальной о нем рецензией, которую я Вам вышлю для сведения.

Поручения исполню. Папку с Вашими счетами и квитанциями я разыскал и узнал, что мы с Вами квиты: за Вами 15 коп., которые я и взыщу с Вас в пользу Мицкевича⁴⁸.

“Списком служилого сословия” Вы меня, конечно, заинтересовали, но Вам есть и отместка: Четвертной приказ был уже, говорят, в 1562 году. Посылаю Вам бандеролью свой нескончаемый бунт 1648 г.: тисните в Чтениях, но корректуру пришлите непременно сюда. Если не пригодно или завалается за недостатком места, возвратите без церемоний. Поступаю сам без церемоний, ибо помню Вашу готовность в этом деле послужить мне посредником.

У Вас, очевидно, преувеличенное понятие о моих трудах, хотя при Вас в П[етер]бурге я на Ваших глазах бездельничал неделями в прошлом году. Мрачные Ваши фразы на этот счет нагнали на меня тоску: досадно было вспомнить, что худшие времена мои в свою пору почитались нормальным существованием, а некоторый от них отдых представляется “массою текущей работы”. Впрочем, эта тоска прошла ...

Прошу Вас низко кланяться Вашей супруге.

Ваш С. Платонов

P.S. Наш “университет” в Соляном городке расползается: ничего не могут устроить даже на это полугодие.

Там же. Л. 72–73.

Многоуважаемый
Сергей Федорович,

Извините меня, пожалуйста, что так задерживаю положение Вашей просьбы, только в этот понедельник был в библиотеке и узнал там след[ующее]: Zonbom'a собрание актов для истории Карла XI сост[оит] из 15 частей, переплет в 5 томов. Вышло это собрание в 1763–1772 г. Первые (от 1 – до 10) частей, составл[яют] три тома, заняты исключительно внешними полит[ическими] делами. Два последних тома – 4й 5 –, заключ[ают] в себе части 10–15, посвящены внутренней истории, но в них нет ни одного указания на те именно годы (1694, 1687), которые приводит П. Милюков. В 12 части – донесения берг-коллегии, в предыдущих дата – донесения адмиралтейской коллегии, в 13 – одни дела берг-коллегии и акты из истории редуции, в 14 – акты для рейхстагов 1660, 64 и 1680 годов, в 15 – дела военной коллегии и рассказы (донесения) Сapezla коллегии 1697 года. Инструкции камер-коллегии указанных в письме Милюкова годов в сбор[нике] Zoenbom'a не имеется.

Не позволите ли Вам в четверг утром за Актами Московского государства, которые бы мне хотелось просмотреть. Только что получил Ваше открытое письмо.

Ваш Г. Форстен

Передайте, пожалуйста, поклон Вашей супруге.

Там же. Л. 100.

¹ Форстен Георгий Васильевич (1857–1910) – историк, с 1896 г. профессор Петербургского университета, один из ведущих специалистов по новой истории стран Запада.

² Адрианов Сергей Александрович (1871–1941) – историк, литератор.

³ *jalousie de metier* (фр.) – соперничество.

⁴ Семевский Михаил Иванович (1837–1892) – российский историк, журналист, основатель и издатель журнала “Русская старина”, известен своими трудами по истории России XVIII – начала XIX в.

⁵ Речь идет о многолетнем исследовании С.Ф. Платонова о московских волнениях 1648 г. В 1888 г. была опубликована его статья “Московские волнения 1648 г.”, а в 1892 г. – “Новый источник для истории Московских волнений 1648 г.”.

⁶ Бильбасов Василий Алексеевич (1837–1904) – историк, профессор Киевского университета (с 1869 г.), в 1871–1884 гг. редактор газеты “Голос”, известен своими трудами по истории крестовых походов и по истории России XVIII в. Тираж второго тома “Истории Екатерины II” В.А. Бильбасова был уничтожен цензурой.

⁷ Брикнер Александр Густавович (1834–1896) – историк, известен своими произведениями по Екатерининской политике.

⁸ Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) – языковед, исследователь русского летописания, с 1894 г. академик Петербургской АН, с 1910 г. профессор Петербургского университета

- ⁹ “Русские ведомости” – либеральная газета, выходившая в Москве в 1863–1918 гг.
- ¹⁰ “Новости” – ежедневная общественно-политическая газета, выходившая в Петербурге в 1871–1906 гг.
- ¹¹ “Русская мысль” – ежемесячный научный, литературный и политический журнал, выходивший в 1880–1918 гг. в Москве.
- ^{11a} Антонович Владимир Бонифатиевич (1834–1908) – историк, археолог, этнограф, с 1901 г. член-корреспондент Академии наук, известен своими трудами по истории Великого княжества Литовского и Украины.
- ¹² Вероятно, речь идет о Пертетковиче – директоре гимназии в Киеве.
- ¹³ Фирсов Николай Николаевич (1864–1934) – историк, профессор Казанского университета, известен своими работами по истории России XVIII в.
- ¹⁴ Шукарев Александр Николаевич (1861–1900) – филолог.
- ¹⁵ *in partibus infidelium* (лат.) – в стране неверных. Это средневековое выражение, которое впоследствии стало иронически применяться к лицам, носящим высокое звание, но не имеющим никаких юридических прав.
- ¹⁶ Сторожев Василий Николаевич (1866–1924) – историк, археограф, профессор Московского университета, автор трудов преимущественно по истории России XVII в. В.Н. Сторожев и П.В. Безобразов опубликовали свои рецензии на третий том “Истории России” Д.И. Иловайского в “Вестнике Европы” и “Русском обозрении”.
- ¹⁷ Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) – историк, профессор Московского (1884–1902, 1908–1911), Оксфордского (с 1903) университетов, с 1914 г. академик, автор работ по средневековой истории Англии.
- ¹⁸ Бычков Афанасий Федорович (1818–1899) – историк, археограф, библиограф, палеограф, академик АН, директор Публичной библиотеки (с 1882).
- ¹⁹ Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) – историк, публицист, российский политический деятель, с 1918 г. в эмиграции, автор трудов по социально-экономической истории России, Украины и Польши XVII–XVIII вв.
- ²⁰ Степанов С.Л. (?–1914) – выпускник Петербургского университета, в 1911–1915 гг. директор Петербургской 5-й гимназии.
- ²¹ *vis magis* (лат.) – большая сила.
- ²² Временник Тимофеева – крупное произведение отечественной публицистики начала XVII в. Иван Тимофеев – дьяк, писатель конца XVI – начала XVII в., описавший в своем произведении события от времен Ивана Грозного до 1619 г.
- ²³ Горчаков Михаил Иванович (1836–1910) – профессор Петербургского университета, известен своими работами по церковному праву и истории русской церкви.
- ²⁴ Ундольский Вукол Михайлович (1815–1864) – библиограф и собиратель памятников древней русской письменности, архивист Московского архива министерства юстиции, библиотекарь Общества истории и древностей Российских. Известен своими трудами по древнерусской истории и литературе, хронологии, библиографии. В данном случае речь идет о “Славяно-русских рукописях В.М. Ундольского, описанных самим составителем и бывшим владельцем собрания с 1 по 579” (М., 1870).
- ²⁵ Долгов Семен Осипович (1857–1925) – археолог, археограф, хранитель отдела рукописей Румянцевского музея.
- ²⁶ Будилевич Антон Семенович (1846–1908) – филолог, историк, этнограф, славист, профессор историко-филологического института кн. Безбородко (в Нежине), доктор славянской филологии, ординарный профессор русского и церковно-славянского языков Варшавского университета, декан историко-филологического факультета этого же университета.

- 27 "Московские ведомости" – ежедневная российская газета, выходившая в Москве в 1756–1917 гг.
- 28 Салтыков Федор Степанович (?–1715) – государственный деятель, сподвижник Петра I. Составил проект экспедиции для отыскания морского пути в Индию через Северный Ледовитый океан.
- 29 Бубнов Николай Михайлович (1858–1943) – профессор Киевского университета, специалист по истории средних веков стран Западной Европы.
- 30 Вероятно, речь идет об Успенском Федоре Ивановиче (1845–1928) – историке, основателе и директоре Русского археологического института в Константинополе (1894–1914), академике Петербургской АН (1900 г.)
- 31 Гиляров Алексей Никитич (1856–?) – профессор философии, приват-доцент по кафедре философии Московского университета, с 1887 г. – Киевского университета, известен своими трудами по философии, в частности по философии Платона.
- 32 Имеется в виду неформальное сообщество – "кружок русских историков", существовавший с 1884 г., участниками которого были И.А. Шляпкин, С.Ф. Платонов, Е.Ф. Шмурло, А.И. Барбашев, Н.Д. Чечулин, А.С. Лаппо-Данилевский, С.Л. Степанов, С.М. Середонин, В.Г. Дружинин, М.А. Дьяконов, И.А. Козеко.
- 33 Имеется в виду Иван Давыдович Делянов – граф, министр народного просвещения, государственный деятель.
- 34 Барбашев А.И. – историк, окончил Петербургский университет, защитил магистерскую диссертацию "Витовт и его время".
- 35 Оглоблин Николай Николаевич (1852–?) – археограф, окончил Археологический институт, в 1880–1897 гг. состоял на службе в "ученом отделении" Московского архива Министерства юстиции, в 1895 г. при его сотрудничестве вышла первая часть "Обозрения столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768). Документы воеводского управления".
- 36 Вероятно речь идет о Ф.Ф. Зелинском, которого студенты, по свидетельству Н.П. Анциферова, называли "паном Тадеушем" за его польское происхождение (См.: Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 157–160.) Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) – филолог-классик, в 1879 г. окончил Лейпцигский классический семинарий, в 1885–1921 гг. – профессор Петербургского университета, с 1921 г. – профессор Варшавского университета.
- 37 Пресняков Александр Евгеньевич (1870–1929) – историк, с 1907 г. приват-доцент, с 1918 г. профессор русской истории Петербургского университета, профессор Женского Педагогического института, с 1919 г. профессор Археологического института и декан его археографического отделения, с 1900 г. – сотрудник Академии наук. Автор книг по истории русского летописания и по истории Древней Руси.
- 38 Рождественский Сергей Васильевич (1868–1934) – историк, с 1887 г. приват-доцент, с 1912 г. профессор Петербургского университета, с 1916 г. директор Женского Педагогического института, в 1903–1913 гг. член Ученого комитета Министерства народного просвещения, с 1920 г. член-корреспондент Академии наук, в 1925–1929 гг. помощник директора БАН, в 1930 г. репрессирован, реабилитирован после 1958 г. Известен своими трудами по истории служилого землевладения в Московском государстве XVI в., а также по истории систем народного просвещения в России в XVIII–XIX вв.
- 39 Чупров Александр Иванович (1842–1908) – экономист, статистик и публицист, профессор Московского университета, автор учебников по статистике, многочисленных работ по политэкономии, аграрному вопросу.

- ⁴⁰ für sich und an sich (нем.). Выражение “an und für sich” переводится как “само по себе”.
- ⁴¹ “Вестник Европы” – ежемесячный литературно-политический журнал либерального направления, выходивший в 1866–1918 гг. в Санкт-Петербурге.
- ⁴² Зотов Владимир Рафаилович (1821–?) – писатель, журналист, поэт, драматург, критик, историк, редактор “Северного Сияния”, “Исторического вестника”, “Наблюдателя”, его главный труд – “История всемирной литературы” (1876–1882).
- ⁴³ В девятом номере “Исторического вестника” за 1892 г. в разделе “Заграничные исторические новости” был опубликован отзыв неизвестного автора на заметки П.Н. Милюкова о русской литературе, помещенные в английском издании журнала “Athenaeum”.
- ⁴⁴ Тихонравов Николай Саввич (1832–1893) – историк русской литературы, в 1877–1883 гг. был ректором Московского университета.
- ⁴⁵ Вероятно, речь идет о Рудольфе Вирхове (1821–1902) – немецком патологе, профессоре Берлинского университета, политическом деятеле, участнике VIII Археологического съезда, иностранном члене-корреспонденте Петербургской АН (с 1881).
- ⁴⁶ Речь идет о Елене Ивановне Токмаковой, которая была дочерью Ивана Федоровича Токмакова – заведующего отделом карт Московского архива Министерства иностранных дел. Авторы монографии “Павел Николаевич Милюков: труды и дни” А.В. Макушин и П.А. Трибунский полагают, что речь идет о дочери купца первой гильдии. Очевидно, этот вопрос требует дополнительного прояснения.
- ⁴⁷ Лаппо Иван Иванович (1869–1944) – историк, с 1905 г. занимал кафедру истории Юрьевского университета, известен своими работами по истории Великого княжества Литовского во второй половине XVI в. В данном случае речь идет о его работе “Тверской уезд в XVI в.: Его население и виды земельного владения” (М., 1894).
- ⁴⁸ Скорее всего речь идет о Ф.Ф. Зелинском, которого, можно предположить, называли и “паном Тадеушем”, и “паном Мицкевичем”, т.е. по имени автора “Пана Тадеуша”, польского поэта Адама Мицкевича (1798–1855).

БИБЛИОГРАФИЯ



СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ МЕЛЬЧУНОВ

(1879/80–1956)

Библиография трудов

В ЭМИГРАЦИИ¹

1923

744. *Публ., введ.:* Nicholas II, Emperor of Russia: Das Tagebuch des letzten Zaren von 1890 bis zum Fall... / Hsg. mit einer Einlt. von Melgunoff. Berlin 2.*

745. Книги о революции [Рец. на кн.: Мстиславский С. Пять дней: Начало и конец Февральской революции. Б.; Пг., 1924; Шкловский В. Революция и фронт. Пг., 1922; Летопись революции. М.; Пг.; Б., 1923] // Воля России. № 2. С. 74–79. Подп.: М. С.

746. Дела и люди Александровского времени. Берлин: Ватага. Т. I. 341 с.

Рец.: 1) *Кизеветтер А.А.* // Руль. Берлин, 1923. 28 марта; 2) *К.* // Последние новости. Париж, 1923. 13 сент.; 3) *Кизеветтер А.А.* // Русская зарубежная книга. Прага, 1924. Т. I, ч. I. С. 84–86; 4) *Флоровский Ант.* // На чужой стороне. Берлин; Прага, 1924. Кн. VIII. С. 314–318; 5) *Мякотин В.В.* // Современные записки. Париж, 1924. № 8. С. 438–443.

747. *Ред.:* На чужой стороне: Историко-литературные сборники. Берлин; Прага, 1923–1926. № I–XIII.

При ближайшем участии Е.А. Ляцкого и В.А. Мякотина.

748. От редакции // Там же. Кн. I. С. VII–VIII. *Без подп.*

749. *Вступит. ст.:* Короленко В.Г. Американские очерки // Там же. С. 3–6. Подп.: *Ред.*

750. *Вступит. ст.:* Толстой Л.Н. Неизданные творения // Там же. С. 71–72.

751. *Публ. и предисл.:* Толстой Л. Эпизод из “Альберта” // Там же. Кн. I. С. 71.

См. также № 768.

752. Уход Толстого в освещение В.Г. Черткова // Там же. С. 149–174.

753. *Предисл.:* Щепкин Н.Н. Из ранних воспоминаний // Там же. Кн. II. С. 1–2. Подп.: *Ред.*

754. Как мы приобретали записки Илиодора: (Страничка из воспоминаний) // Там же. С. 47–56.

755. *Вступит. ст.:* Кили, инженер. Американец в России // Там же. С. 77–78. Подп.: *С. М.*

756. Большевик “второго сорта” о русской революции: [Суханов Н.Е. Записки о революции] // Там же. С. 231–247.

757. *Рец.:* Кудряшов К.В., проф. Александр Первый и тайна Феодора

¹ Окончание. Библиографию трудов, опубликованных в России см.: Библиография трудов С.П. Мельгунова // История и историки, 2002: Историографический ежегодник М., 2002. С. 194–222.

² Здесь и далее звездочкой отмечены работы, которые не удалось проверить de visu.

Кузьмича. Пб.: Время // Там же. С. 251–252.

758. *Примеч.*: Захарьин И. Четверо суток в Лубянском каземате ВЧК // Там же. Кн. III. С. 1–34.

759. *Примеч.*: Изюмов А.Ф. Из “Романовского архива”. I: В поисках бумаг последнего царя; II: Из дневника имп. Николая II за 1917 г. // Там же. С. 106–112.

760. Записки императора Николая II перед отречением: (Воспоминания) // Там же. С. 121–124.

761. В первые дни революции: (Из письма ген. Лукомского) // Там же. С. 125–126.

762. “Суд истории над интеллигенцией”: (К делу “Тактического центра”) // Там же. С. 137–163.

763. Литература о терроре // Там же. С. 227–230.

764. Из сменовеховской литературы // Там же. С. 235–238.

765. К характеристике террора // Там же. С. 252. *Без подп.*

766. Исторические заметки: “Летопись революции” // Дни. Берлин. 20 янв. Подп.: С. М-в.

767. Один из стаи славных: (Мысли по поводу одного литературного юбилея): [10-летие журнала “Голос минувшего”] // Там же. 23 янв.

768. *Публ. и предисл.*: Толстой Л. Эпизод из “Альберта” // Там же. 11 февр. *Без подп.*

См. также № 751.

769. Исторические заметки: (Из потонувшего мира). I: [Воспоминания гр. Клейнмихель] // Там же. 11 февр. Подп.: С. М-нов.

770. Исторические заметки: (Из потонувшего мира). II: [Воспоминания кн. С.М. Волконского] // Там же. 18 февр. Подп.: С. М-нов.

771. Исторические заметки: [журнал “Анналы”] // Там же. 2 марта. Подп.: С. М-нов.

772. Исторические заметки: Из дневника А.Н. Куропаткина // Там же. 9 марта.

773. Исторические заметки: Новые воспоминания Витте // Там же. 18 марта. Подп.: С. М-в.

774. Александр I и женщины // Там же. 25 марта.

775. *Рец. на кн.*: Пути революции // Там же. 6 мая.

776. Кто она? Есть же предел // Там же. 27 мая.

777. Почему? // Там же. 28 июня.

778. *Публ. и предисл.*: Новости немецкой литературы: Из дневника адъютанта Вильгельма II // Там же. 1 июля. Подп.: С. М.

779. Голова медузы: (Немного статистики) // Там же. 11 июля

780. Убийство вел. кн. Михаила // Там же. 28 нояб.

781. У Л.Н. Толстого: (Из тюремных записок): Особый отдел ВЧК, июль 1920 г. // Там же. 23 дек.

782. Краса и гордость³ // Там же. 30 дек.

783. Один документ: (По поводу “Общественного Комитета голодающих”) // Последние новости. 3 мая.

См. также: Прокопович С.Н. Как это было: (Письмо в редакцию) // Там же. 17 мая.

784. Вынужденный ответ // Там же. 31 мая.

785. “Мы и они”: (По поводу книги А.В. Пешехонова “Почему я не эмигрировал?”) // Там же. 15 июля.

786. Новости литературы: Побольше справедливости: “Архив русской революции”. Т. X // Там же. 19 июля.

787. “Мы и они”: [о процессе над “Тактическим центром”] // Там же. 27 июля.

788. Записка Николая II перед отречением: (Воспоминания) // Там же. 12 дек.

³ *Примеч. ред.*: Из поступающей на днях в продажу книги С.П. Мельгунова “Красный террор в России”. Печатается с разрешения автора.

789. Красный террор в России: 1918–1923. Берлин: Ватага. 208 с.

2-е изд.: Берлин, 1924.

Рец.: 1) Руль. Берлин, 1923. 30 дек.; 2) Там же. 1924. 13 февр.; 3) Там же. 20 апр.; 4) *Тимашев Н.С.* Красный и белый террор // Там же. 24 нояб. 5) *Аргунов А.А.* // Крестьянская Россия. Прага, 1924. № VIII/IX. С. 267–268; 6) *Вишняк В.В., Штейнберг И.З.* // Современные записки. Париж, 1924. № 19. С. 440–445; 7) *Гольденвейзер А.А.* // Звено. Париж, 1924. № 57; 8) *Осоргин М.О.* // Последние новости. Париж, 1924. 7 февр.; 9) *Словцов Р.* // Там же. 2 окт.; 10) Новое время. Белград, 1924. 12 февр.; 11) Русская мысль. Париж, 1924. 14 февр.; 12) Новое русское слово. Нью-Йорк, 1924. 26 и 28 апр.; 13) *Мирский Борис* // Народная мысль. Рига, 1924. 19 марта; 14) Сегодня. Рига, 1924. 5 апр.; 15) *Волковыцкий Н.* // Дни. Берлин, 1924. 4 мая; 16) *Діло*. 1924. 23 січня; 17) *Маклецов А.В.* // На чужой стороне. Берлин; Прага, 1925. № 10. С. 289–293; 18) *Время*. Берлин, 1925. 13 февр.; 19) *Миркин-Гецевич Б.С.* // *Cahiers de droit de l'Homme*. Paris, 1925. 18 march.

Последующие публикации см. № 789, 790, 844, 940–942, 1108, 1111–1113.

790. Der rote terror in Russland: 1918–1923 / Autoris. Übers. aus dem rus. Berlin: O. Diakow und Co, [1924].* 363 S.

Изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 844, 940–942, 1108, 1111–1113.

791. *Вступит. ст.*: Боровикова В.Н. Домашние записки // На чужой стороне. Берлин; Прага. Кн. IV. С. 50–51.

792. *Примеч.*: Крестьянинов Н. Азеф в начале деятельности // Там же. С. 135, 136, 164. Совм. с В.Л. Бурцевым.

793. Из дневника кн. Д.М. Волконского (май, 1833) // Там же. Кн. V. С. 156.

794. Потаенная муза в Советской России. (I: Воскресший Маркс: Мистическая поэма) // Там же. С. 185–215.

795. Очерки генерала Деникина // Там же. С. 300–308.

796. *Публ.*: К характеристике Александра I: Старая икона // Там же. Кн. VI. С. 100.

797. *Публ.*: Генералиссимус Суворов: (Из дневника кн. Д.М. Волконского) // Там же. С. 156.

798. Потаенная муза в Советской России. II: Торжественное заседание Совнаркома: В празднование трехлетия Октябрьской революции, 7 ноября 1920 г.; III: Всероссийская Коммуна: (на мотив “Было дело под Полтавой”); IV: Тюремная песня // Там же. С. 225–229.

799. Ленинизм [Рец. на кн.: Катторга и ссылка. № 2; Пролетарская революция. № 2; Козьмин Б.П. Ткачев] // Там же. С. 279–284.

800. “За свободную Россию”. [Рец. на кн.: Бурцев В.Л. Воспоминания] // Там же. С. 284–287.

801. *Предисл.*: Автобиография гр[афини] С.А. Толстой // Там же. Кн. VII. С. 1. *Без подп.*

802. *Публ.*: О причине революционного движения в России: [из дневника Смельского] // Там же. С. 80.

803. *Публ.*: Своеобразный сыск: [из дневника Смельского]: Система утращения // Там же. С. 150.

804. *Публ.*: Бытовой документ [о киевской ВЧК] // Там же. С. 186.

805. *Публ.*: Красный террор [о расстреле Лебединской 27 июня] // Там же. С. 200.

806. *Публ.*: Тайна жизни [запись М.А. Бакунина от 24 апреля 1845 г.] // Там же. С. 244.

807. “Теория насилия и французская революция” [о лекции Олара

в Сорбонне 6 апреля 1923 г.] // Там же. С. 273–282.

808. *Публ.*: Зассадная ведомост № 6892: [о высылке В.М. Кудрявцева] // Там же. С. 290.

809. “История революции” П.Н. Милюкова // Там же. С. 291–299.

810. *Публ.*: Роман императрицы [Елизаветы Алексеевны] // Там же. С. 300.

811. [*Послел.*]: [Боголепов А. Убийство царской семьи] // Там же. С. 306–307. Подп.: С. М.

812. *Предисл.*: “Национальный центр” в Москве в 1918 году: (Из показаний С.А. Котляревского по делу “Тактического Центра”) // Там же. Кн. VIII. С. 123–124.

813. К.П. Победоносцев в дни первой революции: (Неизданные письма к С.Д. Войту) // Там же. С. 177–201.

814. *Публ. и предисл.*: Материалы и документы: I: Старинное завещание [майора А.Е. Мельгунова 1824 года]; II: Страничка прошлого (из дневника ген. Смельского о “Священной дружине”); III: К истории махновского движения; IV: Петлюровцы и добровольцы: (Эпизод из антибольшевицкой борьбы). V: Своеобразный симбиоз: (По материалам Особой Комиссии) // Там же. С. 221–245. Подп.: С. М.

815. *Публ.*: Реформа Николая I – Либерализм Александра I // Там же. С. 294.

816. Большевицкий историк о революции: [Рец. на кн.: Покровский М.Н. Очерки по истории революционного движения в России в XIX и XX вв.] // Там же. С. 307–311.

817. Еще одна жуткая страница // Современные записки. Париж. № 21. С. 380–385.

818. Недоуменный вопрос Б.Д. Бруцкусу: (Письмо в редакцию) // Дни. Берлин. 8 марта.

Ответ Б.Д. Бруцкуса см.: Руль. Берлин. 12 марта.

819. Маленькая поправка: (По поводу письма.. в редакцию М.А. Осоргина) // Дни. 25 марта.

820. О новой “тайне” // Там же. 9 апр.

По поводу ст.: Z. “Те”, которые участвовали в “этом” // Там же. 5 апр.

821. Тема власти: [о мемуарах А.В. Богданович] // Там же. 24 апр.

822. Не довольно ли? (Письмо в редакцию) // Там же. 1 июня.

823. Так ли? [о воспоминаниях кн. С.М. Волконского] // Там же. 22 июня.

824. О старой русской печати: (Письмо в редакцию) // Там же. 28 авг.

1925

825. *Предисл.*: Совет общественных деятелей в Москве 1917–1919 гг. [Показания Н.Н. Виноградского в деле “Тактического центра”] // На чужой стороне. Берлин; Прага. Кн. IX. С. 91. Подп.: С. М.

826. *Предисл.*: Чекист о ЧК (из архива “Особой Следственной Комиссии” на Юге России): [показания Мих. Ив. Белоросова] // Там же. С. 111.

827. Судьба писем Е.А. Боратынского // Там же. С. 180. Подп.: М.

828. *Предисл.*: Убийство подполковника Судейкина: (Из архива В.Л. Бурцева) // Там же. С. 205–206. Подп.: Ред.

829. Исторические прообразы героев “Войны и мира”: I: Княжна Марья Болконская и m-lle Bovigienne: (По дневнику кн. Д.М. Волконского) // Там же. Кн. X. С. 29–36.

830. *Публ.*: Фурьеристская литература: (Из письма П.А. Кропоткина к С.П. Мельгунову) // Там же. С. 102.

831. *Публ.*: К истории гражданской войны: 1: На Дальнем Востоке.

2: На Юге // Там же. С. 224–249. Подп.: С. М.

832. Книга фантазий и противоречий: [Рец. на кн.: Бердяев Н.А.. Новое средневековье] // Там же. С. 274–277.

833. Независимость Грузии: [Рец. на кн.: Авалов З. Независимость Грузии в международной политике 1918–1919 гг.] // Там же. С. 293–298.

834. Публ.: Из переписки Н.А. Белоголового: (Из архива В.Л. Бурцева) // Там же. Кн. XI. С. 237–244.

835. *Вступит. ст.*: В дни первой революции 1905–1906 гг. по частной переписке // Там же. С. 244–254. Подп.: С. М.

836. К характеристике террора // Там же. Кн. XII. С. 252. Подп.: *Ред.*

837. От редакции: [о переводе издания журнала в Париж] // Там же. Кн. XIII. С. 4. *Без подп.*

838. Несколько документов о декабристах: [I: Официальная переписка мин. ин. дел Нессельроде с послом в Париже Поццо ди Борго от 7 февр. 1826 г.; II: О надзоре за Н. и А. Тургеневыми; III: Циркулярное письмо Нессельроде послам в Европе о приговоре над декабристами от 7 февр. 1826 г.] // Там же. С. 172–176.

839. Публ.: Коммунисты о самих себе: 1: Фундамент; 2: На усмирении; 3: Столкновение властей; 4: Поездка в Румынию // Там же. С. 182–192.

840. Положения доклада Мельгунова в Р.Д.О. // Возрождение. Берлин, 1925. 25 нояб.⁴

841. *Рец.*: Волконский С.М. О декабристах: По семейным воспоминаниям. Париж, 1925 // Современ-

ные записки. Париж. № 23. С. 500–505.

842. Борьба за власть // Дни. Берлин. 1 янв.

843. Старый голос на новый лад // Там же. 31 дек.

844. The red terror in Russia / Transl. by C.J. Hoggarth. London: J.M. Dent, 1925.

Изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 790, 940–942, 1108, 1111–1113.

845. Kropotkin et la culture française // Le Monde Slave. Paris. № 1. P. 59–62.

1926

846. The red terror in Russia. London; Toronto, 1926. * 71 p.

Изд. на рус. яз. см. № 789; 1-е изд. на англ. яз. – № 844.

847. Царство террора // Россия под коммунистическим режимом. Париж: Новое изд-во, 1926. С. 46–72. На франц. яз. *

848. Les mouvements religieux et sociaux en Russie aux XVII^e–XVIII^e siècle // Le Monde Slave. Paris, 1926. Т. *

849. *Ред.*: Толстой Л.Н. Незданные рассказы и пьесы / Предисл.: Т.И. Полнер. Париж, 1926. 318 с. Совм. с Т.И. Полнером и А.М. Хирьяковым.

Рец.: Алданов М.А. Посмертные произведения Толстого // Современные записки. Париж, 1926. № 28. С. 429–436.

850. *Коммент.*: Tolstoi L.N. Journal intime... / Comment. de Melgounov. Paris, 1926. Т. XII. *

851. *Ред.*: Голос минувшего на чужой стороне: Журнал истории и истории литературы. Париж: Т-во

⁴ *Примеч. ред.*: Редакция получила настоящие тезисы от самого С.П. Мельгунова в сопровождении следующего письма: “Многоуважаемая редакция. В “Возрождении” был изложен мой доклад в Р.Д.О. с чужих слов. Посему я считаю необходимым послать вам свои реальные тезисы”.

“Н.П. Карбасников”, 1926–1928. № 1 (XIV)–6 (XIX). Совм. с В.А. Мякотиным и Т.И. Полнером.

852. От редакции: [о возобновлении издания журнала в Париже] // Там же. Кн. 1 (XIV). С. [5–6]. *Без подп.* Совм. с В.А. Мякотиным и Т.И. Полнером

853. От редакции: Н.В. Чайковский: (По поводу 75-летия) // Там же. С. 45–48. Совм. с В.А. Мякотиным и Т.И. Полнером

854. Тюремная встреча // Там же. С. 62. Подп. С. М.

855. От редакции: [о публикации воспоминаний В.Л. Биншток] // Там же. С. 82. Подп.: *Ред.*

856. Из документов недавнего прошлого: (Из частного письма 22 марта 1922 г.) [о голоде в Севастополе] // Там же. С. 156. Подп.: С.

857. *Предисл.*: Немцы в Москве: [Степанова-Мельгунова П.Е. Приоткрывающаяся завеса: (Из дневника)] // Там же. С. 157–158.

858. Два генерала: (К психологии гражданской войны) // Там же. С. 188–189.

859. “Дипломатическая недосыгаемость”: (К истории провокации у большевиков) // Там же. С. 200. Подп.: М.

860. Николай I и декабристы: [запись Лорера о допросе Назимова] // Там же. С. 222.

861. Чешский патриот о войне и русской революции: (По поводу воспоминаний Т.Г. Масарика) // Там же. С. 263–281.

862. Николай I и декабристы // Там же. С. 298. Подп.: С. М.

863. [От редакции]: Саликовский А.Ф. К материалам о национальной борьбе на Украине // Там же. С. 312. Подп.: *Ред.*

864. “Легенда” о декабристах // Там же. Кн. 2 (XV). С. 46. Подп.: С. М.

865. “Трагедия одиночества” декабристов // Там же. С. 68. Подп.: С. М.

866. Идеализм и реализм декабристов // Там же. С. 69–85.

867. К характеристике декабристов: [Речь на торжественном заседании Академического Союза в Сорбонне 27 дек. 1925 г.] // Там же. С. 86. Подп.: М.

868. Немецкие военнопленные образования в России // Там же. С. 194. Подп.: М.

869. Декабрист Лорер о А.Е. Россети // Там же. С. 244. *Без подп.*

870. По поводу “ъ”: (Статистическая справка) // Там же. С. 272. Подп.: М.

871. Воспоминания ген. Болдырева // Там же. С. 273–298. Подп.: С. М.

872. “Monde Slave” о России // Там же. С. 299–308.

873. *Послел.*: Миркин-Гецевич Б.С. Террор и церковь // Там же. С. 327. Подп.: С. М.

874. Отклики на 1 марта 1881 г.: (Из записной книжки Л.Н. Толстого) // Там же. Кн. 3 (XVI). С. 38. Подп.: С. М.

875. После большевического переворота // Там же. С. 256. Подп.: С. М.

876. Герцен, Россия и эмиграция // Там же. С. 257–291.

877. Важное подтверждение // Там же. С. 292–293.

878. “Мятежники 1825 года” // Там же. С. 299–302.

879. Большевицкий “Дон Кихот” // Там же. С. 307–309.

880. П.Н. Миллюков о гражданской войне и эмиграции // Там же. Кн. 4 (XVII). С. 277–283.

881. Критика чешского ученого // Там же. С. 301–309.

882. *Ред.*: Борьба за Россию: Еженедельное издание / Под ред. В.Л. Бурцева, А.В. Карташева, С.П. Мельгунова, Т.И. Полнера, М.М. Федорова. Париж, 1926–1931. № 1–238.

883. Наши задачи // Там же. № 1, 27 нояб. С. 1. *Без подп.*

884. Час настал // Там же. С. 2–6.
 885. Героизм белой борьбы // Там же. № 2, 4 дек. С. 2–6.
 886. Завоевания революции // Там же. № 4, 18 дек. С. 3–6.
 887. Ненависть или примирение? (Из переписки с другом-украинцем) // Там же. № 5, 25 дек. С. 2–6. Перепечатку см. № 1050.
 888. Странное происшествие // Там же. С. 12–13.
 889. Два начала в революции: (По поводу юбилея Н.В. Чайковского) // Дни. Берлин. 2 февр.
 890. По поводу записок генерала Венюкова: (Письмо в редакцию) // Там же. 12 февр.
 891. Незданные сочинения Толстого // Там же. 14 марта.
 892. “Факты” госпожи Кусковой // Там же. 10 апр.
 893. “Факты” и действительность: (Ответ Е.Д. Кусковой) // Там же. 23 апр.
 894. П.Н. Милюков и Акацатов // Там же. 25 мая.
 895. Письмо [в ред. газ. “Дни” о выходе журн. “Борьба за Россию”] // Там же. 6 нояб.
 896. [Выступление на собеседовании в редакции газ. “Дни” о журн. “Борьба за Россию”] // Там же. 23 дек.

1927

897. Антисемитизм и погромы // Голос минувшего на чужой стороне. Париж. Кн. 5 (XVIII). С. 231–246.
 898. Ответ проф. Legras // Там же. С. 311–315. Подп.: С. М.
 899. Партийность и коалиция в борьбе с большевиками // Борьба за Россию. Париж. № 6, 1 янв. С. 2–8. Совм. с В.Л. Бурцевым.
 900. Революционная борьба // Там же. № 8, 15 янв. С. 1–4.
 901. Советское словоблудие и доверчивые эмигранты // Там же. № 9, 22 янв. С. 10–11.

902. О дне грядущем // Там же. № 10, 29 янв. С. 6–9.
 903. Напрасные жертвы // Там же. № 11, 5 февр. С. 2–3.
 904. За что мы боремся // Там же. № 13, 19 февр. С. 1–2.
 905. Книга Шульгина и его подвиг // Там же. № 14, 26 февр. С. 2–5.
 906. Помогайте нам // Там же. С. 13–14. Подп.: С. М.
 907. Все о том же // Там же. № 18, 26 марта. С. 1–3.
 908. Подражайте // Там же. С. 7. Подп.: Ред.
 909. Предел чести: (Из советской печати) // Там же. № 19, 2 апр. С. 10–11. Подп.: С. М.
 910. Ветхий Адам: [об “Обществе политкаторжан”] // Там же. № 20, 9 апр. С. 7–8.
 911. Не революция, а переворот // Там же. № 21, 16 апр. С. 2–3.
 912. Настроение рабочих в Петрограде: (По специальной информации из России) // Там же. № 24, 7 мая. С. 12–13. Подп.: М.
 913. Новое // Там же. № 26, 21 мая. С. 2–3.
 914. Дух бодр // № 27. 28 мая. С. 2–3.
 915. Европа о красном терроре: [об убийстве Войкова Борисом Ковердой] // Там же. № 30, 18 июня. С. 7.
 916. Борьба идет: [об убийстве Войкова Борисом Ковердой] // Там же. С. 9–10.
 917. На чужой счет // Там же. № 33, 9 июля. С. 1–3.
 918. Лучше молчите! // Там же. № 36, 30 июля. С. 12. Подп.: С. М.
 919. Учитесь // Там же. № 39, 20 авг. С. 1–2.
 920. Лицемеры // Там же. С. 12. Подп.: С. П.
 921. Живой мертвец: [А.В. Пешехонов] // Там же. С. 13. Подп.: М.
 922. Польское правительство и русская эмиграция // Там же. № 40, 27 авг. С. 3–6.

923. Памяти ушедших: Л.С. Козловский // Там же. № 42, 10 сент. С. 11.

924. Невозможное // Там же. № 43, 17 сент. С. 2–5.

925. Чека в Варшаве: Нечто невероятное: [убийство в Варшаве Трайковича] // Там же. С. 11–12. Подп.: М.

926. Настроения рабочих // Там же. С. 15–16. Подп.: С. П.

927. Непонятное: (К убийству Трайковича) // Там же. № 45, 1 окт. С. 12. Подп.: М.

928. К процессу “пяти”: (Из пележигото) // Там же. № 46, 8 окт. С. 4–6.

929. Провокация ГПУ [операция “Трест”] // Там же. № 47, 15 окт. С. 1–4.

930. Тернии революционной борьбы // Там же. № 48, 22 окт. С. 3–5.

931. Сосредоточие сил: [о выходе газ. Керенского “Дни”] // Там же. С. 11–12. Подп.: С. М.

932. Политическая ответственность // Там же. № 49, 29 окт. С. 2–3.

933. Эмигрантская политика // Там же. С. 5. Подп.: С. М.

934. Прошлое и настоящее // Там же. № 50, 5 нояб. С. 5–9.

935. Шестое ноября // № 51, 12 нояб. С. 1–2.

936. Доморощенная отсебятина // Там же. № 56, 17 дек. С. 4–7.

937. Деньги – сила // Там же. № 57, 24 дек. С. 2–3.

938. О “монархических” заговорах // Там же. № 58, 31 дек. С. 3–5.

939. Письмо в редакцию [о поездке в Берлин и Прагу по поводу издания журнала “Борьба за Россию”] // Дни. Берлин. 3 дек.

940. La “terreur rouge” en Russie: (1918–1924) / Trad. du rus. par M. Wilfrid Lerat. Paris: Payot, 1927. 282 p. (Collection d'études de documents et de témoignages pour servir à l'histoire le notre temps.)*

1-е изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 790, 844, 941, 942, 1108, 1111–1113.

941. Et terror rojo en Russia: (1918–1924). Madrid: Caro Raggio, 1927. Vol. 1–2.*

1-е изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 790, 844, 940, 942, 1108, 1111–1113.

1928

942. Die roode terreur in Russland / Voor Nederland bewerk door B. Rapstchinsky. Zupten: W.J. Thieme, 1928. 260 blz.: Met fotografien.

1-е изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 790, 844, 940, 941, 1108, 1111–1113.

943. Красный террор в России 1917–1927 гг.: (Ответ на отчет английских тред-юнионов) // СССР. Берлин: Изд. Биккермана, 1928. С. 213–228. На англ. яз.*

944. А.Ф. Кони: [Некролог] // Голос минувшего на чужой стороне. Париж. Кн. 6 (XIX). С. 52.

945. Публ. и предисл.: “Союз защиты Родины и Свободы”: Савинковская организация в 1918 г.: (По официальным данным) // Там же. С. 111–137. Подп.: С. М.

946. Л.С. Козловский: [Некролог] // Там же. С. 138.

947. Жуткая запись: [о предсмертных записках Е.Н. Семевской-Водовозовой] // Там же. С. 156. Подп.: С. М.

948. Из записной книжки // Там же. С. 234. Подп.: С. М.

949. Письмо проф. Legras и мой ответ // Там же. С. 283–285.

950. “Активистическая” жуть: (По поводу деятельности “Братства Русской Правды”) // Борьба за Россию. Париж. № 59, 7 янв. С. 2–7.

951. Наша позиция // Там же. № 62, 28 янв. С. 1–3.

952. О чем мы говорим // Там же. № 63, 4 февр. С. 2–5.

953. Деньги, деньги и деньги... (Из опыта распространения нелегальной литературы в прошлом) // Там же. № 64, 11 февр. С. 4–7. Подп.: С. М.

954. Наша предшественница: ("Новь" Н.В. Чайковского) // Там же. № 66, 25 февр. С. 2–6.

955. Кто наш читатель? // Там же. № 74, 21 апр. С. 1–3.

956. Эпоха "тихого террора" // Там же. № 76, 5 мая. С. 2–6.

957. Не рука ли Чеки? [о покушении Войцеховского] // Там же. № 78, 19 мая. С. 2–3.

958. Советский Искарот: [А.М. Горький] // Там же. № 79, 26 мая. С. 2–5.

959. Объединяться или разъединяться? // Там же. № 86, 14 июля. С. 2–4.

960. "Гарибальдийская тысяча" // Там же. № 87, 21 июля. С. 1–2.

961. Неясная позиция // Там же. № 95, 15 сент. С. 12. Подп.: С. М.

962. Ответ читателю // Там же. № 100, 20 окт. С. 12–13.

963. "Из России не пишут..." // Там же. № 101, 27 окт. С. 1–3.

964. Две даты // Там же. № 102, 3 нояб. С. 1–2.

965. Голоса из России: Ответ из России // Там же. № 103, 10 нояб. С. 11. Подп.: С. М.

966. Странный "корреспондент" из Москвы // Там же. С. 11–12. Подп.: С. М.

967. Реабилитация исподтишка // Там же. С. 12. Подп.: С. М.

968. Прошлое и настоящее: I: Историк вор [Б.П. Козьмин]. II: Ученый и революционер: [60-летие М.Н. Покровского]. III: Кто такие большевики // Там же. № 108, 15 дек. С. 3–5.

969. Письмо в редакцию [о полемике с В.В. Шульгиным] // Дни. Берлин. 19 марта.

1929

970. Гражданская война в описании Миллюкова: критико-библиографический очерк по поводу "Россия на переломе". Париж: Rapid-imp. 91 с.

971. Н.В. Чайковский в годы гражданской войны: (Материалы для истории русской общественности. 1917–1925 гг.). Париж: Родник. 316 с.

972. На новый путь // Борьба за Россию. Париж. № 122/123, 1 апр. С. 2–5.

1930

973. Трагедия адмирала Колчака: Из истории гражданской войны на Волге, Урале и в Сибири. Белград, 1930–1931. Т. 1–3. (Русская библиотека. Кн. 19, 22, 23).

Рец.: 1) *Петр Рысс*. // Возрождение. Париж, 1930. 4 апр.; 2) *Читатель* // Руль. Берлин, 1930. 16 апр.; 3) *Вишняк М.В.* Трагедия С.П. Мельгунова // Последние новости. Париж, 1930. 29 апр.; 4) *С.К.* // Руль. 1930. 29 окт.; 5) *Аргунов А.А.* // Современные записки. Париж, 1931. № 45. С. 522–529; 6) *И.Г.* // Руль. 1931. 25 апр.

974. Югославянская манифестация против религиозных гонений в СССР // Борьба за Россию. Париж. № 170/171, 1 апр. Прил. Подп.: Алов.

975. Россия и эмиграция // Там же. № 178/179, 1 июня. С. 5–6. Подп.: Алов.

976. Новый очередной обман // Там же. № 188/189, 15 авг. С. 2–3. Подп.: М.

977. Памяти ушедших: Ф.Д. Назаров // Там же. № 190/191, 1 сент. С. 7.

978. Накануне краха // Там же. № 202/203, 1 дек. С. 2–4.

979. Партийное дело: (К истории Комуца) // Руль. 1930. № 3047, 3 дек.; № 3049, 5 дек.

1931

980. На путях к дворцовому перевороту: заговоры перед революцией 1917 года. Париж: Родник. 281 с.

См. также № 1109, 1120.

981. “Невозвращенцы” и их литература // Борьба за Россию. Париж. № 208/209, 15 янв. С. 2–5; № 210/211, 1 февр. С. 2–6.

982. Памяти ушедших: С.Е. Евгеньев // Там же. № 210/211, 1 февр. С. 8.

983. Чекистский Олимп. I: Вожди и зверинец // Там же. № 212/213, 15 февр. С. 2–6.

984. Чекистский Олимп. II: “Золотое сердце”: [Ф.Э. Дзержинский] // Там же. № 214/215, 1 марта. С. 2–6; № 216/217, 15 марта. С. 2–6.

985. Чекистский Олимп. III: Эстет-инквизитор: [В.Р. Менжинский] // Там же. № 218/219, 1 апр. С. 2–7.

986. Чекистский Олимп. IV: Маньяк: [М.С. Кедров]; Ожиданный эпилог: [дело Гевлича] // Там же. № 220/221, 15 апр. С. 2–5.

987. Пробуждение или самообман? // Там же. № 222/223, 1 мая. С. 2–6.

988. Чекистский Олимп. V: Кровавый паяц: [Н.В. Крыленко] // Там же. № 224/225, 15 мая. С. 2–6.

1932

989. Куриный пансион // Последние новости. Париж. 3 янв.

990. Обыватель: (Тюремная встреча) // Сегодня. Рига. 26 янв.

1933

991. Встречи со старообрядцами: (Интересные и курьезные этюды) // Сегодня. Рига. 18 февр.

992. Скорбный список русских ученых // Там же. 19 февр.

1936

993. *Рец.*: Гуль Роман. Дзержинский. Париж, 1936 // Современные записки. Париж. № 62. С. 451–453.

994. Можно ли было спасти государя? “Полнота власти” Временного правительства // Возрождение. Париж. 7 марта.

1938

995. Русская контрреволюция: (методы и выводы ген. Головина). Париж, Б.г. 22 с.

Доклад, прочитанный 17 июня 1938 г. в Академическом Союзе.

996. *Рец.*: Библиография русской революции и гражданской войны (1917–1921): Из каталога библиотеки Русского Заграничного Исторического Архива в Праге / Сост. зав. библиотекой Архива С.П. Постников; Под ред. дир. РЗИА Яна Славика. Прага, 1938 // Современные записки. Париж. № 66. С. 470–472.

1939

997. *Рец.*: Тарле Е. Нашествие Наполеона на Россию: 1812 год. [М., 1938] // Современные записки. Париж. № 69. С. 411–415.

1940

998. “Золотой немецкий ключ” к большевицкой революции. Париж: La Maison du livre étranger. 157 с.

См. также № 1114.

1946

999. Трагедия “власовцев” // Свободное слово. Париж. Сб. 1. С. 19–25. *Без подп.*

1000. Стремящиеся в Россию // Там же. Сб. 3. С. 6–8.

1001. Национальная гармония // Там же. С. 12–14.

1002. К выходу 3-го сборника "Свободный голос" // Там же. С. 30. *Без подп.*

1003. Дружественные отклики // Там же. С. 30–31. Подп.: *Редакция.*

1004. О путях России // Независимое слово. Париж. Сб. 5. С. 10–15. В оглавлении: Пути России.

1005. Потрясающая книга // Свободная мысль. Париж. Сб. 6. С. 19–23.

1947

1006. Неожиданная революция // Независима мысль. Париж. Сб. 7. С. 3–9.

1007. Отклики. 1: О будущих "делателях России"; 2: Знаменательное выступление [Е.Д. Кусковой] // Независимый голос. Париж. № 8. С. 17–23. Подп.: *Оптимист.*

1008. Социальная идилия в СССР // Там же. С. 25–26. Подп.: *М.*

1009. О большевиках и масонах. I: Из биографии адм. Вердеревского; II: "Фармазоны" // Там же. С. 38–40.

1010. Как пишется история // Свободная мысль. Париж. Сб. 10. С. 35–37. Подп.: *С. М.*

1011. Конец легенды // Россия и эмиграция. Париж. С. 15–17.

1012. Отклики [на платформу "Союза Борьбы за Освобождение России"] // Там же. С. 47–53.

1948

1013. Пути объединения России // За Россию. Париж. С. 6–11.

1014. О публицистике М.М. Корякова // Там же. С. 34–35.

1015. Апокриф: [о генерале Власове] // Там же. С. 50–51.

1016. Сознательное непонимание: (Ответ "Социалистическому вестнику") // Борьба за Россию. Париж. С. 29–32.

1017. Трусливая гиена: [полемика с "Советским патриотом"] // Там же. С. 38–39.

1018. Ответ [Н. Берберовой] // Там же. С. 57–59.

1019. Отклики [на платформу "Союза Борьбы..."] // За свободу России. Париж. С. 17–19.

1020. Еще о фальсификациях // Там же. С. 24.

1021. *Ред.:* Российский Демократ: Ежемесячный журнал. Paris: Les Independants, 1948–1957. Сб. 15–27. При ближайшем участии А.В. Карташева, А.М. Хирьякова.

1022. От редакции // Там же. № 2 (Сб. 16). С. 2.

1023. Неожиданный эпилог [дело Гевлича] // Там же. С. 2–3.

1024. Отклики // Там же. С. 15–17. Подп.: *С. М.*

1025. Отклики: "Непредreshенцы". – "Политические реалисты". – Легитимисты. – Poleмика и общественность // Там же. С. 31–41. Подп.: *С. М.*

1026. Памяти соратников: [П.Я. Рысс и Г.Ф. Козьмина] // Там же. С. 41. *Без подп.*

1027. Лик большевизма: "Сад пыток" // Там же. С. 42–43.

1949

1028. От редакции // Российский Демократ. Paris. № 2 (18). С. 2.

1029. Ушедшие: [М.М. Федоров, И.Я. Савич, И.К. Окулич] // Там же. С. 12.

1030. *Ред.:* Возрождение: Литературно-политические тетради / Под ред. С.П. Мельгунова, И.И. Тхоржевского. Париж.

С.П. Мельгунов ред. в 1949–1954 гг.

1031. Екатеринбургская драма: (Из неизданной книги "Революция и царь") // Там же. № 4. С. 13–21; № 5. С. 12–21; № 6. С. 13–22.

1032. Литературный Фонд // Там же. № 5. С. 182–183

1950

1033. К российской общественности: [о публикации в № 7 “Независимого голоса” ст. Р. Гуля “Чекист-предатель”] // Российский Демократ. Paris. № 1 (Сб. 19). С. 1–4.

1034. По поводу выступления Н.А. Цурикова // Там же. С. 35–36.

1035. Письмо кн. С.Е. Трубецкого С.П. Мельгунову // Возрождение. Париж. № 7. С. 176–177.

1036. Грубый памфлет // Там же. С. 192–195.

1037. Эпилог 1917 года // Там же. № 8. С. 136–152; № 9. С. 122–135.

1038. Творимые легенды: (Опыт исторического анализа). I: Колебания царя. II: “Трюк” отречения // Там же. № 10. С. 128–146.

1039. Творимые легенды: (Из истории Февральских дней 17 г. “Кровавое подавление” революции. Диктатор) // Там же. № 11. С. 123–135.

1040. *Послесл.: Кто прав?* (Письмо В.Н. Фигнер В.Л. Бурцеву [от 12 мая 1913 г.]) // Там же. С. 136–137. Подп.: С. М.

1041. Письмо в редакцию. – *Гегечкори Е.* Поправка к статье С.П. Мельгунова. – Мельгунов С.П. [Ответ] // Там же. С. 198–199.

1042. Мартовские дни 17 г. // Там же. № 12. С. 141–158.

См. также № 1044, 1056, 1082, 1087, 1098; отд. изд. – № 1103, 1105.

1951

1043. Судьба императора Николая II после отречения: Историко-критические очерки. Париж: La Renaissance. 422 с.

Рец.: 1) Возрождение. Париж, 1952. № 22. С. 178–186; 2) Цуриков Н. // Русская идея. 1952. № 12*; 3) Берлин Н. // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1952. № 98; 4) Домогацкий Б. // Единение. Сидней, 1952. 23 мая*; 5) Во-

дов С. Быль и небылицы // Русская мысль. Париж, 1952. 18 июля; 6) Русский журнал, 1952, 9 авг.

Репринт см. № 1115.

1044. Мартовские дни 17 г. // Возрождение. Париж. № 13. С. 143–155; № 14. С. 129–143; № 16. С. 138–161; № 17. С. 124–145; № 18. С. 157–168.

См. также № 1042, 1056, 1082, 1087, 1098; отд. изд. – № 1103, 1105.

1045. Открещиваются // Там же. № 13. С. 183. Подп.: С. М.

1046. Побольше справедливости // Там же. № 14. С. 177–180.

1047. Единая или расчлененная Россия? // Там же. № 15. С. 169–178.

1048. О В.А. Маклакове // Там же. С. 153–157.

1049. “Фюссен” и его погребальщики // Там же. № 16. С. 186–187. Подп.: Ред.

1050. Ненависть или примирение? (Из переписки с другом-украинцем) // Возрождение. 1951. № 17. С. 146–152.

Перепечатка из: Борьба за Россию. Париж, 1926. № 5 (см. № 887).

1051. Извещение [о создании Координационного Центра “Совет освобождения народов России”] // Там же. С. 194. *Без подп.*

1052. О создании Центра борьбы с большевиками // Там же. № 18. С. 179–184. Подп.: С. М.

1053. Новая эра эмиграции // Российский Демократ. Paris. № 1 (Сб. 20). С. 1–3.

1054. Поправки к поправкам [по поводу выступления М. Вишняка] // Российский Демократ. № 1 (Сб. 20). С. 49–50. Подп.: С. М.

1055. Разбитые иллюзии: (Факты и документы): Фюссенский компромисс. – Штутгартские постановления. – Висбаденская неразбериха – *Сюр d’Etat* // Там же. № 2 (Сб. 21). С. 1–22.

См. также № 1049.

1056. Мартовские дни 17 г. // Возрождение. Париж. № 19. С. 140–150; № 20. С. 129–144; № 21. С. 127–136; № 22. С. 133–158; № 23. С. 133–155; № 24. С. 121–141.

См. также № 11042, 1044, 1082, 1087, 1098; отд. изд. – № 1103, 1105.

1057. Эмигрантский сумбур // Там же. № 20. С. 187–188. Подп.: С. М.

1058. Маленький отклик // Там же. С. 200. *Без подп.*

1059. “Национальное самоопределение” в 17-м году: (Историческая справка) // Там же. № 21. С. 164–167.

1060. Трагическое непонимание // Там же. С. 186–189. Подп.: С. М.

1061. В.М. Чернов: [Некролог] // Там же. С. 199–200. Подп.: М.

1062. В.Н. Челищев: [Некролог] // Там же. С. 200. Подп.: М.

1063. На переломе // Там же. № 22. С. 187–189. Подп.: С. М.

1064. Маленькая неточность // Там же. С. 200. *Без подп.*

1065. В заколдованном кругу // Там же. № 23. С. 183–185. Подп.: С. М.

1067. Координационный Центр Антибольшевистской Борьбы // Там же. С. 182. Подп.: *Ред.*

1953

1068. Как большевики захватили власть: Октябрьский переворот 1917 года. Париж: La Renaissance. 390 с.

Рец.: 1) *Орехов В.* // Часовой. Брюссель, 1953. № 333. С. 15. Подп.: В.О.; 2) *Байкалов Анат.* // Там же. С. 26; 3) *Домогацкий Б.* // Единение. Сидней, 1953. 26 июня; 4) *Аронсон Г.* // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1953, 23 и 24 авг.; *Водов С.* // Русская мысль. Париж, 1953, 23 авг.

См. также № 1107, 1110, 1118.

1069. В.В. Корсак – “свидетель истории” // Возрождение. Париж. № 25. С. 170–174.

1070. Гражданский подвиг А.И. Деникина: (К пятилетию со дня кончины) // Там же. С. 166–169.

1071. Средневековое убийство [Распутина] // Там же. С. 124–145.

1072. Про дома суса: [о журнале “Возрождение”] // Там же. С. 164–165. Подп.: *Ред.*

1073. Издательство имени А.П. Чехова // Там же. С. 178–180.

1074. Пути Координационного Центра // Там же. С. 189–191. Подп.: С. М.

См. также № 1083.

1075. Удар в спину // Там же. С. 200. Подп.: *Ред.*

1076. Мертворожденное дело [об организации в Нью-Йорке Российского Политического Центра – А.Л. Толстая, А.В. Тыркова-Вильямс] // Там же. № 26. С. 200. Подп.: М.

1077. От координационного Центра Антибольшевистской борьбы // Там же. № 28. С. 191–192. Подп.: М.

1078. В защиту возрождения “пиитов” // Там же. № 30. С. 186–188. Подп.: С. М.

1079. Борьба с большевиками: (Вступительное слово Председателя Центрального Бюро Координационного Центра Антибольшевистской борьбы на парижском собрании 7 ноября) // Там же. С. 189–192.

1081. В.М. Зензинов: [Некролог] // Там же. С. 199–200. Подп.: С. М.

1082. Мартовские дни 17 г. // Возрождение. 1953. № 26. С. 153–164; № 27. С. 122–147; № 28. С. 142–158; № 29. С. 138–154; № 30. С. 160–169.

См. также № 1042, 1044, 1056, 1087, 1098; отд. изд. – № 1103, 1105.

1083. Пути Координационного Центра // Российский демократ. Paris. № 1 (Сб. 22). С. 23–27. Подп.: С. М.

Перепечатка из: Возрождение. 1953. № 25 (№ 1074).

1084. Набат впустую // Там же. С. 33–36.

1085. Жуткая фигура: [об отношении к Мельгунову “Социалистического вестника”] // Там же. № 2 (Сб. 23). С. 39–43.

1086. Юмористы и фокусники // Там же. № 3 (Сб. 24). С. 17–28.

1954

1087. Мартовские дни 17 г. // Возрождение. Париж. № 31. С. 103–122.

См. также № 1042, 1044, 1056, 1082, 1098; отд. изд. – № 1103, 1105.

1088. *Послесл.*: Мацылев С. Путь русского офицера А.И. Деникина // Там же. С. 184–185. Подп.: *Ред.*

1089. Закат МВД: [Л.П. Берия] // Там же. С. 186–187. Подп.: *С. М.*

1090. С.В. Яблоновский // Там же. С. 199–200.

1091. КЦАБ [Координационный Центр Антибольшевистской борьбы] // Российский демократ. Paris. № 1 (Сб. 25). С. 3–5.

1092. От чьего имени? // Там же. С. 9. Подп.: *М.*

1093. За кулисами научного учреждения // Там же. С. 17–28.

1094. Суд истории над интеллигенцией: (К делу Тактического Центра) // Там же. С. 36–63.

Перепечатка из: На чужой стороне. 1923. Кн. III (см. № 762).

1095. О “Возрождении” // Там же. С. 68.

1096. Координационный Центр на новых путях: (Постановление КЦАБа 29-го сентября) // Там же. № 2 (Сб. 26). С. 3–5. Подп.: *Ред.*

1097. В гостях у солидаристов // Там же. С. 17–22.

1098. Мартовские дни 17-го года // Русская мысль. Париж. № 642, 643.

См. также № 1042, 1044, 1056, 1082, 1087; отд. изд. – № 1103, 1105.

1955

1099. Эсеровские воспоминания в Чеховском издательстве: [“Дань прошлому” В.М. Вишняка] // Русская мысль. Париж. 13 мая.

1100. Милюков подвел... Страничка из воспоминаний // Там же. 29 июля.

1101. Своеобразие революции 17-го года: Двоевластие // Там же. 29; 31 авг.

1102. Записка императора Николая II перед отречением // Крестовый поход во имя правды. Париж. 14 июля.

1956

1103. Мартовские дни 1917 года. Париж.

2-е изд. см. № 1105; см. также № 1042, 1044, 1056, 1082, 1087, 1098.

1957

1104. Легенда о сепаратном мире: (Канун революции). Париж. 505 с.

Рец.: 1) *Ильин Вл.* Разрушение легенды // Возрождение. Париж, 1957. № 72. С. 124–133. Подп.: *Исленев Олег*⁵; 2) *Тимашев И.С.* // Новый журнал. Нью-Йорк, 1957. № 51. С. 265–267; 3) *Он же.* Историческая правда // Наша страна. Буэнос-Ай-

⁵ На этой рецензии рукою П.Е.Степановой-Мельгуновой сделана следующая пометка: “Мне сказали (Слизский), что это Ильин (Вл.). Но это все равно, пусть Исленев”. См.: Archives Division British Library of Political and Economy Science. Melgunov collection. Box 141.

рес, 1957. № 414; 4) *Херасков Ив.* // Русская мысль. Париж, 1957. № 1107; 5) *Солнцев К.* // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1957. 13 окт.; 6) *Прошин К.* // Там же; 7) *Вишняк В.* // Там же. 15 дек.; 8) *Тарсаудзе А.* // Россия. Нью-Йорк, 1957. 12 нояб.; 9) *Ульянов Н.* // Русская мысль. Париж, 1957. 19 нояб. 10) *Вишняк В.* // Социалистический вестник. Нью-Йорк, 1958. № 5 (717). С. 102–103; 11) *Орехов В.* // Часовой. Брюссель, 1958. № 383. С. 15–16; 12) Военная быль. 1958. № 28, янв. Подп.: Г.М.; 13) *Домогацкий Б.* // Единение. Сидней, 1958, 10 янв.; 14) Вестник. Торонто, 1958. 1 февр. Подп.: Г.М.; 15) *Месняев Г.* // Россия. Нью-Йорк, 1964. 24 февр.

1961

1105. Мартовские дни 1917 года. 2-е изд. Париж. 453 с.

Рец.: 1) *Осинов Н.* // Мосты. Мюнхен, 1962. № 9. С. 373–375; 2) *Полторацкий Н.* // The Russian Review. 1962. Vol. 21, № 3. Р. 297–298; 3) *Слизский Арк.* // Русская мысль. Париж, 1962. 20 февр.; 4) *Домогацкий Б.* // Единение. Сидней, 1962. 23 февр.; 5) *Пушкарев С.Г.* // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1962. 18 марта; 6) *Михайловский Анат.* // Там же. 24 июня; 7) *Пушкарев С.Г.* // Наши дни. Франкфурт-на-Майне, 1963. № 32. С. 170–173; 8) *Месняев Г.* // Россия. Нью-Йорк, 1965. 5 марта.

1-е изд. см. № 1103; см. также № 1042, 1044, 1056, 1082, 1087, 1098.

1964

1106. Воспоминания и дневник. Париж. Вып. 1–2.

Рец.: 2) *Тимашев Н.С.* // Новый журнал. Нью-Йорк, 1964. № 76. С. 278–279; 3) *Пушкарев С.* // Новое русское. Нью-Йорк, 1964. 3 мая;

4) *Водов С.А.* // Русская мысль. Париж, 1964. 9 мая; 5) *Ошаров М.* // Там же. 27 июля; 6) *Слизский Арк.* // Там же. 6 окт. 1) *Полторацкий Н.П.* // The Russian Review. 1965. Vol. 24, № 4. Р. 420–421.

1972

1107. Melgunov S.P. The Bolshevik Seizure of Power. Santa Barbara. Oxford.

Сокр. пер. изд.: Как большевики захватили власть: Октябрьский переворот 1917 года. Париж. "La Renaissance". 1953 (№ 1068); см. также № 1110, 1118.

1979

1108. Красный террор в России: 1918–1923. 3-е изд. Нью-Йорк: Brandy.

1-е изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 790, 844, 940–942, 1111–1113.

1109. На путях к дворцовому перевороту: заговоры перед революцией 1917 года. Париж.

Репринт изд.: Париж, Родник, 1931. 281 с. (№ 980); см. также № 1120.

1984

1110. Как большевики захватили власть: Октябрьский переворот 1917 года. 2-изд. / Предисл. Михаила Геллера. Париж. 390 с.

1-е изд. см. № 1068; см. также № 1107, 1118.

1989

1111. Красный террор в России: 1918–1923. 4-е изд. Нью-Йорк: Телекс.

1-е изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 790, 844, 940–942, 1108, 1112, 1113.

1990

1112. Красный террор в России: 1918 // 1923. 5-е изд. М.: СП. "Puico". P.S. 207 с.

Рец.: *Василевский А.* // Новый мир. 1991. № 2. С. 252–255.

1-е изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 790, 844, 940–942, 1108, 1111, 1113.

1991

1113. Красный террор в России: 1918–1923. 6-е изд. // Кодры. № 1. С. 93–133; № 2. С. 75–106; № 3. С. 89–121; № 4. С. 83–112.

1-е изд. на рус. яз. см. № 789; см. также № 790, 844, 940, 942, 1108, 1111, 1112.

1114. Золотой немецкий ключ большевиков // Искусство кино. № 2. С. 3–14; № 3. С. 49–63; № 4. С. 21–36; № 5. С. 64–72.

1-е изд. см. № 998.

1115. Судьба императора Николая II после отречения: Историко-критические очерки. Нью-Йорк: Телекс.

Репринт изд.: Париж: La Renaissance, 1951 (№ 1043).

1999

1116. "Так изменяются принципиальные позиции": Дневник С.П. Мельгунова. 1933, 1939–

1944 гг. / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Ю.Н. Емельянова // Исторический архив. № 5. С. 96–166.

2000

1117. "...Первый вопрос в России...": Из дневника С.П. Мельгунова // Филин М.Д. Люди императорской России: Из архивных разысканий. М.: НПК "Интелвак". С. 423–451.

2002

1118. "Как большевики захватили власть" / Подгот. текста, введ. и коммент. Ю.Н. Емельянова // Историки-эмигранты: Вопросы русской истории в работах 20-х–30-х годов. М. С. 307–383.

1-е изд. см. № 1068; см. также № 1107, 1110.

2003

1119. Воспоминания и дневники / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Ю.Н. Емельянова. М.: Индрик.

1120. На путях к дворцовому перевороту: заговоры перед революцией 1917 года. 2-е изд. Изд-во "Бородино-Е".

См. также № 980, 1109.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

<i>Б.П. Балув.</i> Споры о судьбе России в эмигрантской публицистике 1920-х годов. (Противостояние двух центров)	3
<i>Т.В. Марченко.</i> Судьба России в творчестве писателей русского зарубежья	33
А.А. Овсянников. Леворадикальная эмиграция о судьбах России. (Работы 1920–1930-х годов)	59
<i>С.А. Александров.</i> К истории русского либерализма в эмиграции (Возникновение и деятельность РДО)	94
<i>Ю.Н. Емельянов.</i> Монархическая идея и монархические организации русской эмиграции (1920-е – середина 1930-х годов)	108
<i>М.Г. Вандалковская.</i> Традиции русской общественной мысли в историко-философском наследии Н.А. Бердяева	141
<i>Л.А. Сидорова.</i> Духовный мир историков “старой школы”: эмиграция внешняя и внутренняя. 1920-е годы	168
<i>Л.П. Муромцева, В.Б. Перхавко.</i> История и культура России в музейных собраниях эмиграции	192

ИСТОРИКИ И ИХ ТРУДЫ

<i>К.Б. Умбрашко.</i> Б.-Г. Нибур в творчестве Н.А. Полевого и “скептической школы”	245
<i>И.А. Дмитриева.</i> С.К. Богоявленский – ученый москвовед	263
<i>Е.А. Бондарева.</i> Владимир Алексеевич Мошин (1894–1987)	293

ПУБЛИКАЦИИ

Письма С.Ф. Платонова П.Н. Милюкову. Окончание (Подгот. <i>В.П. Корзун, М.А. Мамонтова</i>)	311
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Сергей Петрович Мельгунов (1879/80–1956). Биобиблиография трудов. Окончание. (Сост. <i>Ю.Н. Емельянов</i>)	340
---	-----

Научное издание

**ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
2003**

Историографический вестник

*Утверждено к печати
Ученым советом
Института российской истории
Российской академии наук*

Зав. редакцией *Н.Л. Петрова*
Редактор *М.М. Леренман*
Художественный редактор *В.Ю. Яковлев*
Технические редакторы
А.Л. Шелудченко, В.В. Лебедева
Корректор *Т.И. Шеповалова*